

2

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1990

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

2

1990

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1990

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

К 45-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сценарии

3 *Т. Вульфович*
БЕНАПЫ

40 *Л. Ризин*
«МИССИОНЕРЫ»

73 *С. Кармалита*
ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН

103 *Е. Оноприенко*
ЧАКЛУН И РУМБА

Из истории советского кино

126 *П. Павленко, М. Чиаурели*
ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА

156 *К. Юнг*
Диагноз для диктаторов

Мемуары, воспоминания

165 *Б. Метальников*
**ВОЙНА. ОДНА НА ВСЕХ,
НО КАЖДОМУ СВОЯ...**

192 **Наши авторы**

Главный редактор **Е. ГРИГОРЬЕВ**
Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ, С. ШУМАКОВ

Ответственный секретарь **Н. РЮРИКОВА**

Технический редактор **Л. МАРКОВА**
Корректор **С. КАЛУЖСКАЯ**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© «Киносценарии»

Сдано в набор 04.01.90. Подписано к печати 13.02.90. А06836.
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 23,48.
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар»
Гарн. таймс. Тираж 63 000 экз. Заказ № 26. Цена 1 р. 20 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр»
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74.



Теодор
ВУЛЬФОВИЧ

БЕНАПЫ (Бегущие На Помощь)

Киноповесть

*Не верьте тем, кто говорит,
что они остались живы...*

Вся честная компания (а это двенадцать человек! двенадцать очень молодых офицеров!) облепили мотоцикл с коляской. «М-72» — треск и рев надрывающегося мотора — сидят, стоят, висят друг на друге — рекордсмены этого самоубийственного рода войск. Ветер того и гляди сорвет кого-нибудь из них, но удержатся все. Они накрепко связаны, как клубок, как залом на реке, как деревянная табуретка! Держатся за руль, за рукоятки, за мотоцикл, друг за друга, за воздух!.. Крутые виражи кладут несусветный экипаж то на левый, то на правый борт... Светящиеся черточки пронизывают пространство — то ли метеориты, то ли трассирующие пули... Эти двенадцать на собственных шкурах проверяют действенность сил земного притяжения, взаимного тяготения и спайки.

«Мессершмитты» атаковали колонну со стороны солнца — все, у кого были глаза и глотка, орало — Во-о-о-озду-у-ух! — и бросились к реке — вправо! Председатель поднял левую руку (знак — «Внимание!»).

— Беги! — крикнул ему Зайдаль.

— Стоять!! — он неотрывно смотрел на приближающиеся самолеты врага сквозь при-

цел, образуемый большим пальцем вытянутой руки.

От крыльев отделились черные точки, он тут же определил склонение бомб вправо и отмашкой влево показал своим солдатам, куда надо бежать. Все его солдаты (не более двух десятков) кинулись влево — их легко было отличить, ведь вся остальная масса — сотни — ошалело бежали к реке в надежде укрыться под покатым бережком.

Зайдаль и Курнешов бежали туда же, куда бежали его ребята.

От хвоста колонны накатывалась волна разрывов. Работали авиационные пушки и пулеметы — председатель уже не мог убежать, он прыгнул в кювет, вдавил лицо в островок талого снега... Все бомбы рвались, казалось, у него в голове... А он вдавливал лицо в талый снег...

Самолеты улетели. Он продолжал лежать...

Зайдаль и Курнешов бежали из открытого поля к дороге. Первым добежал до него Зайдаль, схватил за плечи и стал осторожно переворачивать. Когда уже почти совсем перевернул, председатель открыл глаза, показал ему сразу четыре фиги! Зайдаль бросил его и замахнулся наотмашь. Его губы беззвучно шевелились.

Подошел Курнешов:

— Прошу с выражениями полегче.

— Командиры перестают командовать в самые решающие секунды?! Я бы им за это... — сказал председатель.

— «Я бы! Я бы!» — зло передразнил его Зайдаль.

— Да. Я-я-я смотрю в небо, пока вы уткнулись друг другу в... И вижу брошенные бомбы. Определяю их склонение... Вправо?.. Значит, всем надо бежать влево. А не туда, где они сейчас начнут рваться. В запасе пятнадцать — двадцать секунд! Знаешь, куда можно рвануть за двадцать секунд?

— Знает, — ответил за него Курнешов.

— Это две стометровки! И делать расчет должен уметь любой командир...

— Но я бы тебя попросил... — тихо произнес Зайдаль.

— «Я бы! Я бы!» — подловил его председатель. — Научись определять склонение бомб в свободном падении — инженер!

Юля изредка навдывается в наш батальон... Мы встретились на тропе.

— Почему никогда не зайдете? Юлечка!

— А вы не приглашали, председатель.

— Ну вот приглашаю — Юля!

— Часовые больно строгие у вас.

— Ну, правда, заходите. Очень прошу.

Опустила глаза и ушла, как от греха подальше.

Кажется, пора поподробнее представить, хотя бы внешне, председателя — худой, высокий, больше юноша, чем мужчина, иногда свободен до развинченности, что вызывало у начальства раздражение, а то и негодование!.. Но в критических ситуациях он преобразается до неузнаваемости: лицо становится белым, стянутым, появляются размеренность в движениях и непреклонная воля, подчиняющая окружающих, — чем безвыходнее обстановка, тем жестче и рассудочнее становится он сам... Как сказал один из мотоциклистов: «Наш-то! Разбойник Дубровский!» Меховой жилет, фуражка с высокой тульей, сапоги с ботфортами (еще при формировке на Урале всем мотоциклистам соорудили ботфорты к сапогам). «Еще же пару старинных пистолетов за пояс — и вылитый Владимир Дубровский!..» И вправду на лице несколько шрамов, и, по чести говоря, в столкновении с крепкими заборами, а то и в драках — ими они тоже не брезговал.

Двое шли по лесной заснеженной тропе. Это лес на Висленском плацдарме. Чуть впереди — Василий Курнешов, следом — Зайдаль. В походке Курнешова чувствовалась строгая официальность (его хлебом не корми, только подай официальный момент), а Зайдаль разглядывал верхушки сосен.

Раздался стук в дверь — Курнешов стучал

как дятел. Вошли и уселись на топчан против меня. Курнешов прямо из-под шапки пригладил сивый пробор. Зайдаль сразу снял шапку и откинулся спиной к стенке. Ему недавно исполнилось тридцать, он был на девять лет старше меня, да и во всей нашей компании он был старшим. Курнешов был года на три-четыре моложе Зайдала.

— Больше жить здесь с тобой не буду, — заявил Зайдаль.

— А где?

— В общей офицерской бронероты.

— Там и без тебя теснота и духота.

— Здесь не лучше, — это уже был вызов.

Наступила томительная пауза.

— Не пойму, как тебя терпят подчиненные? — проговорил Зайдаль.

— А что им остается? — это уже сказал Курнешов.

— Ты разучился говорить — все время рычишь, кидаешься... Кто ты такой?! Что происходит?..

— Все понемногу охреневаем. Я не исключение.

— Не все... Кое-кто из них тебе в отцы годится.

— Ну кое-что понять можно, — продолжал Зайдаль. — Ты с армейских пеленок командуешь людьми. А это само по себе скверно!..

— Я себя командиром не назначал.

— Похвально — не карьерист! — съязвил Зайдаль. — На прощание я бы попросил тебя сразу после войны несколько лет не командовать людьми. Совсем!

— Не буду, — огрызнулся я.

— Ну дай слово, что после войны ни под каким видом не будешь командовать людьми, хотя бы три года, — спокойно проговорил Зайдаль. — Вот при свидетеле дай слово.

— Даю.

— И то неплохо. А лучше бы лет пять!..

Пауза была такая, что мне показалось — можно было успеть отстреляться по мишени, пообедать и выспаться...

Зайдаль и Курнешов по-прежнему сидели на топчанах, теперь уже напротив друг друга. Зайдаль поднял палец:

— Теперь то, из-за чего все-таки мы пришли сюда, — сказал он.

Я кивнул — мол, «давай».

— Ухожу от тебя не по прихоти, не из фанатерии, а потому, что ты перестал быть... Как бы это поточнее?.. В тебе, кроме разведки и войны, кажется, уже ничего не остается... В тебе появилось что-то такое, что и определить-то словом неловко...

— Ну-ну, — я подталкивал его.

— Ты классный разведчик и председатель. Это немало. Но... В тебе появилось какое-то малопонятное презрение не только к смерти, но и к погибающим... Словно им не хватало

умения, «мастерства» что ли остаться в живых... Ты их будто осуждаешь за то, что они погибают. За то, что они вроде бы дали себя убить. Это... Это уже не Бенап. Это паскудство.

— Полегче,— рассудительно заметил Курнешов,— еще пару таких слов, и он прибьет нас обоих.

— Не волнуйся,— я действительно, как умел, сдерживал себя.

— Война огнем прокаливает, очищает одних, но она же коптит и превращает в привидения других. Война не только убийством отвратительна — она плодит гадов и мразь — здесь на фронте и там — в тылу. Убежден, таких, как ты, после победы перемелет первыми. Ты не только необуздан (это куда ни шло), ты начинаешь мнить себя чуть ли не центром вселенной. Если ты здесь не поймешь, что надо быть готовым ко всему — самому худшему, — здесь, сейчас, а не потом — быть нравственно литым, подкованным на все четыре копыта, с огромным запасом прочности — ТАМ, после победы, таким, как ты, покажут самую скверную «Кузькину мать», и никакие ордена тебя не прикроют и не спасут... Фашизм отвратителен тем, что он еще и страшная зараза!

— А тебя, что же, все это не коснется?

— Не знаю,— Зайдаль задумался.— Коснется, обязательно коснется. Но, мне кажется, в меньшей степени. И не сломит... Кроме всего прочего и самого высокопарного, война рождает и подлецов, и беззащитных. Мне бы не хотелось, чтобы ты вышел из нее беззащитным или, упаси и помилуй, подлецом.

По-моему, он сказал всё, что хотел...

— Ты еще один вариант пропустил — из нее можно выйти покойником... — заметил я.

— Не исключено, но я сейчас говорю о другом.

Курнешов отрешенно смотрел в потолок.

— Вроде ты поймал меня за рога, — сказал я.— И за хвост — одновременно. Но корчить из себя козла я не стану. Допустим, что ты прав. И он прав. И я («О горе!») таким, как ты говоришь, стал... Так вот, я все равно скажу... А то — у меня в башке что-нибудь лопнет, расколется... Вы оба: и ты, и ты — давно уже не воюете.

— Как это?! — встрепенулся Курнешов. («А-а-а, проснулся-таки!»).

— А вот так! Ты теперь в штабе маешься, ты в зампотехах — («Извините!») — мой оскал должен был означать улыбку, и я не претендовал на то, чтобы она была обворожительной.

— Пусть я,— взбунтовался Зайдаль,— но Василий сколько командиром взвода пропал?! —

— Недолго. Одну Орловско-Курскую опе-

рацию. Тухнут не от сложностей заданий, а от продолжительности нахождения в мясорубке... Больше — меньше... А меня все время... Помоями. И войной. Когда... вы произносите... свои пр-р-риговоры!.. — я был на грани, меня уже колотило от обиды и отвращения.— Легко быть чистоплюем и рассуждать... Но не убивая! — моя тирада произвела впечатление.

— Ты сегодня красноречив, председатель,— с трудом проговорил Курнешов, лицо у него покрылось пятнами.

— А что?.. Я, кажется, надолго лишаюсь таких замечательных собеседников... От меня уходит друг!.. Могу я на прощание позволить себе?..

— Ты все больше и больше себе позволяешь,— тихо сказал Зайдаль.

Я достал из полевой сумки приметную разрисованную картонку, где лежали Устав, Нормы поведения и несколько писем — память о погибших товарищах.

— Выберем нового председателя,— сказал я.

— Без фокусов,— жестко заявил Зайдаль.— Председателем останешься ты... Наше «Содружество» — это лучшее, что ты, может быть, создал за всю свою жизнь.

Курнешов небрежно поднял руку, как бы подтвердил свою солидарность со словами Зайдаля. Мне оставалось хоть за это поблагодарить их обоих, но не было слов... И я больше не утруждал себя.

Я один. Землянка — чистая, светлая, с застекленным окном — верх фронтového пикетства. Радость души — моя землянка... Сижу в углу. Дурацкое объяснение отняло, оказывается, куда больше сил, чем я мог предположить.

Стал делать скрутку. Махорка сыпалась на шаровары, пальцы плохо слушались... И стало накатывать... А это особое состояние — оно обволакивает, липнет. Как видение.

Точно такая же землянка, но намного просторнее. В ней сидит один человек. Это, кажется, я. Без головного убора, без наград — только гвардейский знак. Сумерки.

Это было в том Брянском лесу. Ровно год назад. Всего один год, но это было очень давно.

Белизна тесанной топором древесины, два топчана, колобашки вместо табуреток, круглая столешница, горизонтально-продолговатое окно под потолком, лампа-коптилка из стреляной гильзы, но над столом висит 12-вольтовая лампочка с абажуром... (она потом зажжется).

Нас тогда было много больше, чем теперь... Землянка заполняется сразу, и сразу

до отказа. Кажется, приди еще хоть один, и некуда... Но придут еще и поместятся.

— И не воюем уже около месяца, а поте-ри... (отборная матерная брань).

— Каждый день потери, как в наступле-нии.

Лысков затыкает уши, звук исчезает. Он опускает ладони, и звук появляется снова.

— ...Вот именно! От этих мин...

— Что ты предлагаешь? (Брань. Видимо, несется что-то несусветное, и Николай Лысков то закрывает уши, то открывает.)

— Кончится война, придем домой. А ты без утрабованных булыжников мата — «Здравствуй, мама!» — сказать не сможешь...

— Печально, но так, — говорит Курнешов.

— Как говорил профессор Роледер — знаток любви и пола: «Все вы тро-гло-ди-ты!» — это вклинивается Зайдаль.

— Ерунда! Троглодиты были славные ре-бята.

— И никогда не матерились!

— Они, правда, иногда съедали своих ро-дителей.

— Ну и что? Из родственных чувств! — заявление бывшего геолога из Ташкента лей-тенанта Кожина.

— Иногда от жгучего голода... — добав-ляет Андрюша Родионов (сивый).

— И от всей души! — прибавляет его черный курчавый двойник Борис — общий хохот.

— Пора выпить! Я же принес, — это ры-чит крижистый комроты мотоциклистов Ро-манченко.

— Ти-ши-на!.. Романченко! Это тебя тоже касается...

— Ну вас на хер, ребята, почему вы все время ругаетесь?

— Ти ши н а!.. — жест, водворяется пол-ная тишь. — Что происходит, господа офи-церы, — ставлю вопрос торчком! Ранение каждого из нас, я уж не говорю — гробеш-ник, и семья в тылу остается без средств, попросту говоря — без жратвы!.. На пять-шесть месяцев!

— Ладно, меня угробили — я хоть жрать не прошу... А при чем тут мамы-тети-дети?..

— Раньше четырех-пяти месяцев денеж-ный аттестат до дома не доходит.

— Откинуть копыта можно быстрее, чем на фронте.

— Нужны деньги. Много денег.

— Ограбить полевой банк!.. — в два голоса предложили ростовчане Андрюша и Борис.

— Предлагаю создать Союз Офицеров Антиматерщинников — Софант! — пред-лагает лейтенант Лысков.

— По-моему, сильная идея, — бубнит Дол-матов.

— Сообщество!

— Без всяких «со» — общество.

— Угомонились!.. Предлагается создать Общество Гвардейских Офицеров по борьбе с матерной и всякой иной бранью, — снова берет бразды правления хозяин землянки. — И за денежную поддержку родных и близ-ких в тылу — в случае ранения или отходной каждого из нас.

— Ура! — все очень рады, и никто не со-бирается умирать.

— А, собственно, почему «ура»? — это выступил врач батальона Валентин. — Зай-даль, скажи, — он говорил с легким северо-кавказским надстоянием. — Если все ваши словесные обороты и пожелания мгновен-но сбудутся?.. Ма-те-ри-а-ли-зуются!.. Пред-ставляете, какая в мире образуется похаб-щина?! Вы только послушайте друг друга. Я уж вообще не говорю о Романченко.

— При чем тут Романченко?! — протес-тует Петр. — Чего привязались? Пора вы-пить! Я что, сюда пришел ваши речи слу-шать?..

В лесу раздается сильный взрыв. Много-кратно отзывается эхо...

К выходу кидается Тося Прожерина. Не-сколько человек срываются и выбегают из землянки вслед за ней.

Оставшиеся сидят молча и ждут...

Обратно входили по-одному, пробирались на свои места молча.

Последними возвратились ростовчане: Ан-дрюша и Борис.

— Подорвался ординарец особняка.

— Ну этот, худощавый, сутулый!.. Все вре-мя с котелком бегал на кухню...

— Ногу оторвало.

— На mine? — растерянно спросил Лы-сков.

— На куче противопехотного!.. С новым фокусом.

— Кто только этот лес ни минировал: наши с переляку, партизаны от немцев, нем-цы от партизан, потом опять от нас... Много-слодная каша!

— Особенец Бо-бо говорит...

— При мне не упоминать его имени! — это заявляет Романченко.

— Объясни?.. Это почему?

— Он... Моего автоматчика Зеленина!.. Из его взвода! — указывает на Кожина. — Выспрашивал... Тьфу!.. В общем, как я там за передним краем: да при входе, да при выходе! Что сказал? Как дышал?.. И выбрал-то, кото-рого я с собой туда никогда и не брал. А Зе-ленин сразу пришел и к Кожину — все рас-сказал... (Хохочет один.) Я этого Бо-бо встретил: «Другой раз, — говорю, — пой-дешь со мной. Сам! И расспрашивать не придется». Он туда-сюда: «Да я, да он...»

«Узнаешь,— говорю,— как я там себя веду». А?! (Хочочет.)

Все подтянулись, переглядываются.

— Контрразведка — это данная нам реальность... Против реальности не поперешь,— сказал Курнешов и пригладил челку.

Вошла санинструктор Тося Прожерина и тихо села на свое место возле Кожина. Ее никто ни о чем не спросил.

— Доктор задержится,— сказала она.— Там работы по горло.— И поплотнее прижались к геологу, как бы под его защиту.

— К делу,— хозяину землянки пришлось прокашляться.— Кто за создание Общества Гвардейских Офицеров? Будем голосовать. Кто против?.. Кто воздержался?.. А ты почему не голосуешь? — спросил он Тосю.

Она пожала плечами, хлопнула белесыми ресничками:

— А я не офицер...

— Ладно. Разберемся... Николай Лысиков прочтет наметки устава.

— Сначала нужен лозунг. Или как его?.. — тихо произнес Николай.

— Пароль.

— Девиз! — ему подсказывали.

— Предлагаю Устав — отдельно, Нормы поведения — отдельно,— это, конечно, Курнешов.

— Девиз: «Смелость, смелость и еще раз смелость!» Дантон,— это предложение хозяйина землянки.

— Дантон мне мил! — паясничает Андрюша.— «Никогда, никогда не унывай!» И подпись — «Мы».

— Это же из ковбойской песни?

— Из американской!

— Ну и пусть из ковбойской.

— Ура,— Романченко торопится завершить процедуру.

— Никола, пиши протокол.

— А нас тут всех за жопу не возьмут? Вместе с протоколом? — интересуется ростовчанин Борис.

— С чего бы?

— А с того!.. Пропущено... Кое-что... Значительное!.. И кое-кто!

— Ясно...— водворилась смущенная пауза, кто-то скорчил рожу.— Вот тебе и Дандон-брат! — брякнул Долматов, этот тихий командир минометного взвода.

— Резонно,— поморщился и мягко согласился Лысиков.

— Надо, ребята. Чур, не заноситься...— это разумник Курнешов.

— А чего вздеть?! — это, конечно, Романченко.— Взялся за... не говори, что... А ты что подумал? Плати! Оштрафую его, оштрафую! — ерничает и сам хочочет.

— Не бузи, Петр,— это все тот же Долматов.— Вот предлагаю вполне надежное — «Мщение и смерть немецко-фашистским

захватчикам!» Иосиф Виссарионович Сталин. А?..

— Годится. Но короче: «Смерть немецко-фашистским захватчикам!» Сталин.— Это хозяйин землянки.

— И ставим его впереди Дантона!.. Никакая блядь не придерется! — рад своей находчивости Андрюша.

— Эй, ты, полегче...— одергивает его Борис.

— Ну, голосуем... Принято единогласно.— Даже Тося скромно подняла руку.

— Потерпи, Тосенька, вот увидишь, скоро ни одна...— хозяйина землянки словно свела судорога, но он вывернулся и почти не выругался,— ...сво-ло-та не посмеет при тебе... Вот тебе... ВЦСПС! — он размашисто, почти кулаком, перекрестился и отвел руку в сторону, как регулировщик.— Выбираем председателя. Я предлагаю...

— Твоя идея, тебе и быть! — говорит Зайдаль.

— Ты! — закрепляет Курнешов.

Все поднимают руки.

— Теперь секретарь-казначей...

Зайдаль и Курнешов вместе вытянули руки и пальцем указали на лейтенанта Лысикова, все повтыгивали руки и воткнули пальцы в Николая Лысикова. Большой, даже грузноватый, он прижал обе руки к груди и, словно буддист, поклонился — его нос покрылся испариной:

— От имени башкирского народа и МИСИ большое русское «мерси».

— Гимн! Свой гимн нужен...

— Товарищи офицеры. Гимн есть...— тихо произнес зажатый в самый угол наш танковый самодельный поэт Иван Белоус.— Гимн Бенапов!

— Каких еще Бенапов?

— Что за Бенапы?

— Цыц!.. Слово нашему единственному Белоусу Ивану!

Ему дали выдвинуться вперед. У всех «политические» зачесы, а у него пробор посередине темной густой шевелюры, под Есенина. Он начинает читать текст гимна:

Бенапы —
наш девиз!

Пароль!

То есть

«Бегущие На Помощь!» *

Кто-то вынул из ножен нож с черной рукояткой и начал выстукивать по столешнице ритм. Все, кто мог, сделали то же самое, и в землянке стоял деревянный клекот, а Белоус читал:

* Стихотворный текст поэта Михаила Львова — гвардии рядового Уральского добровольческого танкового корпуса.

Бежать на помощь —
днем и в полночь,
Все — что возможно —
сделать тотчас...

Окрик часового. Все оборачиваются.

На пороге чуть ссутулившийся офицер с доверчивым открытым лицом. Потолок ему мешаает, он снимает фуражку, берет ее в левую, согнутую в локте руку и, распрямляясь, улыбается.

— Разрешите? — говорит он.

— Прошу любить и жаловать, — представляет его председатель, — Георгий Нерославский, мой друг, из танковой бригады. Закадычный! Мы еще в училище вместе пахали...

Люди утрамбовываются, гость пробирается и садится рядом с председателем, кладет на стол небольшой сверток. Его сразу разворачивают.

Обсуждение продолжается.

— За всякую ругань — пять рублей на оскорбленного! — Это первое предложение Лысикова.

— Тебе хорошо — ты вообще не ругаешься — три! — предлагает Борис.

Среди новых гостей затесалась худенькая Юлия — короткая стрижка (совсем мальчишеский ежик) и очень большие, чуть испуганные глаза — вроде бы тихоня, но ее присутствие влияет на это сугубо мужское собрание. Тося Прожерина не в счет — она своя, к ней привыкли, и она всегда прилеплена к Виктору Кожину.

— Хорошо — три! Но в присутствии женщин тире девушек ставка удваивается, — предлагает Лысиков. — Получится шесть.

— Не так. Присутствие каждой женщины удваивает ставку, — уточняет Зайдаль.

— Даже если она...? — хочет спросить Романченко.

— Абсолютная девушка... — выправляет положение Курнешов.

— Ладно, половина денег на помощь родным, в случае ранения-смерти — согласен. А с остальным что будем делать?

— На пропой! — вопит Романченко.

— Вы что, взбесились?

Дружно скандируют, притом втягиваются почти все и стучат черными рукоятками ножей по столешнице:

— На пропой! На пропой! На про-пой!!!

— Тогда уж лучше ругаться. Сопьемся.

— Не так. После первой рюмки ставка еще раз удваивается!

— Принимаем, — азарт растет. — Подписываем! И...

— Последняя подпись автоматически включает счетчик. Вы слышите? — объявляет председатель.

— Соберитесь с духом! — предупреждает Зайдаль.

Начинается торжественный акт подписания Устава и Норм поведения. Председатель объявляет условия игры:

— Теперь каждый может выбрать одну из заповедей и расписаться против нее.

— Начинай.

Председатель:

— Я давно выбрал — Смерть каждого Бенапа — это и моя смерть... — подписывает.

— Ну тебе умирать да умирать, — брякает Зайдаль.

ВРЕМЯ — первое документальное отступление.

Пояснительный текст.

Эпизоды «ВРЕМЯ» создаются из редких документальных киноматериалов второй мировой войны — советских, немецких, английских, американских — каких угодно — лишь бы они были не затасканы, найдены и несли определенное значение — ОБРАЗ ВРЕМЕНИ. И небольшие игровые эпизоды (как бы подробно они ни были написаны, они должны быть очень короткими, почти проблесками) — обстоятельства гибели персонажей этого повествования, снятые под черно-белую хронику, словно наспех, без ракурсов, закомпонированных кадров, без логически выстроенных монтажных переходов. Здесь могут быть и странные документальные кадры, определяющие стиль, эпоху и образы времени, совсем уж, казалось бы, не относящиеся к войне.

Здесь и наша война, во всех ее проявлениях, и война нашего противника, в Средиземноморье, в Атлантике и на Тихом океане; на земле, под водой и в воздухе, у черта в ступе и в преисподней — война союзников.

Первое документальное отступление захватывает период войны Орловско-Курской битвы июля — августа 1943 года — высшая точка действительно переломного момента, где нашла коса на камень, и никто не мог сказать, где металл, где минерал. Никто не мог предсказать исхода этой битвы — следовало ее совершить до конца. Цифры и подсчеты ничего не объясняют.

Это там все еще брали не мастерством, не маневром, не большой игрой, а истощенной силой — танки шли на танки, артиллерия молотила не только врага, схлестывались насмерть, вгрызались то одни, то другие на каждом метре, силой ломали силу и не столько побеждали, сколько вытесняли, выдавливали... И гибли... Перед рассветом охумелый противник, имитируя подготовку к атаке, отступал, а наши докладывали с оттенком недоумения о невесте как свалившейся победе, а сами судорожно начи-

нали искать противника («опять пропал!»). И чуяли, чуяли, что еще две-три такие победы — и нам просто нечем будет побеждать его. Но, что ни говори, все равно это была хоть и тяжелая — слов нет, какая тяжелая — а победа во всесветной битве на Орловско-Курской дуге. За освобождение городов Белгорода, Орла, почти до основания развороченных Карачева и Брянска...

Снимать под ЧБ хронику.

Это там, тогда, на склоне уходящей вверх горки, в этой самой грязи, между Волочичским и Сахарным заводом, разведгруппу Виктора Кожина остановил противник?.. Навстречу разведчикам вышел тяжелый танк «тигр». Мостки он разбил в щепки с двух снарядов. Сразу появились раненые. Тося одернула юбочку и попробовала вскочить...

— Лежи! — крикнул ей Кожин. — Жди!

Она отмахнулась, сильно пригнувшись, кинулась вперед, добежала до раненого, плюхнулась возле него, наскоро перевязала... хотела оттащить его назад — разорвалась мина — раненого убило, ее ранило... Потом и ее, и убитого снесло одним снарядом танкового орудия.

...Нет, это было не тогда... Это произошло гораздо позднее. Но какая разница!..

Конец документального отступления.

В лесу на Висленском плацдарме стояла болотная тишина и разливался мутный покой. В полуденный час на пороге моей землянки появился гвардии старший лейтенант Курнешов.

— Сходи-ка в офицерскую землянку бронероты, там Зайдаль... — произнес Курнешов.

— Не пойду, — ответил я.

Он вошел, но не сел, снял шапку, пригладил ладонью реденький сивый пробор.

— Сходи. Зайдаль сошел с катушек.

Я подумал, что он с кем-то там схлестнулся, и спросил:

— С кем это он?

— Сам с собой, — ответил Василий. — И со своей рыжей...

Когда я вошел в офицерскую землянку бронероты, Зайдаль плакал и ругался. Сидел на нарах, шинель внакидку, подобрал полы под себя и кутал ноги. Все постели были свернуты и лежали в изголовьях, светились чистые доски. Военврач Валентин облокотился на подпорку, и вдоль стены в узком проходе теснились пять смущенных офицеров. Холод был погребный — землянку выстудили, а печь не топились.

—...Друзья — называется. — Зайдаль вытянул тонкий длинный палец и почти упер в грудь командира бронероты. — Вот хрен-тебе-кочерыжку! Не дам полусы! Кати на передних колесах. У-у-уберите вы эту рыжую... Тварь!

Грузноватый и простодушный комроты Пашенко, ростом под потолок, пытался уговорить Зайдаля, нелепо шарил руками в воздухе там, где она могла находиться, даже приседая на корточки для убедительности, и старался доказать своему помпеху:

— Гляди, нема туточки никакой бабы! Нет ее! Не дури. Зайдалька. Откуда ей взяться?.. — офицеры как могли поддакивали своему командиру, кивали, разводили руками. Военврач пронзительно, как гипнотизер, смотрел на Зайдаля и не участвовал в разговорах. Он решительно подошел ко мне и проговорил:

— Буйное помешательство на почве... — он еще больше понизил голос. — Ему мерщится, что жена все время стоит тут. Он гонит ее, а она не уходит и даже лепит ему что-то ухлое. Типичный...

— Наконец-то пришел! — вскрикнул Зайдаль, как только заметил меня. — Скажи им!.. Слепые!.. Вот она, рыжая сволочь! Ну чего ты уставилась?.. Издевается! — Он снова заплакал. — Ради всего... У-убери!.. У-бе-ри ее!.. Предсатель!..

Надо было тут же что-то делать.

— А ну, давай все отсюда. Уматывай! — скомандовал я своим товарищам (в других обстоятельствах они бы понесли меня так, что землянка бы рухнула, а тут покорно двинулись к выходу). — Ты чего застыл, ждешь особого приглашения? — сказал я врачу, он пожал плечами, но тоже вышел, низко пригнув голову.

Мы остались вроде бы одни, если не считать рыжей, которая была для Зайдаля реальнее, чем я.

— Ну вот! — проговорил, он, вытирая ладонями слезы. — Видишь, она тебя тоже не слушается, — вытянул руки в сторону пустого угла.

— Ты зачем пришла? — произнес я и направился в тот угол. — Сука... — Я ринулся в борьбу с женщиной, которой не было, применял самые жесткие приемы и держал увесистые ответные удары.

Внезапно я отлетел к самой двери и больно ударился о земляной выступ, словно меня действительно кинуло туда. На меня накатил раж, и я снова кинулся врукопашную: старался скрутить ее, перепоясал руками, оторвал от земли, ощутил ее пружинистую силу — старался опрокинуть ее, потерял равновесие или она подсекала — в падении раскрасил скулу о стойку, прижал ее к столику,

котелки с грохотом повалились на пол. Я угрожал, клялся придушить, уничто... (но я не собирался ее убивать!).

Зайдаль всем корпусом подался вперед и следил за поединком.

Мы чуть не опрокинули железную печку — труба развалилась, и сажа летала в воздухе. Мои силы были на исходе (но и она стала сдавать), я изловчился, приподнял ее, дотщил до двери, заломил руку к затылку, схватил за рыжую копну волос, ногой распахнул дверь, вышвырнул ее в ступенчатую траншею и кинулся туда следом.

Наверху стояли офицеры и врач — на их лицах была догадка: «Он спятил вслед за Зайдалем». Посмотрел на руки — черные, но почему-то в крови. Какое же тогда лицо? Метнулся обратно в землянку...

Захлопнул за собой дверь и подпер ее спиной. Пот заливал глаза и солонил губы. Зайдаль сидел худой, всклокоченный, глаза светились боевыми огнями, словно сражался с ней он.

— Она опять ломится в дверь, — проговорил Зайдаль. — Рыжая тва-а-ары!

Дверь действительно ходила ходуном, я уперся ногой в боковую стойку и сдерживал натиск.

— Как только ты уйдешь, она войдет и будет меня мучить, мучить! — приподнятое плечо, закинутая голова и чернота в обводах глаз, домиком ушли на высокий лоб брови — для него это было истинной пыткой.

— Не дам! — сказал я решительнее, чем следовало, в правой ладони обнаружил рукоятку «вальтера», большой палец снял пистолет с предохранителя, левая рука перевернула планку затвора.

Зайдаль смотрел уже с удивлением, его губы чуть скривились, он не верил, что у меня хватит духу все это кончить одним махом. Дуло пистолета глядело в потолок, палец лежал на спусковом крючке — я вышел из землянки.

Видавшие виды офицеры шарахнулись, словно я мог пристрелить каждого из них. Не раздумывая, дважды выстрелил себе под ноги, в корневище старой сосны, и в промежутке между двумя выстрелами успел глянуть на ребят — «мол, вот так, а что поделаешь».

— Бегом по постам, — скомандовал Пашенко, — предупредить караул — выстрелы случайные! — И сам побежал к штабу.

На какое-то мгновение показалось, что я и вправду убил ее: словно между корневищами лежала женщина, голова уперлась в ствол, а волосы рассыпались по вытопанному снегу.

— Ты почему не пускал меня? — тихо спросил военврач.

— Заткнись! — Я вернулся в землянку.

— Ты ухлопал ее, — проговорил Зайдаль без тени сомнения.

— Поволокли к оврагу, — ответил я.

Его взгляд ушел в бесконечность.

— Ты настоящий друг, — пусто проговорил он вполне нормальным голосом. — Но ты же видел, ты же знаешь... Она... Она такая женщина!.. Такая...

Тут я произнес уже черт знает что:

— Зайдаль, если она опять придет, позови меня. Я ее... Да так, что и на том свете будет покойницей.

— Ты настоящий... убийца, — спокойно проговорил Зайдаль. — Я недооценивал... — он вроде бы совсем сник, обессилел.

Я позвал Валентина, и Зайдаль дал сделать себе первый укол.

— Только не отправляйте меня в тыл... Пожалуйста, — бормотал Зайдаль. — Я выздоровлю... Обещаю... Простите меня, ребята... Столько хлопот, столько хлопот... Пожалуйста... — и затих.

— Соорудим круглосуточный график дежурств, — распорядился медик, — Пашенко согласен... Этих расселим по землянкам... И никому ни слова.

Комбат Беклемишев спросил у Курнешова:

— Что там у вас со старшим техником-лейтенантом Лейбовичем?

— С каким? — переспросил Курнешов.

— Ну с Зайдалём, как вы его там называете, — несколько ехидно, но в общем довольно добродушно уточнил замполит Градов. (Просто у него была такая манера разговаривать с подчиненными и переносить ударения — юмор! До тех пор пока он не начинал злиться, у него получалось довольно симпатично.)

— Не мы его так называем, товарищ гвардии майор, а так зовут его от рождения — Зайдаль Иосифович... Так вот... Простудился он. Сильно! — Совсем не умел врать Курнешов, но учился старательно. — Температура (Василий присвистнул)... Медицинские меры приняты. Выздоровливает. В приказе по штабу заболевание отмечено. — Пригладил челку и заодно вытер лоб.

— Ну-ну... — хмыкнул Беклемишев.

Градов пожал плечами, и погоны на его гимнастерке, как два кота, угрожающе выгнули спину.

Зайдаль лежал один на широченной наре, рассчитанной на семь-восемь человек, и спал, высоко задрвав голову.

Дежурный топил железную печь.

Я положил на столик свой доппаек. Дежурный только кивнул в знак того, что видит.

«Осторожно — мины!». Тот лес, той военной поры, это явление мощное, грозное и для одних гибельное, для других спасительное. Сосны в полтора обхвата, на дорогах — завалы нерастащимые, многолетние залежи стволов, веток и хвороста. Да все это еще заминировано.

В осеннем лесу бывает особая тишина — завораживающая, затаенная. Она убаюкивает всякую осторожность...

— Ой, вон еще... Еще... — она собирала позднюю ягоду и грибы одновременно, грибы в пилотку.

Высокая, угловатая, еще толком не сложившаяся, на тонких ногах, торчащих из сапог, и ее подруга — худенькая, ладная, стройная — та самая Юля, что сидела вместе с нами в землянке. И встретились на тропе... Обе забирались все глубже в лес от предупредительной таблицы саперов: «Осторожно — мины!»

— Не дури, здесь этих мин... — спокойно сказала Юля, а сама собирала и отправляла в рот ягоды.

Обе были еще в летней армейской форме. Первая, худая, длинная, уже добралась до большой кучи хвороста:

— Ой, Юлька! Ну сколько же здесь!.. И вот тут еще... Иди сюда... И еще... Иди скорее...

Сильный хлопок расколот тишину. От кучи хвороста медленно отлетала маленькая серенькая тучка — она плыла над лесной травой и не растворялась. Одиноким девичий крик о спасении разорвал вздрогнувший лес:

— А-а-а!.. На по... По-о... Спа-аси-и-и!.. — первая, худая и высокая, лежала плоским брошенным лоскутом на траве. Юля двумя руками схватилась за лицо и с криком тыкалась в стволы деревьев.

Со всех сторон туда бежали люди...

...Я мчался, казалось, быстрее всех. Но это только казалось — я не мог их догнать. Николай Лысиков еле-еле поспевал за мной... Тут я остановился и заорал:

— Слушай команду!.. Сто-о-ой!! Все-ем сто-о-о-ять! Всем!! — а глотка у меня луженая. — Передать команду!

Но передавать не было необходимости — и так все встали как вкопанные... Опомнились.

— Братцы, стоять!.. Ни с места... Ведь мины. — А сам кинулся к уползающей ядовитой тучке. Схватил ту, что держалась двумя руками за лицо. — Юля! Юлечка... — прижал ее к стволу дерева. — Погоди. Погоди, хорошая... — силой оторвал руки от глаз. — Хоть свет видишь?

— Свет... вижу... — а сама рукой показывает в сторону хвороста (значит, видит). Зайдаль оказался рядом.

— А ты зачем?..

— Затем.

— Держи! — я отдал Юлю ему. — В медсанбат. Сразу... — а сам кинулся к той, что лежала в самой безнадежной позе...

— Может быть, не будем своими телами разминировать?! Может быть, позовем саперов?! — это издали спокойно, но так, чтобы все слышали, произнес Курнешов.

Рядом с ним стоял понурый Долматов, руки запустил в карманы и был, как всегда, невозмутим. Оба очутились в цепочке оставившихся солдат, парней и девчат из батальона связи.

А Лысиков, Андрюша и Белоус уже были рядом. Я переворачивал убитую.

— Да-да, саперов бы сюда... — произнес Лысиков сквозь одышку, он был мокрый как мышь, дышал тяжело, прерывисто.

— Чего у тебя там? — спросил Белоус.

— Бывает... Булькает... — ответил с большим трудом Лысиков, все его лицо, и нос в особенности, покрылось испариной.

— Ну вот... Берем остороженько и... — сказал я.

Но Белоус отодвинул меня, отстранил Лысикова, который уже собирался поднять убитую, и легко поднял ее сам — раскиданную, почти невесомую девочку... Фуражка у него упала с головы, и я поднял ее. Потом поднял ее пилотку...

Мы шли след в след, гуськом — впереди Андрюша торил взрывоопасную тропу, за ним Белоус с девочкой на руках, Лысиков и я... А те, что стояли в линию с Курнешовым и Долматовым, ждали.

ВРЕМЯ — второе документальное отступление.

То, чего не было в сводках. Сначала из советской кинохроники тех лет. Потом из немецкой кинохроники. Потом повторяющиеся подряд по два-три раза — вперемежку: одно и то же, одно и то же...

И та, и другая воюющие стороны оставили очень мало подлинных свидетельств той войны. Снимали все больше победы и не снимали поражений. Выходило, что вроде бы воюющей стороне подлинность, правда о ее судьбе не нужна. А нужны одни и те же кочующие из номера в номер кадры, на которых можно произнести фразу о значительных или огромных потерях врага... Но вот беда — на войне всегда есть твой противник, и он-то уж старается зафиксировать главным образом твой позор и поражение.

Документальная часть:

1. Мы не могли видеть этого... И никогда не видели. Потому что эти кадры снимала

немецкая кинохроника: идут наши пленные, взятые во время разгрома советских наступающих войск на Изюм-Барвенковском выступе, при попытке освободить город Харьков (командующий маршал Тимошенко, член военсовета генерал-полковник Хрущев), весна 1942 года. Операция, поддержанная самим Верховным Главнокомандующим, «По полному и окончательному освобождению Украины», захлебнулась на пятые сутки и была разгромлена наголову... С юга на север ударили танковые и подвижные части армии генерала Клейста; навстречу с севера на юг ударили подвижные и танковые части армии генерала Паулюса — они соединились, крышка котла захлопнулась наглухо... И силы целого фронта, какой там — всей южной группы фронтов! были почти полностью деморализованы, смяты, уничтожены. Немецко-фашистское командование утверждало, что «взято в плен свыше 400 тысяч советских пленных». Наши военные историки признали после войны, что, «мол, действительно, — 250 тысяч было...». Истина лежит где-то посередине — 320—350 тысяч здоровых вооруженных и оснащенных для наступления бойцов и командиров — шутка ли?! А если прибавить убитых, а если прибавить раненых, добытых... а сразу расстрелянных?! Трагедия — о которой до сих пор ничего вразумительного не сказано. Эта операция открыла путь немецко-фашистским полчищам на юг, через Ростов-Дон, вплоть до Северного Кавказа и Волги.

2. ...А этого уже не видели ОНИ, потому что эти кадры снимали наши фронтовые кинооператоры, — тотальный разгром немецко-фашистских войск под Москвой, под Ростовом (Дьяковское сражение), под Сталинградом, на Северном Кавказе, в Крыму...

Снимать под ЧБ хронику.

После того взрыва в лесу у Юли обгорели волосы, брови и ресницы. Появилась совсем короткая мальчишеская стрижка, и она сразу стала чуть пририсовывать себе брови. Юлю наскоро подлечили, а глаза, хоть и опаленные, остались такими же голубыми, светлыми и пугливыми.

Ребята сфотографировали Юлю у палатки медсанбата, в лесу, рассматривающую себя в маленькое зеркальце...

Ординарец Гена Ксенофонтов рассказал ей:

— Через месяц, день в день после Тоси, в ночном бою, когда кто-то на кого-то напоролся во мраке, а потом не могли понять — кто на кого?! и как?.. — Погиб Виктор Кожин — вот так: Бац! И нету... — ординарца трясло от негодования и потери,

он закидывал голову на спину и говорил, говорил, не мог остановиться: — Помпозох все шипит — «Так хоронить! Без ничего! Приказа не знаете?!» — Да знаю я этот... приказ — хоронить без всего — без одежды... Прямо у него на глазах завернул лейтенанта в новую плащ-палатку... Зло меня взяло! Да я эту палатку!.. Этого помпозоха!.. Этих... «Не подходи! — говорю, — а то!..» Так и захоронили... Главное, ведь ровно через месяц, день в день после Тоси...

— А председатель жив? — спросила Юля. Ординарец кивнул.

Противник контратаковал направо — они вырывались из окружения. К грязи небо добавило глубокого мокрого снега. Николая ранило в предплечье. Пришлось нашим убираться в ближайший лесок через раскисшее поле. У Николая сразу сдало сердце, на лице появилась испарина — порок сердца! Он тщательно скрывал свой порок. А тут не мог идти, не то что бежать. Его наспех спрятали на чердаке хаты и строго-настрого, с угрозами, наказали хозяйке: «Вернемся через пару часов. Смотри!»

Николай Лысиков — студент МИСИ, наш секретарь-казначей. Перед самым наступлением его срочно перевели в минометный полк... Он не хотел, очень не хотел, но перевели...

Мы бы его вынесли. Выволокли. Потому что он был для нас невиданной ценностью. А там он был новеньким. Его толком еще никто не знал...

Немцы нашли его сразу. Поначалу его выручили пехотные погоны и кое-какое знание немецкого языка. С танкистом бы немцы не церемонились. Враги проявили к нему даже заботливое внимание — ведь сами тоже пехотинцы, да еще в беде!.. Николая перебинтовали, положили на полосатый матрац, водрузили на хозяйскую лежанку, накормили, даже какой-то укол сделали.

А когда наши очухались, собрались с силами и поперли на врага, пришлось немцам из деревни сматываться. Явились двое из спецслужбы, аккуратно подняли Лысикова (он был большой и тяжелый), аккуратно вынесли прямо на подосате матраце и наспех двумя выстрелами из пистолета прикончили Николая... И побежали...

...До открытия второго фронта в Европе оставалось еще (столько-то) дней.

Конец документального отступления.

В лесной просторной логовине с крутым обрывистым краем расположилась небольшая группа знакомых нам офицеров. Заняты

они странным делом или еще более странным безделием — у каждого на правой вытянутой руке висит новенький противогаз с сильно укороченной лямкой, а в ладони зажата рукоятка пистолета или нагана. Здесь Курнешов, Долматов, Романченко, Белоус, Никита Хангени и председатель... Глаз то целится, то отдыхает. Но это все как бы само собой, а разговор отдельно.

— Прошу учесть, за вами снова слежка... — сообщает Никита Хангени.

— А за вами? — смеется Белоус. — За нами и не прекращалась.

— Темную ему, — приговаривает Романченко.

— Нет — все должно быть светло, как на яру, — произносит Курнешов.

— Но разве мы что-нибудь скрываем?! — взрывается председатель.

— Но и не приглашаем... И не пускаем... — констатирует Курнешов.

— Не обязаны мы сидеть за одним столом с кем попало!

— То-огда и не ро-опщи, — церковно смиренно заключил Курнешов.

Председатель снял с руки противогаз. Все проделали то же самое — в ладонях темно поблескивали пистолеты — поднялась пальба. Каждый бил по своей самодельной мишени.

— Баста! — сказал председатель.

Оружие поставили на предохранители, позатыкали кто в кобуры, кто за пояс. Пошли к мишеням.

Возле мишени председателя Хангени произнес с искренним восторгом:

— Обалденно!

Вернулись на свои места. Повесили на руки противогазы и снова начали целиться.

— Интересно, у него в десятку, а у меня... — сетует Долматов.

— Дай ему пострелять из твоего миномета, посмотрим, куда он за-за... попадет, — скалит зубы Романченко.

— Может, товарищ пред поделится опытом, — подначивает Хангени.

— Проще простого, — председатель продолжает целиться. — Провожу от зрачка глаза абсолютно прямую линию до цели. И прошу ее не колебаться и не вихлять! Это моя Л и ч н а я Л и н и я! Она не может мандражировать! И как бы цель не моталась, куда бы ни ныряла, я связан с ней этой Линией. Не отпускаю ее — держу!.. Остается пустяк — уставную прицельную линию, которая вам всем известна, совместить с Личной Линией! Желательно это делать быстро, чтобы враг не сделал это чуть раньше тебя... Да!.. И не забудьте нажать на спусковой крючок... (нажимает пять раз подряд) — раздается пять плотных выстрелов. Пять попаданий.

— О-ох... о-охрентельно! — произносит Хангени.

— С вас штраф, Никита, — пятью тринадцать...

Словно из дыма появился коренастый косоплыв младший лейтенант — сам Борис Борисыч.

— К вам не подойдешь. Того и гляди пришлете. Здравия желаю, — говорит он небрежно.

— Великому полномоченному, — за всех отвечает Долматов.

— Разрешите поприсутствовать? — обращается как в пустоту Бо-бо.

— Письменное разрешение комбата, — огрызается председатель.

Младший лейтенант присвистнул.

Все навесили на правые руки противогазы.

— Лейтенант, подойди-ка, — сказал обиженный Бо-бо.

— А ты что, охромел?

— Пожалуйста, — подошел вразвалочку, наклонился, зашептал... — а потом сказал вслух: «Одна нога здесь — другая там».

— Так ведь он это тебе сказал про раскарячку! — ребята рассмеялись.

— Хватит балагурить, не тот случай, — у Бо-бо было действительно озабоченное лицо.

Председатель шел впереди, уполномоченный за ним. Лесная тропинка была неширокая.

— А что, связного прислать не могли? — спросил председатель.

— Значит, не могли, — буркнул Бо-бо, он еле поспевал за ним, уже задыхался.

— А мне с такой персональной охраной даже надежнее, — и прибавил шаг.

— Чего ты все время собачишься?.. И твои, эти... Бенап их мать.

Председатель обернулся, и когда они поравнялись, спросил прямо в лицо:

— Зачем опять за нами слежка?

— На кой хрен вы мне сдались? — огрызнулся Бо-бо.

— А у меня другие сведения.

— Дерьмовые у тебя информаторы. Я мог бы вообще ничего не говорить. Но обидно. Воюем вроде вместе...

— Ну, воюем-то, положим, по-разному...

— Какой-то сигнал, конечно, катится... — деловито пробурчал Бо-бо. — Но не мой.

— А чей же?

— Ты, председатель, тоже... Полегче. А то куда ни сунься, караулы выставляют — туё-моё с бандурой. Зачем?

— А не надо соваться. Ведь часовые у нас строгие. И всегда по уставу!

— Понял, — пропыхтел Бо-бо.

— А тому — другому, скажи: если мы за ним следить начнем — заикаться станет...

— Не ерпенься. Это откуда-то повыше идет... — осторожно произнес Бо-бо и оглянулся по сторонам.

— А мне грох-х-хот с ним!

— Выходит, по-вашему, штраф?

— Не отказываюсь.

Ехали по лесной дороге — «додж-3/4». Бо-бо как разводящий важно восседал рядом с водителем, а я, как суслик, в кузове на откидной скамейке отбивал зад и спину. Дорога лесная, на корневищах бьет страшно...

Но вот тряска чуть угомонилась, и на противоположной скамье почти что появился Зайдаль — усталый, измученный, как из землянки бронероты. Вернее, сначала появился его голос, а потом и Его Преподобие. Он произнес:

— Вот и жены у меня нет.

— Как это — нет? — спросил я.

— Вот так — нет, и все... — глаза у Зайдала как ничейная полоса.

В руке конверт и фотография 6×9.

Судя по фотографии, она была женщина решительная, даже атакующая. «Не просто рыжая, — говорил Зайдаль. — Ты не понимаешь, пламенная женщина! Жаль, что не принято фотографироваться в рост. У нее стать — литая фигура!.. Как она ходит!.. Невиданная женщина!»

— Отсюда, — я имел в виду фронтовую землянку, — они все невиданные! — так я пробовал снять драматизм момента.

Он словно не слышал меня:

— Богиня, — произнес он отрешенно. — Я тебе не говорил?.. Она же работала в Латвийском постпредстве.

Листки письма были исписаны размашистым, но ровным почерком.

— Может быть, прочтешь? — спросил я.

Он упрямо мотнул головой.

— Как знаешь.

— Извини... Написано по нашему семейному коду. Тут она сообщает, что это письмо последнее. Ее забрасывают в Ригу. Это ее родной город.

— Погоди-погоди, Рига же освобождена уже тринадцатого октября?

Он вертел конверт в руке:

— Письмо отправлено много раньше. Прошло более двух месяцев... Она почему-то вроде бы прощается.

— А может быть, письмо задержалось на полевых почтах или в цензуре?

— А что если она оставила это письмо кому-то на крайний случай, и когда уже все произошло, тот другой отправил его?.. — искал ответа Зайдаль.

— Какого дьявола ты сразу берешь крайность?!

Он словно не слышал меня.

— Тогда это уже не письмо... Это похоронка, — произнес он.

И тут же у него произошел какой-то сдвиг в ощущении времени:

— Как они смеют? — спросил он пусто-ту. — Зачем они ее туда посылают?.. Она такая заметная! У нее волосы светятся даже в темноте. И видны за километр. Ее же так много людей знает в этом городе. Там ее убьют. Сразу. — Он говорил так, словно все это еще не произошло, а только могло произойти.

— Ты офицер разведбата! — мне хотелось как-то остановить его. — Ходить в тыл к врагу — это норма!.. Ты сам лазил в ничейную полосу, возился там под самым носом у противника... Ты же сам вытаскивал оттуда подбитые машины...

Он резко перебил меня:

— При чем тут ночь, полоса, машины?! Она такая заметная!.. Ее схватят сразу... Нет больше у меня жены.

Возразите ему мне было не под силу. Успокоить нечем. Я только предложил:

— Может быть, переберешься ко мне обратно?

— Нет-нет, — поспешно ответил он... И исчез...

...А мне все казалось, что это она, его рыжая, статная, на великопленных ногах, фигура вызывающая и складная до одури, идет по тротуару оккупированной немцами Риги — оглушительно громко постукивают ее каблук, и все прохожие, в том числе и немецкие офицеры, оглядываются на нее...

Она идет, идет, идет!

Стучат ее каблук!

Машина «додж» круто свернула с лесной дороги влево. Нас остановил какой-то таинственный патруль, но проверили документы только у особиста. Перед выездом на опушку автоматчик с флажком указал съезд, машина остановилась. Выпрыгнул из кузова и стал разминаться. Дальше меня вела по открытому полю. Небольшая группа людей виднелась возле и создавала окружение фигуре высокого ранга. В самой ложбине, на земле, сидело около сорока офицеров. Бо-бо пробурчал что-то командное и, косолапя, приступил бегом к стоящей в отдалении группе старших офицеров.

Я остановился и ждал. Он там так откозырял, что жилы чуть не полопались, что-то доложил и побежал обратно. Вернулся мокрый, лицо в пунцовых пятнах, еле дышит.

— Разрешите спросить? — униженно промямлил я.

— Ну-у...

— Вы там от натуги чего лишнего не сказали? А то отсюда послышалось...

Бо-бо только отмахнулся:

— Ты язык-то придержи, — еле справляясь с одышкой, выговорил он. — Тихо подойди! Не здороваясь, сесть на землю!

— А дышать можно? — осведомился я.

— Да, чуть не забыл — курить нельзя! — вспомнил Бо-бо.

Мы спустились в ложбину и присели, подобрав ноги. Офицеры действительно не курили, и никто не разговаривал. Разведчики взглядом отыскивали среди сидящих знакомых — подмигивали, чуть кивали друг другу. Небольшая группа старших офицеров подошла и присела у края полукружья. В отдалении остались только двое — костистый, среднего роста, прямой, как шомпол проглотил, в безукоризненно ладном, а главное, не в полевом, в повседневном маршальском облачении — командующий фронтом. Он двинулся к сбору в сопровождении худого как жердь, высокого старшего лейтенанта, который отличался от всех присутствующих тем, что на его гимнастерке справа был только гвардейский значок и больше никаких наград. Несмотря на сутуловатость, строем, хорош собой, небольшие аккуратные усики.

Комфронтом остановился и долго рассматривал — не сидящих на траве, а линию горизонта. Козырек его фуражки был плотно надвинут на глаза. Потом коротко кивнул — так, мол, вроде «здрасте».

— Товарищи офицеры! — сухо проговорил он. — Здесь собран костяк разведки нашего фронта. Так что... — помолчал. — Немецкое командование дало клятву своему фюреру и своему народу нас за Вислу не пускать. Мы находимся за Вислой и отбили все контратаки. Враг сделал все, чтобы не дать нам расширить плацдарм. Мы его расширили и сделали Сандомирским. Теперь они стягивают сюда свои химические части и хотят залить нас газом. — Вот тут всем стало неуютно. — Как ответить им — это уж наша забота! Есть сведения, что сюда прибыл Адольф Гитлер. Он приказал своему командованию вышвырнуть нас с плацдарма, опрокинуть в Вислу или умереть. — Помолчал. — Я думаю — пусть лучше умрут... — комфронтом чуть отступил в сторону и прошелся, глядя поверх голов. — А теперь с вами будет говорить старший лейтенант.

Гвардеец с усиками сразу удивил нас; он снял пилотку, поправил хорошо стриженные волосы, улыбнулся, непринужденно кивнул маршалу и заложил длинные худые руки за спину. Стоял, чуть покачиваясь на каблуках,

и рассматривал сидящих на траве офицеров, словно запоминал.

— Вы все профессионалы, — сказал он тихо, — и поймете меня сразу. Газ, которым располагает противник, о с о б ы й. Его пропускают наши противогазы. (Ни хрена себе сообщенщице!) По достоверным данным, к наступлению они еще не готовы, и мы имеем с вами пять-шесть суток. Предварительные распоряжения разведотделы и ваши штабы уже получили. Дело за малым: вы все должны этой ночью, не позднее четырех ноль-ноль, выйти в поиск. Форма поиска — по вашему личному усмотрению. Цель одна — принести новый немецкий противогаз. Тому, кто принесет новый противогаз, — орден Ленина вне зависимости от сложности операции. — Он посмотрел на маршала. Маршал кивком головы подтвердил. — Рекомендую в побочные дела не ввязываться. В случае, если противогаз будет у вас в руках, ничего не жалеть, — старший лейтенант начал прогуливаться. — Еще один совет, извините, приказ — секретность особая! Не только там, но, главное, тут — у нас в частях. Ну вот, желаю вам всем успеха, стопроцентной трезвости (тут по рядам сидящих прошел легкий шорох понимания) — и каждому по ордену. Всё. Вопросы есть? — Вопросов не было.

Маршал был невозмутим. Полковник, сидящий на правом фланге, скомандовал:

— Группы разводите в порядке расписания. Первая группа — встать! Шагом марш!

На обратном пути лесная дорога была ничуть не лучше, чем дорога туда, но я уже сидел рядом с водителем, а Бо-бо отбивал себе задницу в кузове.

Летели мимо и вертелись макушки сосен...

—...После войны я заберу тебя в Минск, — говорил мне Зайдаль оттуда сверху. — Мы будем создавать новый автомобиль — не какую-то там букашку на колесах, мощную чудо-машину! Вездеход! Она уже вот тут. — Зайдал показывал на свою лохматую голову. — Вы все какие-то зашоренные. У меня такое впечатление, что живет в вас разве что одна тысячная того Человека, над созданием которого так долго, так тщательно и великолепно трудилась природа, — он улыбался, улыбался так, будто он и есть П р и р о д а. У него были то грустные и, казалось, совсем темные, то вдруг просветленные, почти светло-серые глаза.

— Чтобы создать Человека, природе понадобилась ВСЕЛЕННАЯ (слово-то какое!) со всеми системами, галактиками, мирами, бесконечностями и еще более непостижимыми конечностями, а «некоторые товарищи» убеждены, что для того, чтобы создать человека, нужен топчан и баба. Мне жаль вас, гвардейцы!.. — Нас уже было много, полный

сбор.— Как говорил профессор Роледер — «Стремись к познанию Женщины!» — Самцы-затейники не в счет, они никогда не знали и не узнают тайного смысла настоящей любви. А я хочу, чтобы ты знал!..— он снова обращался ко мне, и я снова был один.— «Как говорил профессор Роледер...» — всегдашняя присказка Зайдаля.— Так вот, как говорил профессор Роледер, один из величайших знатоков любви и пола: «В этом мире не существует ничего прекраснее — нет, не женщины — любви к ней...»

Пролетающие макушки деревьев сомкнулись, Зайдаль исчез. «Додж» катил по лесной дороге.

Штаб батальона находился в просторном фургоне трофейной машины, закопанной в глубокую апарель.

— Выводить поисковую группу на передний край поручаю вам,— сказал комбат Беклемишев, обращаясь к Курнешову.

— Разрешите взять с собой старшего техника-лейтенанта Лейбовича.

— Зачем?

— Там причины технического порядка... И потом...

Просьба была малооправданна — комбат был удивлен, пожал плечами и разрешил: — Вайте.

— Командир группы просит всего четырех разведчиков, не больше,— произнес Курнешов.— И без радици.

— Всегда крутит, вертит! — резко вмешался замполит Градов, пожилой майор с отчетным лицом, тяжеловатым носом и грузной фигурой.— Задание сверхважное, и тут его выкрутасы не пойдут! Мы тоже несем ответственность!

— При чем тут ответственность? Ну просит человек не более четырех разведчиков...— спокойно заметил комбат.

— Задание сформулировано четко,— скромно уточнил Курнешов.— «Опытные разведчики сами формируют свои группы и самостоятельно выбирают форму поиска». Им об этом сказано в присутствии командующего фронтом.

— Командующий фронтом — это одно, а ваш этот — совсем другое! — замполит быстро заводился и срывал свое раздражение на Курнешове, но Василий был невозмутим.— Мы еще за кое-какие выкрутасы с ним по-настоящему не разобрались, а он уже новые придумывает! Так и скажите ему!..— Курнешов усмехнулся — «мол, вот вы и скажите...», и его усмешка не прошла незамеченной.— Я вообще не понимаю, почему именно он... Но настаиваю на усиленной группе — в... двенадцать человек...— Градов уже обращался прямо к майору Беклемишеву,— и с радиосвязью! С нас спросят...

Комбат давно привык к тому, что до обеда его замполит всегда пребывал не в духе и был недоволен всем на свете. Потому он сильно потер руки, словно согревая их, и сказал:

— Знаешь, ответственность ответственностью, только ведь мы с тобой здесь сидим, а его туда посылаем.

— Тоже не в тылу! — огрызнулся Градов.

— Но и не на передовой... Потерпи немного — того и гляди фашисты с ним за все рассчитаются.

— Ну и шуточки у тебя, скажу...— обиделся Градов.

Комбат приподнял фуражку и отчаянно потер лысину.

— Задание не хухры-мухры, с нас тоже спросят...— твердил Градов.

— Хорошо,— комбат не хотел связываться.— Передайте лейтенанту... Группу даем ему усиленную — двенадцать человек. С радиосвязью. Но... отбирать ее он будет сам. И форма поиска, согласно приказу разведотдела, по его усмотрению.

— А почему он сам не пришел? — снова взъерепенился Градов.

— Готовится к выходу. Я все передам дословно.

— Мы все время ему потакаем. Боком! Боком нам все это вывернется,— почти угрожал замполит.— Вот попомните.

— Ну боком так боком,— ответил комбат.— Можете идти,— кивнул он Курнешову, и тот вышел из фургона.— Он, конечно, фрукт,— сказал комбат и снова сильно потер бритую голову,— этот...

— Еще какой! — тут же присоединился Градов.

— Но урожайный,— вскользь заметил Беклемишев.

— И не безвредный,— добавил все-таки Градов.

— Странно получается,— Беклемишев решил позлить своего зама,— среди твоих орденов минимум два заработаны им... Минимум!.. И у меня тоже.

— Ну?...— Градов не догадывался, куда клонит комбат.

— Баранки гну! — уже резче крикнул Беклемишев.— У тебя и у меня в два раза больше орденов, чем у него. Вот тебе и «Ну»!

Лес только условно можно было назвать лесом — после осенних боев за плацдарм в нем не осталось ни одного живого дерева. Торчали голые, ободранные, заостренные к небу стволы — черные пики. И ни одной ветки, ни единого листика — как Мамай прошел пожарищем. Казалось, никогда не зазеленеют опаленные хлысты.

Мы вышли на опушку бурого подлеска. Туман полосами висел в воздухе. Луны не

было. Где-то рядом притаились дозоры охранения. Тишина, мрак. Даже осветительных ракет не было. Внутри тумана лежала изнасилованная дивизиями и корпусами, изуродованная ничейная полоса (ее по ошибке называют нейтральной).

— В рост не стоять. Разговорчики! — тихо распоряжался Курнешов.

И все-таки Зайдаль оттащил меня в сторону, прилег на бок, подпер руками голову и сказал:

— Ты там давай — шуруй. Но только прошу, без фейерверка. Помни, я тебя здесь жду. Вот так жду!..

Я ответил:

— Вас понял. Сиди тихо — не высывайся, — он кивнул. — Я их всех туда не возьму. Всегда недодавали, а тут попали в фокус — «На, подавись!»

— А сколько? — тихо спросил Зайдаль.

— Возьму троих. Сейчас главное, куда спрятать остальных. Надежно спрятать... Оставленная девятка будет называться «группой прикрытия»! Запомни, на всякий пожарный... Это «группа прикрытия»!

— Ну и острая... А кто-нибудь из них не проболтается?

— Не знаю... Но целее будут.

Мы двинулись, подчиняясь еле различимым сигналам. В маскхалатах. Двенадцать и командир.

Ничейная полоса. Развалины военных укреплений. Туман.

— Нашел, — чуть слышно шепнул мне рядовой Ромейко (так и не знаю, какой он национальности, знаю только, что родом из Молдавии).

— Веди.

Вся группа спустилась в большую яму — какая-то полуразрушенная часть старой линии обороны с закоулками и провалами.

— Здесь в прятки играть хорошо, — сказал он тихо.

Я подал сигнал, и все двенадцать опустились на корточки. Вытаращенно смотрели на меня: только-только начали движение, и остановка?!

— Рядовой Ромейко, Костин — наблюдение... — оба исчезли. — Внимание сюда! Слушайте и вопросов не задавать. Со мной пойдут — сержант Маркин, Костин и Ромейко. — Маркин приподнялся, перешел ко мне и снова опустился на корточки. — Остальные сидят в этой замечательной дыре.

— А связь? — почти испуганно спросила могучая помощница радиста Нюрка, ее командир сидел на корточках рядом с ней и помалкивал.

Я не хотел их брать, но отсутствие связи могло меня выдать с головой, и сказал:

— Вы тоже... с нами.

Они зашевелились.

Я повернулся и уперся в помкомвзвода Иванова:

— Для штаба и начальства в операции участвовали все.

— Ясно. — Скромность и потупленный взор. Все-таки не удержался уязвленный отставкой помкомвзвода.

— Вот именно. Старшим остается Иванов Владимир. Круговое охранение — и ни гу-гу. До противника еще метров двести — двести-пятьдесят. И смотрите — охранение неусыпное. Они тоже не спят... Если понадобится, пришло за вами. Будьте терпеливы, ребята.

Мы ушли вперед. Ушли, начиненные оружием, формулой «НАДО!» и неистребимой надеждой на обязательное везение. Туман принял нас. Ничейная полоса тоже.

ВРЕМЯ — третье документальное отступление.

Время наших массивованных залпов «катюш» и артиллерии — тысяч реактивных снарядов и стволов.

Время массивованных действий авиации союзников — десятки сотен самолетов на аэродромах, на взлетных полосах, в воздухе. Массивованные бомбежки городов, портов, промышленных объектов — днем и ночью.

Легенда: Немецко-фашистское командование довело до сведения советского командования — дескать, «если ваши «катюши» не перестанут свирепствовать на Висленском плацдарме, то мы применим газы...»

— Наши как-то умудрились сообщить противнику: «Если примените газы, мы применим газы из «катюш»!»

Союзники довели до сведения немецкого командования, что «без всяких «если», как только боши трепыхнутся в сторону отравляющих веществ, коалиция зальет все германские города позавязку!.. Газами!»

У них: Начала разворачиваться одна из самых крупных десантных операций в истории войн — высадка союзных войск на французское побережье. Тысячи кораблей и судов пересекли пролив Ла-Манш. Немецкие оборонительные сооружения по всему побережью, по всей линии «непреступности» были атакованы с воздуха и с моря. Высадка десанта в Нормандии — один из наиболее драматических моментов последнего периода войны на сцене мирового театра военных действий. Настоящий Второй фронт!

Снимать под ЧБ хронику.

У нас: Впереди ползли двое — черные от пыли и изнурения — командир разведки, сам председатель, и верный Ромейко с немецким противогазом в зубах. Они прокладывали дорогу в жухлой осенней траве, по

зарослям и кустарнику, озираясь вправо и влево. За ними мощно передвигалась полпластунски вся взмокшая и закрученная, как пружина, атлетическая Нюрка. К ее ноге была привязана упаковка радиостанции, потому что в правой руке она держала два автомата, а левой помогала двигаться вперед своему старшему радисту — уже раненному и наспех перевязанному — она то волокла его, то подбадривала, то подгоняла ругательствами. Сзади их прикрывали еще двое — Маркин и Костин — они тоже кроме своего снаряжения волокли упаковку питания от радиостанции. Так возвращалась разведгруппа. Возвращались в полдень, когда перехода ждут меньше всего. Время от времени то тут, то там подывала, свистела и разрывалась вражеская мина — вся группа замирала, уткнувшись лицом в землю, и тут же снова сосредоточенно двигалась вперед, как связанная единой нитью...

В старой, заваленной наполовину траншее их ждала «группа прикрытия» — помкомвзвода Иванов подавал им какие-то странные сигналы. Противник постреливал из пулемета, скорее всего на всякий случай.

Один за другим сваливались разведчики в старый разрушенный окоп. Перевели дух, потрогали друг друга, Нюрка поправила повязку на голове и шею своего повелителя. Командир группы что-то сказал, Нюра первая завела на плечо ремень радиостанции (надевала, как школьный ранец). Она хотела поправить ляжку, приподнялась из траншеи, распрямила спину, чуть потянулась, встряхнула поклажу... В этот миг поблизости разорвалась мина. Что-то металлическое тряхнуло за ее спиной, и Нюра начала медленно оседать. Ребята подхватили ее, старались удержать, но не тут-то было, как налитая свинцом, она всех потянула к земле — рация была пробита насквозь, и Нюра уже была убита. Не удержали ее — все вместе повалились на дно траншеи.

Германские контрмеры были оперативными и дали результаты. Удар и разгром союзных войск в Арденнах был неожидан и ошеломляющ... Союзный призыв о срочной помощи звучал как набат: «Нельзя ли ускорить ваше наступление на Висле...» — Уинстон Черчилль!.. Уинстон Черчилль!.. Уинстон Черчилль!..

Снимать под ЧБ хронику.

Биль: Немецкий грузовик, до отказа набитый солдатами, подорвался на тяжелойmine. Можете себе представить эту свалку и муку в грязи...

Андрюша Родионов попал в лапы к разъя-

ренным немцам в самый неподходящий момент. Он был командиром диверсионной группы, и на нем были танковые погоны. Все участники группы были уничтожены сразу — два разведчика и два сапера — они лежали тут же.

Андрюшу прижали рогатинами к массивным воротам. С ним не церемонились, его не допрашивали. Его распинали. Он не кричал, не ругался, не взывал к небу, не проклинал... А те забывали не гвозди, а какие-то кованые крюки — один полукувалдой, другой деревянной колотушкой... Его распинали на воротах с растянутыми в стороны руками и ногами... Он страшно и беззвучно раскрывал рот... А стонали тяжелораненые в грузовике...

Добровольных палачей звали, торопили, сокрушались их бестолковостью и медлительностью. Завершали распятие, доколачивали как попало, наспех — Андрюша не кричал, не звал на помощь, глаза были раскрыты. В глазах кровь и мука мученическая. А за коваными воротами хмурое небо... и белые мухи. И ни одного Бегущего На Помощь. Конец документального отступления.

Горелый лес. Рассвет.

Это важно, когда тебя ждут. Славно, когда после запредельной маяты в условном месте тебя ждет друг или приятель. Э-э-э! Да чего там... — тискают, щупают, хлопают по плечу, кормят. Без этого ожидания война была бы одним убийством и слякотью.

Курнешов сказал:

— Ноль-ноль и добыча в кармане. Только... Поднимайте Нюру и вперед, — ее понесли аж шесть человек — неподъемная.

Зайдаль сидел на корточках, упершись спиной в земляной скос траншеи, тер ладонями небритое лицо:

— Ну!.. Ушли. Пришли. Да еще эту ценную жестянку приволокли...

— Зачем они мне столько лишних людей насовали?! Зачем?! Назло, что ли? — сокрушался председатель. — Я эту рацию и включить-то не мог... И связан был по рукам и ногам. Не бросишь ведь!.. Нюра сейчас жила бы... и безобразничала по привычке...

— А ну, быстро отсюда — чтоб духу нашего здесь не было! — скомандовал Курнешов. — Двинулись.

Метров через сто пятьдесят, совсем неожиданно, председатель увидел перед собой круглую физиономию Бо-бо — словно он только что совершил головокружительный трюк, прыгнул в центре арены, крикнул «Ап!» и ждет аплодисментов.

— Э-э-э! Вот подарок. Ты что здесь делаешь? — спросил председатель.

— Приказано встретить, помочь, — его фи-

зиномия светилась от счастья, будто это он заработал орден Ленина.

До машин было еще далеко.

— «Помочь», говоришь? — председатель сразу отдал ему все тяжелое, что висело на нем, оставил только немецкий противогаз.

Тот все безропотно принял и сразу зашел:

— Приказано обеспечить безопасность.

— Здесь-то?! Ты бы лучше там ее обеспечивал,— кивнул в сторону противника.— И Нюра была бы жива...

— А эту баночку что, сам понесешь? — осторожно спросил он, имея в виду немецкий противогаз.

Председатель ответил:

— Эту?.. Сам! — И отдал противогаз Ромейко.

Сбор по случаю возвращения проходил в землянке председателя. Больше половины лиц вовсе не знакомые. Новенькие. Пополнение.

— Ну пусть начим Киселев скажет...— предложил Курнешов.

Тихий, скромный, на вид загнанный Киселев уговаривать себя не заставил и начал сразу с главного:

— Четырнадцать штук раздобыли. Вместе с нашим... Четырнадцать.

— Прокол, ребята, никакого нового противогаса у фашистов не существует,— сказал председатель.

— Так что орден тю-тю?

— А вот новый газ есть,— произнес начим.— Все добытые противогасы ничем не отличаются от обычных, тех, что были у противника раньше. А тот худой, высокий с усиками, что вас там инструктировал, сегодня на разборе был при орденских планках, погоны полковника... Там, за тридцать пять километров от линии фронта, в химическом управлении группы войск противника, он раздобыл пачку дополнительных тампонов, к обычному немецкому противогазу. Эти тампоны химические спецслужбы вермахта могут развезти по частям и раздать в последние полтора-два часа перед газовой атакой.

Курнешов сделал уточнение:

— Сегодня в тринадцать ноль-ноль враг начал демонстративно отводить химические части в свой тыл! Наши химполки этой ночью тоже уйдут за Вислу. Вот такая мутота...

Пили мрачно. И когда стало ясно, что дальше будет только хуже, Зайдаль сказал:

— Праведная рать, скоро опять пойдем в бой,— он был почти трезв, в голосе была горечь и неотвратимость.— И снова наше содружество поредеет...

— Типун тебе на язык! — крикнул совсем молоденький новичок Надеин и ударил кулаком по столу.

— Не вежливо...— заметил Курнешов.— Из двенадцати основоположников осталось восемь.

— Не восемь, а семь. Борька нырнул от нас в штаб корпуса. Он больше не Бенап. Помянем Андрюшу!

— И Нюрину мамашу зачисляем на довольствие!

— Ладно,— сказал председатель,— и что бы там, в Германии, мы сошлись все до единого, и чтобы там Зайдаль прочел нам свою последнюю проповедь! Повеселее этой.

— Согласен,— кивнул Зайдаль.— Объявляю тезисы: «Победитель не получает и ч е г о!» Потому что нет награды выше, чем сама победа. Любая другая награда хоть чуть умаляет подлинную ценность победы. Вы не отступали в сорок первом, сорок втором...

— Я драпал,— сказал начим.

— И я...— покачал головой Долматов.

— Счастье, что остальные не пили эту чашу всенародного позора.

— При чем тут народ?! — второй новичок Белявский.

— При том! Слушай и заткнись,— сказал Романченко.

— Не вежливо,— сделал замечание Курнешов и поднял палец...

— Вы дети победы. Прошу вас, просто заклиная: постарайтесь, чтобы ни одного из вас не раздали ни военный угар, ни послевоенная опохмель. Прошу вас — не сгиньте! Это говорю вам я, старший техник-лейтенант, создатель невиданного автомобиля будущего.

— Я люблю тебя, Зайдаль,— сказал председатель, потому что был уже пьян.

— И я!.. И я!..— прокричали новички и грохнули кто чем мог о нашу выдающую виды столешницу. Они тоже не были трезвы.

В полном одурении (кто кого переплунет) взвод проводил занятия по вождению мотоциклов. Отрабатывали «проезд по одной доске на мотоцикле с задранной коляской», «прыжки на одиночных», «разворот на скорости». И все это на подмерзшей, запорошенной снегом поляне.

На мощном трофейном «цундапе» подкатил Георгий Нерославский (мой однокашник по военному училищу) — машина развернулась боком, и раздался тревожный сигнал. Вид у него был такой, словно ему только что удалось вырваться из душегубки: небритый, чего раньше не бывало, без головного убора, густые волосы торчали во все стороны, одежды нараспашку, даже комбинезон не застегнут...

— Ты скоро?! — крикнул он нетерпеливо.— Очень нужно!..

— Подожди!.. Я сейчас... Старший сержант, продолжайте занятия...

Зорька принес письмо от своей жены. Мы всегда звали его так, как еще тогда, давным-давно, в клубе военного училища, называла его мама.

...Она подошла ко мне, женщина лет сорока, уже чуть седая, из тех, что почти не осталось — с особым чувством достоинства. Она назвалась — Надежда Николаевна — и спросила: — А тебя как зовут?.. — провела ладонью по моей щеке, и получилось это у нее очень нежно. А потом сразу попросила познакомиться с ее сыном и позвала его. — Зорька, подойди к нам... Вы постарайтесь не терять друг друга из виду. Мне кажется, что вы сойдетесь... — Надежда Николаевна держала нас обоих за руки...

Я уводил его в глубь леса, подальше от своих мотоциклистов.

Он взвинченно читал мне отрывки из письма:

«Москва дает сразу по два, а то и по три салюта в один вечер! Так что мы уже не на все ходим». (Вот тебе и раз!) Она пишет, что «собирается встретить Новый, сорок пятый год в какой-то замечательной компании архитекторов на даче под Москвой» — Запах Победы! — он орет и размахивает руками. — Все! Все! Знаю я эти дачи с молодыми архитекторами! — даже не орет, а беснуется.

— Что происходит?.. Это вообще!.. А еще «по-то-мок Турге-не-вых по какой-то там линии!» Неврастеник... — я сбивал ему рога. — Пошлая ревность в тебе изгиляется. Лавочник!..

Потомок не выдержал, хотел изо всех сил звездануть мне, я увернулся (знал же, что он в конце концов кинется на меня) — Зорька ударился кулаком о ствол дерева и взвыл от боли. Боже! Как он выл!..

Здорово он стукнулся об это дерево.

— Зорька, а Зорьк!

— Да ну тебя... — он все еще подвывал.

— Вот видишь, — говорил я ему, — как скверно и как больно? Зато справедливость торжествует! А ведь могло получиться хуже — ты бы мне засветил сюда (это в скулу!). Представляешь?.. Как бы сейчас выл я?..

Его что-то проняло, и он чуть улыбнулся. Разумеется, я искренне сочувствовал ему:

— Мне жаль тебя, Зорька... — говорил я и перевязывал ему руку. — Ну чего тут особенного?.. Ну встретят весело Новый год. Ну какого рожна?! Окупись головой в снег, очухайся. Тебе же потом стыдно будет...

Не было случая, чтобы я прошел мимо той сосны, что стояла у входа в офицерскую землянку бронероты и не вспомнил бы о ней — о его рыжей.

Из землянки, где лежал Зайдаль, нам навстречу вышел врач. Валентин жестом попросил нас не шуметь — дескать, он спит. Мы вошли.

Дежурный сержант читал растрепанную толстую книгу и мирно кивнул нам (лазарет тайный и соблюдение уставных приветствий необязательно).

Зайдаль действительно спал, но выглядел — как взъерошенный младенец.

— Одиннадцать с половиной суток. Сегодня ему получше...

Зорька смотрел на спящего Зайдала, как на поверженное чудище.

...Ведь это о нем говорил Зайдаль: «Воинство, вы смотрите на Нерославского — он среди нас отмечен избранностью. Он, может быть, один из всего вашего братства знает, что такое настоящая, вовремя выкованная Любовь! Завидуйте ему черной завистью, гвардейцы! Смотрите ему в глаза, там сверкают звезды мира. Их зажгла Любовь. И неспроста он всегда сияет, как начищенный самовар в праздник. Завидуйте ему, архаровцы...»

Мы выходили из землянки, и я уже поднялся по ступенькам, глянул на комель той сосны, куда я тогда выстрелил два раза... На мгновение показалось, что она так и лежит, уткнувшись лицом в корневище, а волосы рассыпались по снегу — его рыжая...

Зорька наотмашь ударил меня раскрытой ладонью промеж лопаток (так бьют, когда поперхнешься). Я сказал ему: «Спасибо».

В канун Нового года на плацдарме валил жесткий рассыпчатый снег.

ВРЕМЯ — четвертое документальное отступление.

Не хотелось бы описывать документальную часть изображения, которое должно заполнить ВРЕМЯ, — четвертое отступление, потому что худшее из того, что постигло людей на нашей планете, — это концлагеря Европы, это геноцид и индустрия истребления людей. Худшее не только потому, что все это клейменный позор века, но и потому, что это всегдашний укор всему так называемому цивилизованному человечеству — оно жило так, что худшее смогло произойти, оно вело себя так, что все это случилось. Это всеобщий перекокс, тотальное насилие и кара.

...Концлагеря, гетто и резервации Освенцима и Трешлинка, Майданека, Дахау и Маутхаузена, Каменец-Подольска, Равенсбрука, Вильнюса — индустрия концентрации и уничтожения людей... Одни не могут видеть, другие не могут даже слышать об этом. Ладно, пусть будут крики без звука, расстрелы без выстрелов, пусть гонят и кричат в тишине,

пусть даже сторожевые псы лают молча. Пусть все будет беззвучным.

Потому что даже лай сторожевой собаки, это какой-никакой, а голос жизни... А глаза?.. Глаза можно закрыть.

Огненные залпы... Детали военного быта, самые неожиданные явления... и огненные залпы.

Готовился новый рывок вперед, навстречу Германии — очередное мощное наступление. Об этом не объявлялось в приказах, но предчувствие висело в сыром морозном воздухе, назревало и вот-вот должно было прорваться огненными хвостами реактивных снарядов «катюш», зауспокойным воем тяжелых «иванов», неистовой дрожью артподготовки, ревом авиации — разрывающимися нутро контузиями, невероятными, открытыми, глухими, полостными, черепными, пустяковыми и смертельными ранениями...

Только ведь даже победные эпохальные битвы чреватые маленькими незаметными кровоизлияниями. Они, маленькие, тонут в великом торжественном шествии — ну какое дело миллиардной вселенной до какой-то там крохотной погасшей песчинки?! О тех, что не стало, тоскуют два-три близких друга, похоронная команда по долгу службы — ведь еще копать, насыпать да ставить деревянную табличку. И потом уже: получите-распишитесь — «Погиб смертью храбрых в боях за честь и независимость...»

Обо всем этом не думаешь, но однажды оно накатывает само, и становится человеку худо. Или совсем немоготу.

Снимать под ЧБ хронику.

Возле двухэтажного дома на пригорке, чуть в стороне от шоссе, стоит немецкая семья, выстроенная по возрастному ранжиру, — из всех окон вывешены белые простыни, пододеяльники, наволочки. Состав семьи — человек семь со стариком и старухой — до четырехлетней девчушки (разумеется, без мужчин призывного возраста) размахивают белоснежным постельным бельем, словно старательно полощут его. Семейная полная и безоговорочная капитуляция!

В коротком и скверном танковом бою — скверном, потому что, что может быть хуже, когда танки прут против танков, самоходки против самоходок...

Зажгли одну из наших самоходок. В экипаже ранены были все. Командир орудия еле выволок заряжающего, их подхватили и отволокли подальше от горящей машины. Видели все это мужчины, и не пустячные,

но приближаться к горящей самоходке уже не решились — она могла взорваться в любую секунду. Юлька кинулась спасать оставшихся. Она непостижимыми усилиями успела вытащить из горящей машины одного и почти без колебаний (но почти...) кинулась за последним. Ей кричали: «Юля!.. Юлька! Стой! С ума спятила?!» Самоходка взорвалась в тот момент, как она скрылась в ее чреве.

Надо было хоронить видимость Юли и видимость последнего самоходчика — механика-водителя — кусок шлема, карандашик для бровей, часть санитарной сумки, ну и горелую землю... Остальное стало паром, витало где-то поблизости и могло присоединиться к любому облаку. Облака летели на запад — прозрачные, аккуратные и легкие...

Конец документального отступления.

На Висленском плацдарме туман.

Это было общее собрание батальона. Такое не собирали трудно вспомнить как давно... Да никогда не собирали! Но ни командира батальона, ни нашштаба почему-то на собрании не было... Проводил его замполит майор Градов. Президиум не выбирали, не голосовали — все он сам! Сам назвал его открытым партийным, сам зачитывал параграфы приказа, сам комментировал.

— Это наши братья по оружию, по войне, братья по классу, если хотите! И, наконец, братья-славяне! Это, товарищи, — это не просто Польша — Народная Польша!.. Люди возвращаются в свои дома, и что они видят?.. Окон нет, двери сняты, последние остатки продуктов раз... растащены... А со скотом?! А вещи — тряпки, одежда? Инструмент-оборудование!.. Случаи мародерства участились. С тех пор что фронт стабилизировался и пребывает в... временной неподвижности. Мало того... Случаи насилий. Да-да, женских насилий — без уточнений. И прочие беспорядки!..

Раздался шумок заинтересованности.

— Это наш давнишний спор!.. — громко, с уральским говорком произнес пожилой мотоциклист из роты. — Надо конкретно...

— Вам пока никто слова не давал, — одернул его Градов.

— Так это общий сбор батальона или открытое партийное? — поддержал уральца с другого конца усатый сержант.

— Открытое, открытое партийное. Но не митинг! — воткнул в него палец Градов. — И еще факты никому не нужных поджогов жилых зданий и хозяйстроек?! — майор театрально пожал плечами, и его погоны поднялись двумя горбинами.

— Никаких загадок, это уголовная практика, грабежи, иные преступления и заметание следов,— четко произнес капитан Хангени, его Градов не одернул.— Ну, разумеется, и пьяные поджоги... Уголовники...

— Урки урками, а неплохо бы друг на друга посмотреть!— старший возраст брал верх.

Шум поднялся невообразимый, но несколько голосов потонуло в массе тех, что были против ужесточения наказаний.

— Так вот, Приказ Верховного Главнокомандующего!— Все стихли.— За номером...— майор откашлялся.— Секретный! Приказываю — двоеточие — суд военного трибунала. И расстрел! А в особо злостных случаях с поджогами и насилиями — расстрел на месте! Без всяких,— водворилась скверная тишина, которая обычно распространяется в момент, предшествующий крайней опасности.

Обстановка складывалась, скажем прямо, неприятная: с одной стороны — Приказ Верховного, с другой — какая-то враждебность солдат к его содержанию. Люди смотрели друг на друга — это было долгое переглядывание и нехорошее узнавание. Намечалась некая конфронтация и раскол. Из заднего ряда кто-то требовательно и скверно выкрикнул:

— А когда же можно будет?!

Майор почувал, что надо как-то разрядить обстановку.

— Товарищи, Польша — это Польша! Территория дружественного, союзного нам государства. А не какого-нибудь Пилсудского—Миколайчика! — он картинно вытянул руку на запад.— До логова фашистского зверя осталось сто семьдесят километров! Мы скоро доберемся до этого логова! Придем туда... И там...— ждали жареного, зашумели.— Там мы дадим ему... такого дрозда!

Раздался смех и бодрый шум. Кто-то пронзительно присвистнул. Сидевший рядом с председателем военврач наклонился и шепнул:

— Куда его понесло?..

— Ханыга с погонами,— произнес председатель.

— Вот там, через сто семьдесят километров, мы такого петуха им запустим, что внуки и правнуки помнить будут, почему хрен на нашем базаре!

Поднялся шум ликования. Солдатская масса батальона раскололась, как стеклянная банка, залитая крутым кипятком. Лопнула, но развалилась не на равные части. Большинство (это было видно) на этот раз пошло за майором. Он был доволен и вытирал носовым платком лысину и шею. Парторг Хангени растерянно озирался по сторонам и не мог найти опоры.

— Сволочь,— вырвалось у председателя.— Авторитет нарабатывает,— и кое-кто мог это слышать.

Он уже стоял в рост с высоко поднятой рукой, на мгновение все стихли, думали, что просит слова, а он гаркнул:

— Взво-о-од! Слушай мою команду! — вышел на свободную прогалину.— Становись! — солдаты и сержанты повскакали с мест и бросились строиться — продрогли, да и ужин уже, наверное, принесли. Команда была исполнена мгновенно.

— Собрание не окончено! — отмахнул рукой Градов.

— Равняйся!.. Сми-ирно!

— Гвардии лейтенант, что вы там?..— он все еще полагал, что это недоразумение.

— В расположение ша-агом марш! — взвод топнул и двинулся.

— Вы мне ответите!.. Наза-ад!

— Бего-о-м — марш!

— Да с тебя за это!..— неслось вдогонку.

Но Романченко, как медведь, вывалившийся из берлоги, рычал:

— Вторая рота! Станови-и-сь!

— Романченко, а ты куда? — удивился Градов.

— Танковая!.. Поэкипажно... Самостоятельно...— танкисты расплзались во все стороны.

— Вzv-о-од!.. Рота-а-а!.. Отделение!..

Остался взъерошенный майор у столика, покрытого тряпкой, и поблизости нервно закуривал капитан Хангени.

Офицеры выручали как могли — старались поделить на всех явно наказуемый проступок председателя.

В лесу смеркается быстро.

Строй стоял возле землянок, тяжело дышали после пробежки.

— Все только что слышали, что сказал майор? — строй ответил.— И видели, куда он вытягивал руку? — спросил командир.— Так вот, торжественно обещаю: всякого, кто вздумает поступить согласно бодрого совета майора, хоть и в той самой Германии... уж извините!.. расстреляю сам.— Кажется, всю неприязнь и злобу, накопившуюся против майора, он сорвал на своих солдатах.

Солдаты ощетинились. Снова водворилась тошнотворная тишина. Командир сказал опять не то и не так, как хотел или как должен был... На миг промелькнуло в памяти лицо Зайдаля... И один из стоявших в строю произнес — негромко, лениво, но отчетливо:

— Отвечать будете.

Командир медленно прошел вдоль строя — благо не километр, взвод. Есть такой миг, когда сумерки в лесу густеют от секунды к секунде... Обнаружил, даже не обнаружил, а вычислил смельчака — это был совсем

уж ни в чем не повинный радиомастер, и надо было бы махнуть рукой и промолчать или отшутиться, а он, в упор глядя ему в глаза, сказал:

— Только вы об этом уже знать не будете.

И вдруг догадался, за что с ним так уничтожительно говорил Зайдаль: вроде бы завершилось на высокой ноте, но все равно было скверно. Хуже не придумаешь. Он снова, как бы только на словах, а все равно расстрелял ни в чем не повинного человека...

Я забрался с ногами на топчан в самый угол. На другом топчане сидел Курнешов и смотрел на меня, как на утопленника. Вошел и тут же вышел ординарец, видимо, понял, что не ко времени.

— Он вопит... «Сознательный срыв! Умышленная дискредитация!» Он тебе клеит не дисциплинарный, а политический...

— А что он говорил там, при всех?!

— Этого разбирать никто не будет. Будут разбирать на составные части тебя. Он требует аннулировать твой последний наградной лист и присвоение звания...

— Что, в первый раз, что ли?

— С «антисоветчиной» — в первый. Он паяет тебе выступление против Приказа Верховного Главнокомандующего!.. Это трибунал. А трибунал — это...

Я свистнул. Раздался стук в дверь.

— Разрешите войти? — показала голова Бо-бо.— Свистим, братцы, свистим?

— Легко на помине. Садись,— сказал Курнешов.

— Сесть проще простого, вот выбраться оттуда...— для Бо-бо это была чрезмерная вольность.

Он аккуратно присел на топчан рядом с Василием. Воткнул в меня взгляд.

— У тебя уже один раз было...— сказал Бо-бо.

— Было,— ответил я.

— Он ведь и то вспомнит?

— Вспомнит.

— Теперь он не даст тебе выскочить...

А было действительно вот что... Еще в Брянских лесах сорок третьего года стояла удивительная по ярким краскам осень. И уже не рвались мины в лесу и на дорогах... И еще живы были все Бенапы... Меня с нарочным вызвал к себе заместитель командира корпуса по политчасти. Срочно!

На мотоцикле всегда быстро — я сидел за рулем, через несколько минут мы были у палатки политотдела — нарочный еще не вылез из коляски, так его растрясло.

В просторной палатке за столом, смастраченным из какой-то огромной двери, нахо-

дился худой, пронзительный капитан Чаплин.

— Меня вызвал начполитотдела корпуса гвардии полковник Захаренко,— отрапортовал я.— Не понимаю, почему, товарищ капитан, беседу со мной ведете вы? Вроде бы пока не полковник и не Захаренко?

—...Нет уж и нет! Тут шуточками не отвертись. Учти, что это дознание. Это протокол. А это гвардии капитан Чаплин,— он указал на себя.— И по результатам моего дознания командование будет принимать решение.

— О чем, собственно?

— Ну и ну! «Общество Гвардейских Офицеров».— Он листал какие-то бумаги.— Да ты что, не знаешь, что любое общество в нашей стране создается исключительно с разрешения высоких органов власти?... Я молчал.— Надо отвечать.

Я стоял навтыяжку и лихорадочно пытался сообразить: есть ли возможность вернуться; если нет — какая выволочка мне предстоит; или, может быть, что-то похуже...

— Нет. Не знал,— ответил наспех и небрежно.

— Вот теперь придется узнать,— с угрозой в голосе предупредил капитан и начал размашисто и быстро писать что-то.

— А в армии?! В действующей армии! На фронте! Да это вообще!.. И ты учти, на каждый вопрос ты будешь давать четкий ответ.

— Чего ты мне все время тыкаешь! — окрысился я.— Это что, разговор или допрос?

— А ты меня не учи! Я ведь в твоей банде не состою — «Би-е-на-пы!» — у него получилась какая-то похабщина.

— А такого и не приняли бы.

— Посмотрим, как запоешь после дознания.

— Дальше фронта не пошлют — хуже смерти не будет.— Этому прыщю я сдаваться не собирался.

В палатку стремительно вошел полковник Захаренко и встал между столом и мной.

— Что за шум, а драки нету?

— Будет и драка,— довольно ехидно заметил капитан со скрытой угрозой.

Захаренко сморщился и сказал капитану:

— С разведбатом в одиночку не сражаются. Они нам наkostenяют... Давайте вместе. Вы, капитан, пока погуляйте, а я с ним тут... Сам попробую.

— Но мне было приказано...

— Исполняют последнее распоряжение. И приказа на дознание еще нет. Идите. Капитан вышел.

— Чего это вы тут раскричались? С опушки слышно,— спросил полковник Захаренко.

— Да-а... — мне не хотелось объяснять.

— Значит, «Общество»? Да я, вправду сказать, такого и не слыхивал. — И добавил, странно хмыкнув: — Со времен декабристов! — он явно пребывал в недоумении. — Вы как, Северные будете или Южные? — А я, уже вздрюченный капитаном, лихорадочно соображал, что следует делать и куда могут повернуться оглобли.

— Сколько же вас в этом обществе? Придумать ведь!.. — Захаренко и сам выглядел несколько обескураженным.

— Товарищ гвардии полковник, что за это полагается?

— Смотря кому.

— Ну мне, например? Дисциплинарное или... дальше покатится?

— Откровенно говоря, идет разбор, пока и я не знаю.

— Тогда извините, товарищ полковник... я на ваши вопросы отвечать не могу.

— Председатель и не знает, сколько членов у него в обществе? Да кто вам поверит? Я пожал плечами.

— Ну вот, по некоторым сведениям, вы называетесь ОГО, ГОСС и Бенапы — это что означает. (У него в руках появился лист бумаги — это чтобы я понял, что донос письменный.)

— Бенапы — Бегущие На Помощь.

— Кому на помощь, разрешите узнать?

— Ну не фашистам же!.. Друг другу... Тем, кто нуждается.

— Ты как полагаешь, лейтенант, это детский сад или воюющая армия?.. — на этот вопрос отвечать было бессмысленно.

— Ну, а ОГО-ГО? А ГОСС? — я молчал. — Ну, та-а-ак... Вот — Устав есть, есть Нормы поведения, членские взносы?!.. Интересно...

Я не знал, как отвечать, но посмотрел ему в глаза и не стал выкручиваться:

— Есть... Все есть... Только информация у вас... (я чуть не назвал, какая она была с моей точки зрения).

— Как понять?

— Это вообще НЕ ОБЩЕСТВО... — меня осенило внезапно, и, пожалуй, я этого не смог скрыть.

— А что же?

— ОГО и ОГО-ГО — это шутка, пароль и отзывает, а ГОСС — это ближе... Сооо... СО-ДРУЖЕСТВО!.. Гвардии Офицеров Содружество.

Полковник понял, что я выкручиваюсь, и сказал:

— Ну это куда ни шло... А еще одно «эс» куда денешь?..

— Советского Союза, — выпалил я.

— Ну, пожалуй... А ты сможешь представить мне документы? Они же у вас есть. — Тут он от меня и не требовал ответа —

он размышлял. — Поезжай-ка, парень, в батальон... Ни с кем об этом ни слова. Понял?.. И... привези мне оба документа.

Часовой прокричал:

— Товарищ третий, к вам гвардии капитан Чаплин.

Полковник стремительно вышел из-за стола, прошел двойной полог входа в палатку и преградил путь входящему:

— Ну, имею я право сам разобраться?.. Вот поговорю и расскажу тебе. Потерпи уж!.. — он вернулся в палатку, почему-то долго ждал, пока стихнут шаги ретивого капитана.

— А вот теперь давай, живо!.. — сказал он мне.

— Товарищ гвардии полковник, если я вам принесу подписанные документы, то это ведь готовый список?..

— Ну так... Для ясности!.. В другом документе, который лежит вот здесь, этот перечень есть, полностью, — он показал. — А во-вторых, если не ОБЩЕСТВО, а СОДРУЖЕСТВО, то все дело меняется. Понял, «почему козел хвост поднял»? — он повеселел, развел руки и показал, что в них ничего нет. — Пусто!.. А ну, живо!

Я откозырял:

— Есть живо! — развернулся по форме, но между двумя пологами меня остановил его окрик:

— А ну, назад! — Я чуть не запутался в этих парусах... Вернулся. — Вот что, декабрист, «живо» — это не значит быстро. Шевелись, но не торопись, — со значением произнес он. — У вас есть время до наступления темноты. И оба документа передадите мне лично. Таков приказ. ЛИЧНО! — Он ткнул себя большим пальцем в грудь.

В той просторной землянке, рассчитанной на все сообщество, сидели двое — Зайдал и я. Вернее, он плотно сидел под окном, а я метался из угла в угол, словно пробовал раздвинуть давящие стены:

— Кто, кто начал на тебя охоту?..

— Какая-то... Только не могу понять — за что?!

— За гонор. За взгляд. За намек на независимость. За везучесть. За то, что вокруг тебя всегда живые люди... А тут карьерный случай — шутка ли, раскрыть «подпольное общество офицеров»! Где?! На фронте!

— Да какое оно подпольное, о нем все знают. Докопаться бы — кто?.. Я бы из него!..

— «Я бы! Я бы!»

— Ну, мы!

— Этого еще не хватало — открыть в батальоне охоту друг на друга. Даже думать не смей! Тогда всем крышка. Сразу припадают терроризм. Да еще групповой!

— И правильно сделают. Здесь все террористы... Кроме тебя.

— Здесь замены штрафбатом не будет. Делай все, как велит полковник Захаренко.

— Не могу...— но я уже не был тверд.

— А вот я не хотел бы видеть, как командир комендантского взвода завяжет глаза одному упрямому гвардейцу. Вот это будут жмурки!.. Поставят на колени перед строем...

— Не поставят!

— Ты просто не веришь, что с тобой могут поступить еще хуже, чем с каждым из нас.

— Не поставят!

— Догадываюсь, что ты имеешь в виду. Великолепно, но глупо...— он сделал примиряющий жест рукой.— Ты же видел, как расстреляли этого рыжего кудрявого интенданта? — сказал он.

— Ну, то интендант. По-моему, он был совсем не рыжий, а лысый.

— Какая разница?.. Он был серо-бурмалиновый в крапинку. И бритый. Но именно ему всадили пулю в затылок!

— Он воровал фронтовые посылки и подарочную водку...

— «Подарочную водку!» — передразнил Зайдаль, видимо, было что передразнивать.— Вранье! Не мог он сожрать столько продуктов и выпить столько спиртного. Это же не ящики, а вагоны! Он издох бы от несварения желудка или цирроза печени. А он был тощий, хлипкий, занюханный старший лейтенант. Да еще еврей!

— При чем тут?..

— При том.

— А кто же тогда все это?..

— Ты когда-нибудь сам научишься сообщать?.. Светлейшее командование! Досточтимый штаб! Разные военные Советы — дорогие гости из тыла. Инспекторы и проверяющие, которые пьют больше, чем все алкоголики мира!.. Ну, может быть, домой семьям кое-что и отправили — самые чадолюбивые. Крохи какие-нибудь. Только навряд ли. Сами все выпрали. Вместе с интендантством, разумеется, — эти своего никогда не упустят, шакалы. Конечно, и со спецотделами, наблюдательными, карательными, истребительными и другими — все вместе! А когда всплыло и дальше ехать было некуда, поставили на колени его. Одного. Серо-бурмалинового в крапинку. Чтоб короче было. И яснее.

— Великолепно! — я рассмеялся, несмотря на все тяготы и абсурд момента.— А ты полагаешь, что за такую речугу тебе пуля не в затылок, а в задницу полагается?

Зайдаль прижался к стене, задрал руки вверх и проговорил:

— Извини. Умолкаю... Если бы не этот сволочный донос, я бы тебе никогда таких слов не сказал... Я хочу, чтобы ты не форды-

бачился и послушал хорошего человека.

— Тебя, что ли?!

— Его... Полковника Захаренко.

Что-то было скоморошье и непристойное в нашем горьком веселье... Да и не веселье это было, а угар какой-то. Землянка была полна! Подписывали по очереди новые поддельные документы — Устав и Нормы поведения... Тольку с этого момента какая-то фальшь вползла в наше содружество. Была и музыка (аккордеон), и в певцах недостатка не было, но все шло шиворот-навыворот...

Все трезвы, как стекло, а в глазах пустота. Отчаянный, шалый и шутовской был этот вечер — подписывали поддельные документы.

...По-прежнему сидели в землянке — Курнешов, Бо-бо и председатель.

— Кто донес на нас — председатель, обшество, взносы, Устав, Нормы поведения, списочный состав?.. Еще там — на Брянщине?.. Кто?

— Не я,— сразу ответил Бо-бо.

— Или спасать, или топить — кто?

— А знаешь, что мне за это будет?..

— Догадываюсь.

— Вот чем хочешь...— не я!

— Это не разговор. Или-или...

— Да вы же ему...

— Неправда. Мы не по этой части,— чуть смягчил Курнешов.

— Про тебя-то я знаю,— отмахнулся.— А он?! — Бо-бо указал на председателя.

— Ручаюсь! — Василий клятвенно поднял руку.

— Кто?! — твердил свое председатель.

— Он...— Бо-бо кивнул в сторону входной двери.— Майор Градов.

Председатель не удержался и снова свистнул...

После изрядной паузы Василий заметил: — По-моему, ты вместо ругани приспособился свистеть?

— А что?

— Надо заплатить штраф.

— Ладно, с меня трешка, трешка — всего шесть.

— И за тот свист сколько?

— Согласен. Еще шесть.

— Ребята,— проговорил Борис Борисыч,— кончай травить, вам думать надо. Дело дрянное. Думать надо, ребята.

— Ну я ему... За все сразу отыграю! — прорвало председателя.

— Опять «яя!» — поймал его Курнешов.

— Ну — «мы».

Елка была украшена чем попало (все из консервных банок), и сквозь деревья светила луна.

— Стой, кто идет!

— Дорогов, это я.

— Пропуск, товарищ гвардии старший лейтенант!

— Анадырь... Отзов!

— Антапка.

— С наступающим, Дорогов.

— И вас, товарищ гвардии старший лейтенант, с Новым годом!.. И с присвоением звания.

— Спасибо.

Я вошел в землянку бронероты... Зайдаль сразу сел на нарах. Было натоплено, и он не кутался. Заговорили, будто мы недавно прервали разговор, а мы не виделись несколько суток.

— ...Заменить можно все — нельзя заменить человека, — говорил он. — Исчезновение близкого человека — это пропасть, пропран в мироздании — его нечем заполнить, — я насторожился и готов был слушать его. Но он говорил опять не о ней. — ...Мы так упорно настаиваем на «Счастливом Будущем»... так заботимся о нем. Да еще каких-то там потомков называем благодарными, — он помолчал. — Я не верю в благодарных потомков. Не знаю, какими они будут. Скорее всего совсем не такими, какими мы их себе можем представить... Нельзя жить для счастья будущих поколений! Думать о них — другое дело — проявлять заботу, в том смысле, чтобы не слишком насолить. Этого хватит. — Я молчал, а Зайдаль, казалось, и не нуждался в моих репликах. — Да чем это будущее заслужило привилегии перед настоящим? Химеры какие-то. Самое толковое общество — это то, которое живет для настоящего. Представь себе... — Так же внезапно, как заговорил, он замолчал и ушел мыслью в дальние дали... или в пустоту...

— С Новым годом, Зайдаль, — сказал я просто так, а вдруг он знает, что наступает Новый 1945-й год.

Но он мне ничего не ответил, улегся и укрылся шинелью... Вот как хочешь, так и понимай...

Трезвый и одетый, я лежал на топчане, укрытый полубубком по самый подбородок. Раздался торопливый, даже нервный стук в дверь.

— Ну-ну!..

Вошла и тут же захлопнула за собой дверь... (кто бы вы думали?) — Юлия!

Одним движением сбросил с себя полубубок и затянулся ремнем.

— Садитесь, Юлия. Снимайте шинель...

— Нет. Я на минуту. Поздравить... С наступающим.

— А как вас часовые пропустили?

— По знакомству... — она тихо улыбалась.

— Да раздевайтесь, — я хотел ей помочь.

Действительно, очень хотелось, чтобы она осталась.

— Нет-нет... Давно в вашей землянке не была... С тех самых пор... А землянка такая же... С наступающим...

— По этому поводу... — я полез было под топчан.

— Нет! Не буду. Посидите. Вот тут, — она указала прямо против себя.

От моего покровительственного тона не осталось и следа.

Я сидел навтыжку, как сидел бы перед внезапно появившейся Матерью. А ее у меня не было с раннего детства.

— Юля, — все-таки сказал я, — как же это все получилось? Ведь сколько раз звал, звал... Ждал... Не приходила и не приходила...

— Мне очень хотелось прийти. Хотя один раз... Но не получилось... Ваши солдаты очень ревнивые. Все они очень ревнивые. И не простят. Ни мне, ни вам... — поправила сама себя, — не простили бы...

— Ну, что за ерунда, при чем тут солдаты?!

— А при том, — она вдруг показалась не тихой, не застенчивой, а уверенной и взрослой. — Они доверили вам жизнь. А больше у них ничего нет. И даже малое отвлечение они не простят... Я-то знаю.

— Ты ведь знаешь, что нравишься мне? Только ты... И очень.

— Нет. Не знаю. Я сама в вас втюрилась... По уши... В самый первый день, когда была еще у вас во взводе... На формировке...

— А там как тебе? В самоходном полку?

— Ничего. Люди хорошие... — Поднялась. — С Новым годом.

— Юля...

— Нет, я пошла. — Я стоял рядом с ней, а она сказала: — Нет. Так нельзя... — а прозвучало: «Под присмотром часовых и ординарца».

Я согласился и кивнул.

— Поцелуйте меня, пожалуйста. Только один раз... — сказала она.

Я двинулся к ней, но застыл в нескольких миллиметрах от ее лица...

Слышать я мог все, но поцеловать ее я не мог — она к этому времени была уже убита: самоходка взорвалась, когда она хотела вытащить последнего раненого...

Я лежал на топчане, укрытый по самый подбородок.

Раздался уверенный стук в дверь.

Ординарец спросил «Кто?» — ему что-то ответили. Он снял с двери задвижку — вошли двое, оба уперлись головами в потолок, засупоненные и с автоматами — то ли гренадеры, то ли жандармы.

— Разрешите обратиться?.. Вас просят срочно в землянку к комбату.

— Там что, встречают?

— Не без этого.

— Скажите «спит».

— Не-е... Приказано, если не пойдете, связать и привести в целой сохранности.

Ногой откинул полушубок — в руке был «вальтер».

— Что, будете пробовать?

— Я ж им сказал — их так не принесешь... — второй радостно сиял, что оказался прозорлив. — Мы даже веревку не взяли...

— Ну и молодец.

— Вы сходите, товарищ старший лейтенант, а то они нас опять пришлют, — попросил первый, он был старшим.

Раздражение прошло сразу:

— Скажите, сейчас приду. Или снаружи подождите...

В тесную землянку комбата я вошел впервые. Это обстоятельство немаловажно, потому что оно придало мне дополнительную напряженность — я с начальством не очень то ящался и считал это даже зазорным.

Неуютная кишка (кто только ее строил — руки бы пообломать!) — узкий длинный стол приторочен к стене, за столом все знакомые: слева в торце сам комбат Нил Петрович Беклемишев, гвардии майор, изредка проговаривает, что из семьи железнодорожника, а я-то знаю, что железнодорожник может быть железнодорожником, а он из разорившихся дворян, участник гражданской войны, еще с 1937 года отсидел свое, и круто отсидел, только в начале войны выпустили, да и по фигуре, по выправке, по говору и манере обращаться ко всем только на «вы», по посадке крупной головы, видна отличная порода — не даром одна из башен Московского Кремля называется Беклемишевской. Рядом Никита Хангени — парторг батальона — у него четыре медали «За боевые заслуги». К какому бы ордену его ни представляли, в конце концов получает «Забезе» — и наши издевки. У него за плечами институт народов Севера и директорство школы. Никита — наше нанайское солнышко, он всегда в отличном расположении духа, всегда подсмеивается над собой и своим нанайским происхождением; ну и Василий Курнешов совсем рядом со мной — нос к носу.

Прикрыл плотно створку двери, еле развернулся, уже собрался опуститься на чурбан, глядя — справа в углу затаилась фигура майора Градова — блаженная, уже распаренная физиономия, большой, как топором рубленный нос (именуемый румпелем), и сразу наливает в кружку, явно мне и, конечно, спирт!.. Вот о встрече с ним-то я и не подумал, а это

непростительная ошибка. Вообще-то нам встретиться на узком или стиснутом пространстве не следует. Есть такие фигуры, которым приближаться друг к другу не надо — тут же создается взрывоопасная обстановка. Но отступить поздно.

— Штрафной — и сразу!.. — радостно заявляет Градов. — У-у-у, филон — увиливает... Отлеживается в такую-то ночь... Штрафно-о-ой! — ворот расстегнут, сам улыбається на все тридцать два, где половина нержавейки, — вроде бы даже рад мне и гуляет.

— Штрафной так штрафной... Но, по чести говоря, я эти «штрафные» терпеть не могу: что кружки, что роты, что штрафбаты — всех бы их...

— Чур, не нарываться, — напоминает Курнешов, он уже напряжен и ждет беды.

— Я при начальстве не ругаюсь.

— Да-а, здорово ты тот раз выкрутился со своими... — вдруг вспомнил Градов и чуть не выразился как-то неслестно в адрес моих друзей — одного этого было бы уже достаточно.

— Моих друзей ругать нельзя.

— А я и не ругаю.

На столе в тарелках нехитрая закуска, но в относительном достатке.

— С Новым годом! — и взял кружку с водой, отпил один глоток, поставил, взял вторую кружку, со спиртом, и махом выпил все, что там было (так полагалось). Не дыша снова взял первую кружку, спокойно хлебнул, вместо облегчения глотку мигом закупорило и... потерял сознание... валился спиной на дверь, хорошо, что было тесно... Меня подхватили, залили в рот воды, били по спине — привели в чувство — Курнешов гладил по плечу, Хангени похлопывал между лопаток, успокаивали:

— Ну... Ну... Ну... Теперь все пройдет...

— Все... все... Ну, что за шутки...

Я встряхнул головой — как взболтал мозги — вроде оклемался — действительно дышу. Поглядел на стол — справа от меня Градов заливался смехом — его шутка с подменной кружки воды на кружку со спиртом — удалась. Аж слезы утирает от восторга.

Пришлось взять ту кружку с ледяной водой, из которой мне так и не удалось запить спирт, и выплеснуть содержимое ему в харю. От неожиданности он чуть не задохнулся и в следующее мгновение схватился за кобуру. Левою ногой я сбил его руку, прижал к стене, одновременно дуло моего «вальтера» оказалось воткнутым ему под скулу в шею, в горло — в гланду! Да так плотно, что тот широко разинул рот и уже закрыть его не мог. Комбат как закричит:

— Прекратите! Прекратить немедленно! — не на шутку испугался. — Ну что за нелепые... Что за поведение!..

Я еще немного подержал его с раскрытым ртом и отпустил. Даже ногу убрал. Пусть достает.

Градов хрипло матерился и никак не мог затормозить, но — моего прямого адреса в этом потоке он как-то избегал.

— Перестаньте материться! — рявкнул комбат и тут же осадил сам себя. — Ну что вы, честное слово... Новый год ведь... Разве так можно...

Неполная кружка воды, вроде не так уж много, но Градов, казалось, был мокрый весь и метался в своем углу.

Комбат сказал:

— Приношу извинения от всех присутствующих. И за него, — он кивнул на замполита. — Прошу поверить — никакого сговора на это свинство не было... Покорнейше прошу верить.

— Не было, не было сговора, — заторопился Хангени и прижал обе руки к груди.

— И не могло быть, — подтвердил Василий Курнешов.

— А я и так знаю, что сговора не было, — сказал я, но на всякий случай мокрого майора из поля зрения не выпускал.

— Вы тоже хороши, милостивый государь! — комбат уже выговаривал своему заместителю.

Тут Градов что-то сообразил, кинулся к двери, чуть было не сбил меня вместе с Курнешовым — мы оба преграждали ему путь к выходу — и так, расхристанный, мокрый, вырвался в холодную ночь.

— Ну, пусть остывает мало-мало, — обрадовался и заулыбался Хангени. — Посидим по-человечески. Нанайский пир! А?

— Вот именно, — сказал я. — Смотри, чтобы его часовые не прихлопнули. Сегодня они все... со взведенными курками и рады пристрелить любого. Как-никак Новый год!

Зайдаль лежал в землянке одиннадцать дней. Вышел — ветер его качает. Осунулся, не брит, шинель застегнута с перекосами, хлястик висит на одной пуговице. Ему словно хребет перешло. Но все равно вроде бы выкарабкался (шутка ли, перешагнуть через такое?!). А вот военврач еле живой — глаза ввалились — ведь круглосуточно — да еще тьма-тьмушая дел по подготовке к наступлению... Он стоял рядом и наблюдал, как его подопечный делает свои первые шаги по шаткой земле.

Я застегнул Зайдалю хлястик, поправил шинель — он вроде бы даже и не обратил внимания.

— А ремень-то где? — спросил я.

— На гимнастерке.

Мне хотелось, чтобы Зайдаль заговорил со мной, — хотелось знать, помнит ли он хо-

тя бы, как я стрелял в его рыжую женщину. Но он молчал.

— Зайдаль, — спросил я, — мы со дня на день двинемся вперед. У тебя с боевыми машинами все в порядке?

Он кивнул.

— Знаешь, как только двинемся вперед, меня убьют, — сказал спокойно, как о решенном.

— Окстись — впереди пол-Польши и целая Германия!

— Ты муфту сцепления где-нибудь достать не мог бы?

— Какую муфту?

Зайдаль напряг память:

— Кажется, у твоего друга стоит разбитый бронетранспортер. У Нерославского. Сам видел. Наверняка муфта осталась. Выменяй на что-нибудь. Муфта сцепления очень нужна... А сам-то он куда запропастился?..

— Кто? Зорька?.. Он приезжал. И навещал тебя.

— А я что?

— Ты спал.

— Почему же не разбудили?

— Очень крепко спал.

— Странно.

Мы стояли возле того места, где я стрелял в его рыжую женщину... Но Зайдаль не чувствовал этого. Он даже не вспомнил о ней — по крайней мере мне так казалось...

Сквозь деревья пробивался пылающий закат. А там, выше самых высоких деревьев, гулял поднебесный ветер, рвал и растягивал в тонкие нити облака.

Зайдаль смотрел в небо. Потом обернулся.

— Как только двинемся вперед — мне крышка, — сказал он и пошел.

Тут же появился Курнешов — он наблюдал за нами издали — и встал рядом со мной.

— ...Прошло без малого три месяца, — сказал он конфиденциально. — Зайдаль не получил от нее ни строчки. Ноль! Мы стояли на одном месте, почта работала исправно. Всему этому есть только одно объяснение. Ее нет. Совсем.

Мы переглянулись. Я думал, такого вообще не бывает: зазвела прозрачная, напряженная, как до предела натянутая струна. Она шла по одной из улиц Риги — статная, даже литая фигура, уверенный легкий шаг. Замечательно шла!.. Не только мужчины, но и женщины на улице оглядывались на нее в удивлении... Во время войны так могли ходить разве что победители... С рыжей светящейся копной волос — действительно очень опасно заметная... Она шла с ненужным вызовом... Уж слишком независимо...

С двух сторон к ней подошли двое, третий держался на расстоянии...

Я сорвался с места и кинулся ей на помощь. Бежал, как на побитие мирового рекорда!..

Казалось, жилы вот-вот полопаются, сердце разлетится на куски...

Она не спеша кокетничала: «Документы?.. Пожалуйста!»

Опустила тонкую руку в сумочку и прямо из сумочки выстрелила в одного, в другого...

Я не бегу, я лечу, почти не касаясь земли...

Третий сзади бьет ее наотмашь, и как из-под земли вырастают еще двое — один из них получает сильный удар в пах. Свалка!.. Сокрушающий удар в лицо — так бьют только женщин озверелые мужчины... На той стороне улицы чужая женщина дико вскрикивает и сама затыкает себе рот ладонью...

Я не успел... Стою как вкопанный... Рядом Курнешов... Кажется, он тоже бежал и не успел... Она медленно падает с разбитым лицом и широко раскрытыми глазами... Сначала падает на спину, потом, словно передумав, огромным усилием воли переворачивается лицом вперед... Упала, как тогда, под снапой, возле землянки бронероты...

Зайдаль оказался рядом — он вернулся и смотрит на Василия, на меня и ничего не понимает.

Мы смотрим друг на друга и знаем, что произошло невероятное — мы оба видели одно и то же.

— Знаешь, — говорит Зайдаль, — пусть Нерославский за эту муфту запросит все, что хочет! Я отдам... Нужна очень.

— Да брось ты, он эту муфту тебе и так отдаст! — я опять если не кричу, то говорю громче, чем следует.

Зайдаль пожимает плечами, поворачивается и уходит.

На краю леса, возле шумного, подернутого льдом берега ручья взвод заканчивает строительство добротной баньки: стучат топоры, летит щепа, а печники свое дело сделали — баня уже топится.

Появился Курнешов.

— Комбат беспокоится — не засекут ли дымок с воздуха? — спросил он.

— Пасмурно. Какая тут авиация?.. Через час все готово будет.

— Приглашаешь?

— Сначала женская, потом строители, а к сумеркам и мы с тобой.

— «Вечер был, сверкали звезды»... У-ух, зверское дело! Баня!

— У меня просьба, Вася, не откажи.

— Что мнетесь, председатель?

— Надо, чтобы Градов знал: ровно в шестнадцать ноль-ноль у нас, проходимцев, ж е н с к а я б а н я !

— Да он не просыхает с самого Нового года, не выходит из землянки, говорят, даже не ест...

— Вот-вот...

Курнешов надулся, видно, все это ему сильно не нравилось:

— Снова затеваешь?

— Он же затеял против меня дознание. Неужели не понятно?

— Даже лишком.

— Если статус штабиста тебе не позволяет, то я сам...

— Нет уж. Градов и ты — смесь — сразу взрывается!

Штабной фургон, укрытый в апарель. Из трубы вьется легкий дымок. Курнешов забрался в фургон, закрыл за собой дверцы:

— Здравия желаю. Разрешите, товарищ гвардии майор?

— Слушаю вас, — Беклемишев не отрывался от какой-то бумаги.

Здесь же работал писарь штаба, телефонист и в углу торчал неизвестно зачем Борис Борисыч — наш уполномоченный.

Курнешов заговорил деловито приглушенным тоном:

— У нас к вам просьба, товарищ гвардии майор — старший техник-лейтенант Зайдаль Лейбович только-только отошел от болезни...

Комбат глянул на Курнешова исподлобья: — Слышал — какая-то горячка. Так, что ли?

— Почти. Так вот, офицеры бронероты просят вас поначалу его вперед не пускать. Пусть с ремонтными мастерскими побудет. Он там будет полезен.

— А разве кто-нибудь возражает?.. Включайте в приказ.

— Благодарю. Разрешите Борис Борисыча?

— Забирайте.

Василий выпрыгнул из машины. Уполномоченный за ним.

— Чего ты там сидишь без дела? Комбат этого терпеть не может! — Борис опешил, обычно с ним так не разговаривали. — Слушай, председатель приглашает в баню — двенадцать ноль-ноль.

— Буду, — сразу согласился Борис. — Буду, — его приглашали впервые.

— Не откажи, сообщи там гвардии майору Градову, что в шестнадцать ноль-ноль женская баня, — уже вовсе невзначай бросил Василий. — Он просил сообщить.

— Возьми да и пошли посыльного, — удивился Борис.

— Да не то... Ты для него авторитет! Он же в полном разборе — ему надо в коробку вложить все расписание: шестнадцать ноль-ноль женская, потом строители, потом хозяйева, вот ты, я — пусть сам выбирает... Заодно, может, чуть охладится. Пора бы ему...

— Да я и сам смотрю — даже неудобно... Ведь с самого Нового года гудит.

«Баня — это праздник!» — такой лозунг маячил на доске, прибитой по фронтому нового строения.

Два вооруженных автоматчика прогуливались поодаль справа и слева, всем своим видом подчеркивая официальность и недоступность вверенного им объекта.

Врач батальона наспех принял сооружение:

— Годится, годится, отличная баня! Молодцы.

— Ты бы заглянул к Градову, — тихо наемкнул председатель.

— А что? — не сразу понял он. — Пьет как скотина...

— Скажи — «баня — в шестнадцать ноль-ноль. Женская!» Далее по расписанию... Доложи о готовности!

Врач сообразил, поднял брови, так и ушел.

Шесть девушек шумной стайкой прошли в предбанник.

— Пять своих и одна гостья из штаба корпуса, — доложил старшина.

— И так видно, что гостья! — председатель волновался и смотрел по сторонам, а тут глянул на гостью — младший сержант была высокая и заметная.

Когда командир вошел в предбанник — в сумеречном помещении водворилась тишина.

— Охрана у вас надежная? — спросила гостья, играя.

— В случае любого вторжения приказываю: «Огнем и мечем!» Кипятком! И золою!.. Даже начальство!.. Не посралим девичью честь родного взвода! — глянул на гостью, — и штаба корпуса!.. Отвечаю я — «Огнем и мечем!»

Девчата были в восторге.

— Уходите скорее, а то раздеваться будем! — задиристо провизжала гостья.

Командир вышел, прикрыл дверь и плотно подпер ее здоровенной вагой. Словно крепостные ворота.

Майор Градов с каким-то неуклюжим, но большим свертком под мышкой вывалился из лесочка... Приманка сработала!.. А был он, даже по законам фронта, совсем плох. Его и без ветра водило на все стороны — затрапезно неопрытен, без шинели, без ремня, туша здоровенная, лысеющая распатланная башка без шапки, ноги варенные, правда, вся грудь в орденах. На окрик часового он ответил маловразумительно, а на повторный — оттолкнул часового мягким медвежьим жестом, погрозил ему и окрестностям здоровенным кулаком, выбил ногой вагу, подпиравшую дверь, и ввалился в баню.

Там сразу поднялся визг, крики, возня. А председатель вышел из укрытия, взял эту здоровенную вагу, подошел к двери, там по верх женского визга метался, матюшился,

угрожал и надрывался посвежевший голос майора Градова:

— Да вы ошалели? Девки! Я тебе дам из шайки... Шуток не понимаешь?!.. Да не щипался я!.. Не щипался!! Разнесу всех до одной... Су-у-у-ка!.. Не-не-не надо!.. — там явно происходили незаурядные события.

— Видно, осерчали девчата, — проговорил часовой. — Лютуют!

Командир крепко-накрепко подпер дверь: — Никого не подпускать!.. Без меня никого-го!.. — Сел на мотоцикл и рванул по песчаной изрытой дороге.

Толстая рубленая дверь нашей бани! Мы с особым усердием мастерили ее. А он, мерзавец, стрелял в нее из пистолета, не только стрелял, но и пробивал. Скотина! — требовал в промежутках между выстрелами, чтобы ему открыли дверь, а там уж он начисто уничтожит, по идейным и политическим соображениям... всех, кто причастен...

Заместитель командира корпуса по политической части полковник Захаренко вместе с сотрудниками и членами парткомиссии предусмотрительно стояли поодаль. И правильно делали, потому что он все еще стрелял — небезвредный! А я считал вслух, пытаюсь таким образом определить, когда у него кончатся патроны.

— Откройте, — сурово приказал полковник, полагая, что я пуленепробиваемый.

— Но если он на меня кинется... — предупредил я.

— Откройте! — повторил приказание полковник. — Там видно будет...

Я убрал вагу, но не выпустил ее из рук. В тот же миг майор вырвался на предполагаемую свободу с пистолетом в руке и напоролся прямо на Захаренко.

— Товарищ заместитель командира корпуса!.. завопил он, позабыв поменять интонацию на более пристойную.

— Заткнись, — тихо произнес Захаренко (в чем-в чем, а в самообладании ему отказать было трудно). — Ну-у, докладывайте, — брезгливо обратился Захаренко ко мне.

Я отбросил вагу и, как на плац-параде, доложил:

— Товарищ полковник, мотоциклетный батальон сдает своего непросыхающего майора... (он действительно был мокрый с головы до пят, а ветерок был свежий).

— Ну, хватит клоунады строить, — сказал полковник.

— Это провокация!.. Вылазка!.. — кричал майор, видно, уже начиная что-то соображать.

Захаренко забрал из руки Градова пистолет и протянул его своему инструктору.

В центре находился растерзанный и обы-

панный золой майор, а фоном ему служили шесть до крайности любопытных и не вполне одетых девушек.

— Не удержались — выкатили! — заметил полковник Захаренко, обращаясь ко мне.

— Приношу извинения, — произнес я сокрушенно, — но девушки, сами понимаете, испугались (девы действительно были не вполне по уставу, и это производило впечатление).

А тем временем «из леса темного» повысывались неизвестно кем оповещенные солдаты батальона... Тут, видимо, секретность сработала полностью.

— В машину, — скомандовал полковник, обращаясь к Градову.

Но машин было две, и майор заметался между ними.

— В мою! — уточнил Захаренко, а на меня посмотрел так, словно пообещал пропустить через мясорубку, но не сейчас, а чуть погодя.

— А вы здесь откуда? — полковник обратился к одной из amazонок (худой и высокой гостье). — Вы же из штаба корпуса?! — узнал все-таки.

— Так точно! — рявкнула опознанная и чуть не потеряла все одежды. — Младший сержант Побединская! В гостях! Ужасная история, товарищ гвардии полковник!

Захаренко махнул рукой, мол, тут с вами все критерии потеряешь, и сел в свой «виллис», а там в кузове уже маячил до молекул продрогший Градов.

Машины торжественно отъехали.

— Марш домываться! И теперь быстрее быстрого, а то все расписание нарушим.

Девушки кинулись к баньке, а гостья из штаба вдруг преобразилась, все матерчатое подобрала на себе и, чуть растягивая слова, проговорила:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, а разве вы не с нами?... Такая победа!..

Вот тут уж не только девчонки и часовые, все наблюдатели на опушке грохнули хохотом. Операция «Баня» завершилась.

Как из глухой засады появились Курнешов и Борис Борисыч.

— По-моему, с тебя причитается, — хрипло, на приглушенных тонах проговорил уполномоченный.

— Учти, — как-то небрежно сообщил Курнешов, — комбат как туча — считает, что ты все это подстроил специально.

— Правильно считает... Баня — это праздник!

ВРЕМЯ — пятое документальное отступление.

Наш рывок с Сандомирского плацдарма к границам Германии походил на вихрь,

на всё сметающий ураган. Начался 1945 год. Начался!

Это только кажется — НАСТУПЛЕНИЕ! А на самом деле сначала подобраться к ним — опытным и матерым, вгрызться, зацепиться, перемолоть-добить, закрепить. И так пять-шесть раз, пять-шесть эшелонов, пять-шесть вражеских оборонительных линий — и не одними и теми же ротами, батальонами, а новыми, новыми, новыми — залатанными, подпертыми, усиленными, вздрюченными хриплыми окриками и громкими приказами — и так до тех пор, пока не будет пробита дыра! На всю глубину оборонительных линий противника. Таков удел полков и дивизий прорыва — проложить путь, пробить лаз родному дяде, а самому... получить благодарность, присесть в только что захваченной у врага траншее, закурить и посчитать оставшихся в живых — «А чего тут считать, вот они все сидят».

А потом — четкий сигнал: Танковая армия! Вся! Корпуса, бригады, полки, наш отдельный батальон, мой маленький взвод — все полезут в этот проран, в дыру, чтобы добраться до противника, крушить его и гибнуть самим. Двигаться вперед до тех пор, пока целы еще хоть два-три танка и пока они последние не известят опустошенные окрестности черным дымом о своей кончине: «Я был тут!.. Вот он я весь...» или белесой шапкой взрыва, когда башня летит, размахивая всеми тормашками, и падает на землю, проламывает ее с тупым хрюкающим звуком.

Горизонт на западе пылал непрерывным огнем, земля тряслась в ознобе, гудела, словно закипала. В сумерках наш старый лес начал пустеть — небольшими группами боевые машины уходили на исходные позиции. Никто не прощался, ничего друг другу не напоминали, не наказывали.

Последними покидали лес штаб батальона и мой взвод. На дороге перед выходом из леса стоял Зайдаль в распахнутой шинели, его руки были чуть растопырены. Когда моя машина проходила мимо него, я вытянул руку в его сторону, и он мазнул ладонью о мою ладонь — вот и все. Зажег карманный фонарь — ладонь была в машинном масле. Высунулся из кабины, оглянулся, но сумерки размыли его очертания, и там еле обозначилось темное пятно.

Наступление разворачивалось широко и уже в воздухе висело — НА ЭТОТ РАЗ МЫ ПРОЙДЕМ ТАК ДАЛЕКО, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ, И ГЕРМАНИЯ БУДЕТ ВОТ ТУТ! ПОД НОГАМИ! Мы вырвались из вражеских тисков и начали свое долгожданное наступление. Как вздох после удушья — оперативная глубина — наша песня и победный звон.

Снимать под ЧБ хронику.

На высотке возле фольварка, в несколько героической позе, чему способствовала развешивающаяся на ветру плащ-палатка, стоял наш батальонный врач Валентин — еще бы, он впервые был очевидцем большого настоящего танкового сражения. Он озирался по сторонам, желая найти хоть кого-нибудь, чтобы поделиться впечатлением. Его санитарная машина и персонал были спрятаны за каменной постройкой.

Мина угодила в навозную кучу — осколок с птичьим фырком пропорол ему живот. Валентин захватил двумя руками рану и пытался понять происшедшее — навозная куча, живот, фольварк...

— Са-ни-та-а-ры!.. — в его глазах стояла уже знакомая тоска — внутренности трудно было удержать, они вываливались наружу.

Два санитаря кинулись к нему с носилками. За ними на коротких крепких ногах мчался Никита Хангита.

Доктора с предосторожностями стали укладывать на носилки.

— Э-эх, Валя-Валентин... Как же тебя? — приговаривал Никита.

— В живот... Ничего — заживет... — пытался еще шутить доктор. — Стоп, — произнес Валентин и сказал наставительно своим санитарам: — Сколько раз учить — раненого в живот переносят с согнутыми в коленях ногами.

Санитары согнули его ноги в коленях, связали поясным ремнем, закрепили, подняли носилки и по привычке побежали.

Он еще раз остановил их:

— Стоп... — и сказал Никите: — Скажи... скажи, чтобы не торопились... из навозной кучи... в живот... не поможет... Перитонит...

Доктор умер после операции в палатке медсанбата. Он правильно поставил свой последний диагноз.

Конец документального отступления.

За двое суток ожесточенных боев прошла еще одна Целая Жизнь...

После полудня прямо на марше, в самую сумятицу, когда и слева, и справа шли бои, нас догнал Зайдаль.

— Гвардии старший техник-лейтенант, зачем прикатили? — сухо и официально спросил его Курнешов. — В приказе — вам во втором эшелоне до особого распоряжения.

— Здесь много трофейной техники и кое-что надо... — Зайдаль чуть растерялся, но тут же перешел на свой обычный независимый тон, — мне там нечего делать, Василий. Не надо меня затыкать в эшелон — я все понимаю — не надо. — Он осматривал новый трофейный бронетранспортер. — Я хочу в свою роту...

Курнешов взглянул на председателя и, чуть обозначив свою беспомощность, развел руками.

— Твой? — Зайдаль спросил у председателя, тот кивнул. — Крепкая машина, — сказал Зайдаль водителю Талову, — мотор-зверь — «майбах». Только следи, здесь все на водяном охлаждении, перегревы его слабость. — И он полез в машину.

На марше, в раздрызганной лощине между двумя холмами, где было столько дорог, сколько гусениц и колес прошло, навстречу нам из-за бугра вырвался танк без башни — (это все равно, что бегущий пешотинец без головы) на броне сидело несколько раненых, один чумазый, в разорванной белой натальной рубахе, с перевязанными кистями рук, махал и что-то кричал мне. Его тягач промчался мимо, остановился в облаке черного перегара. Остановились и мы. Побежали друг другу навстречу.

— Твоего кореша только что — наповал, — крикнул он еще издали.

— Кого?

— Зорьку-москвичка! Нерославского!

Я схватился за голову, показалось, что голова звенит и падает. Посреди дороги, на виду у всех — тут, где за голову от любых вестей не хватаются... Чумазый кинулся к своему тягачу, но сразу остановился и крикнул:

— Болванка! У разбитой церкви! Он целил в танк, промахнулся, а он рядом стоял — прямое попадание в грудь — навывлет! — и он показал белыми замотанными руками на себе, что такое болванка (!) в грудь (!) навывлет (!). — Скорее, старшой! Еще успеешь! У церкви!..

В бронетранспортере Зайдаль спросил: — Кого?

Я махнул водителю — «Вперед! Вперед!» — машина с ревом дернулась — в падении держались друг за друга, ругались, терли уши-беленные места.

Нерославского хоронили у самой церкви. Мы повыпрыгивали из трофейного бронетранспортера, подбежали — танкисты засыпали могилу. Кто был впереди, схватили по горсти мокрой земли...

«Все. Нет Зорьки Нерославского... Навывлет». — Мелькали лопаты.

«Но должна же быть основательная причина, если наступает конец такого явления?.. Конец ЖИЗНИ... Может быть, это он сам взорвал ее ничем не оправданной ревностью — этим чувством бессмысленного и оскорбительного присвоения... Чувством, ничего общего с любовью не имеющим... В одно мгновение он уступил себя, всего, без остатка... Ее... и меня, немножко...»

Мелькали лопаты — летела земля.

Поздним вечером на фольварке Зайдаль сидел на бревенчатом свале возле сарая. Я плюхнулся рядом. В разрывах между облаками на небе зажигались первые звезды.

— Живой? — спросил он, не глядя в мою сторону.

— Вроде, — ответил я.

Он долго молчал. Потом сказал в пространство:

— С ее уходом для меня мир кончается...

— Наконец ты заговорил... А то я думал... — выдохнул я.

Его глаза светились, и во всей фигуре, в том, как он сидел, облокотясь на старые бревна, снова забрезжила надежда на возвращение.

Только через много лет я понял, что он был первым и единственным в моей жизни человеком, который пытался объяснить предчувствие собственной смерти.

— Я стал рабом своих чувств к Ней, — сказал Зайдаль. — Это перекос, нарушение какого-то главного закона... Даже разрушение. — И тут он обратился прямо ко мне. — Поостерегись. Ты тоже стал пристрастным. Нельзя позволять себе привязываться к войне и оставаться Че-ло-ве-ком... Или — или!.. Уж лучше умереть от любви к женщине, чем от привязанности к войне. — Он замолчал.

Мрак наполнил сырой, крошечный. Далеко вперед что-то полыхнуло на полнеба и осветило низкие облака.

Зайдаль заговорил снова:

— Пойми, нельзя «любить войну!» Нужно воевать без заинтересованности. Жить работать, да и воевать без пристрастия — значит, работать, воевать и жить, не ожидая никакой награды вообще, не бояться никакого наказания. Это не каждому под силу. Прежде всего это значит очиститься от эгоизма. — Казалось, что он даже улыбается в темноте. — Очиститься от эгоизма и жить. Жить... — Он уже говорил с кем-то, или сам с собой, или возражал кому-то, или вспоминал кем-то сказанное, но вслух произносил только отдельные фразы:

— Надо верить и надо надеяться, а у меня и то, и другое кончилось... — он проговаривал что-то про себя и потом сказал четко: — Мы поколение прозревающих только перед смертью.

Слова, которые он произносил в темноте, — так мне показалось — складывались в объемы, фигуры и уплывали туда, где перед рассветом опять будет бой; туда, где в ознобе лежала притаившаяся Германия.

Развалины попеременно с уцелевшими частями зданий. Белый флаг с красным крестом — медсанбат. Похоже на перевалочный

пункт — полно раненых — привозят одних, увозят других.

Возле трехэтажного здания спрашиваю пожилого санитаря в куцем затасканном халате.

— Герой Советского Союза капитан Романченко у вас?

— Здесь ваш герой, — санитар в полной безнадежности махнул рукой. — На третьем, в изоляторе.

Вхожу. Узкая длинная комната. Петр лежит, уставился в высокий потолок.

— Это я. Салют.

— Думал, не успеешь... — дышит скверно, сипит.

— Что ж ты, сволочь такая, сделал?

— Да я два раза его пил, и ничего.

— Убить тебя мало!

— Мало...

Помолчали.

— Ты что ж, совсем ничегошеньки не видишь? — Я не верил, что можно совсем ничего не видеть. — Ну хоть что-то видно?

— Одна черна мудня! — вполне определенно произнес Романченко. — Гроби в тумбочке — возьми штраф... Всё возьми.

— Может, выкарабкаешься?

— Нет... Если что не так, друже, извини мэни, дурака, — говорит вполне уверенно, широко и твердо расставляя слова.

— Где взяли-то?

— На станции, мать ее... Кляйн-Хрюкен какая-то... — лицо у него темнеет прямо на глазах. — Уничтожь ее!

— Что, станцию?

— Ни... цистерну...

И тут я взревел, потому что внезапно понял — на этот раз ему не выкарабкаться:

— Гады! Гады!.. — Я, наверное, имел в виду всех на свете... — Паразиты! Цистерна! Потерпеть не мог!.. За шестьдесят верст до Берлина!.. Если уж так приспичило... Это же додуматься!.. Древесный спирт. Ты формулу этого дерьма знаешь?.. Фашисты специально его нам оставляют... Чтобы такие... Как ты!.. — Я перестал орать, испугался...

Потрогал Петра... Он мертв.

Положил ладонь ему на лоб. И так держал...

Вошел санитар... Тот пожилой, небритый, в куцем замызганном халате...

Четыре мотоцикла, одиннадцать человек мчались к железнодорожной станции. Вот она — Кляйн-Корхен! Вот она — цистерна!

Подкатили почти вплотную.

— От цистерны все! Ма-а-а-арш!

— Товарищ старший лейтенант, полегче. — Это помкомвзвода Иванов. — Они пьяные, из разных частей. Тут нельзя нахрапом.

— Все назад! Приказ командующего! При малейшем сопротивлении... Из пулеметов!..

Приказ командующего! — повторяю как заклинание, но тут ухо держи остро — как в клетке со свежими тиграми.

Внутреннее сопротивление лютое. Начинают расползаться, пьются, но огрызаются.

— Все назад!.. Без шуток!.. Весь спирт на землю!

— Вы там не очень-то!.. Не очень... — этот совсем смелый попался. — А то как бы вам тоже посуду не продырявили.

Ординарец и помкомвзвода Иванов отделали смельчака от остальных, обняли и скрутили. Запихнули головой в коляску мотоцикла. На всякий случай, кажется, привязали. Остальные кинулись к тем, что были поближе к цистерне, — отнимали канистры, жбаны, котелки, бидончики... Выливали, а посуду кидали им, отступавшим к развалинам.

— Это же древесный! Поперетравитесь... Мертвые! Уже мертвые есть!.. Поезжай в медсанбат, посмотри!

— А то глупее тебя!.. Очистку произвести не сможем!.. — Ну, с этим управились быстро.

Разбрехались разъяренные, пятились обескураженные. Озирались, отругивались, тихо угрожали...

Какой-то сердобольный солдат-доходяга сообщил:

— Товарищ гвардии охвицер, разрешите?.. Вы тот спирт не берите... Там с ночи один плавает.

— Где плавает?

— У в цистерне. Утоп.

— А чего же вы сами-то?

— Мы с другого боку сливали, — сообщил по большому секрету, — не там, где плавает. Все одно, дезинхвекция. Правда?

Нашли пожарный багор, извлекли утопленника. Свежий, розовый, чистый. Никто его не знает. Положили на перроне... Может, опознают... Открыли краны и выпустили в канаву всю цистерну древесного спирта.

Добытки смерти находились в почтительно удалении — выглядывали, отсиживались и с ощущением горестной утраты ждали — авось, хоть что-нибудь им да достанется.

— Тебе в подарок жизнь — мало? — ругается ординарец и кричит тем, что в отдалении. — Хочется еще чего-то?.. Жгучего?! Чтобы утроба полопалась?.. Чтобы сдохнуть?.. Да?..

Зайдаль работал день и ночь — ремонтировал машины. Не замечал выстрелов, не замечал разрывов и... проповедовал:

— Лексика победителя — это лексика того, кто сам впряму не воевал. Убивает и калечит на войне всех и всякого, и кто воюет, и кто не воюет — не об этом речь... Воевать — это непрерывно и сознательно подвергать

свою жизнь смертельной (обязательно смертельной!) опасности. Обязательно, все двадцать четыре часа в сутки. Иначе это сделает он — твой враг. Вот что такое воевать, а не присутствовать в прифронтовой полосе. «С оружием в руках!» — в его устах это звучало всегда иронично. — Вот я, например, участник! Прямой участник, а не воин. Я не сражаюсь — вот спросите у председателя, он все знает про это, — опять иронизирует.

Пожилой полковник нетерпеливо топал ногой и что-то объяснял своему адъютанту.

Деревянный старый просмоленный мост. В реке вода черная от холода — уже не зима, снега нет, но все равно февраль. Плотная колонна наглухо забила дорогу — ни вперед, ни назад — ни вздохнуть, ни охнуть! Головные машины уперлись в мост, впереди всех «виллис». Старый полковник уткнулся в большую развернутую карту, утонул в ней.

В колонне ругались напропалую и смотрели в небо:

— Ну, чего встал... оглоблей...

— Прижмут... Икнуть не успеешь!..

— Уткнулся носом... — читать по-немецки учится.

— Вон лес! За лесом... Германия!!!

Действительно, впереди за рекой в трехстах метрах от нас в лес уходили две дороги... За этим самым лесом эта самая Германия.

Рядом с полковником маячила знакомая приземистая фигура его адъютанта — еще какая знакомая!

— Здорово, Иван, — это же наш Белоус.

— Здравствуй, — Иван испытывал какое-то неудобство, он оттаскивал меня в сторону на край дороги.

— Ну, как в адъютантах?

— Не говори... — он был смущен.

Курнешов торчал возле своей штабной машины и, как все, тревожно поглядывал в небо.

В стороне от дороги, шаркая по сухой прошлогодней траве, передвигался, словно пританцовывал, Зайдаль. Он смотрел себе под ноги, руки заложил за спину, вроде бы беседовал сам с собой.

— Ты своему скажи — нельзя здесь оставливать колонну.

— Ему, пожалуй, скажешь... — он двинулся было к своему полковнику.

— Во-о-о-зду-у-ух!!! — психованно несло по колонне.

Нашу колонну атаковали сразу шесть «мессершмиттов» — они всегда работают парами — последние, усовершенствованные, оснащенные штурмовым оружием и фаустпатронами, укрепленными под крыльями (против танков!), да еще с бомбовым запасом —

все за счет веса горючего — их аэродромы совсем рядом, мы уже сами просто натыкаемся на них.

Почти все люди от дороги кинулись вправо — к реке... Полковник заметался с картой в растопыренных руках... Я ждал сброса бомб, чтобы определить склонение. Краем глаза увидел, что Зайдаль остановился посреди поляны в распахнутой шинели с вытянутой вверх по направлению полета самолетов рукой, тоже готовый определить склонение сброшенных бомб...

От самолетов отделились черные точки... Масса людей — (почти все!) — бежали вправо, через поляну, к обрывистому берегу реки.

Черные точки начали сваливаться чуть вправо от большого пальца — моей линии прицела...

Иван сгреб в охапку своего полковника вместе с картой...

Я повелительно вытянул левую руку влево («Бежать туда!») и краем глаза заметил, что Зайдаль никуда не бежит — тоже машет левой рукой влево и еще кричит что-то бегущим мимо него.

Те, кто видит его сигналы и поверили, замирают и кидаются в обратную сторону — влево! Наперекор массе!.. Таких мало — считанные...

Нигде никто так быстро не бежит, как под бомбежкой, — мои бросились влево — все до одного мчат в открытое поле, враспынную.

Белоус успевает крикнуть водителю — «Гони!» — и кидает полковника в кузов. «Виллис» срывается, перемахивает через мост и подпрыгивая мчится по дороге — к лесу...

Свист бомб уже нестерпим — я прыгаю в кювет — разрывы накатываются от хвоста колонны прямо на нас!.. Оглушительные разрывы — я вдавливаю лицом в небольшой островок снега... Белоус медленно улетает куда-то вверх к солнцу, словно его швыряют туда с подкидной доски... Зайдаль смотрит в небо — руки чуть разведены по сторонам, будто он повторяет маневр вражеского истребителя. Не убегает ни вправо, ни влево, он даже не ложится на землю...

Я поднимаю лицо из островка талого снега — там отпечаток моего лица. Кричу: — Зайдаль!.. — Новый заход истребителей накатывается стремительно уже на бреющем полете. — Ложись! — Плюхаюсь лицом рядом со своим отпечатком... Очереди скорострельных пулеметов и разрывы бомб... Возле щеки что-то шипит, обжигающий пар. Тонкий длинный раскаленный осколок врезался в свежий отпечаток моего лица — я беру осколок, он очень горячий. Приходится перекачивать его из ладони в ладонь. Сажусь прямо в кювете, оглядываюсь по сторонам — кругом полный раздолб. Встаю... Иду на поле... Там лежит Иван

Белоус... Я не могу понять, как он мог очутиться так далеко от дороги... Опускаюсь на землю возле него... Зайдаль уходит куда-то от нас... По-моему, он потерял фуражку — ищет ее... Белоус разбит начисто — ни капли крови, но руки и ноги у него вывернуты, как у затасканной тряпичной куклы. Не понятно, как можно к нему прикоснуться, не то что перевязать или перевернуть. — Санитаров! Врача! — кричу я своим, возвращающимся из поля.

Кто-то побежал...

Снова заход, опять на бреющем полете — Боже, что они с нами делают! — ведь ни одной зенитки, ни одного зенитного пулемета в колонне. И еще кто-то очумело бежит опять туда же, к реке...

— По «мессерам» огни! Всем! Всем стрелять! Огони!.. — стреляют всего несколько человек, да и вообще такой огонь для них как слону дробинка — у «мессеров» брюхо бронированное... Теперь они утюжат берег реки. Там свалка. По-над берегом лежат один к одному, там каждая пуля в цель. Только самые решительные перебираются в ледяной воде на ту сторону, кто по поясу, а кто в плываль... Заход за заходом. Каждый раз по выходе из бреющей атаки (я заставляю себя смотреть в упор!) вижу заочкаренную морду пилота в шлеме, даже кажется, что выражение лица вижу. В следующий миг клепаное бронированное брюхо «мессера», торчащие раскаленные стволы — и последним угрожающий ствол хвостового пулемета...

— Если не горючее, то боеприпасы у них вот-вот кончатся! — кричу я Ивану.

Он чуть скосил глаза — живой.

Помкомвзвода докладывает:

— Врача нет. Санинструктор тяжело ранен. Санитаров не могут найти, — он плюхается на землю рядом.

Над нами пронесится последний «мессер»... Остальные, кажется, ушли... Очень длинная очередь... Очкастая рожа, клепаное брюхо, ствол пулемета. Пулеметная очередь затыкается, словно пулемету вставили кляп.

— Смотрите — смотри...

Зайдаль один стоит на краю поля с растопыренными руками, ноги чуть подогнуты, как будто его шутя ударили под колени. Вскрываю и бегу.. Изо всех сил... какие остались, и какие еще даст небо... Зайдаль ждет, ждет и даже слабо протягивает ко мне руки... Я лечу, до... добега... Тяну к нему обе руки... И когда расстояние между нами миллиметры!.. Он падает, как скошенный... Я промахиваюсь, спотыкаюсь об него и врезаюсь головой в землю — прямо втыкаюсь в нее!..

Пodbегает помкомвзвода Володя Иванов,

подбегает Курнешов — они поворачивают меня...

— Да не меня! — я беснуюсь.— Е го!..

Они оба поворачиваются к нему...

У Зайдаля на спине, слева под лопаткой маленькая, окрашенная кровью пробоина.

— В этом месте должно быть сердце... — неуверенно говорит Курнешов.

Владимир Иванов опережает всех — переворачивает Зайдаля.

— Убит,— говорит он, как забывает шплинт.

Еще живой, но уже совсем угасающий Иван Белоус — он лежит и все видит...

Возле него пожилой солдат, смотрит, смотрит ему в лицо.

— Как тихо умер... Прямо отлетел,— говорит он.

— Может, они сейчас вместе? Двое?.. — неожиданно высказал предположение помкомзвода Иванов.

— Не двое — тьмы... Их там больше, чем нас здесь,— сказал пожилой.

...Оставшиеся в живых бредут к своим машинам. Где-то уже заводят моторы. Сейчас двинутся вперед...

— Почему никто не несет раненых?.. Кто будет собирать раненых и убитых?! — спрашивает председатель.

— Их там много...

— Все в це-епь! Вдоль дороги!.. Ни одного без раненых в колонну не пропускать!

— Из кабины его! Заглушить моторы!.. Выволакивай!.. Передайте: без раненых ни один через мост на ту сторону не переедет!.. У моста Пулемет к бою!

— Давай-давай, тюря! Дорогой, не ленись... Двух приволоки.— смотри какой здоровенный!

— А я туда побег, куда вы казали,— уже заискивал какой-то средних лет солдат.— Тама все уцелели! Как есты!

— Вот и хорошо. Теперь волоки хоть одного раненого... Да не этого — вон оттуда, от реки...

Курнешов и еще двое осторожно уносят тело Зайдаля к штабной машине. Туда же несут тело Ивана Белоуса. Несколько солдат пытаются проскочить от реки в колонну.

— Стоять!.. Стой, говорю! — это старший сержант Иванов.

— Да иди ты!..

— Стоять!

— Да кто ты такой?!

— Потом уточнишь! — выбивает у него диск из автомата.

— Ты... ты... что? Ты... — другие осторожно останавливаются.

— Раз мы перешли на «ты», сразу вали

вот туда,— говорит старший сержант,— принеси раненого. И ты!.. И ты!.. Ни один без раненого в колонну не пройдет!

— Не бросать же своих где попало?.. — увещевают уже один другого.— А если бы тебя?.. Самого?..

— Убитых волочить? — зло спрашивает кто-то подъялдыкивая.

— Братъ, умница, братъ... И нести сюда! Они все наши.

— Какие заботливые нашлись...

Возвращается Курнешов и встает рядом с председателем.

По всему полю от реки к дороге несли раненых и убитых. Те, кому не хватило раненых, цеплялись за чужих, так что каждого уже несли один-два, а то и три солдата. Несли, волокли убитых на плащ-палатках, сразу двух убитых — на брезенте...

— Вот это налетик, мать его... Мать его...

— Интересно, куда это наш полковник подевался?

— Штаны в реке полощет, курвин сын! Где остановил колонну?! Ну где остановил!

— Говорят, его адъютанта на куски разнесло...

— На какие куски?! Вон там лежит.

— Джаз! Где джаз? — кричит председатель.

— Зачем тебе джаз? — тихо спрашивает Курнешов.

— Джаз во время боевых действий исполняет обязанности похоронной команды! Так в приказе?!

— Нет никакого джаза...

— Должен быть!

— Выходит, что джаз обязан двигаться впереди боевых частей?! Так, что ли?

...В нашем танковом корпусе действительно был свой джаз. Да-да, настоящий, очень хороший джаз-оркестр! Они играли везде, где только можно было собрать группу нестреляющих людей и пристроиться, как бы на импровизированной эстраде (ну, не на передовой, конечно, и не прямо под обстрелом!). Без этого удивительного джаза наш корпус был бы, конечно, сильной боевой единицей, но он был бы немножечко другим. И, боюсь, намного хуже... Но это всё в промежутках и передышках... А во время боев и смрадных сражений состав джаз-оркестра (все до одного!) назначался в приказе по корпусу, похоронной командой. Во главе со своим капельмейстером. В наступлении хоронят много и всегда поспешно — ведь катится наступление и не останавливается. Оно летит вперед и спешит непрерывно. Как будто там впереди спасение!.. Хорошо, если успевали поставить дощатую пирамидку со звездочкой, а то ведь просто палку или рейку и на ней

фанерка с именем, фамилией, «год р.— дата см.» химкарандашом. В нашем танковом корпусе был великолепный джаз-оркестр. И отвратительная похоронная команда...

Снова поле, дорога, речка и мост, возле которого нелепый полковник остановил нашу колонну.

Подходит похожий на негра-блондина старшина. Докладывает, еле выговаривая: — Убраны все. Подчистую...

— Можно отправлять, — говорит Курнешов. — Заводи и вперед! — команду передают от одного к другому в глубь колонны, но не кричат.

Свободной рукой Курнешов треплет председателя, как дворовую собаку — «Ну что ты... Ну что ты?.. Оживай!.. Оживай!.. За лесом Германия», — такое впечатление, что Курнешов смеется... Не может быть... Но впечатление такое...

ВРЕМЯ — шестое документальное отступление.

Легенда о Бенапах подходит к концу.

Динамическая мощная мультипликационная карта окружения Берлина войсками Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов (с захватом Потсдама и взрывным соединением фронтов) — кольцо! Южная окраина Берлина — Штансдорф, прямой линией через весь район проходит канал Тельтов. На той стороне канала, против танковых подразделений бетонная цитадель Ванзее — тут наша разведка промахнулась. Началась беспрецедентная атака мотопехоты, на машинах-амфибиях, заполненных автоматчиками, саперами, подрывниками. Точно в назначенное время амфибии взяли старт, разогнались по суше, с ходу врзались в канал, водная гладь вскипала от работы гребных винтов — десант вел огонь из всех стволов — шквал! Ширина канала чуть больше пятидесяти метров — когда десант приблизился к середине, грозно приоткрылись стальные щиты амбразур цитадели, автоматические пушки, орудия, пулеметы за десять—пятнадцать секунд огнем в упор смели десант — все до одной амфибии горели, погружались в воду, переворачивались, раскалывались, тонули. Кровь, машинное масло и горючее — эта смесь затыгивала урло, течение уносило трупы... Смятый, уничтоженный на две трети десант пытался вернуться на свой берег. И на какое-то время берег Штансдорфа казался самой родной землей — так к нему неудержимо тянуло каждого уцелевшего.

Снимать под ЧБ хронику.

Как раз там, в ответном шквальном огне неприступной цитадели, как бы ни с того ни с

сего, погиб наш дорогой молчун Долматов — минометчики еле выволокли его, уже мертвого.

Захлопывались, смежались двойные заслоны амбразур цитадели, и всё замирало... Только отмеченные невиданным везением или неким знаком добирались до своего берега. Там перекуривали, пересиживали, выкручивали, сушили, ругались долго и скверно и недоумевали. Недоумевали — «Неужто нельзя что-нибудь придумать, выкурить их оттуда, но не штурмовать! Ведь не сегодня-завтра вся эта ... кончится... Трижды треклятая...»

— Кому нужен был этот опсихелый штурм?! — на этот вопрос сегодня уже никто ответить не может... — Разве что тем, кто сам никогда ни в каких штурмах не участвовал. Разве что тем, кто посылал на смерть и придумывал им вдогонку тупые, бессмысленные и громкие лозунги — они и по сей день летают и извиваются над братскими могилами...

...На Эльбе уже встретились специально подготовленные американские подразделения с нашими специально подготовленными гвардейскими подразделениями. Встреча на Эльбе!

...На улицах Берлина, в парках, на перекрестках шли напряженные бои. Тяжелые орудия работали на прямой наводке вдоль улиц. Где не помогало полное разрушение, применяли их же изобретение — огнеметы, и выжигали все до полной черноты. Наши войска в центре города продвигались к рейхсканцелярии, Бранденбургским воротам, рейхстагу.

Первое Знамя Победы, с таким трудом привязанное веревкой к колонне рейхстага, когда солдат, прикрепляющий это знамя, сидел на плечах своего товарища, — вот и вся высота водружения первого Знамени. Огонь врага и смертельная опасность!

Их крепили шесть раз — Знамена Победы — на разных уровнях этого здания, по мере продвижения вверх, от этажа к этажу... Только зачем так много людей хотели участвовать в этой Победной гибели?.. Куда все так торопились?.. И это массовое наваждение мало кто сможет объяснить. Победе нужны символы! Нужны — значит будут! И через десятилетия с упоением поется — «Мы за ценой не постоим!» Но поют-то живые...

Наконец, главное Знамя — победная хоругвь — было закреплено специально выделенной группой батальона Самсонова возле купола, на крыше уже освобожденного от фашистов рейхстага. Их и провозгласили Героями!

ПОБЕДА — ЭТО ТАКОЙ РАДОСТНЫЙ КОНЕЦ СВЕТА! ЭТО ЛИКУЮЩИЙ АПО- КАЛИПСИС! ЭТО ТОРЖЕСТВЕННОЕ НА- ЧАЛО ТОРЖЕСТВЕННОГО КОНЦА!

А еще южнее южной окраины Берлина в эти самые часы десятки тысяч обезумевших от войны, безнадежности, поражения и страха перед возмездием солдат, остатки немецко-фашистских войск пошли по своей последней дороге — в бездну. Тысячи!

А лавине наперерез по всем прилегающим шоссе накатывалась наша лавина — мотоциклисты, бронетранспортеры, бронемашины — и всё с пулеметами, с пулеметами! В промежутках зенитные пушки — «дай-дай». Они тут же разворачивались «к бою» и сразу открывали огонь. Этот пулеметно-пушечный шквал с каждой секундой нарастал, становился сплошным и нестерпимым.

Вражеская, да уже не вражеская, а обезумевшая лавина по инерции продолжала накатываться, и тогда казалось, что даже смерть не сможет их остановить, и они вот-вот сомнут наши заслоны... Дробь обычных пулеметов заглушило клекотом множества крупнокалиберных и спаренных зенитных. Казалось, что обычные калибры такую оплывшую массу не пробьют. Не остановят!

Передовой, наиболее организованный и активный отряд немцев был просто скошен — такой плотный огонь встретил их.

А накатывающиеся серые волны продолжали переливаться на солнце и падать, переливаться и падать... Остальные уже сами ложились на землю... До самого горизонта лежали все. И пулеметы почти одновременно, без всякой команды, заткнулись — как поперхнулись... Никто уже не хотел, не мог просто так убивать людей...

На эстакаду выехала потрепанная машина с репродуктором на крыше и надписью «клубная», предназначенная для кино и танцев. На всю округу усталый, хриплый голос вещал, а ветерок разносил по полю короткие немецкие фразы: «Сдавайтесь... Сдавайтесь... (Надсадный кашель.) Спротивление бесполезно... Во избежание ненужного кровопролития... Капитуляция безоговорочная... — голос был такой усталый и знакомый, что немцы по всему полю начали поднимать головы. — Безоговорочная капитуляция!.. Будьте благодарными... Вам гарантируется жизнь...» — раздавалась одинокая автоматная очередь где-то поодаль, и ей в ответ рывкнули несколько крупнокалиберных пулеметов.

Усталый голос из репродуктора прокашлялся и продолжал: «Обезоружьте ваших психов... Они губят вас... Сдавайтесь... При малейшем сопротивлении снова будет открыт огонь».

Немецкие солдаты начали отрываться от земли, по одному, по двое, с поднятыми руками и, словно пробуя твердость почвы, как на болоте, озираясь на своих — «Не убьют ли?...» — начинали медленно двигаться по направлению к нашим оцетинившимся линиям.

Снимать под ЧБ хронику.

Во дворе рейхсканцелярии беспорядочно валялись несколько трупов, пустые канистры, поломанная мебель, множество каких-то бумаг. Два советских офицера бродили по двору. Их трудно было узнать.

— Посмотри. Ты только посмотри, похож на Геббельса! — удивленно произнес один из них, в высоких сапогах с ботфортами.

— Да это он и есть, — обыденно ответил второй и пригладил челку.

Поблизости от обгорелого трупя лежали тела женщины и двух подростков. Побродили еще.

— А это кто?..

— Гитлер, наверное.

— Да он сейчас где-нибудь в Южной Америке...

— Ну да?.. А по-моему, это он.

— Совсем не похож. И обгорел сильно...

Вот так, на захламленном небольшом городском дворике в центре Берлина заканчивался один из гнуснейших поворотов истории.

По двору летели никому не нужные бумаги. Двое созерцателей были — Курнешов и председатель.

Конец документального отступления.

В просторной столовой генеральской квартиры, на южной окраине Берлина, окна были наглухо занавешены. Стол парадно накрывала худая невзрачная немка — хозяйка (хоть и генеральша!), ее симпатичный сын лет двенадцати-тринадцати и еще два ординарца. Стол готовили большой, очень большой.

В витиеватых канделябрах хозяйка устанавливала свечи. Курнешов привычным жестом пригладил челку:

— Помнишь, Зайдаль говорил...

— Но ты же сказал... — председатель взял в руку бутылку. — Не вспоминать!

На столе было много сверкающей посуды, хрусталя: рюмки, бокалы, кувшины, бутылки, подставки, вазы. И совсем мало еды. Председатель не спеша наливал во все рюмки. Курнешов стал зажигать свечи. Гостей не было.

Хозяйка в дверях тарачила глаза, а ее сынишка с восторгом глядел на происходящее.

— У меня в детдоме паренечек был — занятный такой мальчонка... — прервал молчание Курнешов.

— Ну и что? — грубовато одернул его председатель.

— Я его как-то спрашиваю — «Костя, кем ты хочешь быть?» — Он отвечает — «Я очень люблю китов. Я буду китобоем». — Я ему — «Как же китобоем, если ты их больше всех любишь? Ведь китобои китов убивают?!» — Он подумал и говорит — «А как же я еще до них доберусь?» — «Разве можно любить и убивать?» — спрашиваю. — «Не знаю», — говорит. Вижу, выкручивается. — «Я буду китобоем, а убивать не буду». Говорю ему: «Многие пробовали — не получается... Или — или!»

Снова помолчали.

— Зачем ты мне эту... муру с китами лепишь? — спрашивает председатель.

— Извини... это не мура, — говорит Курнешов. — Ты только пойми, из двенадцати основоположников осталось двое...

Кажется, немка и ее сынок что-то поняли и переглянулись, а ординарцы подпирали стенку — они-то и так все знали.

Вбежал связной — так ворвался, что две свечи погасли.

— Разрешите обратиться?.. — как рявкнет. — Боевая тревога!

— Что?!

— Откуда?!

— Форма «один»! — обратился к Курнешову. — Вас срочно в штаб!

Ночь. Шоссе в горах. Колонна машин. Едва видно впереди идущую. Гул моторов. В наушниках хрип эфира... — Говорит Прага! Говорит Чешская Прага!.. Слушай, Красная Армия — в Праге восстание... — В бронетранспортере все спят. Радист наклоняется ко мне и кричит в ухо:

— Команда открытым текстом — «Зажечь фары. У противника больше нет авиации».

— Ну-ка, дай... — беру наушники.

— «Зажечь фары! У противника больше нет авиации. Чаще менять водителей! Засыпают! Много катастроф. Зажечь фары!»

Впервые за всю войну в колонне сотни, тысячи машин зажигают фары — серпантин превращается в светящуюся движущуюся дорожку — феерическое зрелище. Но почти никто не видит — все спят.

Слева во мраке какая-то постройка, и в глубине двора мелькает лучик.

— Стоп! — команду водителю.

Он сразу падает головой на руль.

Расталкиваю ординарца.

— За мной.

Ординарец еле приподнимает голову:

— Иду!.. Иду!.. — но действительно пробудиться он не может.

— За мной...

Двигаюсь в темноте, почти наощупь, в направлении светящейся точки — лучик пробивается сквозь... Нашупываю... Сквозь дверь в деревянных воротах, которые ведут в...

Распахиваю дверь, вхожу — большущая лампа, просторное сводчатое помещение и... сорок—пятьдесят солдат и офицеров уже несуществующего немецкого рейха: в походном снаряжении, с оружием наизготовку — автоматы, винтовки, карабины, пистолеты — ощущение захлопнувшегося капкана. Свет разгорается, становится слепящим, нестерпимо ярким... и съедает все очертания.

...Треск и рев надрывающегося мотора. Мотоцикл с коляской. На нем несусветный экипаж — двенадцать очень молодых офицеров — мы всех их знаем — облепили «М-72» — сидят, стоят, висят друг на друге. Ветер того и гляди сорвет кого-нибудь из них, но черта лысого, — не сорвет! Они накрепко связаны, как канатом, одной судьбой!.. Им некуда деться...

1988—89 гг.





Леонид
РИЗИН

«МИССИОНЕРЫ»

(Фрагменты из хроники одного
нашествия)

Сначала еле-еле слышно, потом все громче и громче начинает звучать «Лили-Марлен» — любимая песня маршевых рот третьего рейха.

Все ближе и ближе, все громче и веселей, и все громче и отчетливей, как морской прибой, звук тяжелых уверенных шагов.

И, словно напутствуя шагающих, за кадром раздаётся лающий голос профессионального нацистского оратора (возможно, это голос Гитлера или Геббельса). Он кричит и кричит, захлебываясь от ярости, и его слова синхронно переводит на русский язык сухой и бесстрастный голос диктора:

— Унтерменшен... неполноценные люди. Великая миссия германского народа — очистить землю от них... Унтерменшен — это сербы и поляки, русские и татары, украинцы и евреи, белорусы и цыгане...

Он говорит, но на половине фразы, на интонационной запятой слова обрывает автоматная очередь.

После чего экран начинает заливать красным, но по-прежнему весело и широко звучит «Лили-Марлен».

А красный экран постепенно приобретает четкость — до этого он был расплывчатокрасным.

И когда он становится четким, мы видим во весь экран фашистский флаг; а точнее, весь экран — это фашистский флаг: на красном поле белый круг с черной свастикой в нем.

И на фоне фашистского флага, под аккомпанемент гремящих солдатских сапог, гре-

мящих дружно, мощно, с неумолимой машинной размеренностью, в полный голос звучит песня.

22 июня 1941 года.

Ласковое утро...

Речка — тихая, жемчужная, очень русская.

В речке — пятьсот голых парней, стрелковый батальон; они плещутся, фыркают, с наслаждением смывают пыль похода.

А на берегу, повернутые носками к реке, нескончаемым рядом, как на параде, стоят солдатские сапоги.

За ними — аккуратно сложенные брюки, гимнастерки, пилюшки, скатки, майки и трусы.

Еще выше — длинный ряд винтовок, составленных в пирамиды.

И — часовой.

Он с улыбкой смотрит на купающихся красноармейцев...

Один из них с намыленным лицом, как слепой, тычет мылом в разные стороны.

— Иван! Подержи...

Но Иван не торопится — он стоит в стороне и с усмешкой смотрит на приятеля; смерив взглядом расстояние до него, он ныряет.

— Иван... — зовет красноармеец, но тут же издает гортанный рык, роняет мыло и начинает, не открывая глаз, яростно ловить кого-то в воде.

Красноармейцы хохочут.

Из воды с шумом выскакивает Иван и бросается наутек. Его приятель, обмывая на бегу

лицо, мчится за ним... Все в восторге. С реки весело и дружно кричат:

— Жми, Ваня! Жми!

Иван выскакивает на берег и голый бежит вокруг сапог. Приятель — за ним...

Красноармейцы гнутся от смеха. Хохочет и часовой.

Но вот до их слуха — откуда-то издали — доносится нарастающий гул двигателей. Красноармейцы в реке и часовой на берегу перестают смеяться, поворачивают головы.

Они видят, как в небе, приближаясь к ним и увеличиваясь в размерах, появляются силуэты летящих самолетов... Более того, на глазах у них из самолетов, как горох из прохлудившихся мешков, начинают сыпаться десантники.

Проходит несколько секунд, и небо над застывшими в реке красноармейцами оказывается усеянным опускающимися парашютами.

— Ребята... — растерянно говорит часовой и начинает медленно снимать с плеча винтовку.

А ребята продолжают стоять в реке и зоржено смотрят на опускающихся парашютистов.

— Учение?..

— Война, ребята!

— Немцы?

— А договор!

— Провокация?..

— Что же это?..

— Что?!

Два парашютиста приближаются к земле — их купола едва не соприкасаются.

— Руссиш зольдатн... — говорит один из них, кладя палец на спусковой крючок автомата.

Видна зеленая луговина, одинокие деревья, речка, розовые фигурки в реке...

Мушка автомата долго ходит по этим фигуркам, пока не выбирает часового, она останавливается на нем.

И пока часовой, задрав голову, раздумывает, что делать? — у его ног, как от удара хлыстом, вспенивается песок, и в небе звонко рассыпается автоматная очередь...

В ту же секунду сотни плетей начинают безжалостно хлестать по реке — вода в ней закипает, становится серой от всплесков, и люди с искаженными от ужаса лицами бросаются к берегу. Многие падают. Остальные выбегают и начинают лихорадочно одеваться; мечутся, прыгают, суетливо натягивая брюки и гимнастерки, как будто сейчас это самое главное для них, хотя гимнастерки тут же окрашиваются кровью...

И пока они мечутся, пытаясь под пулями одеться, парашютисты мягко опускаются на луг и, быстро погасив парашюты, начина-

ют деловито, как на полигоне, поливать свинцом розовую толпу.

Груда тел вперемежку с пилотками, скатками, сапогами, ремнями растет на глазах; крики раненых, стоны умирающих, дробь автоматов сливаются в один кошмарный шум...

И тогда оставшиеся в живых, гремя прикладами, расхватывают стоящие в пирамидах винтовки: лавина голых мужчин, озверев, идет в штыковую атаку...

Руки — темные, крестьянские, по локоть обнаженные — долго перебирают веревку, доставая из глубокого колодца ведро воды. И только когда, достав полное, плещущее через край ведро, человек поставил его на сруб колодца и стал с наслаждением пить, переводя дыхание между несколькими глотками, мы увидели, что это немецкий солдат. Он пил долго и спокойно, как мужик после трудного дня в поле. Потом он поднял голову и вытер тыльной стороной руки губы.

Июль, 1941.

Весело звучит губная гармоника: по полевой дороге движется колонна бронетранспортеров. Немецкие солдаты, зажав между колен карабины, с туристским любопытством смотрят по сторонам.

В одной из машин трясутся семеро наших будущих героев (персонажей): Макс, Генрих, Ганс, Рудольф, Йорг, Клаус и Курт. Самый молодой, почти мальчишка, Курт задумчиво смотрит на несжатые поля, на линию горизонта, на далекие думы, спрашивает:

— Россия — Азия или Европа?*

— Европа... — говорит Макс.

— Азия! — поправляет его Йорг.

— Европа. Но живут здесь азиаты, — говорит Ганс.

— Русские — европейцы! — категорически заявляет Рудольф.

И тогда Генрих (у него породистое лицо, холодные и строгие, как у судьи, глаза) вынимает изо рта трубку.

— Свиныи — а не европейцы, — говорит он. — В школе нам учитель рассказывал про немецкую колонию в Поволжье. На одной стороне реки русский колхоз, на другой — немецкая колония. Земля — одна и та же. Но у немцев — дома из кирпича, под черепицей... Каменные подвалы. В подвалах — всё: окорока, соленья, зерно, вино... Скот — упитанный... Кони — не удержишь! А у рус-

* Немцы, естественно, говорят по-немецки; их речь переводится на русский закадровым голосом диктора.

ских — поля запущенные, неухоженные, сеют не вовремя, убирают как попало, дома — еле держатся, крыши текут, а они целый день сидят и грызут семечки... Сонная нация!

Воцаряется молчание. Никто не возражает: каждый слишком мало знает об этом.

Вдруг над колонной появляется армада желтоносых «мессершмиттов»: юркие, злые, они мчатся туда, где черной стеной стоит дым...

Порыв гордости охватывает всех: солдаты смеются, машут им вслед, но те стремительно проносятся над колонной и маленькими точками тают на восточном небосклоне.

Проследив за их полетом, унтер-офицер, сидящий рядом с водителем, вдруг приказывает остановить бронетранспортер и быстро выскакивает из кабины.

— Голубы! — Он тычет пальцем в небо, указывая солдатам на летящего белого «почтара». — Был приказ: голубей уничтожать! Огонь!

Макс решительно щелкает затвором и, прицелившись, стреляет. Мимо. С другой машины стреляют тоже. Охваченные охотничьим азартом, солдаты со всех бронетранспортеров открывают пальбу.

Птица мечется, бьется, бросается из стороны в сторону, пока, сраженная, не падает прямо на дорогу...

Она лежит в пыли, распластав белые крылья, — и проносятся, проносятся, проносятся рядом с ней — тяжелые гусеницы...

Снова вьется пыльная дорога, снова звучит губная гармоника; обвешанные касками, котелками, противогАЗами, патронташами, с засученными по локоты рукавами едут в бронетранспортерах немецкие солдаты. Снова тянутся бесконечные поля, унылые, безлюдные, и все выше и выше поднимаются черные дымы на горизонте, и все ближе и ближе слышна канонада...

Вдруг — в упор — как градом по железной крыше: пулеметная очередь! И словно кто-то мгновенно давит пальцами ставшие вдруг мягкими стальные борта машин.

Почти всех солдат, как крупу с ладони, мгновенно сдувает с бронетранспортеров: вслед за ними торопливо выбираются и те, кто помогает раненым покинуть машины. Слышны стоны, шумное дыхание, лязганье оружия...

Бронетранспортеры опустели. Лишь один солдат остается сидеть в машине: Курт. Облокотясь о стальной борт, он по-прежнему пристально смотрит вдаль, словно пы-

таясь понять: Россия — Азия или Европа? В его лице не произошло никаких изменений — только на шее виднеется небольшое темное пятнышко, от которого по его воротнику неторопливо бежит струйка крови...

Русский же пулеметчик, открывший по колонне огонь, остервенело дергает заевшую в пулемете ленту: он стоит на коленях в неглубоком, наспех отрытом окопчике, и мы видим, что он — один.

Не справившись с заевшей лентой, красноармеец выскакивает из окопчика и бросается было бежать, но тут же спохватывается, возвращается, хватая пулемет и поспешно волочит его за собой. Секунда-другая — и он скрывается за небольшим пригорком, среди редких кустов...

В то же мгновение вслед за ним, пригнувшись, с карабином в опущенной руке, быстро бежит Макс; в стремительном броске он достигает крайних кустов и ныряет в них. Остальные солдаты, держа наготове карабины и обеспокоенно косясь по сторонам, — нет ли здесь какой-нибудь более серьезной засады? — остаются лежать вдоль обочины и за толстыми колесами машин.

Где ползком, где на четвереньках, Макс спешит обойти красноармейца, рассчитывая, что тот не ушел далеко, и неожиданно для себя выскакивает на открытую поляну... И тут же пятится: метрах в пятидесяти от себя он видит красноармейца — стоя на коленях, тот отчаянно возится с пулеметной лентой...

Затаив дыхание, как опытный охотник, Макс медленно поднимает к плечу карабин... В ту же секунду красноармеец замечает его. Он вскакивает во весь рост и швыряет в Макса гранату. Макс стреляет. Красноармеец хватается за грудь...

...В далеком русском селе резко поднимается сидевшая за столом пожилая женщина; на ее лице — безотчетный страх.

— Ой! — вскрикивает она. — Что-то с Сережей... Вдруг — сердце оборвалось...

Сидящие за обеденным столом дети и мужчина лет пятидесяти ошеломленно смотрят на нее; ложки замерли на полпути ко рту.

— Господи! — не находя себе места, мечется по комнате женщина. — Спаси и помилуй!

— Поля, Поля, Поля, Поля, Поля!!! — сурово стучит по столу пальцем хозяин.

Но женщине невоготу: ничего не видя, с дрожавшими руками, она продолжает ходить по комнате...

...красноармеец хватается за грудь и застывает... И теперь уже Макс падает на землю, стараясь втиснуться в нее, стать как можно меньше: в воздухе по направлению к нему все еще летит, кувыряясь, граната. Лицо Макса искажает ужасная напряженная гримаса. Раздается очень близкий взрыв, и Макса осыпают комья земли. И сразу на его лице — животная радость: уцелел!

Колонна трогается...

Рыча моторами и сминая пшеницу, она обезжесточивает машину, с которой солдаты снимают убитого Курта. Унтер-офицер кричит: — Похороните — и быстро догоняйте!

Он сидит в кабине проносащегося мимо них бронетранспортера и строго смотрит на солдат; рукой в тонкой кожаной перчатке он показывает примерное направление — куда будет двигаться колонна.

Красноармеец лежит на спине, подогнув ноги и склонив набок голову; присев около него на корточки, Макс снимает с его пилотки звезду. Вынимает из кармана большой кожаный бумажник и прячет ее в одно из его отделений; говорит подошедшему Гансу: — На память.

Через пшеницу — посмотреть на убитого красноармейца — бредут еще несколько немецких солдат. Один из них — с фотоаппаратом. Повесив на шею карабин, он прямо на ходу открывает футляр, выдвигает тубус, взводит затвор, устанавливает диафрагму и смотрит наметанным глазом — какой бы сделать снимок.

Заметив это, Макс поднимается с корточек и принимает позу: становится подбоченясь, с чувством превосходства смотрит на труп красноармейца.

Щелчок затвора фотоаппарата — и кадр с Максом и красноармейцем становится черно-белым и неподвижным...

Снова фотограф взводит затвор; но на этот раз по другую сторону от убитого присаживаются все, кто подошел, — присаживаются, как футболисты перед репортерами...

Щелчок — и все они застывают, превратившись в черно-белую фотографию.

И снова фотограф профессионально суетится, выбирая новую точку съемки; и снова немецкие солдаты старательно позируют.

Щелчок! Черно-белый кадр. В кадре: склонив набок голову, с каким-то особенно беззащитным выражением лица лежит молодой парень в красноармейской форме, с непокрытой стриженной головой; за ним — прижавшиеся друг к другу — сидят на корточках немецкие солдаты и пытливо смотрят прямо на нас...

Найдя у брошенного красноармейцем окопчика армейский вещмешок, Генрих с трудом тащит его к бронетранспортеру.

— Мешок золота! — кричит он.

Солдаты недоверчиво смотрят на мешок. Остановившись, Генрих высыпает себе под ноги его содержимое: из мешка вываливается гора патронов вперемешку с сухарями.

Солдаты мрачно улыбаются. Взяв в руки сухарь, Генрих брезгливо нюхает его.

— Фу, дикари какие! Сухари — в ружейном масле! И он бы это жрал...

Он бросает сухарь и носком сапога ковыряет кучу патронов и сухарей, полагая, очевидно, что в ней еще что-нибудь найдет, — однако кроме сухарей и патронов в ней так ничего и не обнаруживается...

И вот уже солдаты наспех засыпают могилу Курта. Кто-то сооружает крест; кто-то вешает на крест каску; кто-то кладет охапку полевых цветов...

И так же точно, как они фотографировались около убитого красноармейца, они фотографируются и у могилы Курта.

Однако на этот раз они стоят вокруг креста, увенчанного каской, с сурово-скорбными лицами и не мигая смотрят в самый объектив фотоаппарата.

Низко над землей мчатся «мессершмитты».

Вдали появляются очертания небольшого города: видны силуэты элеватора на окраине, заводских труб, собора...

Город горит...

Улица города. Над улицей на бреющем пролетают самолеты. Рвутся бомбы. Падает стена дома, и звенят стекла...

Под окнами одного из домов, в газончике среди цветов выпрямляется насмерть перепуганная женщина — как видно, во время взрывов она инстинктивно присела, — и, подняв к небу белые от ужаса глаза, истерически кричит:

— Вадим!

На балкон третьего этажа выбегает маленький растрепанный мужчина. Он в трусах и в рубашке с галстуком; на икрах у него — резинки-подтяжки.

— Ну чего ты кричишь? — возмущается он. — Я говорю, сейчас — значит сейчас! Подожди минутку! Вот тоже мне еще...

Она обиженно и горько плачет.

— Тоня! — кричит он на нее.

Мимо по улице отступают наши последние солдаты.

Наконец она берет себя в руки.

— Сними там в ванной на веревке Олину рубашечку... — говорит она, рыдая.

— Что — в ванной? — не слышит он и опять начинает сердиться.

— Рубашечку Олину... около двери...

Он исчезает в комнате.

Разрыв снаряда или мины. Разрыв очень близкий — летят земля и щебенка.

— Вадим! — душераздирающе кричит женщина.

— Тоня! — снова выбегает на балкон Вадим. У него в руках ворох белья. — Тоня!

— Вадим! Скорее!

Вадим убегает. Еще разрыв.

— Вадим!

— Что?! — снова выбегает на балкон Вадим.

Женщина ломает руки. Около нее — двое детей; тот, что постарше, — со скрипкой в футляре.

Молодой и очень красивый (с точки зрения немцев) — эдакий Зигфрид, тевтонский рыцарь — летчик на «мессершмитте» заметил на дороге русскую полуторку... Он тут же погнался за ней, вошел в пике и дал по ней длинную очередь; выйдя из пике, посмотрел с улыбкой туда, где только что была полуторка, — но она продолжала мчаться по дороге... Все с той же улыбкой вошедшего во вкус охотника пилот вновь ввел машину в пике...

Мчится по дороге полуторка. В ее кузове — рояль. Его держат с четырех сторон, чтоб не растрясло, четверо красноармейцев и с ужасом смотрят в небо; вот головы их все больше и больше входят в плечи, но руки впились в рояль изо всех сил...

Гремит очередь пулеметов, по полуторке проносятся тень самолета и трещат разрывающиеся пулями борта кузова...

И — сразу:

Красноармейцы несут рояль, чтобы на поляне устроить концерт. Черный, как катафалк, рояль плывет через толпу на плечах солдат. По лицам бегут капли пота.

— Поберегись! Поберегись! Товарищи! Товарищи!.. Ну куда ты прешься? Не видишь, что ли? Повевазило?!

Пианист — рафинированный интеллигент. Во фраке, в лакированных туфлях. Бледный, растерянный, но начав играть, постепенно входит в экстаз, воодушевляется, перестает обращать внимание на близкую канонаду. Играет Шопена.

На поляне — командиры и красноармейцы.

Сидит Муся — совсем юная девочка, санитарка. Рядом с ней — плечистый здоровяк-красноармеец. Старается незаметно для окружающих поглядеть ее колено. Муся

заливается краской и делает вид, что не замечает этого, — внимательно слушает Шопена.

Но замечает командир, сидящий рядом, хотя головы в их сторону не поворачивает.

— Руки отобью... — спокойно говорит он.

Красноармеец поворачивается и с неистойвой искренностью, с мукой на лице говорит:

— Командир, не могу...

Играет пианист.

Здоровяк-красноармеец уже сидит в другом месте и с тоской поглядывает в сторону Муси.

Играет пианист.

Заслушавшись, вдруг кто-то из красноармейцев начинает выбивать мундштук — хлоп! хлоп! хлоп! Ему зло шипят:

— Ты — что? На рыбалке?

Красноармеец смущается и прячет мундштук.

Пианист продолжает играть.

Звучит канонада...

Август, 1941.

Молодцевато опершись о башню, в люке танка стоит немецкий танкист; не вылезая из люка, он рвет яблоко и, потеряв его в ладонях, с аппетитом грызет: срубленными яблонями накрыт весь его танк. Он грызет яблоко и смотрит, как мимо по улице провинциального русского городка — типичного районного центра — идет колонна пехотинцев и дружно поет «Лили-Марлен»...

А сбоку, на мостовой, стоит станковый пулемет «максим», стволом направленный им навстречу; рукоятки пулемета изо всех сил стискивают руки... Но если отойти чуть дальше, то руки после локтей обрываются! дальше нет ничего! туловища нет! там, где должно быть туловище, — воронка от бомбы или снаряда... Но руки на пулемете остались — они стискивают рукоятки, и через прорезь прицела видны колонны немецких солдат... Колонна за колонной...

На шагающих солдатах нет касок — каски закреплены у пояса, и солдаты (в основном блондины) идут с непокрытыми головами... Они идут уверенно и твердо и держатся так, словно постоянно помнят о том, что со стороны они наверняка выглядят весьма внушительно и грозно, и им приятно сознавать, что они так выглядят...

А за ними — во всю стену дома — надпись: «Юридическая консультация».

Идет колонна, звучит песня, гремят сапоги...

Притаившись за забором и наблюдая, как в город входят немцы, трое мальчишек обступили четвертого.

— Спорим — ты еврей? — с присущей мальчишкам жестокостью говорит один из троих: сунув руки в карманы, он стоит перед жалким съезжившимся подростком с ярко выраженной еврейской внешностью. — Спорим?

— Нет... — говорит тот и затравленно смотрит на него.

— Что «нет»? Что — «нет»? — наступает мальчишка. — И отец твой — еврей, и мать — тоже...

— Нет, — повторяет мальчик-еврей и болезненно щурится: один из мальчишек карманным зеркальцем пускает ему в глаза солнечного «зайчика». Остальные стоят с независимым видом и с чувством превосходства смотрят на него.

— Чего врешь? — не унимается жестокий «разоблачитель». — Может — поспорим?

...А мимо идет колонна немцев. Они поют «Лили-Марлен»...

Улица на окраине. Частные дома.

Перегнувшись через калитку — так, словно ему приходилось открывать ее всю жизнь, — немецкий офицер отодвигает щеколду и входит во двор. Он без оружия — пистолет на поясе в застегнутой кобуре; в руках у офицера лишь электрический фонарик.

Следом за ним во двор входит солдат с автоматом. Калитка остается открытой.

Они идут через двор, огибая небольшой деревянный дом с закрытыми ставнями; во дворе отчаянно лает собака.

— Бобик... Бобик... — строго говорит офицер и грозит ей пальцем; проходя мимо, называет ее типичными кличками русских собак: — Шарик... Каштанка...

Солдат улыбается.

Не задерживаясь ни на секунду, с хозяйской осведомленностью, они по узенькой тропе, нагибаясь под фруктовыми деревьями, направляются прямо в сад; в укромном уголке сада виднеется вход в щель. Вырытая наспех, кое-как накрытая жердинами и присыпанная тонким слоем земли, она представляет собой жалкое подобие убежища. В щель ведет пять-шесть земляных ступеней.

Не замедляя шаг и не принимая никаких особых мер предосторожности, офицер спокойно спускается по ступеням в щель и включает фонарик уже там: на него смотрит несколько испуганных лиц. Тесно, один возле другого, в узкой щели сидят женщины, дети и старики...

— Руссиш зольдаты ест? — спрашивает офицер. Из-за его плеча выглядывает сопровождающий его автоматчик.

— Нет, русских солдат нет... — говорят все торопливым хором.

— Гут! — говорит офицер.

Щель «г»-образная, но они поворачиваются и уходят, даже не заглянув за угол.

Ворота пивзавода.

У ворот завода, задрвав голову, с разговорником в руках стоит немецкий солдат; его взгляд скользит то с надписи над воротами в разговорник, то из разговорника — на надпись.

— Пиф... Пиф... — повторяет он один и тот же слог.

К нему подходит Рудольф с карабином в опущенной руке.

— Пивзавод, — говорит он.

Солдат приятно удивлен.

— Серьезно? — улыбается он и, спрятав разговорник в карман, решительно направляется к воротам. — А ну, идем — попробуем русского пивка...

В цехе, где выдерживается готовая продукция, уже полно солдат; многие из них с ведрами.

— Где ж тут кран? — ворчат они. — Черт бы их побрал...

— Камрадн! Камрадн! — вдруг кричит один из немцев, снимая с плеча автомат. — Посторонись!

Боясь рикошета, солдаты поспешно пятятся...

Оглушительно гремит под сводами цеха автоматная очередь, и два десятка струй ударяют из пробитой цистерны... Солдаты бросаются к ним, жадно ловят губами пенные струи. Пиво бьет им в лицо, в грудь, обливает брюки. Солдаты пьют, хохочут, толкаются.

Кто-то, смеясь, давится, и пиво выливается у него через нос; кто-то щедро стучит его по спине широкой ладонью...

На смену отошедшим подходят все новые и новые группы солдат: они уже стоят по щиколотку в пене. Выстроившись в ряд с широко открытыми ртами, они пьют пиво...

В коммунальную квартиру, рывком открыв дверь, входят трое немецких солдат; в углу большой комнаты сидит на табурете маленькая старушка — мелко крестясь, она с ужасом смотрит на немцев.

Однако солдаты не обращают на нее никакого внимания... Один из них сразу же направляется к платяному шкафу. Он открывает его и, держа в одной руке автомат, другой начинает перебирать ветхие платья, висящие на плечиках. Каждое из них он

снимает с плечиков и, посмотрев, бросает на пол...

Двое других ходят по комнате, присматриваясь — что взять? Они заглядывают в шкафчики, на полки, в ящики комода. Разворачивают стиранные скатерти, полотенца, салфетки. Вертят в руках ложки, вилки, солонки. Туалетное мыло, понюхав, прячут в карман...

Старушка продолжает с ужасом смотреть на них.

Тремя ударами кованого сапога выбивается нижняя филенка в двери соседней квартиры...

В квартире полумрак, окно закрыто шторами. Солдаты отдергивают их и осматриваются...

На полу — мягкий ковер, у стены — высокие старинные часы, длинные книжные шкафы; тут же — стол темного дерева, на нем — пишущая машинка, изящный чернильный прибор, пресс-папье...

— Буржуи! — говорит один из солдат и носком сапога разбивает стекло часов — оно рассыпается на мелкие осколки.

Он ломает стрелки на часах, обрывает маятник и тычет стволом в часовой механизм; сбрасывает на пол пишущую машинку и топает по ее клавиатуре сапогом.

— Напрасно... — замечает другой, засовывая в карман пепельницу каслинского литья. — Все теперь принадлежит Германии...

Двухэтажное здание школы — самое обычное; необычно только то, что школа не звенит детскими голосами: один-единственный мальчишка стоит поодаль и с любопытством смотрит, как, раскрыв настежь окна, немецкие солдаты (среди прочих и Йорг с Максом) дружно и весело выбрасывают из классов парты.

Некоторые из парт, ударившись о землю, разбиваются вдребезги, другие — просто корежатся, и немцы с интересом провожают взглядом каждую выброшенную парту; только после этого они идут за следующей.

В коридорах школы — оживление: одна за другой выламываются двери физического, химического и биологического кабинетов. Стены увешаны диаграммами, схемами, плакатами, муляжами... С портретов на вошедших солдат смотрят великие деятели науки...

Скелет в углу биологического кабинета привлекает всеобщее внимание; его окружают, смеются, трогают, острят...

— Бедный! До чего ж они довели тебя! Смеясь и балагуря, они отрывають скелет от подставки и торжественно выбрасывают

в окно; он падает со второго этажа, шевеля в воздухе костями рук и ног. На ступеньках школьного подъезда он разбивается. Череп отлетает и долго скачет по школьному двору. Из всех окон выглядывает сияющая солдатня...

А рядом, в пионерской комнате, солдаты находят за шкафом древко от пионерского знамени; самого знамени нет — но солдат привлекает латунный наконечник с серпом и молотом. Они стаскивают его с древка и, показывая работающим во дворе солдатам, кричат:

— Смотри — чего нашли!

И бросают наконечник вниз.

Солдат, подобранный наконечник (он — в сапогах, трусах, голый до пояса, но с яркой косынкой на шее), ходит по кругу, поднося его в руке, и со страшным акцентом поет по-русски:

— Партия Ленина, партия Сталина — мудрая партия большевиков...

Солдаты вокруг покатываются со смеху. Смеется и Ганс — высокий рыжий немец, сгребавший вилами книги, выброшенные из школьной библиотеки.

Скупно политые бензином, они горят с трудом, и мальчишка, ранее наблюдавший, как выбрасывают парты, теперь сидит на корточках перед кучей дымящихся книг и, вытаскивая их оттуда по одной, с упоением листает. Одна из них приходится ему особенно по вкусу: он так увлекается, что даже не замечает, как сзади подходит немец с вилами...

Сначала Ганс заглядывает ему через плечо — в книгу; он видит картинку, но русский текст ему непонятен, хотя заголовок написан большими красивыми буквами — «Гензель и Гретель». Книжку эту узнал бы каждый ребенок: «Сказки братьев Grimm».

Рывок — и книга, выдернутая из рук мальчишки, снова падает в огонь, а сам он получает хорошего пинка в зад...

— Вэк! — говорит немец и продолжает как ни в чем не бывало подбрасывать вилами в кучу все новые и новые стопки книг, которые ему щедро кидают из окна библиотеки.

Мальчишка отбегает на несколько шагов, но вскоре возвращается; делая вид, что книги его совершенно не интересуют, он, сунув руки в карманы, долго стоит около тлеющей кучи, равнодушно наблюдая, как корежатся в огне картонные переплеты...

Вдруг, улучив момент, он хватается дымящиеся «Сказки» и, сбивая на бегу огонь с обложки, пускается наутек...

— Хальт! — кричит немец и торопливо хватается прислоненный к стене карабин. Он грозно щелкает затвором, но мальчишка не

останавливается: спасая Гензеля и Гретель, он уже заворачивает за угол школы.

Во дворе кондитерской фабрики имени Володарского содержатся пленные красноармейцы: весь двор заполнен сидящими и лежащими фигурами — серыми, как земля...

Вдоль решетчатого забора, дымя сигаретой, прохаживается немецкий охранник, и пленные прожогоют взглядом каждую его затяжку. Докурив взгляд до ногтей, он щелчком швыряет окурок между прутьев забора и, остановившись, наблюдает, как вокруг окурка начинается самая настоящая свалка.

К нему подходит Рудольф.

— Хайль...

— Хайль...

Они молча смотрят, как окурок, став добычей сразу нескольких рук, на глазах превращается в труху, так никому и не доставившись.

Рудольф поражен.

— Я о русских солдатах был лучшего мнения...

Охранник пренебрежительно машет рукой.

— Армиями в плен сдаются!

— Интересно бы... с кем-нибудь из них поговорить.

— А ты знаешь русский?

— Немного... Я был студент-славист. Изучал Рессию.

— А ну, скажи что-нибудь.

Рудольф смеется.

— Странны прозба: што-ныбут сказат,— говорит он на ломаном русском.

Охранник в восторге.

— Мой бог! Как они понимают друг друга? Я знаю только пять слов: «матка», «курка», «яйко», «млеко», «сапрáли»...

И он хохочет.

За забором, прислонясь к Доске почета, на которой еще сохранились фотографии передовых работников фабрики, стоит молодой красноармеец. К нему приближается Рудольф.

— Страстуй! — говорит он почти по-русски.

Красноармеец вздрагивает. Что-то похожее на надежду вспыхивает в его глазах, но тут же гаснет: он видит, что охранник с любопытством смотрит на них.

— Ты даже не хотеть сказать «страстуй»? — удивляется Рудольф, не дождавшись ответа. — Это не есть рыцарски...

Красноармеец молчит.

— Ты есть зольдат, и я есть зольдат... — говорит Рудольф. — Просто я есть сильней выходит оказаться. Сильный противник надо уважать.

Красноармеец угрюмо смотрит на него.

— За что? — говорит он. — За то, что вы на нас напали?

Рудольф загадочно усмехается.

— Мы вас не нападать. Мы только опередить ваш нападений. У вас был всё готовый, штоб наносил нам удар ф спина!..

— Это неправда...

— Это есть неправда! Вы воспользоваться, что наши руки заняты Англия, хотеть нас нападать!

— Мы ни на кого не собирались нападать...

— Вы получать неправильный информации... Разве на Финлянд вы не нападать?

— Нет.

— Значит, маленький Финлянд нападать вас? — укоризненно улыбаются Рудольф.

— Они обстреливали Ленинград...

— Это есть правда.

— Они обстреливали Ленинград, — упрямо повторяет красноармеец.

— А вы знает, что такой есть «Линия Маннергейм»?

— «Линия Маннергейма»? Знаю...

— И они строил «Линия Маннергейм», залезаль земля, штоб вас нападать?— с издевкой спрашивает Рудольф.— Это есть глюпосты!

К Рудольфу посмеиваясь приближается охранник.

— Не нужно здесь разговаривать,— говорит он.— Возьми его куда-нибудь. Пока они здесь не считаны, я уже двоих отпустил: женщины плакали, что это — их мужья...

Он открывает большие железные ворота.

— Назад! — резко говорит он зашевелившимся красноармейцам и манит пальцем пленного, с которым разговаривал Рудольф.

— Иди сюда! Быстро!

Рудольф и красноармеец идут по улицам оккупированного городка, и встречные немцы не обращают на них никакого внимания — особенно на красноармейца...

На улицах много немецкой техники: тягачи с пушками, крытые грузовики, танки, бронетранспортеры, мотоциклы; много зеленых повозок с высокими бортами, в которые впряжены слоноподобные мохноногие кони с подрезанными хвостами — першероны... Около одного из домов лежит никем не охраняемая груда немецкого оружия — пулеметы, автоматы, коробки с патронами,— сами же солдаты сидят в сторонке вокруг детской ванночки и, раскрыв складные вилки-ложки, что-то едят из нее... Тут же, неподалеку, привязав к дереву бычка, солдат убивает его ударом колуна по лбу...

— Мы, немцы, всегда есть добрый и мирный народ, — говорит Рудольф. — Мы всегда любим свой дом, своей жена, дети, домашний животный... Любим везде порядок.

Любим цветы. Любим думать мечта... сидеть кружка пива... петь старинный песня... Гитлер не хочет война, но Англия всё время натравливать Польша и Франкрайх на нас против. Она любит толкать один народ на другой, а сама стоять сторона. Но мы, даже знает ее подлый натура, всё равно протянули им рука дружбы... Они не захотели, они плевали наш миролюбий. Мы, немцы, хотели мир, но будем сурово наказывать, кто наш покой нарушивать!..

Они идут по улицам обезлюдевшего, словно вымершего городка, и нигде не видят его жителей; только раз в заклеенном крест-накрест бумажными полосками окне мелькает чье-то вытянутое лицо — и тут же исчезает... Зато, куда ни глянь, всюду хозяйничают немецкие солдаты: пилят деревья, копают ямы, моются под водопроводными колонками, снимают с телеграфных столбов провода.

Солдат, бросающий на землю провод, весело кричит проходящему Рудольфу:

— Пусть Сталин за Уралом тянет железные провода — мы поставим медные!..

Армейский тесак долго режет буханку хлеба — тонкими ломтиками, а по лезвию тесака вытравлен лозунг «Аллес фюр Дойчланд!» — «Всё для Германии!».

Хлеб режет Рудольф. Тут же около стола сидит и пленный красноармеец и провожает взглядом каждый отрезанный ломтик. Нарезав хлеб, Рудольф начинает открывать мясные консервы, и красноармеец не выдерживает: он отводит тоскливый взгляд от еды и начинает неторопливо осматривать комнату...

Это одна из брошенных хозяевами квартир: большая выбеленная печь, две кровати, дешевые коврики над ними, этажерка с книгами, тетрадями, чернильницей-невывалишкой, обеденный стол, разномастные стулья, фикус, остановленные ходики...

— Здесь живем я и мой камрад Генрих, — говорит Рудольф, перехватив его взгляд. — Мое имя есть Рудольф... А как твое?

— Павел, — хмуро говорит красноармеец. — Пауль? — радостно улыбается Рудольф. — Мой брат тоже Пауль! — Он подвигает к красноармейцу хлеб, открытую банку консервов. — Кушь, Пауль!

Скрывая дрожь в руке, красноармеец осторожно берет кусочек хлеба и мясо. Берет и Рудольф. Некоторое время они молча и сосредоточенно едят, изредка взглядывая друг на друга: красноармеец — недоверчиво, Рудольф — с интересом.

— Ты смотришь на меня, как на враг... — говорит Рудольф.

— А кто же ты? — настораживается красноармеец.

Рудольф перестает есть и, подперев щеку кулаком, задумывается. Потом начинает говорить — тихо, доверительно, с трудом подбирая нужные ему слова, но постепенно входит в раж, всакивает со стула и начинает ходить по комнате; речь его становится напористой и категоричной, интонация — выпренной, жесты под стать профессиональному пропагандисту третьего рейха.

— Ты ошибаться — это не есть так... — говорит Рудольф. — Мы пришли твой страна не уничтожить ее, не разрушивать... Мы варвары — никогда! Немецкий народ есть очень высоко культурный народ. Дойчланд есть самый передовой, самый революционный страна! Мы пришли не уничтожить, не разрушивать... Мы пришли помогать твой страна возродить! Вы сейчас совсем не понимать может, мы спасти вас будет... Мы принесли твой страна, твой народ новую, много лучший организованный жизнь... А всё лучший всегда есть рождаться в боль и кровь. Твой страна много лет есть юден-коммунистичен хаос... и это угрожать гибель не только ваш страна, ваш народ — это угрожать гибелью наш страна, наш народ, весь Земля! И мы взять на свой плечо большая задача: сделать весь земля — один Райх! Земля есть очень маленький — земля нельзя кусочки делить! Маленький кусочки — большой война! Страдать весь человечество! Страдать много лет! Много лет идти война за маленький кусочки! Весь Земля — один Райх — никакой война!.. Для этот великий цель мы приносить себя жертва, мы прокладывать новый дорога для весь человечество! Дорога счастливый жизни! По немецкий систем... Немецкий систем есть самый умный, самый здоровый систем. Он есть строгий систем, но очень правильный. Завтра ты это понимать...

Он снова садится к столу, переводит дыхание; с улыбкой смотрит на красноармейца.

— Кушь, Пауль... кушь...

Сам приготавливает и протягивает красноармейцу бутерброд: хлеб с мясом.

— Битте.

Но красноармеец берет не сразу: он сидит в каком-то оцепенении и пристально смотрит на Рудольфа, точно пытаясь понять — кто это? Он видит перед собой улыбчивого парня в немецкой форме, с открытым лицом и чистым, искренним взглядом голубых глаз — и это никак не вяжется с его представлениями о фашисте.

— Битте, битте! — смеется Рудольф.

Словно очнувшись, красноармеец берет бутерброд и, вздохнув, начинает есть; откинувшись на спинку стула, Рудольф с улыбкой смотрит на него.

— Сколько тебе лет, Пауль? — спрашивает он.

— Двадцать... — говорит красноармеец.

— Двадцать? И я — двадцать... Но я уже опытный зольдат: я воевал Франк-райх... и Норвеген...

Он достает сигареты, закуривает.

— Франкрайх есть красивый страна! — говорит он мечтательно. — Мне нравится быть зольдат... Я много увидеть... Разный страна, разный города, разный люди. Если я не был зольдат, я сидеть дома, ничего не видеть... И еще — настоящий мужчина должен уметь воевать. Это воспитывает твердый воля, сильный дух. И мне нравится быть зольдат, есть еще один причина: зольдатн ф Дойчланд есть самые почетные люди. Наш народ очень любит свой зольдатн! Наш народ всё делает для зольдатн!

Он пробует наощупь гимнастерку на красноармейце и укоризненно качает головой.

— У немецкий зольдат, — говорит он гордо, — теплый мундир-сукно... брюки-сукно... кожаный сапоги. Немецкий зольдат все мелочи обеспечить. Потому немецкий зольдат хорошо воевать.

Он вскакивает со стула и с удовольствием демонстрирует — как всё удобно в экипировке немецкого солдата: быстро подпоясывается широким кожаным ремнем, на котором ладно висят патронташи, обшитая войлоком фляга и ножны с тесаком, надевает через плечо противогаз — твердую круглую гофрированную коробку, накрывает голову стальным шлемом, засовывает за голенище сапога гранату с длинной деревянной рукояткой и хватает стоящий у стены карабин. При этом он входит во вкус и продельывает целый каскад приемов ближнего боя: одним скачком становится в простенок между окнами, молниеносно перебрасывает карабин из руки в руку, нагнувшись ниже подоконника, быстро перебегает комнату и тут же, мгновенно, прыжком, с карабином наизготовку поворачивается к двери...

И в самом деле — в каске, надвинутой на горящие глаза, с засученными рукавами и выставленным карабином он производит ошеломляющее впечатление.

— Ничего не мешать... Ничего не стучать, — говорит он, уверенно хлопая себя по патронташам, по противогазной коробке. — Легко можно бегать, прыгать, упадать... Чувствовать свой тело ловкий, как леопард!

И, по-мальчишески довольный, он снова ставит к стене карабин, вынимает из-за голенища гранату, засовывает ее под кровать, снимает противогаз, расстегивает ремень и вешает его на спинку стула; подумав, снимает с ремня флягу.

— Русский зольдат получать... шнапс, коньяк? — спрашивает он, болтая флягой.

— Нет... — смущается красноармеец.

— А немецкий зольдат получать... — Рудольф отстегивает от фляги плоскую кружечку и присоединяет к ней стаканчик для бритья; наливает в них из фляги что-то темное — по всей вероятности, коньяк; протягивает красноармейцу кружечку. — Пусть твой мама и папа и мой мама и папа дождались нас после война! — торжественно говорит он и, приподняв стаканчик для бритья, залпом выпивает.

Выпивает и красноармеец.

После этого тоста, а может быть, после выпитого у него как-то сразу светлеют глаза, и в них появляется какая-то надежда. Он глубоко вздыхает и задумывается.

— Кушь, Пауль... кушь, — тербит его Рудольф. — Плен много кушь не будет.

— Я знаю, — говорит красноармеец. — Уже три дня нас не кормили.

Рудольф сочувственно кивает.

— Это есть война, Пауль... Очень много русских зольдатн плен сдаваться...

— Много?! — пугается красноармеец.

— Очень много.

— Сколько?

— Пятьсот тысяча...

— Пятьсот тысяча?!

— Йа, пятьсот тысяча.

— Пятьсот тысяча... — шепотом повторяет красноармеец и долго сидит, окаменев.

— Война только начинать, много зольдатн плен, и германский командований трудно руссиш зольдатн кормить, — говорит Рудольф. — А ваши коммунистичен комиссарен только помогать руссиш зольдатн умирать голод...

Он встает и решительно направляется к окну.

— Вот! Любоваться! Ваш работа!

Он выглядывает в окно, но не сразу находит то, что искал: только присмотревшись, замечает далекий дымок, поднимающийся над крышами.

— Там долго гореть элеватор, — говорит он с вызовом. — Много тысяча хлеб. Русский взрывать и зажигать... Это есть варвар! Плен зольдатн кушь нет, а русский уничтожить хлеб! Где мы хлеб взять, полмиллионен руссиш зольдатн кормить? Где?..

Подавленно, как виноватый, смотрит на него красноармеец.

А в это время, перепрыгивая с руин на руину, поднимаются по взорванному и еще дымящемуся элеватору Генрих и Клаус...

Вокруг — как барханы в пустыне — горы зерна: оно вытекло из лопнувших при взрыве башен зернохранилища и, заполняя все пустоты между обгоревшими балками, бетонными глыбами и железной искореженной

арматурой, растеклось на обширном пространстве.

Поднимаясь и глядя по сторонам, Клаус замечает пожилую русскую женщину: присев на корточки, она набирает полную наволочку пшеницы и ставит ее в истрепанную кошелку.

— Эй! — грозно кричит Клаус. — Ты что здесь делаешь?!

Женщина вздрагивает и замирает, но руки ее по-прежнему держат кошелку. Тогда Клаус останавливается и начинает снимать с плеча карабин...

Заметив это движение, женщина бросает кошелку, подхватывается и, петляя как заяц, не по годам быстро бежит прочь...

Она бежит с безумным, остановившимся взглядом, судорожно придерживая спадающий с плеч платок, и продолжает бежать даже после того, как оказывается на улице.

Но тут, вырвавшись из переулка, дорогу ей перегородивает мотоцикл с коляской; за рулем — немецкий офицер, на заднем сиденье — солдат с автоматом.

Задышавшись, женщина бессильно прислоняется к стене.

— Варум бегать? — строго спрашивает офицер. Он слезает с мотоцикла и внимательно ощупывает женщину: нет ли оружия, листовок. — Партизанен?

Женщина не в силах говорить: бурно дыша, она в смертельном страхе смотрит на офицера.

Не обнаружив ничего подозрительного, тот в конце концов оставляет ее и садится за руль; однако, чуть отъехав, снова останавливает мотоцикл. Он оглядывается на женщину, колеблется...

— Надо все-таки забрать ее, — говорит он. — Не зря она, конечно, бежала...

Солдат послушно соскакивает с мотоцикла, быстро возвращается, резким отработанным движением хватая женщину за руку и сзади — за волосы; почти бегом ведет ее к мотоциклу и сажает в коляску, а сам, продолжая держать ее одной рукой за волосы, садится на заднее сиденье.

Мотоцикл трогается. Растерянную и бледную женщину быстро везут по улицам, заполненным немецкой техникой и солдатами.

А Генрих и Клаус продолжают все так же не спеша подниматься по разрушенному элеватору...

Они подходят к огромной оцемментированной яме с просом, огражденной невысоким каменным барьером; крыша с нее сорвана взрывной волной, и теперь вокруг нее, о чем-то оживленно говоря, толпится несколько немецких солдат.

— Что это? — интересуется Клаус, заглядывая в яму.

— Просо, — говорят ему с улыбкой. — Пустят его на просорушку — будет тебе каша. Любишь пшеничную кашу?

— Люблю.

— Все это сожрешь? — кривится в усмешке худой и тщедушный солдат, кивая на яму с просом, а потом тыча пальцем в живот Клаусу.

— Сожру! — смеется Клаус. — С тобой на пару.

— Со мной? — хмыкает худой солдат. — Мне за тобой не угнаться... Вон какой ты здоровый! Пока я с одной ложкой управлюсь — ты десять слопаешь...

— А чего ты такой неповоротливый?

— Я не привык. Мои предки ели скромно.

— Предки... Теперь мы будем есть столько, сколько захотим, — весело заявляет Клаус и окидывает взглядом всю огромную яму с просом. — А просо... отличное! Золото! Даже полежать на нем хочется, как на пляже...

И он прыгает в яму с просом.

Прыгает — и проваливается по пояс...

Солдаты дружно хохочут. Хохочет и Клаус. Он пробует вылезти из проса, но к своему удивлению и даже испугу вдруг понимает, что вылезти отсюда своими силами ему не так-то просто. Его руки, дрожа от напряжения, не поднимают его ни на сантиметр — они просто тонут в просе. И сам он, едва начав шевелиться, проваливается еще глубже...

— Проклятье... — говорит он сдавленным хриплым голосом, опускаясь до подмышек. — Какое оно скользкое... Не могу опереться... Плывет под ногами... — Он делает еще одно страшное усилие, его лицо багровеет, шея надувается, но тем не менее он уходит еще глубже. — Генрих! — кричит он в панике. — Доску какую-нибудь! Чего смотришь?!

Опомнившись, Генрих бросается со всех ног в поисках доски. Он мечется по разрушенному элеватору, хватая первые попавшиеся доски, но все они обгоревшие, и каждая, какую он ни схватит, рушится под руками.

Рыча от отчаяния, он наконец находит не тронутую огнем доску. Царапая руки в кровь, он отрывает ее, отрывает — и никак не может оторвать...

А Клаус всё погружается...

Вот он опускается до плеч, вот — до шеи, вот — одна лишь голова с выпученными от ужаса глазами торчит на поверхности...

— Камрадн... — хрипит он.

Но солдаты не в силах ему помочь: они только бегают вокруг ямы, что-то сумбурно крича и разводя руками, и замирают лишь тогда, когда запрокинутое лицо Клауса скрывается в просе...

В ту же секунду, едва переводя дух и за-

девая оторванной доской солдат, появляется переполошенный Генрих. Он в страхе заглядывает в яму — и тоже цепенеет: там, где только что торчала голова Клауса, он видит лишь небольшую вздрагивающую воронку. Клауса нет...

Чиркает спичка.

В комнате, где Рудольф и его «гость» по-прежнему сидят друг против друга, гаснут сумерки, и Рудольф зажигает заливную парафином картонную плошку. Он морщит лоб, вспоминая какое-то русское слово, и, вспомнив, радостно восклицает:

— Веншалый свешья!

И хохочет.

Улыбается и красноармеец. Подперев щеки ладонями, он долго, не мигая, смотрит на колеблющийся огонек.

Смотрит на него и Рудольф.

— Мой невеста, — задумчиво говорит он, — звать Лизхен. Майне Лизхен ест очень красивый девушка. С Лизхен вместе очень приятно гулять по улиц — все встречный мужчин смотреть Лизхен, Лизхен — не смотреть встречный мужчин, не смотреть никого. Лизхен есть очень воспитанный девушка.

И Рудольф достает фотокарточку Лизхен: ангельское личико, белые кудряшки, кружевной воротничок...

Красноармеец смотрит.

— А ты... невеста иметь? — спрашивает Рудольф, пряча карточку в карман.

Красноармеец качает головой.

— Нет.

— И девушка, который ты любить, — нет?

— Которую люблю? Которую люблю, — есть...

И пристально глядя на огонь, красноармеец начинает говорить; говорить неторопливо, тихо, как о самом сокровенном:

— Только она не знает, что я ее люблю... Она — моя соседка. Мы с ней всегда ссорились. И я всегда ее обижал. А когда я уходил в армию, она вдруг пришла на перрон... Но я не знал, кого она провожает, и не решился подойти. А она всё время была одна... И уже когда поезд тронулся, я понял, что она приходила проводить меня... Когда поезд тронулся, она смотрела мне вслед... Она смотрела только на меня... — губы у красноармейца начинают дрожать, глаза блестят. — И я... Я все время думаю только о ней. Даже здесь, в плену, мне снился вчера ее голос, ее смех... — говорит он и умолкает: охватившее его волнение мешает ему говорить.

Рудольф по-настоящему растроган.

— Паулы! — говорит он искренне. — Ты есть поэт...

И долго, с симпатией смотрит на опустившего голову красноармейца.

— Йа, ду бист айн дихтер... — убежденно повторяет он уже по-немецки, сам себе.

Он хочет что-то еще сказать, но осекается: толкнув ногой дверь, в комнату входит мрачный Генрих с двумя карабинами.

Скользнув холодным взглядом по красноармейцу, он ставит карабины в угол и прямо в сапогах тяжело ложится на кровать. Лицо у него измученное.

— Погиб Клаус, — говорит он, помолчав. — Утонул в просе. Два часа откапывали.

— Как — утонул в просе?! — ужасается Рудольф.

— А вот так... Оказывается, можно утонуть, — говорит Генрих и снова смотрит на красноармейца. — Чего он здесь?

— Просто... — Рудольф смущается. — Хотелось попрактиковаться в русском языке...

Чувствуя, что речь идет о нем, красноармеец настораживается и с опаской смотрит то на Генриха, то на Рудольфа.

— Где ты его взял? — спрашивает Генрих.

— Там... — Рудольф пытается сориентироваться — в какой стороне кондитерская фабрика. — Их там несколько тысяч.

— Брал бы уж всех, — говорит Генрих. — Чего мелочиться? — Он устало закрывает глаза и некоторое время лежит неподвижно. — Кончай практиковаться — пойдем на ужин, — говорит он после паузы.

— Я уже кончил... Вот только не знаю...

— Что?

— Куда его девать? — Рудольф и в самом деле в замешательстве. — Увлекся я что-то... Разговорился... Надо было давно его отвести обратно. — Он видит, что за окнами уже совсем стемнело. — А сейчас я не найду дорогу...

— О боже! — говорит Генрих и резко садится на кровати. Застегивает мундир. Правляет ремень. Встает. Берет в угол свой карабин. Жестом приказывает красноармейцу подняться: — Штэе ауф! — И показывает на дверь: — Ком!

Но красноармеец смотрит на Рудольфа. — Можно... я для ребят... возьму пару кусочков хлеба? — спрашивает он.

Рудольф растерянно молчит.

— Ком! Ком! — сердится Генрих.

Красноармеец поворачивается и молча идет к двери; Генрих — за ним.

Дверь захлопывается...

Пламя копилки качается, качается и едва не гаснет, и по стенам долго носится тень неподвижно сидящего Рудольфа.

Вдруг — где-то очень близко — гремит выстрел, и через несколько секунд возвращается Генрих; он снова ставит свой карабин в угол и молча ложится на кровать.

Руки Рудольфа начинают дрожать; он смотрит на лежащего Генриха.

— Ты его убил? — шепотом спрашивает он.

— Да.

Рудольф ошеломлен:

— Зачем?!

Но Генрих отвечает не сразу; сначала его губы складываются в презрительную гримасу, потом, скрестив на груди руки, он долго о чем-то размышляет и только после этого жестко говорит:

— Сантименты — оружие слабых! В истории великих империй — сантименты никогда ничего не значили! Они только мешали!.. Ах, человеческая кровь! ах, женские слезы! разрушенный очаг!.. Вытрите слюни, господа! Засученные рукава, холодные сердца, твердый шаг! Пусть беспощадный огонь сожрет весь хлам на земле! Человеческому мусору — никакой пощады!

И, подумав, добавляет:

— Я готов жить вообще на необитаемой земле, чем среди свиней, называющих себя людьми...

Сентябрь, 1941.

И снова вьется бесконечная дорога, и снова в бронетранспортерах едут запыленные немецкие солдаты...

И снова в том же самом бронетранспортере едут вместе — Йорг, Рудольф, Генрих, Макс и Ганс; нет только Курта и Клауса — они погибли...

Сентябрьская желтизна уже сменила летнюю зелень, и небо из белесого стало яркосиним.

Впереди колонны — златоглавый русский город, а по сторонам — бесчисленные свежие воронки, расщепленные деревья, дымящиеся танки и вдребезги разбитые полуторки — следы недавнего жестокого боя.

В руках у Йорга газета — свежий номер «Фёлькишер Беобахтер» с портретом Гитлера на первой странице и текстом его речи.

— ...В жарких битвах с победоносными германскими войсками, — читает Йорг вслух, и глаза его сверкают радостью, — противник настолько измотан и обескровлен, что уже сейчас можно сказать со всей очевидностью: существование большевистской России — вопрос двух, самое большее, трех месяцев!..

Он перестает читать и с благоговением смотрит на портрет Гитлера; смотрят на портрет и остальные.

Гитлер снят в военной форме на трибуне перед микрофонами; за ним, распростерши могучие крылья, как бы парит в воздухе огромный орел со свастикой в когтях; а за орлом, расходясь во все стороны, струятся лучи какого-то таинственного божественного сияния.

— Никогда не думал, что мы так быстро пройдем по России, — говорит Йорг. — Война уже кончается, а мы всё плетемся во втором эшелоне — ни в одном настоящем бою еще не были... Это просто какое-то чудо! — Он замороженно смотрит на фотографию фюрера. — Несомненно — он родился под счастливой звездой! Любое начатое им дело приводит к колоссальному успеху... И, я думаю, пройдут века, история забудет многие имена: и Наполеона, и Цезаря, и Бисмарка, но его история никогда не забудет. Ни один полководец не добивался в такой короткий срок таких фантастических успехов!

— И не был таким скромным в личной жизни, — добавляет Генрих.

— Да-а-а... — соглашается Макс. — Он очень сдержан в еде... мяса не ест... все время работает... мало спит...

— Четыре часа в сутки, — вставляет Йорг.

— Не пьет, не курит, — говорит Макс.

— Когда партия хотела подарить ему наручные часы, — замечает Йорг, — он не взял — сказал: «Часы надену после того, как каждый немец будет с часами...»

— Что — часы! — резко говорит Генрих. — Даже семьи у него нет. Ни жены, ни детей...

— Даже женщины нет, — добавляет Макс.

— Даже женщины?! — Ганс застывает в изумлении. — Неужели?

— А как ты думал! — хмурится Йорг. — Разве может простой смертный слышать голос бога? А фюрер его слышит...

— И читает по звездам! — подтверждает Генрих.

— Другие тоже умеют читать, — говорит Йорг, — но они читают отдельные человеческие судьбы... А он читает — судьбы народов и стран!

Оглушительный взрыв заставляет их резко пригнуться: с дымящейся «Тэ-тридцатьчетверки», стоящей у обочины, слетает башня. В дымном чреве танка видны бесформенные тела трех или четырех танкистов, и Йорг, с острым любопытством разглядывая закопченное месиво из человеческого мяса и изорванных комбинезонов, с чувством христианского сострадания произносит:

— Несчастные... Они идут против воли и е б а!..

Крепкий сапог тщательно утрамбовывает землю...

Это немецкий солдат устанавливает на городской площади столб-указатель со стрелками и надписями, сделанными заблаговременно и добротно. На одной из стрелок — надпись: «Москва — 284 км».

А мимо, в ту же сторону, куда указывает стрелка, движется нескончаемый поток тан-

ков, грузовиков, бронетранспортеров, мотоциклов, персональных «оппелей»...

Проезжает бронетранспортер и с нашими «героями»; Генрих с интересом провожает взглядом указатель.

— Москва! — читает он. — Уже недалеко.

И все поворачивают головы. Молча из-под обреза черных касок смотрях они на указатель, и на их лицах, успевших загореть и осунуться, появляется торжествующее выражение.

— Москва!.. — вырывается у кого-то, как вздох облегчения. — Зимовать будем в Москве...

— Что ты! — тут же возражает Йорг. — Если фюрер говорит о двух-трех месяцах, он имеет в виду не Москву, а всю Россию. В Москве мы будем через три недели...

— Через две! — говорит Генрих.

— Через две — не через две, — пожимает плечами Макс, — а через месяц будем.

— А потом? — спрашивает Ганс.

— А потом пойдем к Уралу и дальше — к Каспийскому морю, — говорит Генрих. — Но дальше Баку в этом году не пойдем. — А весной пойдем на юг — на Индию, — говорит Йорг.

— Или — на Англию, — говорит Макс.

— А Индия — не Англия?

— Англия... Но сначала надо уничтожить Лондон.

— Его уничтожат и без нас. Нас пошлют — или на Индию, или в Африку.

Ганс улыбается.

— Лучше — на Индию. Там женщины изобретательны в любви...

И первый хохочет.

Смеются и остальные; только Рудольф сидит неподвижно и все время, пока идет разговор, уныло смотрит по сторонам... Он очень изменился с того вечера, как разговаривал с красноармейцем Павлом; следы глубокой душевной опустошенности легли на его лицо. Он смотрит, как проносятся мимо бронетранспортера кварталы разрушенных и исклеванных осколками домов; как в промелькнувшем скверике группа немецких солдат пытается свалить статую Ленина; как по тротуару в сопровождении конвоира идет, поднявши руки, рослый мужчина в одних кальсонах и босиком; как, пятясь, танк давит телефонную будку, и как смеются танкисты, но ничто не вызывает в нем, как раньше, жадный интерес, не возбуждает любопытства. Своим апатичным лицом и погасшим взглядом он заметно выделяется среди остальных солдат, оживленных и веселых.

— Рудольф! — кликает его Макс. — А, Рудольф!

Тот нехотя поворачивается.

— Ты куда предпочитаешь: в Индию или в Африку?

— Мне все равно, — вяло говорит Рудольф, не усмотрев в этом шутки, и снова принимает ту же позу с тем же выражением лица.

И только неожиданно поплывший над городом мелодичный колокольный звон выводит его из этого оцепенения... Рудольф поднимает голову и прислушивается.

Звучит благовест.

На колокольне.

Звонарь — немолодой мужчина с красным от напряжения лицом — старательно дергает за веревки. Тут же на колокольне находится и немецкий солдат с автоматом за спиной, покуривая сигарету, он спокойно взирает на лежащий внизу город.

Гудят, звенят, поют почерневшие от времени колокола...

Девичьи руки осторожно раздвигают занавески на окне...

На улице, около остановившегося «оппель-капитана» с фашистским флажком на радиаторе топчется, сняв шапки, жалкая кучка людей с «хлебом-солью»; отвесив земной поклон немецкому офицеру, выставившему по такому случаю одну ногу из приоткрытой дверцы, они вручают ему на полотенце круглый каравай с солоночкой наверху и что-то долго и раболепно говорят. Даже не дослушав их до конца, офицер передает хлеб сидящему за ним солдату и, небрежно козырнув оторопевшим делегатам, приказывает шоферу трогать.

«Опель» отъезжает, и девушка порывисто задергивает занавески. Сжав побелевшие щеки ладонями, она взволнованно ходит по комнате.

— Как же так?.. Я не понимаю... — говорит она хриплым срывающимся голосом. — Ведь... пели... и уверяли... «своей земли вершка не отдадим»... Что ж такое? Почему это? Как?..

Она продолжает ходить взад и вперед по комнате, и мать, чтобы прекратить эти ее страшные полубезумные расхаживания, решительно становится у нее на пути. И только тут девушка, словно выплескивая все накопившееся в сердце отчаяние, с громким плачем обнимает мать.

Мать гладит ее плечи, волосы, вздрагивающую спину, ласково увещевает:

— Ну, перестань... Все уладится...

— Ничего не уладится! — рыдает девушка.

— Все образуется, — снова спокойно говорит мать.

— Ничего не образуется!

— Наши обязательно вернутся... — говорит мать. — Они непременно придут.

— Они могут опоздать... — горько стонет девушка.

Мать и дочь стоят обнявшись, и обе плачут; слышно, как по улице, ревя моторами, проходит колонна немецких грузовиков и как, приглушенные стенами, торжественно и ликующе звенят сборные колокола...

По полевой дорожке панически быстро идет женщина с двумя детьми. Одного — грудного, наспех спеленутого — она несет на руке; другого — мальчика лет восьми — ведет рядом с собой. Он едва поспевает за ней и то и дело вынужден переходить на бег. На мизинце у женщины — ключ от квартиры.

Справа от них тянется высокая железно-дорожная насыпь, слева стоит необрушенный хлеб, а сзади в белесой дымке — едва угадывается оставленный ими город. Оттуда, еле слышный, доносится благовест...

Вдруг недалеко от дороги они замечают труп красноармейца; он лежит, уткнувшись лицом в землю, и рядом с ним валяется пробитая пулей каска.

Женщина вздрагивает и старается не смотреть на красноармейца; она только сильнее стискивает руку мальчишки и крепче прижимает к себе ребенка. Но буквально через несколько шагов им попадает еще один труп: он лежит у самой дороги...

Затаив дыхание и с опаской поглядывая на убитого, женщина осторожно обходит его.

И снова у дороги — труп. И еще один. И еще. И тогда, набравшись мужества, женщина смотрит по сторонам и едва не лишается сознания: все поле вокруг нее и часть насыпи усеяны убитыми красноармейцами... Их очень много; они лежат и навзничь, и ничком, и скорчившись, и широко обняв руками землю, и порознь, и вместе. И по тому, как они лежат, в каких позах достигла их смерть, можно судить, что она застала их врасплох, и что здесь не бой, а побоище...

Тут же валяется и перевернутая пушка с зарядным ящиком, и запутавшиеся в постромках, убитые кони...

Стиснув зубы и опустив голову, женщина устремляется дальше; она идет быстро, очень быстро, боясь поднять глаза, и почти натывается на стоящие на дороге носилки. На носилках лежит молодой боец...

Видимо, его ранило одним из первых, и его еще успели перебинтовать и положить на эти самые носилки, но потом погибли и санитары, и все остальные; и теперь он лежал совсем один на этих носилках и, может быть, уже не первый день.

Увидев женщину с детьми, он чуть приподнимает голову и, глядя на нее страшными пустыми глазами умирающего, беззвучно открывает и закрывает рот: наверное, он хочет что-то сказать, но и сам чувствует, что говорить он уже не в силах. Он несколько секунд смотрит на женщину, и женщина несколько секунд смотрит на него; потом он снова опускает голову на носилки и закрывает глаза, а она поворачивается и быстро идет обратно, прижимая к груди ребенка... Мальчишка семенит рядом. Он где-то подобрал хороший ременной кнут и теперь тащит его с собой.

С криком:

— Брось ты эту гадость! — она вырывает из его рук кнут и швыряет в сторону.

Подгоняемая кошмаром только что увиденного, она почти бегом бежит обратно.

Благовест, доносившийся из города, смолкает, но в воздухе еще долго тают последние перезвоны колоколов...

Под гулкие своды церкви, заложив руки за спину, входит какой-то крупный военный чин в голубовато-сером плаще с плетеными погонами и темным воротником; за ним, преисполненные решимости, кучно держатся несколько военных и один в полувоенном-полуштатском костюме: он держит под мышкой толстую книгу из сброшюрованных машинописных листов.

Крупный чин останавливается под центральным куполом и обводит взглядом темные стены: со стен на него глядят Спас, Богоматерь, Георгий Победоносец...

Немецкий офицер несколько секунд с важным видом осматривает фрески и, полуобернувшись к штатскому, холодно спрашивает: — Это для нас какую-нибудь ценность представляет?

И пока штатский листает свой толстый каталог, офицер внимательно смотрит на фреску.

С нее на него взирает Спас — его мудрые всепонимающие глаза, полные высокого достоинства и чувства милосердия...

Некоторое время лик Спаса заполняет собой весь экран; потом бледнеет, растворяется и исчезает...

И появляется иной лик — челочка, усики, колючие глаза: Йорг наклеивает на стену дома плакат с портретом Гитлера и текстом на русском языке — «Гитлер несет народам России освобождение!».

Наклеив и старательно разгладив наклеенный плакат ладонью, он отходит на несколько шагов и прищурившись смотрит: хорошо ли наклеил? После чего закидывает за плечо сумку с толстым рулоном плакатов, поправ-

ляет каску, берет в руки ведро с клеем и кистью и неторопливо идет дальше, приглядываясь — куда бы наклеить еще?

Мимо него, чадя выхлопными газами, с громким лязгом проезжают несколько танков; в переднем из люка торчит до пояса фигура офицера.

Статный, широкоплечий, с надменным лицом «чистокровного арийца», он, по мере прохождения колонны танков по улице, цепким взглядом фронтовика отмечает все, что попадает в поле его зрения: Йорга с плакатами, мотоциклиста с овчаркой в коляске, штабную машину, походную кухню в переулке, вокруг которой толпится группа вооруженных немецких солдат, — словом, все то, что для него в захваченном германскими войсками городе является вполне закономерным, — как вдруг его внимание привлекает неожиданная для оккупированных городов сцена: во дворе за высоким забором шумно, как в мирное время, ссорятся двое русских — старик и старуха... Старуха изо всех сил тащит старика домой, тот, бранясь, вырывается и норовит выйти на улицу, и немецкий офицер, проезжая мимо, не находит ничего лучшего, как погрозить им пальцем...

Двор, обнесенный высоким забором.

Старики оцепенело смотрят вслед немецкому танкисту, пока его спина не скрывается за ближайшими домами; лишь после этого старик злорадно поворачивается к старухе.

— Ну что? Довольна? — спрашивает он свистящим, прокуренным голосом. — Это он — тебе.

— Да... конечно... мне... брешу...

— Знаешь, как у них — в Германии: жена перед мужем должна по одной половине ходить!

— Прямо уж! По одной!

— А как ты думала?! За слово, против мужа сказанное, берут за это место и на крючок, как говядину, вешают...

— Смотри какой! Развешались! Куда там!

— Это мы вас, русских баб, распустили! Сладу нет! У них там бабы свое место знают!

— У них, у них! Ты что, там был?

— Быть-то не был, ты знаешь, но сейчас она сама сюда пришла, Германия, и я хочу пойти и посмотреть — какая она?.. И не цепляйся ты за меня, как репей, не держи!

На улице, у самого забора — до блеска высиженная лавочка; симметрично положив на коленях руки, степенно восседает на

ней старик. Рядом с ним, побоявшись оставить его одного, сидит старуха. А мимо, чадя моторами и оглашая узенькую улицу гортанной речью, непрерывным потоком идут немецкие войска — сытые, веселые, уверенные в себе. И главное, что не идут, а едут: на машинах, мотоциклах, бронетранспортерах...

И именно это обстоятельство больше всего поражает старика.

— Ну ты посмотри! — говорит он с искренним изумлением. — Наши — так всё пеши отступали... А эти — все, до единого, на колесех! Такая тьма — и все кóтятся... Надо ж, столько понаделать машин всяких. Нет, труд о л ю б и м ы й все ж немцы народ...

И, проводив взглядом несколько тяжелых трехосных грузовиков, битком набитых солдатами, убежденно повторяет:

— Труд о л ю б и м ы й...

И придирчиво всматриваясь в каждую немецкую машину, в лица развязных немецких солдат, он делает вид, что ему, глубокому старику, бояться нечего: в любом водовороте событий он волей-неволей должен оставаться лишь сторонним наблюдателем — бесстрастным свидетелем происходящего (хотя — то дрогнувший голос, то дрогнувшая рука показывают, что это не более как попытка обмануть самого себя); старуха же рядом с ним — сидит ни жива ни мертва: серая, подавленная, вобравшая голову в плечи.

Между тем около них останавливается шедший по тротуару высокий парень в форме немецкого солдата с катушкой телефонного провода за спиной; он останавливается и тоже смотрит на проходящие войска.

Старики замечают его, переглядываются и едва заметным выражением лица дают понять друг другу, что самое лучшее — не обращать на него никакого внимания; после чего немного успокаиваются и снова принимаются провожать взглядом каждую машину...

— А чего проволока болтается? — вдруг спрашивает старуха, тыча пальцем в проходящий мимо бронетранспортер.

— Надо и болтается... — с важным видом говорит старик.

И вдруг солдат в немецкой форме подает голос:

— То — антенна, — говорит он на чистом русском языке. — У них почти что на каждой машине радиостанция. И не такая, как у нас! У нас зайдешь за сарай — и уже не слышно...

Старики обмирают и несколько секунд в недоумении смотрят на парня в немецкой форме; наконец старик обретает дар речи:

— А ты что — русский?

— Угу...

Но старик все еще не верит.

— Русский, значит?..

— Русский.

— А чего... в ихней форме?

— Сдался.

— Сдался... — как эхо, повторяет старик.

— Угу.

Наступает томительная пауза: старик не знает, о чем можно еще говорить, старуха — тем более; выручает сам парень.

— Вон их какая сила прет! — говорит он сердито. — Разве их чем остановишь?.. С нашей трехлинейкой. Образца — тысяча восемьсот затертого года! С ней пока повернешься — шесть раз штыком зацепишься...

Старуха сочувственно качает головой; старик хмурится.

— А самолеты? — говорит парень. — «Рус фанер»... «Мессеры» щелкают их, как семечки. Сколько я уже у немцев?.. Почти два месяца. А ни разу русских самолетов не видал... Наверно, их перебили. — Он на секунду задумывается, словно прикидывает: могли ли немцы перебить все наши самолеты, и продолжает: — Обратно же — пушки... Не берут они немецкую броню. Бьют наши, бьют — и всё впустую!

— Ну ты подумай! — огорчается старик. — Железо у них крепче, что ли?

— Железо, может, и не крепче... Просто — всё на совесть сделано. Культурно. Всякая мелочь учтена. Всё к месту. — Он лезет в карман и достает оттуда машинку для скручивания сигарет. — Вот. Смешно... Чепуха... А сделано — в руках держать приятно!

И дает посмотреть старику.

— А чего это? — недоумевает тот, вертя машинку.

Парень забирает у него из рук машинку, вставляет в нее папиросную бумажку, сыплет щепотку табаку и на глазах у обомлевшего старика вертит какие-то колесики и достает готовую сигарету.

— Ну ты подумай! — охает старик.

А парень прячет машинку и закуривает. Старик смотрит, как он курит, и глотает слюну.

— А ну, дай потяну... — просит он.

Парень дает.

— Хорошая машинка, — говорит старик, сделав пару глубоких затяжек и возвращая сигарету, — а табак — трава... Мне же надо, чтоб меня душило, а меня не душит.

Но парень пропускает его замечание мимо ушей: он демонстративно задирает ногу и показывает отшатнувшемуся старику каблук сапога.

— Подковки — и то как сделаны: сносу нет!

— Смотри-ка! — удивляется старик.

— Или вон — немец: плакат клеит... И как клеит! Не перестаю удивляться их аккуратности! У нас бы — раз мазнул, два мазнул, и к вечеру бы оторвалось...

Наклеив очередной плакат и посмотрев на него со стороны, Йорг снова закидывает сумку за спину, поправляет ремень карабина, берет ведро с клеем и не спеша идет по тротуару, приближаясь к сидящим на лавочке старикам; еще издали, кивнув на них, с усмешкой говорит русскому парню в немецкой форме:

— Ишь, голубкй. Расселись. Как в Тиргартене.

Тот ничего не понимает, но с готовностью улыбается.

А Йорг ставит ведро, снимает с плеча сумку с плакатами и довольно равнодушным тоном говорит старикам:

— Уходите отсюда — я здесь наклею плакат.

Но те напряженно смотрят на него и не двигаются с места.

— Ну! — говорит Йорг. — Что уставились? Как совы. Не понимаете, о чем я говорю? Охотно верю. Сейчас я научу вас понимать.

И без какой бы то ни было озлобленности, просто — как если бы он выполнял обычную работу, он обмакивает кисть в ведро и спокойно брызжет на стариков клеем — крест-накрест, точно перечеркивая их.

— Убирайтесь отсюда! Убирайтесь!

Обрызганные клеем, старики буквально цепенеют. Они в недоумении смотрят на Йорга, не понимая, зачем он это сделал. Их волосы, лица, руки, одежда — всё в каплях клея.

— Убирайтесь — слышите? — И Йорг снова окунает кисть в ведро. — Убирайтесь! — И снова кропит их клеем. — Убирайтесь, я вам говорю...

Испачканные и перепуганные, старики наконец вскакивают и, подгоняемые все новыми и новыми брызгами клея, панически бегут домой. Калитка за ними захлопывается.

Русский парень в немецкой форме весело ржет; смеется и Йорг.

— Тупой народ, — говорит он парню в полной уверенности, что тот — немец. — Только так их и воспитывать...

И, поставив на лавочку ведро, он старательно наклеивает на заборе — как раз над лавочкой — плакат: «Гитлер несет народам России освобождение».

— Уверен, — говорит он с гордым видом, — теперь они сто русских слов забудут, но наше слово «убирайтесь» будут помнить до самой смерти...

И, засмеявшись, переводит взгляд на пар-

ня. Но у того совершенно бессмысленное выражение лица и глупая застывшая улыбка.

И только тут Йорг замечает нарукавную повязку — отличительный знак русских перебежчиков.

— Рус? — побагровев, спрашивает он.

Тот согласно кивает.

— Йа, йа...

— «Йа, йа!» — передразнивает его Йорг. — Что ж ты молчал? Я, как дурак, говорю с ним, а он, оказавшись, не понимает ни слова! Убирайся отсюда!

И, обмакнув кисть в ведро, он брызжет на парня клеем.

— Убирайся!

Русский парень, обрызганный каплями клея, исполненно щелкает каблуками и прикладывает руку к виску.

— Есть!

Но тут же спохватывается — вспоминает, что служит уже другому хозяину, и быстро вытягивает руку по-гитлеровски.

— Есть!

Чем еще больше раздражает Йорга.

— Убирайся! — кричит он на него и еще раз брызжет клеем — уже в спину убегающему парню. — Убирайся!

Мускулистая рука дергает за шнур — и гремит тяжелый выстрел: немецкая крупнокалиберная мортира ведет огонь по далекой невидимой цели...

Окруженная жилыми домами и ничем не замаскированная, она стоит нахально, как на стрельбище, на удобной открытой позиции и ведет неторопливый размеренный огонь, соблюдая паузы между выстрелами с чисто немецким педантизмом.

А чуть поодаль вырисовывается фигура молодого и статного офицера с лицом изнеженным и капризным и большими голубыми глазами; на нем очень ладно выглядят военная форма и фуражка с высокой тульей; на груди у него болтается десятикратный «цейс». Громким властным голосом он подает команды.

— Огоны! — командует он.

И снова гремит выстрел, вздрагивает земля и падает на землю дымящаяся гильза... И снова сноровистые руки прислуги с завидной быстротой заряжают мортиру. И снова звучит команда:

— Огоны!

А в стороне две русские девушки (почти девчонки — лет по шестнадцати) шепчутся, спрятавшись за сараем:

— Ты посмотри, какой красивый немец...

— Ой, гад, какой красивый!

И снова гремит выстрел... И снова у мортиры суетится орудийная прислуга...

А чтобы она не сучала, один из немцев

приносит прямо к орудью радиоприемник «Телефункен». Он настраивает его на немецкую волну, и теперь орудийная прислуга может, стреляя, наслаждаться военными маршами...

«Трам-пам-пам! Парам-пам-пам!..» — поют трубы, бьют литавры, чеканит ритм барабан...

— Огоны! — командует офицер.

Гремит выстрел.

И мы, оставив на минуту орудийную позицию, перенесемся туда, куда с тягучим клетотом ушел этот очередной снаряд.

Окопы, траншеи, перепаханная снарядами земля...

Грохочет разрыв, и взрывная волна швыряет наземь перебежавшего по ходу сообщения красноармейца. Он падает ничком и несколько секунд лежит неподвижно. Потом растерянно поднимает голову, проводит рукой сзади по штанам и, посмотрев на ладонь, испачканную кровью, восторженно кричит:

— Ранило!

— Чего радуешься, идиот? — скрипит песком на зубах лежащий рядом.

— Я думал... это я... со страху... — виновато улыбается раненый в то время, как его, подхватив под мышки и под ноги, тащут по траншее. — А это — просто ранило...

И снова мы переносимся на позиции мортиры.

«Трам-там-там-там-там-тара-тарам!» — гремит военный марш. И снова у офицера поднята рука. И снова он дает команду:

— Огоны!

И снова гремит выстрел.

И снова — вслед за снарядом и даже опережая его — мы переносимся в красноармейские окопы...

По ходу сообщения, пригнувшись, перебегают сержант. Грохочет разрыв, но сержант не обращает на него никакого внимания. Вбежав в блиндаж, он переходит на шаг и, миновав первое помещение, где на нарах сидит солдат и негромко играет на гармонии, слегка приоткрывает дверь в следующее...

Там, склонившись над картой, сидят за столом двое: пожилой мужчина с тремя «шпалами» на петлицах и курносый лейтенант с серьезным лицом. Услышав звук приотворяемой двери, командир поднимает голову и жестом просит сержанта подождать...

И снова мы — у орудия.

«Трам-там-там-тарара-там-там!» — гремит военный оркестр... И снова взлетает рука офицера. И снова тяжело ухает мортира. И снова легкая пыль поднимается над дрогнувшей землей...

И снова мы — в блиндаже.

И снова слышен глухой разрыв, и снова вздрагивают бревенчатые стены...

— По нашим неточным данным, — говорит командир, водя пальцем по карте, — здесь сосредоточивается моторизованная пехотная дивизия из резерва германского главного командования. И потому именно здесь нужно взять «языка». Задача сложная, но это — надо.

— Ясно, — говорит лейтенант.

— Возьмешь двух-трех добровольцев, — продолжает командир. — Больше не надо. Будут только мешать.

— Ясно.

И снова мы — у орудия.

И снова нас оглушают военные марши. И снова офицер поднимает руку. И снова бьет мортира.

И снова разрыв снаряда слышен совсем недалеко от блиндажа.

— Ну, давай, — говорит командир и долго держит ладонь лейтенанта в своей. — Задание, сам понимаешь, ответственное.

Он внимательно смотрит в глаза стоящему перед ним лейтенанту.

— Боишься умереть? — вдруг спрашивает он.

Ответ лейтенанта прямодушен и прост.

— Нет. Боюсь... струсить.

Они молча смотрят друг на друга, и в наступившей тишине слышно, как в соседнем помещении солдат играет на гармонии «Челиту»: «И кто в нашем крае Челиту не знает — Челита смеется звонко...»

И снова мы — на оружейной позиции.

— Огоны! — командует офицер.

Мускулистая рука дергает за шнур, раздается выстрел и массивно откатывается черный ствол орудия...

И снова гулко вздрагивает земля и падает сверкающая гильза. Мортира ведет огонь по далекой невидимой цели. А рядом на табурете стоит приемник «Телефункен» и буквально надрыгается военными маршами.

Вечер.

В большой просторной комнате — полумрак; керосиновая лампа на столе слабо

освещает самую заурядную обстановку: шифоньер, комод, книжный шкаф, продавленный диван, сундук, ножную швейную машинку, две кровати, полочки на стенах, несколько табуреток и стульев...

В комнате — восемь человек: Генрих, Рудольф, Макс и Ганс, а также хозяйка квартиры с детьми: девушкой лет пятнадцати, мальчиком лет десяти и четырех-пятилетней девочкой.

Ганс сидит за столом и при свете керосиновой лампы раскладывает пасьянс. Макс, расположившись на одной из кроватей, чистит карабин. Генрих роется в книжном шкафу. Рудольф же сидит на табурете и, поставив на колени котелок, что-то неторопливо ест.

В комнате тихо. Только Макс вполголоса напевает какую-то немецкую народную песню...

Что же касается хозяйки и ее детей, то они в напряженных позах сидят на диване; девушка и женщина по краям, девочка и мальчик — посередине; они все неподвижны и потому кажутся неживыми.

Рудольф, оторвавшись от котелка, несколько раз внимательно взглядывает на них...

Тускло освещенные керосиновой лампой, они сидят, как привидения, — в одних и тех же позах, — не решаясь что-либо говорить или делать в присутствии немцев, и их лица при этом выражают ту крайнюю степень душевной угнетенности, когда вслед за отчаянием наступает безразличие. Особенно поражает Рудольфа лицо маленькой девочки — тихое, безобидное, не по-детски серьезное.

— Генрих, — вдруг говорит он. — Я дам им доесть... У меня здесь осталось. Все равно я выброшу.

И смотрит на товарища. Но тот дымит трубкой и делает вид, что не слышит.

— Генрих... — снова начинает Рудольф.

— Что — «Генрих»? — резко поворачивается тот. — Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я твой наставник? Или духовник? Делай что хочешь! — И он снова принимается листать книги. — Только лично я не люблю лицемеров! — добавляет он, помолчав. — Выходит, одной рукой мы будем с ними воевать, а другой — помогать? Это — отвратительно!

Рудольф удивлен.

— А при чем здесь они? Что они — солдаты, что ли? Мы же не с ними воюем.

Генрих оставляет книги и снова строго смотрит на него.

— Тебе их жалко?

— Жалко.

— А ты знаешь, что такое жалость?

— Ну... как тебе сказать... А что ты имеешь в виду?

— А то! Я, например, считаю, что безжалостно поддерживать жизнь в смертельно раненном; это значит только продлевать его страдания... Так же преступно поддерживать нацию, обреченную на вымирание. Помогая ей, мы поступаем безжалостно по отношению к будущим немецким поколениям! Через тысячу лет их не будет интересовать — дал ты этой женщине доест свой ужин или не дал; через тысячу лет наши грядущие поколения будут интересоваться одно: дал ли ты им — нашим будущим поколениям — возможность быть хозяевами на этой земле... или не дал. А потому учись уже сегодня смотреть на все их глазами: если для них нужно, чтобы сегодня мы пошли на смерть, — мы пойдем на смерть...

И, считая вопрос исчерпанным, он снова поворачивается к шкафу и принимает опять листать книги.

Наступает пауза. Рудольф, с котелком в одной руке и куском хлеба в другой, застывает в нерешительности, поглядывая то на спину Генриха, то на хозяйку и ее детей; Макс продолжает как ни в чем не бывало чистить свой карабин и напевать под нос песню; а Ганс — раскладывать пасьянс...

Он раскладывает его, раскладывает, но с пасьянсом у него, как видно, ничего не получается: он вдруг с досадой смешивает на столе все карты и бросает взгляд на Рудольфа.

— Рудольф... Иди, сыграем в карты.

— Не хочу, — говорит Рудольф.

— Не хочешь — как хочешь...

И Ганс громко щелкает пальцами, чтобы привлечь внимание хозяйки и ее детей, — те по-прежнему неподвижно сидят на диване, — и, показывая на них на всех поочередно (кроме маленькой девочки), широким жестом приглашает к столу.

— Ком хэр, — говорит он. — Под-кид-ный ду-рак!..

Те безропотно поднимаются и садятся за стол; на диване остается только маленькая девочка. Она украдкой смотрит по сторонам и встречается взглядом с Рудольфом: тот сидит с угрюмым каменным лицом и не сводит с нее глаз.

Девочка пугается.

— Ма-а... — зовет она еле слышным голоском, но мать не слышит: она сидит за столом с картами в руках.

— Ви альт зинд зи? — спрашивает у нее в это время Ганс, показывая на старшую дочь. — Вифиль... год?

— Четырнадцать... — поспешно говорит женщина.

— Фирцен?! — Ганс изумленно поднимает брови и вновь осматривает девушку; после

чего протягивает волосатую, в перстнях руку и прямо через платье бесцеремонно ошупывает ее грудь — с той простотой, с какой обычно пробуют пальцами булочку: свежая или нет? — и смеется: — Э-э-э... матка... Дас ист айне фаусдыке логе! (Это — наглая ложь!) — И еще раз осмотрев нескромным взглядом потупившуюся девушку (у той даже слезы выступили от смущения), он возвращается к прерванной игре и бросает на стол карту. — Битте...

Женщина машинально бьет брошенную ей карту, бьет вторую, но руки у нее движутся, как во сне: охваченная страхом за старшую дочь, она ничего уже не видит и не слышит, однако Ганс настоит.

— Э-э!.. — говорит он возмущенно и возвращает карту, брошенную невпопад. — Дас ист фальш!

Женщина быстро забирает карту, и вместе с ней — остальные. Ганс громогласно хохочет, и игра продолжается, если только это можно назвать игрою...

В комнате опять воцаряется тишина, нарушаемая только шелестом страниц и монотонным мычанием Макса.

И только двое не заняты ничем: девочка и Рудольф. Он сидит, как и сидел, — с котелком и хлебом в руках, — и странно, не мигая, смотрит на нее. И кажется, что он даже не видит ее, а видит что-то совсем иное, чего никак не может понять... Она же, съездившись под его пристальным взглядом, сидит не шелохнувшись, как пойманный зверек, и только изредка поднимает на него осторожные глаза.

И Рудольф не выдерживает: покосившись на спину увлекшегося какой-то книгой Генриха, он встает и, неслышно ступая, подходит к девочке — она тут же боязливо поднимает руки, словно защищаясь, — и протягивает ей хлеб, ложку и котелок... И воровато озирается на Генриха.

Но тот увлекся книгой Брэма — «Жизнь животных»...

Рассматривая очередную иллюстрацию (лев раздирает антилопу), он, не оборачиваясь, веско говорит:

— Нет ничего в мире разумней и правильной богом созданной природы. И нет ничего разумней и правильной самого главного и самого великого ее закона — слабый должен погибнуть, сильный должен жить... И никому никогда не удавалось идти против этого закона. Это всегда кончалось плохо.

А в это время за его спиной девочка неуверенно берет из рук Рудольфа хлеб и ложку, и на ее лице нет радости, на которую, как видно, тот рассчитывал; она только внимательно смотрит на него, будто пытаясь поверить в его добрые намерения.

— Кушь... — говорит он одними губами. — Кушь.

— А коммунисты считают, — резко продолжает Генрих, — что если растут два огромных прекрасных дерева, а в их тени чахнут тысячи маленьких былинки, то надо срубить эти большие, чтобы эти тысячи былинки совсем не зачахли... Они считают, что эти большие деревья виноваты в гибели былинки... Да, виноваты! Как виноват орел, который съел суслика... Так давайте перебьем орлов, чтобы маленьким бедным сусликам было легко жить на свете!

И он оборачивается — как раз в тот момент, когда девочка надкусывает хлеб и опускает ложку в котелок...

Рудольф улыбается.

— Вот... — говорит он смущенно. — Суслика... решил... подкормить...

Генрих хмурится.

— Я вижу, ты не понимаешь одного, — спокойно говорит он, подходя к девочке, — что мы воюем не только с солдатами. — Он забирает у нее хлеб и котелок — она остается с одной только ложкой — и идет к окну. — Ты изучал Россию не для того, чтобы ее любить, а чтобы ее знать! Они все — наши враги!.. Все!.. — И он выбрасывает в окно хлеб и вываливает из котелка. — Весь народ! Понял?

— И дети — тоже? — мрачно спрашивает Рудольф.

— И дети — тоже. Дети вырастут...

Улица.

Уже совсем темно, но Йорг все еще расклеивает плакаты...

Вдруг — чья-то крепкая пятерня намертво запечатывает его рот, и на руках повисают еще двое; Йорг падает. Курносый лейтенант с серьезным лицом — тот, который в блиндаже получил приказ от командира взять «языка», — бьет его рукояткой пистолета и засовывает в рот кляп.

Со стены на эту сцену равнодушнозирает Гитлер...

Лейтенант, схватив Йорга за шиворот, ударами пистолета поднимает его на ноги и заставляет куда-то быстро бежать.

— Шнэль! — рычит он. — С-сукина морда! Фашистская тварь!

И Йорг, выпучив остекленевшие глаза, бежит...

А по бокам и сзади молчком бегут еще трое русских солдат с автоматами.

Они сворачивают в темный переулок — и останавливаются: их замечает немецкий патруль.

— Хальт! — кричит немецкий солдат и, видя, что они ныряют в подворотню, пускает длинную очередь. — Хальт!..

Комната с нашими «героями».

Генрих, Макс, Рудольф и Ганс, затаив дыхание и вытянув шеи, напряженно прислушиваются к тишине...

Скрадываемая расстоянием, доносится еще одна длинная автоматная очередь и две короткие, ответные, — и в ту же секунду наши «герои» срываются с места и, опрокидывая табуретки, с оружием в руках выскакивают на улицу: двери за ними остаются распахнутыми...

Старое заброшенное городское кладбище. Огибая могилы, кресты и надгробные памятники, где напрямик, где по заросшим тропинкам, бегут по кладбищу Йорг, лейтенант и трое русских солдат.

Курносый лейтенант с серьезным лицом (сейчас оно просто злое) остервенело бьет Йорга зажатым в руке пистолетом.

— Шнэль, ч-чума болотная... Шнэль!

Та же комната.

Женщина и ее дети в оторопи смотрят на распахнутую настежь дверь. Виден полутемный коридор и наружная дверь — тоже открытая; за ней — сплошная темень.

Слышится еще одна длинная автоматная очередь, треск мотоцикла, какие-то крики, и все это действует на женщину и на детей настолько угнетающе, что никто из них не только не решается встать и закрыть двери, но даже двинуться...

И потому, когда вблизи вдруг раздаются чьи-то вкрадчивые осторожные шаги, никто из них не вскакивает, чтобы накинуть крючок или задвинуть засов: скованные чувством полной незащитности, они заворуженно смотрят в черный проем двери.

Шаги приближаются... Кто-то подходит к самому дому, неторопливо поднимается по ступенькам, медлит у входной двери, и — в коридор, а затем в комнату входит уже знакомый нам русский парень в немецкой форме.

— Добрый вечер, — говорит он с напускной веселостью.

Женщина и дети смотрят на него с тревогой.

— Я, между прочим, русский, — говорит парень, по-свойски расхаживая по комнате и шаря вокруг глазами. — Я знаю, я нарушил присягу, — ну и что? А те, кто честно выполнил свой долг, — давно гниют их косточки! — Он смотрит на брошенные немцами ранцы, котелки, противогазные коробки. — Можно было бы и сгнить, конечно, — замечает он, — да только ни к чему... Не сдержат их все равно... Кому охота

умирать? В двадцать лет... Вот я и сдался! — почти торжественно заканчивает он. — Как вы считаете: правильно я сделал, что сдался в плен?

Женщина колеблется.

— Кто знает? — говорит она уклончиво. — Может, и правильно.

— Правильно! — твердо заявляет парень. Он останавливается около сундука и долго смотрит на него. — Сундук-то здоровый, — прикидывает он, постукивая носком сапога о его стенку, — да что в нем? — И с улыбкой оглядывается на женщину.

Но встречает ее тяжелый немигающий взгляд.

— Пусть уж немцы берут... — тихо говорит она. — Куда еще ты, русский?

И парень свирепеет.

— Чего ты ор-решь?! — наступает он на нее по-блатному. — Я еще ничего не беру!.. — И он снова принимается расхаживать по комнате, заглядывая на полочки, на шкафчики и даже в шифоньер. — Немцы берут... — ворчит он, переставляя на комод безделушки. — А чего им не брать? Они имеют право. Они нас завсевали!..

Женщина молчит — и только с лютой ненавистью смотрит на него, с большей ненавистью, чем на немцев.

Линия фронта, немецкий передний край.

На огневой позиции, у установленного на треноге пулемета застыл немецкий пулеметчик. Воспаленными от постоянного всматривания в темноту глазами он вглядывается во что-то еле различимое и вдруг истошно кричит:

— Ракету! Ракету! — и, показав — куда она должна быть послана, не мешкая припадает к пулемету.

Шипя и разбрызгивая искры, в черное небо уходит осветительная ракета. За ней — вторая, третья... В их призрачном свете видно, как по нейтральной полосе, метрах в двухстах от немецких окопов, гуськом бегут пятеро; тот, что бежит вторым, нещадно бьет чем-то бегущего впереди... Пулемет трясется и полыхает — и трасса огненным пунктиром ложится точно по фигуркам. Те падают. Взлетает еще одна ракета, за ней — еще одна, но больше ничего не видно...

Блиндаж.

На тех же нарах, где совсем недавно солдат играл на гармонии «Челиту», лежит курносый лейтенант с серьезным лицом (сейчас это оливково-бескровное лицо покойника); тут же около нар, держа в руках пилотки, толпится несколько солдат с ока-

меневшими подавленными лицами; а прямо возле лейтенанта, на самом краешке нар, сидит девушка в форме красноармейца, с лицом бледным и отрешенным: она ласково гладит брови, лоб, короткие волосы мертвого и разговаривает с ним, как с тяжелобольным, тепло и бережно:

— Ну, открой глаза... Открой, мой родной. Это неправда. Я не верю...

Она наклоняется к самому его лицу, нежно целует его лоб.

— Какой холодный у тебя лоб! — говорит она неожиданно зазвеневшим голосом. — Какой холодный!..

Она вдруг начинает задыхаться, ей не хватает воздуха.

— Нет... — шепчет она. — Это неправда. Я не верю...

Солдаты хмурятся и опускают головы. Дверь открывается. Через блиндаж, ведомый конвоиром, проходит Йорг; косясь на тело лейтенанта, он замедляет шаг.

— Пошел! Пошел! — толкает его в шею конвоир. — Не театр!

В помещении, где лейтенант выслушивал командира, нет никого. Конвоир резко вводит туда Йорга и замирает у двери. И тотчас в дверях образуется пробка: красноармейцы с интересом разглядывают немца. Кое-кто влезает внутрь. Конвоир сердится:

— Ну, ребята! ну, в самом деле! ну, что вы за люди! живого немца не видели?! Освободите помещение! Придет командир — он мне даст!

Но солдаты не выходят. Наоборот — они еще затрагивают немца.

— Эй, фриц! — говорит один из них Йоргу. — Гитлер капнут?

Йорг поднимает голову и сумрачно смотрит на него; потом — на другого, на третьего; солдаты злорадно улыбаются.

— Гитлер капнут? — снова назойливо спрашивает тот же, показывая на висящий в блиндаже плакат: на нем изображен Гитлер, прорвавший головой Пакт о ненападении, и красноармеец, воткнувший ему в голову штык.

Йорг мельком взглядывает на плакат-карикатуру и снова исподлобья смотрит на красноармейцев. И видя, что ему это ужасно неприятно, один из вошедших издевательски изображает Гитлера: кладет ладонь левой руки себе на темя — так, чтобы пальцы, сжатые вместе, свешивались над лбом, как челочка, а два пальца правой руки — указательный и средний — прижимает под носом, изображая усики, и, безумно выкатив глаза, горланно кричит:

— Майн фюрер!

Йорг бледнеет, и глаза у него расширяются.

— Майн фюрер!..— снова рычит красноармеец.

Солдаты торжествуют: вид побелевшего в бессильной злобе немца доставляет им истинное наслаждение.

И тут происходит неожиданное: взгляд у Йорга сатанеет, ноздри раздуваются...

— Хайль Гитлер! — орет он, фанатически сверкая глазами и выпрямляясь, и, пророчески подняв палец, кричит опешившим красноармейцам: — Всё равно — на звездах на чертана наша победа!

И он еще держит руку высоко поднятой, когда расступившиеся красноармейцы пропускают внутрь, в помещение, командира и переводчика: те слышат последнюю фразу Йорга, и переводчик тут же ее переводит:

— Он говорит, что на звездах написана их победа...

— Спроси его, — спокойно говорит командир после некоторой паузы, — знает ли он, на каких именно звездах написана победа? — И, не дождавшись ответа на переведенный Йоргу запрос, трогает рукой звезду на пилотке застывшего в двери красноармейца. — На этих...

Скуластое лицо красноармейца неподвижно и сурово.

Октябрь, 1941.

И снова длинная дорога тянется навстречу бронетранспортерам, и снова из-под обреза черных касок смотрят на широкие русские поля чужие глаза...

Но вокруг — уже приметы поздней осени: низкое небо, голые деревья, непролазная грязь дорог.

Мелкий дождь сечет четверых немецких солдат — Макса, Генриха, Рудольфа и Ганса: они едут в том же самом бронетранспортере, что и раньше (потеряв уже троих — Курта, Клауса и Йорга), и настроение у них под стать погоде.

И только Ганс еще бодрится.

— Нойе штэтхен — нойе мэдхен! (Новые города — новые девушки!) — оживленно говорит он, увидев приближающийся городишко, но, присмотревшись, сокрушенно поджигает губы. — Маленький!.. Вряд ли что-нибудь приличное найдешь. Смоль-енск — куда больше — и то в первый день ничего не нашел. Одни старухи. И вообще — в России не знаешь, где искать. В Польше было легче. Там были женские монастыри...

По-домашнему уютно горит в печи огонь...

В одной из оставленных жильцами квартир у открытой печной топки сидит на

детском стульчике Рудольф. Около него — большой ящик с игрушками. Он выбирает из ящика деревянные игрушки — кегли, кубики, матрешки — и, посмотрев, бросает их в печь. Они горят весело и ярко...

Тут же в комнате, вокруг письменного стола, положив на него локти и одинаково понуриив головы, сидят пятеро незнакомых нам немецких солдат — типичных деревенских увальней; уставясь в стол, они монотонными голосами под аккомпанемент губной гармошки поют популярную довоенную песенку — «Розамунду». Живая и игривая, она в их исполнении звучит удивительно безысходно.

За окнами — темно, и на столе между поющими стоит несколько горящих парафиновых коптилок — отчего их лица, освещенные снизу, кажутся зловещими, а само пение — похожим на какое-то шаманство.

В комнате находятся еще два человека — Макс и Генрих. Макс читает Генриху письмо, полученное из Германии, тот слушает его и курит трубку...

— «...Вчера мы получили весточку от Юргена, — читает Макс, — он отличился в боях за Киев и награжден крестом... Сейчас он — унтер-офицер, и ему дали взвод... Спасибо за чудесную посылочку, ты всегда был очень внимательный... Кофточка пришлась мне в пору, цвет — как раз к моим глазам...»

Текст про посылку и кофточку Макс прочитывает заметной скороговоркой, словно испытывает чувство неловкости перед товарищем, и, на секунду умолкнув, нетерпеливо скользит глазами по письму, пытаясь отыскать что-нибудь более интересное.

Нестройный хор все так же уныло поет «Розамунду», Рудольф не спускает глаз с огня, Генрих попыхивает трубкой...

— «...Наш Фрицхен помешался на твоей коллекции!..» — читает Макс дальше и с улыбкой поясняет: — Я им писал, что собираю звездочки с убитых мною лично большевиков и комиссаров... «...Смешной мальчишка! — продолжает он читать. — Ты для него — самый смелый, самый сильный, самый благородный рыцарь! Он о тебе рассказывает в школе, бредит по ночам, играет в твои подвиги... Похвастался товарищам, что ты свою коллекцию пообещал отдать ему. Теперь ужасно мучается, что солгал. Утешь его. Пришли ему, пожалуйста, хоть пару звездочек...»

И Макс заразительно хохочет. Улыбается и Генрих.

Но все так же заунывно звучит «Розамунда», и все так же неподвижно, глядя на огонь, сидит Рудольф.

Вдруг — дверь открывается, и входит Ганс. Все поворачивают головы... Ганс не

один — с ним девушка лет восемнадцати, бледная и подавленная. Оба нетрезвы. Особенно — она. Он вводит ее, по-хозяйски положив ей руку на плечо и пьяно улыбаясь.

— Добрый вечер! — говорит он, расплываясь в торжествующей улыбке.

— Добрый вечер... — отвечает за всех Макс.

Остальные — в том числе и пятеро солдат, сидящие за столом (они все так же продолжают петь), — с откровенным любопытством рассматривают девушку: ее лицо, фигуру, ноги.

Ганс проводит ее через всю комнату — в дальний угол — и там сажает на кровать, покрытую лоскутным одеялом.

— Прошу — не обращать на нас внимания! — смеется он.

После чего снимает с девушки платок, расстегивает и стаскивает пальто, свернув его, кладет в изголовье.

Девушка сидит совершенно убитая и безвольно подчиняется: позволяет снять с себя пальто, жакетку, туфли и даже чулки; когда же Ганс принимается расстегивать на ней платье — она вдруг начинает судорожно цепляться за его пальцы.

— Ганс... — говорит она в смятении. — Ганс...

— «Канс! Канс!» — передразнивает ее Ганс и весело смеется. — Ханс! — произносит он свое имя правильно. — «Канс» — дас ист «гус». Гус! — И он гогочет по-гусиному: — Го-го-го-го!.. Ферштэст?.. — После чего тычет себя пальцем в грудь. — Их хайсе — Ханс! — И снова начинает расстегивать на ней платье.

— Ганс... — умоляет она.

Но ее тоскливый голос еле слышен — он тонет в хриплом хоре поющих солдат: вытаращив глаза и отстукивая такт сапогами, они продолжают машинально петь «Розамунду».

Остальные — Генрих, Макс и Рудольф — сидят, не шевелясь, с застывшими растерянными лицами. Особенно ошеломлен Рудольф: он сидит перед раскрытой дверцей печки и с мучительным напряжением смотрит на огонь; лоб его покрыт испариной.

«Ганс!» — слышит он отчаянный возглас девушки, и нервы у него не выдерживают: пошатываясь, как пьяный, он поднимается со стульчика и быстро идет к выходу; кажется, еще секунда — и его стошнит. Отбросив задвижку (задвинутую еще Гансом) и стукнувшись плечом о притолоку, он стремглав выходит.

Генрих с беспокойством провожает его взглядом и, подумав, бросается вслед...

Помедлив несколько секунд, Макс закрывает дверь на задвижку.

Улица. Ночь. Угол дома.

Чертыхаясь и всматриваясь в крошечную мглу не успевшими привыкнуть к темноте глазами, вдоль стены идет Генрих и буквально налетает на Рудольфа: тот стоит, бессиленно прижавшись спиной к стене, и вид его ужасен: рот перекошен, взгляд невменяем, лицо совершенно мокрое.

— Это ты? — спрашивает Генрих, ошупывая его рукой и, убедившись, что это — Рудольф, развязно усмешается. — Странно... Я считал тебя мужчиной... а ты ведешь себя, как мальчик. Чего ты убежал?

— Если б я не убежал, — задыхается Рудольф, — я не знаю, что бы с ним сделал! Я б его убил... растерзал!

Генрих хмурится.

— Стоит ли устраивать истерику, — говорит он сердито, — из-за какой-то паршивой русской девки? Не много ли ей будет чести?

Рудольф не отвечает — он только тяжело и шумно дышит и все никак не может успокоиться; насупясь, Генрих долго смотрит на него.

— Эти русские женщины... — говорит он тем же раздраженным тоном, помолчав. — Не смотри, что среди них встречаются красивые. И даже очень. На этом их достоинства кончаются. Все остальное — мелко и пусто. Сердца у них прекрасно перекачивают кровь, но любить они не могут. Их глаза замечательно видят, но в них ты не увидишь божьей искры. У них встречаются и нежные лица, и стройные ноги, и классической формы грудь... Но ни в одной из них нет того высокого духа, того благородства и достоинства, какие отличают немецкую женщину!.. И потому не слишком волнуйся... Оскорбить их невозможно — они не умеют оскорбляться! Наоборот: как всякие низкие натуры, они обожают тех, кто оскорбляет их... И не смотри, что она такая жалкая... Дай ей только чуть свободы, равных с тобой прав — и ты увидишь, как она обнаглит: более низкой и более подлой твари ты тогда не найдешь!..

Он смолкает, и почти сразу же в темноте раздаются чьи-то твердые, уверенные шаги; они приближаются по направлению к ним, и, когда силуэт идущего человека приобретает реальные очертания, в руке у незнакомца вспыхивает электрический фонарик.

— Что вы здесь делаете? — слышится низкий женский голос.

И к ним подходит невысокая полная немка в форме обер-лейтенанта интендантской службы; рядом с ней на поводке идет овчарка.

Генрих и Рудольф вытягиваются.

— Ничего... — говорит Генрих. — Вышли... подышать.

Немка освещает бледное лицо Рудольфа, потом — Генриха, потом — опять Рудольфа; она чувствует что-то неладное, но что именно, не может понять... И уже собирается идти дальше, как вдруг сквозь пение «Розамунды», пробивающееся через закрытое окно, она явственно различает пронзительный женский крик: «Ганс!..»

Немка сразу же замирает и прислушивается; крупные волевые черты ее лица становятся еще воинственной и жестче. Бросив на застывших Генриха и Рудольфа колючий взгляд, она решительно направляется ко входу в дом и дергает за дверную ручку... Дверь не открывается. Тогда она стучит в нее — напористо и энергично.

Слышно, как отодвигается задвижка, и в открывшуюся щель выглядывает Макс.

— Айн момент! — испуганно говорит он и захлопывает дверь перед самым носом возмущенной немки.

Пение в комнате обрывается, и слышен непонятный торопливый шум...

Немка ждет, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, и снова стучит — сердито и сильно.

Дверь открывается...

Собака, натянув поводок, устремляется в квартиру, и за ней, сохраняя хладнокровие, входит немка.

В комнате.

Пятеро солдат, сидящих за столом, при появлении немки с собакой с растерянными лицами вскакивают. Она же, держа пса у ноги, останавливается на пороге и зорко осматривается...

Взгляд ее, не задерживаясь, пробегает по Макс, открывшему ей дверь, по пятерым солдатам, стоящим навтыжку, и — упирается в Ганса: босиком, в одних брюках, не успев даже надеть нательной рубахи, он стоит посреди комнаты, зябко поеживаясь и сунув пальцы рук под мышки; своим телом он старается загородить ту часть комнаты, где в глубине, на кровати, укрытая с головой лоскутным одеялом, угадывается фигура девушки.

Но немка ее тут же замечает. Чопорно поджав губы, она проходит через всю комнату и одним махом срывает с девушки одеяло: содрогаясь от беззвучных рыданий, та лежит совершенно голая, закрыв лицо ладонями.

Отбросив в сторону сдернутое одеяло, немка в ярости поворачивается к Гансу.

— Дрянн!.. — она бьет его по щеке рукой в перчатке и презрительно оглядывает с ног до головы. — Дерьмо! С дворняжкой спишь?

Ганс молча пятится.

— Ничтожество! — неистовствует немка. — Ариен!..

И, оглушительно хлопнув дверью, она выходит.

Около дома.

Генрих и Рудольф стоят все там же, когда мимо них, пылая гневом, проходит немка; она так раздосадована, что не сразу замечает, как вокруг становится светлее и как оба солдата встревоженно задирают головы...

Но вот она замедляет шаг и тоже смотрит вверх; смотрит вверх и собака; в темном небе прямо над ними ярко светит САБ...*

Потом повисает еще одна, и — еще, и долетает — еле слышный — стрекот легкого авиационного мотора.

В тот же миг — пять-шесть лучей прожекторов вонзаются в небо и начинают метаться в поисках самолета. Они его находят очень быстро — маленький тихходный «У-2», — и разноцветные трассы зенитных пулеметов устремляются к нему со всех сторон.

Пытаясь вырваться из ослепительных лучей, самолет входит в крутую, почти отвесную спираль. Несколько витков они его сопровождают, но вскоре теряют — и снова начинают метаться, искать его...

В самолете.

У летчика — совсем юное девичье лицо. У штурмана — тоже. Они выравнивают самолет почти у самой земли и с выключенным мотором бесшумно планируют над улицами города.

Сверху, освещенные САБами, хорошо просматриваются кварталы черных, словно вымерших домов, площади, перекрестки. Видна группа немецких солдат, куда-то торопливо бегущих по улице...

— Дай им, Маша... — говорит летчица.

— Дау.

У Маши красивый грудной голос; она нажимает кнопку сброса бомб.

В комнате.

Слышно, как невдалеке грохочут взрывы...

Пятеро солдат расхватывают сваленное в кучу оружие и бросаются вон из комнаты; вместе с ними выскакивает и Макс.

И только Ганс, не попадая в спешке в рукава, все еще суетливо надевает нательную рубаху, да на кровати, опять укрывшись

* САБ — светящаяся авиабомба, сбрасываемая на парашюте.

с головой одеялом, остается неподвижно лежать девушка.

Улица.

Заливая все адским белым цветом, уже совсем низко над ней висят САБы, а вдоль всего квартала по-над домами стоят немецкие солдаты и пытаются ружейным и автоматным огнем сбить их.

К ним, едва переводя дыхание после быстрого бега, присоединяются Генрих, Макс и пятеро солдат, певших «Розамунду»; не мешкая, становятся они вместе со всеми под стены домов и принимаются целиться и стрелять в опускающуюся САБ...

Лишь один Рудольф не принимает в этом никакого участия: он стоит на том же месте, где стоял и, опершись спиной о стену, о чем-то рассеянно думает... И на его лице столько уныния и полнейшего безразличия ко всему, что, кажется, его нисколько не волнует не только все происходящее вокруг, но даже собственная судьба.

В комнате.

Прыгая на одной ноге, Ганс натягивает сапог, когда вблизи грохочет еще один взрыв...

Ганс инстинктивно приседает и только тут понимает, что свет горящих парафиновых коптилок и красные отсветы из открытой печки могут быть заметны с воздуха.

В два прыжка подскакивает он к кровати и вторично срывает с девушки одеяло: она, как и прежде, лежит, закрыв ладонями лицо...

В одном сапоге — не тратя времени на то, чтобы обуться, — Ганс впрыгивает на подоконник и принимает зашивать окно.

Но снова раздается близкий взрыв...

Окно лопается, звенят стекла, разом гаснут парафиновые коптилки и из печки взрывной волной выбрасывает горящие кегли, домики, ручки от скакалок...

Ганс падает.

За окном грохочут взрывы, стучат пулеметы, мечутся прожектора... А в комнате, на полу, озаряемый светом горящих игрушек, неподвижно лежит Ганс; он — мертв; в окне, колеблясь от ударов воздуха, остается висеть изрешеченное осколками лоскутное одеяло.

Ноябрь, 1941.

И снова вьется длинная дорога — теперь уже зимняя, с поземкой, — и снова едут в бронетранспортерах немецкие солдаты...

И снова в том же самом бронетран-

спортере, подняв воротники и сунув руки в рукава, едут Генрих, Макс и Рудольф.

Колонну останавливает обер-лейтенант: он стоит у дороги, около тлеющего костра, а рядом на обочине стоит мотоцикл с коляской. Утопая по колено в снегу, солдат носит к костру «дрова» — деревянные кресты с ближайшего сельского кладбища. Он их ломает и подкладывает в огонь; на одном из них еще сохранилась надпись по-русски: «Мир праху твоему...»

— Будьте осторожны, — говорит обер-лейтенант унтер-офицеру, сидящему в бронетранспортере рядом с водителем. — В любой момент возможна встреча с неприятелем. В лесу полно партизан. К тому же, к нам в тыл прорвался конный корпус русских. И бесследно исчез...

Унтер-офицер пугается:

— Серьезно?

И встревоженно смотрит по сторонам... Но вокруг — только ровные белые холодные поля да щеточка леса на горизонте.

— Откуда же их ждать? Какое направление наиболее опасно?

— Со всех сторон! — резко говорит обер-лейтенант и дает знак: можете следовать дальше.

Колонна трогается. Генрих, Макс и Рудольф, слышавшие этот разговор, с тревогой озираются...

На деревенской улице, выстроившись в две шеренги, стоит рота немецких солдат; перед ними в новенькой, необтертой шинели расхаживает розовощекий капитан.

— Солдаты! — говорит он с жаром. — Наш враг — в предсмертной агонии! Поэтому он все чаще и чаще прибегает к недозволенным методам ведения войны — к партизанщине! На эту их подлость мы, солдаты Великой Германии, будем отвечать тем, чем и следует отвечать на подлость, — жестокостью! И потому перед тем, как вы сейчас отправитесь на прочесывание леса, я считаю необходимым предупредить вас... По любому человеку, кого бы вы только не увидели в лесу, открывайте огонь без всякого предупреждения! Будь то женщина, старик или подросток! Каждый, встреченный вами в лесу, — это партизан, это бандит, это человек, стоящий вне закона... На них распространяется один закон — смерти..

В первой шеренге стоит Макс; он внимательно слушает капитана.

Тихо падает снег, пофыркивают лошади, скрипят полозья...

Через всю деревню тянется длинная вереница саней и розвальней; в них —

немецкие солдаты. На облучках же понуро сидят деревенские парни и даже мальчишки; некоторые из возниц идут рядом с санями, ведя лошадей под уздцы.

Около одной из уцелевших изб стоят Рудольф и Генрих и провожают взглядом санный поезд; заметив среди отъезжающих Макса, Генрих приветственно машет ему рукой.

— Желая пополнить коллекцию! — кричит он.

Макс смеется.

— Это же бандиты... Они звездочек не носят.

Он сидит в розвальнях вместе с несколькими другими солдатами и долго с улыбочкой оглядывается на Генриха и Рудольфа.

Саный поезд проезжает по безлюдной деревенской улице — мимо уцелевших, полуобгоревших и дотла сожженных изб (среди пепелища стоят только печные трубы да покореженные огнем железные кровати), — и направляется в сторону чернеющего за околицей леса.

Отогрев дыханием кружок на оконном стекле, Рудольф задумчиво смотрит в него...

За окном — что-то вроде площади; на ней — виселица и два закоченевших, припорошенных снегом трупов: женщина в платке и молодой парень в пиджаке и брюках, заправленных в сапоги. Ветер легонько покачивает их, шевелит краем платка и прядями волос на непокрытой голове парня...

— Скажи, — говорит Рудольф, продолжая смотреть в окно; рядом с ним, с неизменной трубкой в зубах, сидит Генрих и мастерит из женской шали поддевку под шинель. — Скажи: что подлого в том, что с нами воюют не только солдаты, но весь народ? Это страшно, конечно, но подлого я здесь ничего не вижу...

— Не видишь? — Генрих откусывает нитку. — А если я иду по улице, и мне навстречу идет старик или старуха, или подросток, и я ничего не жду, а они стреляют в меня или бросают гранату — это, по-твоему, не подло?

Рудольф удивлен.

— Почему же ты не ждешь? Ты же сам сказал: они все — наши враги... Весь народ...

— Да. Сказал. Конечно... — соглашается Генрих. — Весь народ. Это точно. Но если уж народ подлый — он способен на такую подлость, какой я не могу предвидеть, а значит, не могу и ждать...

— Какой же выход? — Рудольф отходит от окна и садится около Генриха на лавку; он выжидательно смотрит в его лицо.

— Выход? Один... — Генрих перестает

шить и поворачивается к Рудольфу. — Народ — подлый, ленивый, слабоумный — достоин только одного: чтобы его самого истребили полностью!.. Под корень!

Рудольф смотрит на него с ужасом.

— Ты что?

— Да... — говорит Генрих, очень трезво и очень спокойно, и возвращается к прерванному шитью.

Рудольф поражен. Он долго и неотрывно смотрит на Генриха, и в глазах у него явное смятение.

— Выходит, — глухим голосом произносит он, — что с их стороны подло — быть в о о б щ е?..

— Наконец-то ты понял, — говорит Генрих, усмехнувшись. — А еще студент!..

...А в избе накурено и шумно: группа немецких солдат столпилась вокруг стола, на котором разложена карта Московской области; они оживленно меряют расстояние до Москвы спичкой и читают по складам незнакомые названия городов и населенных пунктов.

— На-ро-фо-минск... — читают они хором.

— Зэр-пу-хоф...

— Лю-бэр-цы...

— Паф-лэф-ски по-зат...

— Ха-ха-ха!

— Язык сломать можно!..

Станционный радиоузел.

Человек в форме железнодорожника осторожно опускает адаптер радиолы на пластинку, и из динамиков над входом в маленький павловско-посадский вокзал сначала доносится шипение иголки, а потом начинается музыкальное вступление к песне «Я уходил тогда в поход...».

На перроне — ветер, снег и две длинные шеренги молодых солдат. На первом пути, прямо у перрона, стоит эшелон пустых теплушек; несколько дверей раскрыто, и там солдаты-дневальные возятся с печками-буржуйками: над каждым вагоном уютно вьется дымок из черной трубы, выведенной прямо в маленькое окошечко.

Лицом к солдатам, замершим в двух шеренгах, стоит командир в длинной шинели, перехваченной ремнями. По правую руку рядом с ним горбится крошечная старушка в сером платке, по левую — громоздятся ящики с новенькими карабинами.

— Товарищи бойцы! — силло кричит командир и натужно кашляет в кулак. — Сейчас прямо отсюда наш эшелон пойдет на передний край...

А из динамиков негромко льется: «Я уходил тогда в поход — в далекие края...» — и ветер завинчивает вокруг солдатских ног полы шинелей. Лица у ребят крас-

ные и напряженные, стоят не шевелясь.

— Вот — мать! — говорит командир. — Мать троих сыновей. Пять месяцев идет война — и уже успела потерять мать всех троих: Колю, Володю...

Он делает паузу, и старушка негромко подсказывает:

— И Васю.

И всей горстью вытирает мокрые глаза и нос.

— И Васю! — с ненавистью кричит командир. — Трех своих ребят отдала Родине мать!... — Он поворачивается к ней с перекошенным от ярости лицом и, вытянувшись по стойке «мирно», сурово говорит: — Мы отомстим за них, мама...

И целует ей руку.

У многих в толпе на глаза наворачиваются слезы...

И снова повернувшись к солдатам, командир торжественно и громко произносит:

— Каждому из вас она из своих свя-
тых рук даст оружие!.. И не дай вам бог раньше смерти своей уронить его!.. И пусть оно беспощадно разит врагов наших!

Солдаты подходят по одному, берут из рук тихо плачущей старушки карабины с примкнутыми штыками и истово, как крест, целуют темное дерево приклада.

А из динамиков несется:

— «...Второй стрелковый храбрый взвод теперь — моя семья, привет-поклон тебе он шлет, моя любимая...».

И снова — та же деревенская изба...

Немецкие солдаты все еще толпятся вокруг стола, мусоля пальцами карту Московской области, а Генрих уже щеголяет по избе в самодельной поддевке.

— Ну как? — горделиво спрашивает он у Рудольфа, поворачиваясь перед ним, как мачехица.

Тот поднимает голову и хмуро оглядывает его; он еще полон неприязни к Генриху и потому отвечает нехотя, сквозь зубы.

— Плохо... — говорит он. — Испортил хорошую шаль.

— Ты просто завидуешь мне, каналья! — смеется Генрих и шутливо треплет его по плечу.

Но Рудольф порывисто отстраняется, и лицо его покрывается красными пятнами.

— Завидую — когда чего-нибудь хотят! — говорит он резко и озлобленно; дыхание у него пресекается, гнев буквально душит его. — Я же ничего не хочу! Абсолютно!

Он смотрит на Генриха круглыми разъяренными глазами, и тот озадаченно отступает.

— Ты что? Взбесился?

Но Рудольф уже его не слышит: он снова опускает голову и удрученно смотрит в одну точку...

Он сидит, погрузившись в какие-то мрачные размышления, и так глубоко задумывается, что, когда в избу вместе с клубами морозного воздуха входит унтер-офицер, он замечает его не сразу и поднимается лишь после того, как все остальные уже стоят навтыжку.

Унтер-офицер недоволен.

— Хайль Гитлер! — орет он, выбрасывая руку.

— Хайль Гитлер! — рывкают солдаты.

Унтер-офицер обводит их взглядом и тычет пальцем в Генриха и Рудольфа.

— Ты! И ты! Немедленно ложитесь спать! Ночью будем патрулировать на дороге... Остальные... — Он смотрит на солдат, стоящих около стола. — За мной!

И, пропустив их впереди себя, он выходит, плотно закрыв за собой дверь; Генрих тут же поворачивается и въедливо смотрит на Рудольфа, тот не выдерживает.

— Чего ты на меня уставился? — сердится он.

Генрих поджимает губы.

— А что ты сейчас сказал?

— Ничего... Я сказал: «Чего ты на меня уставился?»

— А перед этим?

— Перед этим?.. Ничего.

— А когда вошел унтер — что ты сказал?

— Когда вошел унтер?.. Ничего не сказал.

— Когда он сказал: «Хайль Гитлер!» — что ты сказал?

— Когда он сказал: «Хайль Гитлер!» — я тоже сказал: «Хайль Гитлер!»

— Врешь! Ты сказал: «Пол-литра!» («Хальп литэр!»)

— Нет, я сказал: «Хайль Гитлер!»

— Не юли! Я прекрасно слышал! Ты сказал: «Пол-литра!»

— Я сказал: «Хайль Гитлер!»

— Нет — «Пол-литра!» — кричит Генрих. Он назидательно поднимает палец к самому носу Рудольфа. — Если ты еще хоть раз...

Но Рудольф демонстративно поворачивается и идет прочь, даже не дослушав его до конца; Генрих хватает его за плечо и с силой поворачивает.

— Ты слышишь?!

— Оставь меня!

— Ты слышишь?!

— Оставь меня!!!

И Рудольф в бешенстве сгребает на груди у Генриха поддевку. Он толкает его изо всех сил в грудь, но тот рук не разжимает, и они оба, вцепившись друг в друга и бурно дыша, бегут через всю избу и, опроки-

нув на своем пути табурет и лавку, грузно падают на пол...

Свирепо рыча и нанося друг другу удары по лицу, по голове, по чем попало, они катаются по полу, как две цепные собаки, готовые разорвать друг друга в клочья... Удары сыплются градом, поддевка расплзается по швам, пуговицы летят во все стороны, но оба дерутся с таким ожесточением и злостью, что только порыв морозного воздуха, ворвавшийся в неожиданно распахнувшуюся дверь, охлаждает их пыл и заставляет прекратить драку.

Они поднимаются с полу, задыхаясь и поправляя на себе сбившуюся одежду...

В дверях стоит немолодой немецкий солдат с бледным, измученным лицом; левая рука у него в свежих бинтах, на перевязи. Он укоризненно смотрит на Генриха и Рудольфа.

— Нашли время...— говорит он тихо, с горечью.— Макс убит...

Окраина деревни.

Медленно плетется лошадь, впряженная в розвальни; ее ведет под уздцы деревенский мальчишка лет десяти-двенадцати...

В розвальнях — трупы немецких солдат. Среди них — Макс.

Он лежит на спине, запрокинув голову и вытянув вдоль тела безжизненные руки. Снег падает на его восковое лицо и не тает...

Мальчишка ведет лошадь прямо посередине деревенской улицы. У одной из калиток стоит глубокий старик.

— Откуда дровишки? — спрашивает он без тени улыбки.

Мальчишка бросает на него торжествующий взгляд и оглядывается на свою страшную поклажу.

— Из лесу...— говорит он в тон старику, а у самого на рожице не просто радость — ликование.— Отец, слышишь, рубит?.. А я отвою...

Он проводит лошадь мимо старика и продолжает все так же чинно вести ее дальше.

5 декабря 1941 года.

Ночь.

Вдоль длинного ряда замаскированных машин и бронетранспортеров медленно прохаживается немецкий часовой: он с тревогой всматривается в красаво-красное зарево, охватившее полгоризонта...

Иногда он останавливается и принимается приплясывать на одном месте: он кружится, топчется, подпрыгивает, приседает, бьет ногой о ногу...

За этим занятием и застает его пробе-

гающий мимо с котелком дымящегося супа солдат.

— Танц фор дем тодэ ист ниht ин дер модэ! — весело кричит он. (Перед смертью плясать не в моде!)

— Скотина...— обижается часовой.

Но солдат уже ныряет в одну из изб: хлопает дверь, мигает желтый свет — и снова вокруг часового смыкается кромешная мгла.

В избе.

Здесь — многолюдно. Часть солдат спят вповалку на полу; часть — режут в карты, листают газеты, курят, вполголоса разговаривают; двое вертят ручки радиоприемника; один лежит на ничем не покрытой кровати — прямо на железной сетке, — положив ноги, обутые в сапоги, на ее спинку.

— Ну, камрады, — говорит вбежавший с котелком солдат, — впереди — все горит... Что там русские жгут — неизвестно, — но все время что-то горит и все время идет стрельба...

— Идиоты! — ворчит солдат, лежащий на кровати.— Я считал их хоть чуть, но умнее... Все-таки у них, у русских, были и писатели, и философы, и какие-то ученые... Но продолжать драться, когда драться совершенно бесполезно, — могут только полные кретины!

И он с раздражением лягает кованым сапогом спинку кровати.

— Тише! Ты!..— одергивает его один из тех, что вертят ручки радиоприемника.— Германия...

Солдаты поворачивают головы и с тоской смотрят на радиоприемник... Германия поет серебряным голосом Элизабет Шварцкопф: она исполняет свою излюбленную арию из оперы Глюка «Пилигримы в Мекку»...

Солдаты перестают играть, затаив дыхание, слушают; иные закрывают глаза. Звучит прекрасный голос любимой певицы...

А за окном стоит настоящая русская зима — суровая, снежная, глухая...

Германия.

Тихо падает легкий белый снег.

В маленькой полуподвальной комнатке сидит за столом еще не старая женщина с худощавым утомленным лицом. Далеко протянув по столу руки, она держит фотокарточку юного светлоглазого паренька в форме немецкого солдата... Это — Курт, один из наших «героев», погибший самым первым, еще летом, так и не выяснив до конца: «Россия — Азия или Европа?»

Она держит его карточку, смотрит на нее сквозь слезы и тоскливо воркует:

— Курт...

А за окнами молодецкато бьет солдатский сапог и широко гремит многоголосый хор...

— Хаймат, хаймат!..— кричат солдаты молодыми, полными сил голосами. (Родина, родина!..)

— Курт...— печально говорит женщина и пальцами ласково касается его лица на фотографии.— Как это страшно, Курт... Нет уже тебя... Боже мой... как это страшно...

Она как слепая ощупывает на снимке лицо сына: его крутой и чистый лоб, задумчивые глаза, пухлые, тронутые улыбкой губы...

А из полуподвального окна видны сапоги шагающих солдат и очень громко слышна песня...

И снова — Россия...

По ночной заснеженной дороге, ведущей на северо-восток,— туда, где все время колеблется зарево и время от времени звонко стучат пулеметы,— движется моторизованный патруль: два бронетранспортера с немецкими солдатами.

В открытом кузове первого из них — только двое: Генрих и Рудольф. В кузове второго — судя по силуэту — человек семь-восемь; он держится на некотором расстоянии от первого, не теряя его из поля зрения и не приближаясь вплотную.

Оба бронетранспортера движутся с погашенными фарами, замедляя ход перед каждым неожиданно показавшимся кустом...

Водитель первого бронетранспортера сидит прямой и напряженный и испуганно пялит глаза в темноту: она обступает машину со всех сторон, и только огненная полоса на горизонте позволяет на ее фоне кое-что увидеть — то отдельное дерево, подступившее к самой дороге, то поваленный взрывом телеграфный столб... Рядом с водителем, такой же прямой и напряженный, сидит унтер-офицер.

Скованные страхом, они едут молча и сосредоточенно,— и в кузове бронетранспортера в таком же глубоком безмолвии едут Генрих и Рудольф...

Они сидят в разных углах и смотрят в разные стороны, и чувствуется, что им нелегко завязать разговор,— слишком свежи не только воспоминания о происшедшей между ними драке, но даже следы, оставленные ею: у Генриха — ссадина на скуле, у Рудольфа — синяк под глазом.

Они смотрят по сторонам и упорно молчат, и Генриха явно тяготит это затянувшееся молчание: он несколько раз вопросительно взглядывает на Рудольфа и наконец не выдерживает:

— Может... все же... заключим... мир? —

говорит он ворчливо и при этом смотрит не на Рудольфа, а на тлеющее впереди зарево.

Смотрит на зарево и Рудольф; в чистом морозном воздухе слышны далекие пулеметные очереди.

— Вряд ли...— говорит он после долгой паузы.— Слишком далеко все зашло.

Генрих удивленно поднимает брови.

— Ты о каком мире?

— А ты?

— Я — о нас с тобой...

— О нас с тобой? — Рудольф кривит губы.— Мы-то помиримся...

Обрадовавшись, Генрих подсаживается к нему.

— Я был не прав,— говорит он.— Это все нервы. Мы не должны распускать себя...

Рудольф молчит. Его лицо еще хранит печать отчуждения, губы горько поджаты. В порыве дружелюбия Генрих обнимает его за плечи.

— Видишь? — шутит он.— Вместе — даже ехать теплее, не то что воевать...

Рудольф вздыхает. Его охватывает глубокое волнение. Душевная боль, накопившаяся за последнее время, искажает его лицо. Кажется, он близок к тому, чтобы разрыдаться. Он растерянно смотрит в темноту ночи и молчит.

И Генрих еще крепче обнимает его за плечи. К нему возвращается былая уверенность.

— Это русский,— говорит он с непоколебимой убежденностью,— при первой же возможности душист русского... Поляк — предаст поляка. Чех — чеха. Еврей — еврея... И только немец — любит немца! Ты — немец, и я тебя люблю! И в этом — наша сила!..

Он говорит страстно, искренне, горячо. Его жесты энергичны, тон — непрекаем. Незыблемость его внутренней позиции буквально обезоруживает Рудольфа. Он слушает его все с большим и большим вниманием и постепенно заражается его настроением. Его лицо проясняется, взгляд становится спокойней. Он снова вздыхает — но теперь это вздох облегчения. Очень похоже на то, что, измучившись сомнениями и придя к полному краху собственных позиций, он готов безоговорочно принять позицию и взгляды Генриха как единственную возможность не впасть в отчаяние.

И, чувствуя это, Генрих входит в раж...

— Пусть горит весь мир вокруг! — говорит он, злорадно осердившись, и в глазах у него появляется фанатическая одержимость.— Пусть на наши головы сыплются проклятья! Пусть за нами остается море крови! Пусть дым пожаров ест нам глаза! Пусть враги готовят нам любую подлость!..

Только бы мы, немцы, меж собой не ссорились — и тогда нам ничего не страшно!.. Тогда нет для нас никаких преград! Тогда никто не устоит перед нами! Тогда мы выполним свою великую задачу — очистим землю от ничтожеств!..

И словно в подтверждение своих слов, он, продолжая одной рукой обнимать Рудольфа за плечи, другой — заботливо поднимает ему воротник и потуже запахивает полы шинели...

И Рудольф, истосковавшийся по чисто человеческому теплу и уже примирившийся со своим внутренним одиночеством, глубоко тронут его вниманием. Он начинает часто моргать, хочет взять себя в руки, но ничего не может поделать: горло ему сжимают спазмы, и ему явно не хватает сил справиться со своим волнением; постоянные сомнения, разочарования, угрызения совести и душевные страдания последних месяцев окончательно расшатали его нервы. Прерывисто дыша и пряча от Генриха заблестевшие глаза, он сидит не шевелясь и пристально смотрит на клубящееся впереди зарево...

И Генрих все понимает: он больше ни о чем не говорит; он только ближе садится к Рудольфу и еще сильнее обнимает его за плечи; другой рукой он крепко стискивает его руку. И Рудольф, опьяненный нахлынувшим на него чувством почти детской отзывчивости на ласковый дружеский жест, сидит притихший и растроганный, испытывая прилив той острой благодарности, которая чаще вызывает слезы, нежели улыбку...

...Словно в тумане, видит он, как плывут им навстречу просторы зимней затаившейся России — поля, перелески, холмы, овраги; как в зыбкой темноте бесшумно пробегают пятна, тени, полосы; как, скованные холодом и тишиной, к дороге приближаются леса; как мелькают мимо бронетранспортера вековые сосны, отягощенные снегом; как тянутся по сторонам однообразные сугробы; как бежит и бежит под звенящие гусеницы бесконечная дорога; как розовое зарево то скрывается за пригорком, когда машина идет на подъем, то открывается сверху во всю ширь, и постепенно им овладевает состояние душевного затишья. Глаза становятся задумчивей и неподвижней, дыхание — ровней. Чувствуя на своем плече твердую руку Генриха, он погружается в какое-то рассеянное полузабытье и долго скользит отсутствующим взглядом по сугробам и соснам...

А ночь все тянется и тянется, дорога бежит и бежит им навстречу... Мелькают те-

ни, пятна, полосы, сугробы, частокол деревьев; мороз покрывает инеем воротники; но все так же, тесно прижавшись друг к другу, сидят Генрих и Рудольф. Они сидят очень близко, их лица почти касаются — и глаза Рудольфа полны каких-то светлых мыслей, смутных неосознанных надежд...

Вдруг — лицо у него вытягивается.

— Генрих... — говорит он с мистическим ужасом.

И Генрих тоже замирает: он видит впереди фигуру человека на коне.

Словно призрак, стоят конь и всадник сбоку от дороги и на фоне неба кажутся огромными, как монумент. В их неподвижности есть что-то нереальное и в то же время что-то очень грозное... И, пораженные удивленным, Рудольф и Генрих несколько секунд сидят в оцепенении, не в силах даже шевельнуться...

Внезапно — всадник оживает: он привстает на стременах и резко взмахивает рукой; в тот же миг Рудольф и Генрих хватаются за автоматы...

Но — поздно: прямо под кабиной бронетранспортера сверкает молния и раздается страшный взрыв! Бронетранспортер сворачивает на обочину и, сильно ткнувшись в снежный занос, накреняется; Рудольфа с Генрихом, как из пращи, выбрасывает в черный снег.

Окутавшийся дымом бронетранспортер воспламеняется; в его кабине, в сгустках пламени видны убитые солдат-водитель и унтер-офицер.

Все это происходит так стремительно и быстро, что упавший в снег Рудольф не сразу приходит в себя. Опомившись, он поднимается, и, ползая по снегу, шарит вылетевший автомат...

Найдя его, он наобум пускает очередь в ту сторону, в какой он видел всадника, однако, присмотревшись, обнаруживает, что всадник не один: черными силуэтами проносятся они по другой стороне дороги и тут же исчезают, а кто-то открывает по нему огонь: пули начинают тонко петь вокруг Рудольфа.

— Генрих! — кричит он — и только тут замечает, что второй бронетранспортер уже развернулся и уходит, и за ним, как угорелый, мчится Генрих...

На глазах у Рудольфа он повисает на кузове и его, обессиленного, быстро втаскивают внутрь; в тот же миг бронетранспортер, взревев мотором, заметно прибавляет в скорости и скрывается в темноте, оставив Рудольфа один на один с русскими конниками.

Оскалившись от ярости и страха, Ру-

дольф пускает несколько очередей впускую — просто в темноту — и бросается бежать прочь от дороги, в сторону чернеющего леса. Он бежит, задыхаясь и утопая в снегу, и за его спиной звонко стучат русские автоматы.

В круг света, образованный горящим бронетранспортером, въезжает русский всадник; полушубок плотно облегает его широкую спину; поперек седла лежит автомат.

Всадник смотрит в направлении, куда исчез Рудольф.

— Ушел... — говорит он.

Тяжело дыша и прислонившись к дереву спиной, на опушке леса стоит Рудольф. Он весь в снегу и, несмотря на лютый холод, совершенно мокрый. Он смотрит, как вдали неслышно догорает бронетранспортер, и внутренне сжимается...

— Господи... — говорит он и в отчаянии поднимает глаза к черному небу, уповая теперь на одного бога. — Выведи меня отсюда. Не покидай меня...

Но черное небо сурово и безответно; в нем видны только верхушки сосен.

Сунув руки в карманы шинели, Рудольф обреченно смотрит в темноту.

6 декабря 1941 года.

Сизый рассвет.

В избе, где немцы слушали Элизабет Шварцкопф, на голой, ничем не покрытой кровати тяжелым сном спит Генрих; он спит одетый, сняв лишь шинель и каску и расстегнув на мундире ворот.

Его энергично трясет за плечо немецкий солдат.

— Генрих!.. Генрих!.. Генрих!..

Тот открывает мутные глаза.

— Русские!!!

Генрих разом садится на кровати. Грубо вырванный из короткого сна, он обалдело смотрит в белое лицо солдата, пытаясь что-либо понять, и до его сознания доходят нарастающие звуки близкого боя: стук пулеметов, автоматов, разрывы мин, гранат, паническая топотня...

Солдат же, разбудив его, бросается бежать; он выскакивает в сени, толкает наружную дверь и уже собирается высочить во двор, но что-то заставляя его испуганно попятиться... Прямо из сеней он открывает по кому-то огонь из автомата. Он стоит в сумеречной полутьме прихожей и выпускает очередь за очередью.

И Генриха охватывает ужас; его взгляд

начинает метаться в поисках выхода — и в это время в сенях раздается громкий стук: немецкий солдат замертво падает на пол.

Недолго думая, Генрих выбивает раму и, захватив с собой автомат, выскакивает в окно; вслед за ним пули щепят оконную коробку.

Пригнувшись и озираясь, как затравленный зверь, Генрих бегом пересекает двор — ища, куда бы можно было спрятаться. Он замечает курятник — и тут же ныряет в него. Кур здесь давно уже нет, остались лишь насесты да куриный пух, и Генрих забивается под низкие насесты, в самый угол. Скорчившись в три погибели, он с тревогой смотрит в щель. Он высочил в чем был, не успев даже надеть каски, и теперь в одном подшлемнике напомукает палача.

Он видит, как по улице и по дворам уже бегут красноармейцы. Они пробегают очень близко, и Генрих слышит их тяжелое дыхание.

— Серега, — кричит один из них другому, — дуй к речке... Там где-то банька... Не дай взорвать...

Их топот затихает, и Генрих снова принимает к щели.

В рассветной мгле он видит, как на улице уже сгоняют в кучу пленных немцев... Жалкие, трясущиеся, кое-как одетые или вовсе в нательном белье, они исполняют на морозе жуткий «танец» с поднятыми руками, и это зрелище настолько угнетает Генриха, что он подавленно отводит взгляд.

А из домов уже повсюду высыпают жители: кто — застыв на крыльце, кто — держась за забор, они потрясенно, без улыбок смотрят на бегущих мимо них красноармейцев. И только одна старуха выходит на самую середину улицы; она становится на колени навстречу пробегающим солдатам и кладет им глубокий земной поклон... Один из них бросается поднять ее, но старуха обхватывает его ноги и, уткнувшись в них лицом, долго остается неподвижной.

Тем временем стрельба стихает, постепенно удаляется, и Генрих видит, как по улице, выкрутив ему заломленные руки, два дюжих красноармейца с автоматами за плечами быстро проводят упирающегося мужчину в расстегнутой шинели полицаю; скрежеща зубами, он с яркой ненавистью орет:

— Не кр-рр-рутите р-рр-руки... комиссар-рр-ры!

И эти несколько зловещих «р-р-р» звучат жутко, по-кладбищенски, как будто тащат не человека, а ворона.

И Генрих начинает мелко дрожать: у него трясутся руки, плечи, голова, щел-

кают зубы... Он понимает, что больше прятаться нельзя, и с отчаянностью труса выскакивает из курятника. Не оглядываясь, он быстро бежит по смерзшимся грядкам, мимо какого-то сожженного сарая, петляет среди низких голых яблонь...

— Стой! — слышит он чей-то решительный окрик и бросается бежать еще сильнее; вслед ему стучит автоматная очередь.

Украина деревни.

По переулку — подгоняемый кошмаром надвигающейся смерти — быстро бежит Генрих: его преследует красноармеец в белом маскхалате. Они бегут примерно в равном темпе, и расстояние между ними долго остается неизменным. Красноармеец не стреляет — он просто гонится за беглецом, стараясь не терять его из виду, и Генрих, то и дело дико озираясь, бежит напропалую, не отдавая себе ясного отчета — куда и зачем он бежит... Его искаженное лицо и вылезшие из орбит глаза поражают полным отсутствием мысли...

Он выбегает из деревни и, вконец обесиленный, останавливается: перед ним лежит нетронутая снежная равнина. Где-то в стороне он слышит затухающие звуки боя, сзади — топот русского солдата, и тогда, теряя всякую надежду на спасение, он сворачивает на единственную, полузанесенную тропинку — она ведет к немецкому солдатскому кладбищу, два десятка крестов которого, покрытые черными касками, торчат за деревней.

Солдатское кладбище.

У первой же могилы Генрих опускается на корточки и суетливо снимает с креста каску... Его движения нервозны, взгляд — безумен. Он надевает каску на себя и, не вставая с корточек, берет наизготовку автомат.

Две очереди звучат одновременно (красноармеец начинает стрелять еще на бегу, Генрих — от пояса) — и эхо четко повторяет их...

После чего Генрих медленно роняет автомат и прислоняется щекой к кресту; глаза у него остаются открытыми. И хотя русский солдат уже прошел мимо него — в мертвых глазах Генриха все еще стоит последняя картина: кладбище, деревня, следы

на снегу, русский автоматчик, застывший в беге, и нестерпимо белый свет в стволе его автомата...

Рядом со щекой убитого — табличка на кресте: «Эр штэрбрт дамит Дойчланд лебэ» — написано на ней... «Он умер, чтобы жила Германия».

Яркое зимнее утро.

Красноармеец — водитель артиллерийского тягача, повернув голову и работая рычагами, волоком стаскивает с дороги створевший немецкий бронетранспортер...

Черный, искореженный, он напоминает груды металлического лома, и в нем не так легко признать тот самый бронетранспортер, в котором Йорг, Клаус, Генрих, Рудольф, Ганс, Макс и Курт начинали свой путь. И только обугленные трупы унтер-офицера и водителя, все еще полулежащие в кабине, говорят о том, что это он.

А мимо, по дороге, нескончаемым потоком идут советские войска... В полубухбах, в маскхалатах, обвешанные автоматами... Их обгоняют танки, крытые грузовики, «кастюхи»...

Рудольф сидит, опершись спиной и затылком о ствол ели, руки спрятаны в рукавах шинели. Он замерз. На выбеленном морозом лице резко выделяются заострившиеся скулы и глубоко запавшие глаза.

А по дороге — в той стороне, куда обращен своим мертвым и побелевшим лицом Рудольф, — идут и идут войска Красной Армии, колонна за колонной. И колонн так много, что невольно закрадывается мысль, что до поры до времени вся эта сила где-то пряталась...

Бойцы и командиры идут широким размеренным шагом, не суетясь, не ерзая по сторонам глазами, сосредоточенные и суровые, словно видят впереди тот долгий путь, какой им надлежит пройти.

Утреннее солнце светит им чуть в бок и в спину, они идут на запад.



Светлана
КАРМАЛИТА

ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН

Река была широкая, текла покойно, без всяких глупостей, и течения в обычные дни видно не было, бывали дни, даже вечера, особенно вечера, когда в ней отражалось высокое, желтоватое здесь небо, отражалось так, как не отражается в реках, а только в заводях. В такие вечера сильно звенели комары. Течение обнаруживалось, когда шел сплав, бревна двигались с шипением, которое никогда не прекращалось, река становилась угрюмой, и заезжего человека охватывал страх, непонятно, впрочем, отчего. Может, оттого, что казалось, после этого сплава лесов не останется вовсе, но они стояли тяжелые, черно-зеленые.

— Город был деревянный, — рассказывает спокойный доброжелательный голос, — не в том смысле, в котором бывают деревянные города, здесь из дерева было все: и на тротуары и на мостовые шла струганая пятидюймовка, которой в какой-нибудь Астрахани и вовсе цены нет. И сараи и дома крыли доской в два-три слоя. Красивый был этот деревянный город с единственным проспектом высоких каменных домов. Сказка да и только, и горел этот город тоже, как в сказке, весело, без всякого там черного дыма, пламя было ярко-желтое до неба, небо же становилось красным. Ну где еще сыщешь в России такое место, где при бомбежке горят мостовые?

Застывшая в неподвижности моментального снимка улица, высокие деревянные дома, высокие крылечки, широкие окошки. Мелкие языки пламени возникают по краям фотокарточки, горят, горят на ней дома, домишки, гудит пламенем экран.

— Зажигалочки мои, цветики степные, что шипите на меня, темно-голубые, — продолжает тот же голос. — Позарастали стежки-дорожки, где мы гуляли после бомбежки... До войны командировочные, не успевшие внедриться в неторопливую жизнь, острили про этот город: «Доска, тоска, треска». Трески не было, доски горели, и было не до тоски, какая тут уж у Таси тоска, вспомнишь ночью папу, маму или Иго-решку, схватит, сожмет сразу в двух местах: в желудке и повыше. Груды у Таси высокие, где-то там, за ними, так схватит, и лежать нельзя, надо сесть, а сесть сил нет, и заснешь.

Тася жила по подселению в доме отставного капитана Чижова. Дом был большой, эвакуированных видимо-невидимо, и бывший капитан был у них за царя. Тася была одна, и место он ей выделил в тупичке коридора, сундук, столик да окошко — все ее палаты. И одеяло дал и занавеску.

— К лету сорок четвертого пошло полече, война здесь откатилась на север и грохотала в угрюмых холодных морях, ну протрется какой-нибудь высотный гад, пронесет-

ся над городом или пирсами, что это?! Да ничего, если сравнить.

Каждый день на их улице кто-нибудь получает вызов домой. Тася вызова не ждала, из всей довоенной жизни остался в голове только ленинградский адрес, и сны стали особенно мучительны. Ну что ж за сны такие, господи!

...Идет папа по длинному коридору в пижаме и потирает длинные белые пальцы.

— Ах, какой сегодня день дивный...

Мама у стола в ночной сорочке в звездочках. Тася не может этого вынести и бежит по деревянной лестнице на второй этаж, там антресоли с широченными окнами на крышу и мастерские — портреты, портреты в станках.

— Тася, девочка моя, — удивляется мама.

— Дивный, дивный день, — повторяет отец, уходя по коридору, он в тапочках.

— Но ведь его нет на свете, — говорит Тася про отца.

— Как? — пугается мама.

— Нет, — кричит Тася, — и тебя нет, и Игорешки, я одна, одна!..

— А где же мы? — удивляется мама, она напугана, и улыбка у нее жалкая. — Какая ты странная девочка, право... Это у тебя возраст и страхи.

Тут портрет — летчик в шлеме и с огромным букетом сирени — возьми и перебей:

— Ты куда, Тась, мамыны часики положила?

...Проснулась от горячечного сна, а часики и впрямь тью-тью. Тася всегда была не прочь порыдать, но мамыны же. В коридоре бабка Глафира сказала, что это дело Киргиза, чтобы Тася попробовала, но постройте. Тася взяла полено и пошла на большой погреб, который звали артиллерийским, хотя, конечно, никаких снарядов там не было, просто здоровый, заросший бузиной погреб и все.

Киргиз — кстати, никакой он тоже не был киргиз, а Вовик Киргизов и русский — лежал в высокой траве с ромашками, в желтых американских ботинках на картонной подметке и крутил Тасины часики на лакированном ремешке.

— Отдай часики, — сказала Тася, задохнувшись от быстрой ходьбы, — какой выискался...

— Вот ты меня огорчаешь, — Киргиз опять крутанул часики.

— Гад какой, — сказала Тася, — я ж серьезно, Вовик...

— И я серьезно, — сказал Вовик, — пять, пятнадцать, двадцать пять... — на местном языке это обозначало бессовестное предложение, у которого нет приличного литературного эквивалента.

Тасе стало жарко, кровь бросилась в

шею и лицо, надо было уйти, но часики же.

Вовик поймал полу крепдешинового платья, тоже мамино, потянул, и платье лопнуло, так что живот оказался голый. Тогда Тася подняла полено и убила Киргиза, двинула в лицо, как трамбуют булги на дороге. Вовка выкатил белки, проскреб по земле картонной подметкой и затих. Тася встала на четвереньки, послушала Вовкин пульс, но пульса не было. Не нашла она его.

Небо было яркое, жаркое, как на юге, летал шмель. В руки Таси вьелась краска, чтобы смыть, нужен был керосин. Тася сидела на земле и плакала. Жалости к Вовке не было и страха, что посадят, не было, хотелось одного: скорее бы.

«Вот моряк подходит к дому, всем ребятам незнакомый».

Ботинки приятно скрипели по дощатому тротуару, кожаные новые ботинки — и не с дырочками, а с крючками, и эти ботинки, и эти крючки были неперменным свидетельством того, что их хозяин, невысокий худенький старший лейтенант в парадном кителе, был не кто иной, как капитан корабля. Дырочки и крючки — разница вроде небольшая, ан нет. Старшему лейтенанту Анастасию Чижову был двадцать один год, в чем не было ничего удивительного, он был дважды орденносец, и это весной сорок четвертого не было такой уж редкостью. Но накануне сегодняшнего жаркого воскресного дня Анастасия Чижова вызвал контр-адмирал, командир флотилии, и вспоминать об этом было приятно.

В кабинете у контр-адмирала мягко били желтого дерева напольные часы, подавальщица салона в белой наkolке принесла крепкий чай с лимоном, командующий встал и поздравил Чижова с назначением командиром патрульного судна «Зверь».

— Хорошо воюете, товарищ старший лейтенант, — сказал командующий, — хорошо бьете фашистов. Победа у нас с вами, товарищ старший лейтенант, теперь не за горами, — и крепко пожал руку.

И, отвечая положенные по уставу слова, Чижов испытывал счастье, а адмирал понимал, что испытывает Чижов, и тоже был рад.

Начальник Военторга, капитан береговой службы, сказал, точно как командующий:

— Хорошо воюете, товарищ старший лейтенант, хорошо бьете фашистов, — и выдал ему отрез, шелковое белое кашне, новые перчатки, две пачки «Севойной Пальмиры» и

две — «Кемела» и рядом поставил эти самые ботинки.— Подметки, как довоенные,— спиртовые,— добавил он,— только для капитанов и новинка — крючки, чудная вещь,— и показал, как ловко накидывает на эти крючки шнурок.

Здесь же, но уже в свободной продаже Чижов купил большой гранитовый чемодан, куда все сложил, и зачем-то гамак.

И так он шел по жаркой улице мимо желтых одинаковых двухэтажных домов с большими окнами. Он, Чижов, был молод и уже капитан-капитан. Так и ботинки скрипели: ка-пи-тан, ка-пи-тан. На этой улице прошло его детство, Анастасием его звали, как деда, тоже моряка и капитана, и это имя доставляло ему много огорчений. И здесь и в училище его звали Тосей, и он как раз подумал, что Тосей его теперь вряд ли кто-нибудь назовет, как вдруг раздался голос:

— Тося, здорово, морячило,— голос был веселый, с хрипотцой.

Заборов здесь не было. У высокого чисто вымытого крыльца Чижов увидел Валерика Оськина, товарища далекого детства. Валерик отвоёвался в сорок втором, после тяжелого ранения в ноги.

— Здорово, Тосик.

— Здорово, Валерик.

Полагалось здороваться за руку. Обоим стало приятно.

— Поздравляю от лица службы,— Валерик всегда все знал.

Закурили «Кемел». Небо было высокое, ветер теплый, крупные ромашки росли у ног. На отглаженной форменке Валерика — Красная Звезда, под орденом — суконочка, от этого он виднее, и золотая нашивочка рядом.

— У нас баня освободилась,— сказал Валерик,— просим париться. Когда баню заселяли, была эвакуация, а когда баню освобождают, то это уже реэвакуация...— Он поднял палец: — Красивее звучит...

Покурили, глядя на голубые дымки.

— «Звездочка» или «Пальмира» — все ж зовущие названия... Со смыслом...— сказал Валерик.— А «Кемел» — это верблюд и ничего больше...

— А «Дукат»? — спросил после паузы Чижов, до дома было близко, но не оставлять же Валерика, не поговорив.

За холмом стало вдруг беспокойно, визгливо кричали женские голоса.

— Убили!.. Киргиза убили... Э-э-э-э-э!..

Людей тут жило так много, и ссоры были так часты, а формы их столь разнообразны, что мало кто всерьез относился к таким формулировкам, как «убили», тем бо-

лее что все скандалы обычно заканчивались мирно.

— «Э-э-э-э-э», — передразнил Валерик, запирая дверь и вешая латунного чертика, показывающего нос замку, что означало: хозяин ушел.— Мы теперь в танковых войсках.

Так Чижов поднялся на холм и — с гамаком, чемоданом, толкая в гору Валеркину коляску на велосипедных колесах, — подошел к своему дому взмокший, как конь. Коляска была лакированная с латунным альбатросом впереди.

— Мы красные кавалеристы, — пел на ходу Валерка, двигая рычаги, и курил «Кемел».

Дом Чижовых, построенный дедом Анастасием, был высокий, с флюгером на крыше. Окна круглые, вроде корабельные, лестницы крутые, как трапы, с медяшкой, эвакуированные с трудом лазали по ним, сарай во дворе звался каптеркой. Дед Анастасий сызмальства приучал сына, а после и внука к морю. Скандал, когда они подошли, уже выдохся, только эвакуированные тетки ходили быстрее, чем обычно, да башка у Киргиза была разбита, губа сбоку поднялась, и он прикладывал к ней тряпочку с мокрой землей. Дети пускали в луже рыбий пузырь. С Валериком Киргиз поздоровался за руку, втянул воздух и попросил закурить «Верблюда».

— А молодого фулигана везут с разбитой головой...— пропел Валерик.

— Смотай за úplномоченным, Валерик, — из сарая вдруг выскочила эвакуированная старуха и указала на Киргиза ковшиком, — сироту обижает и притом ленинградку... Пусть даст ответ...

— Таська Желдакова, буржуйка: недобитая, — сказал Киргиз, засовывая Валеркин чинарик под оттопыренную губу.

Чижов сигареты ему не дал, не по чину. И беседовать с ним было тоже не по чину. Это была его, Чижова, улица, его школьный корешок Валерка, здесь он был Тосей, но было и то, что он — старший лейтенант и командир боевого корабля, поэтому он посмотрел на обоих прозрачными, всегда, когда он злился, бесцветными глазками. И этот взгляд сразу образовал дистанцию в морскую милю.

— На Кузнечихе негры ходят, — сбобел Киргиз, — поехали.

— Кто поедет, а кто побежит рядом, — сказал Валерка и покати с холма.

— У Анны-Карги дрейфербот на камни засадили... Видал? Преступная халатность, я понимаю, днище у них подволокло, — зады-

хаясь, говорил старик Чижов, поднимаясь за сыном по крутому трапу на второй этаж, там была единственная оставшаяся им комнатка. Неожиданно он охнул и приватил сына за ботинок.

— Это что ж, Анастасий,— сказал он негромко,— выдали или сам разжился?!

Это был вопрос, которого Чижов ждал.

— Выдали.

Прямо перед ним был коридор, на сундуке сидела Тася и зашивала платье на животе, грудь у нее была высокая и мешала работе. На уровне глаз Чижова были ее ноги, крупные, в пушке, в носках с каемочкой. Чижов никогда не вспоминал о Тасе вне дома, но когда бывал дома, всегда ощущал ее присутствие. Тася вообще легко краснела, сейчас же лицо ее и шея покрылись красными пятнами. Ну что за день такой!

Отец снизу крепко и любовно держал Чижова за капитанский ботинок, он сидел на ступенке, и взгляд его, устремленный вверх, был кротким и счастливым.

Чижов не чувствовал, что лицо его медленно заливается краской.

— Здравия желаю,— он торчал, как черт из люка, на голове была фуражка в белом чехле, ему хотелось подняться, чтобы стали видны ордена, но отец снизу все держал его за ботинок.

— Глафира,— вдруг заорал старший Чижов,— ведьма, чертовка горбатая!

— Ну чего? — сразу высунулась из кухни Глафира.

— Беги к Клыкову, скажи: у меня сын капитан, накось, пусть выкусит,— и заплакал.

Ночью ему приснилось, что его, Чижова, скульптура стоит на улице Павлина Виноградова. Он заставил себя проснуться, было четыре, в пять начинал ходить трамвай. Чижов попил воды из чайника и подошел к окну.

Ночь была прозрачная, за перекатом крыши светилась Двина. Он закурил, толкнул окошко и услышал звон комаров, шепот. И увидел на скамейке в тени куста Киргиза и женщину из Валеркиного дома. В лунном свете шея у него была невозможно белая. Он заставил себя отойти от окна и, отходя, почувствовал, что идет каким-то строевым шагом. Китель с орденами висел на стуле, и в лунном свете ордена казались ледяными. Он зашнуровал ботинки, взял чемоданчик, прошел мимо спящего отца, мимо заутка в коридоре, где за занавеской спала Тася, и дальше, по лестнице-трапу, вниз.

На спускающихся капитанских ботинках идут титры картины.

Входная дверь сама открывается, за ней белое струганое крыльцо, двор в мягкой пыли, старый пес Пиратка у ворот, резкий в

тишине звук первого трамвая и последний титр: «Жил отважный капитан».

Скульптор Меркулов был грозен и криклив, но до самозабвения обожал морских командиров, любил говорить про типы кораблей или о противоположных зигзагах. Он был старший лейтенант береговой службы, но при прибавлении двух последних слов «береговая служба» огорчался, и поэтому к нему так не обращались, его любили. И из-за этого, и из-за маленького роста за глаза его звали «полковник-малолитражка».

— Вон туда,— строго прокаркал Меркулов и перепачканной гипсом рукой показал на вентилятор в верхнем углу,— смотрите на торпедоносца... Что вы все на себя смотрите?!

Бюст был бесформенный, белый и негладкий, и смотреть на него Чижову было неприятно.

«На Глафиру похож,— сказал про себя Чижов,— пропал мальчик — смехота на весь флот»,— и, вздохнув, уставился в осточертевший угол.

Наверху пели, шла «Волга-Волга». Художественные мастерские находились в подвале Дома флота, как раз под сценой. Пожилой старшина второй статьи, помощник Меркулова, пронес ведро гипса, от которого шел парок, взял тряпочку и протер неживой, похожий на гигантское бельмо гневный глаз Чижова — на бюсте, конечно.

— Может, его синеньким покрасить?..— опять сказал сам себе Чижов и совсем затосковал.

— Вы суровость во взгляде дайте, товарищ старший лейтенант,— посоветовал нахальный старшина,— это ж бой все-таки...— и поставил перед Чижовым кофе и блюдечко с двумя мармеладинками.

— Линейный флот отомрет сам собой, не так? — беседовал Меркулов.

Над головой задвигались, сеанс кончился.

— Разрешите быть свободным,— сказал Чижов и встал,— договаривались вместо кино, не правда ли?

Меркулов расстроился. Нахальный же старшина вроде нечаянно снял простыню с бюста командующего флотилией, и теперь все трое — Меркулов, старшина и командующий — глядели на Чижова. Брови у командующего были сердито сдвинуты или так свет упал.

— Ждем вас на следующий, последний сеанс, товарищ старший лейтенант,— сказал Меркулов, ласково глядя на бюст командующего.

— Ебеже, товарищ старший лейтенант береговой службы,— сказал Чижов.

— Что? — не понял старшина.

— Если будем живы,— сквитался со стар-

шиной Чижов, давая понять, кто из них точно останется жив, а кто и необязательно.— Примета так говорить,— добавил он и съел мармеладку.

В дверях у железной лесенки его уже ждал лейтенант Макаревич.

Вдвоем они шли по деревянным мосткам и пирсам. С Двины тянуло сыростью, квакали лягушки.

— Ах-ах-ах,— смеялся где-то в темноте женский голос.

По реке прошел рейсовый, вода у пирсов захлопала и заскрипели друг о друга бортами «охотники».

Макаревич засвистел про водовоза.

— Очень отличное кино,— сказал он и засмеялся.

Далеко на той стороне Двины небо осветилось было, притухло и стало медленно краснеть, и уже тогда торопливо застучала зенитка. Там был город. Налета не было, высотный бомбардировщик сбросил кассеты с зажигалками и уходил.

— Ах-ах-ах,— смеялся тот же высокий женский голос.

Доски пирса были желтые и казались маслянистыми. Чижовский «Зверь», как и пришвартованный к нему «Память Руслана», не были ни «бобиками», ни «амиками», так здесь назывались «охотники» и тральщики нашей или зарубежной постройки, а всего лишь «моряками», ибо лишь два с половиной года тому назад на их высоких трубах красовались красные буквы МР в белом кругу, что обозначало их происхождение: Мурманский рыбфлот, и клепка от этих букв не поддавалась ни краске, ни шпаклевке и вылезала. Ну да что до этого. Сейчас это были боевые патрульные суда с тридцатью краснофлотцами и старшинами на каждом, всеми пятью БЧ, и никто с соседних, военных по происхождению судов не посмел бы назвать их «трескачами».

— Опять Мурманскрыбфлот вылез, что с ним сделаешь, ничего с ним не сделаешь,— доложил маленький начхоз,— наварить сверху что-нибудь, ей-богу.

Чижов засучил рукав кителя, сунул руку в бидон с краской, с удовольствием понюхал и дал понюхать Макаревичу.

— Хорошая, Макароныч?! — сказал он полувопросительно.— Льном пахнет, а?

Макаревич вежливо понюхал, оставив тощий зад, чтобы не запачкаться.

— Боцман,— приказал он,— бензину для командира.

Пока Макаревич, он же Макароныч, сливал бензин из стеклянной банки, начхоз тут же стоял с ветошью наготове. Угроза воздушного нападения на флотилию миновала,

на «Памяти Руслана» по трансляции замурлыкал эстрадный концерт с пластинки, и Макаревич стал шептать, повторяя интонации актеров.

— Говорят, лично Черчилль нашу «Волгу-Волгу» каждую субботу глядит,— сказал начхоз, передавая ветошь боцману.

— Сми-ирна! — крикнул вахтенный лейтенант Андрейчук, когда Чижов поднялся на борт своего «Зверя» и отдал честь кормовому флагу.

«Ты будешь первым, не сядь на мель. Чем больше хода, тем ближе цель»,— завели на «Звере» пластинку.

Над морем стояла туманная дымка. Транспортов в конвое было два, да два пузатых тральщика, да три сторожевика, да «бобик» — большой «охотник». Радиосвязь здесь, в горле Белого моря, была нежелательна, флажные сигналы плохо читались, в порядке переговаривались фонарями, а если надо было — рупорами, что проще и быстрее. Суда в тумане — со вспышками фонарей, и криками, и спокойным плоским морем — чем-то вдруг напомнили Чижову окраину Кузнечихи. «Зверь» шел в порядке замыкающим, позади была тишина, идти спать не следовало: место здесь было нехорошее.

Чижов сидел на табурете, привалясь кожаным регланом к теплой переборке, сквозь сон слушал, как Макаревич торопливым бесцветным голосом рассказывает анекдот. На стеклах световых люков лежала туманная водяная пыль, позвякивал на корме как лебедки, звуки казались громче обычных.

— Значит, Чарли докладывает,— бубнил Макаревич,— слышу контакт, пеленг и все такое... Ну... Сэр ему в ответ: косяк рыбы... Чарли опять: сэр, так и так, контакт, пеленг... подводная цель. Тот в ответ: а я говорю, косяк рыбы... Ну... — Макаревич покашлял, сам засмеялся и закрутил головой.— В это время парагазовый след — торпеда, то да се, и они плавают... Сэр воду выплонул и заявляет: а вот это уже подводная лодка.

— Так лодка была или косяк рыбы? — спросил Андрейчук.

Он уже подготовился. Макаревича любил, но не разыгрывать его было выше человеческого сил.

«Зверь» приблизился к транспорту, транспорт взял до Дровяного крупный и мелкий скот, на палубе за дощатой перегородкой промышала корова. Казалось, от транспорта, от всей его ржавой громады потянуло теплом и хлебом, с высоченной его кормы выплеснули ведро, вода плюхнулась, шлепок был звонкий.

— Значит, первые два раза был косяк

рыбы,— сказал Андрейчук,— а потом уже лодка...

— Да нет,— заморгал Макаревич,— все время была лодка... Просто капитан — дундук... Во,— он постучал по упору обвеса.

— Нет,— сказал Андрейчук,— из анекдота это не следует. Товарищ командир, я прошу рассудить, Макаревич опять рассказал нежизненный анекдот... Давай, Макароныч, сначала, пусть командир послушает.

Сигнальщик тихо хрюкнул.

— Я слышал, но недопонял,— включившись в игру, сказал Чижов,— вызовите командира БЧ-пять.

Пришел младший лейтенант Черемыш.

— Вот тут у нас спор вышел,— сказал Чижов.— Макаревич рассказал нежизненный факт. Давай, Макароныч.

— Значит, так... — добрый Макароныч весь подобрался, чтобы рассказать посмешнее.— Дело происходит на английском корвете, сигнальщик докладывает...

— Уточните тип корвета,— сказал Черемыш.

— Типа «Фишер»,— заревел Макаревич,— какое это имеет значение?! Здесь юмор, анекдот, соображаешь? Я здесь гиперболу применяю, соображаешь?!

— Нет,— железным голосом сказал Черемыш,— не соображаю. Если «Фишер», то сигнальщик ничего не докладывает, на «Фишере» гидролокатор...

— Хорошо,— отступил Макаревич,— не сигнальщик, матрос докладывает... Сэр, докладывает, есть контакт справа на траверзе... Так может быть?

— Допустим,— великодушно согласился Черемыш.

— А сэр отвечает: косяк рыбы...

— Не может быть,— сказал Черемыш,— если локатор, то не может быть...

— Ну не локатор! — заорал Макаревич.

— Тогда не «Фишер».

— Ну не «Фишер»,— плюнул Макаревич,— ну этот, как его? «Веномес».

— Валяй,— сказал Черемыш,— но только сначала... Значит, на корвете типа «Веномес» есть пеленг... Справа на траверзе...

— Ну да,— поддержал Макаревич, эти шутки повторяли с ним неоднократно, но он не мог к ним привыкнуть.— А капитан, понимаешь, дундук, это, говорит, косяк рыбы... А сигнальщик, то есть матрос, опять: справа на траверзе... Контакт. А капитан, понимаешь, дундук, во! — Макаревич опять постучал по обвесу и кротко поглядел на Черемыша, завоеывая в нем соратника.— Опять: косяк рыбы...

— Не жизненно,— сказал Черемыш,— он один идет или в конвое?

— Ну один, ну в конвое! — опять взорвался Макаревич.

— Как «ну»?! — рассердился Черемыш.— Две большие разницы!

— Ну в конвое!

— Надо бомбить,— подвел черту Черемыш,— как считаете, товарищ командир?

Чижов только кивнул, говорить он не мог, чтобы не рассмеяться.

— Значит, так,— беспощадно сказал Черемыш,— сигнальщик докладывает о контакте, командир играет боевую тревогу и пробамбливает из ходжихога район... Конвой переходит на противолодочный зигзаг... Валяй, Макароныч, дальше, что там у тебя?! Торпеда? Плавают они, что ли? Пока все жизненно, валяй дальше.

Черемыш выкатил глаза и внимательно уставился на Макаревича, наклонив к плечу длинное умное лицо. Макаревич поморгал и огорчился. Первым, схватившись за обвес и поджав ногу, захохотал Андрейчук, он всегда первый не выдерживал, потом засмеялся Чижов и вежливо захихикал боцман.

— Востовой,— крикнул Черемыш вниз,— чаю командиру.

И тут же крикнул сигнальщик:

— Один твердо, право — сорок!

Не пронесло. Они подошли к точке randevу, и мысль, что, может, на сегодня и пронесет, была у всех. С рассвета они шли в зоне действия немецких аэродромов в Варганер-фиорде. Горловина Белого моря была плохим местом, надежда была на туман, который, как назло, всегда покидал их в самых опасных местах. И сейчас высокие мачты транспортов и сопла черных с приклепанными серпами и молотами труб торчали из этого тумана. Хуже и быть не могло, хотя бы они были не угольщики, эти транспорты. Суда охранения меняли места в ордере, захлопали синие с белыми ратьеры, конвой перекрикивался рупорами, стало шумно, как на улице. На транспортах у длинных, похожих на задранные оглобли, в прошлом сухопутных зениток маялись расчеты, квадратные от капковых спасательных жилетов, потом вдруг стало тихо, и в этой тишине Чижов сначала увидел ввалившийся в туман первый «лапоть», а потом и услышал голос сигнальщика, кричавшего про этот самый «лапоть».

— Следить по левому борту,— приказал Чижов в мегафон, дал предупреждающий ревун и прихлебнул кипяток, и еще раз, и еще, нарочно спокойно отмечая на себе взгляды носового расчета, и боцмана, и Макаревича.— Первый «лапоть» предполагаю отвлекающим,— он говорил в мегафон и видел, как Андрейчук кивает ему от носового орудия. И уже без мегафона добавил Макаревичу: — Не попрет он, не зная, что здесь, в тумане, жизнь тоже одна, никто не хочет...

Чижов вылил кипяток в урочку, аккумуля

ратно положил стакан в сетку, стакан был тонкого стекла с буквами МР и рыбкой — наследство от прошлых хозяев.

«Лапотъ» — так в просторечии назывался здесь поплавковый торпедоносец типа «Хейнкель-Арадо» — все ходил в тумане, проявляясь, как на фотобумаге. Наверху, на транспорте, ударили зенитки, чего не следовало делать, но как объяснишь людям на этой огромной неповоротливой мишени, что беды надо ждать с другой стороны. И Чижов выжал ручки телеграфа до отказа, чтобы отвалить от транспорта.

Вон они!

«Лапти» выходили на транспорт слева, с противоположного Чижову борта. Они шли вторым строем пеленга, иногда исчезая за мачтой или трубой, мощные, с поплавками, похожими на тараны, и торпеды у них под брюхом были зеленые с ярко-желтыми головками. На транспорте тоже увидели их, капитаны врубили сирены, транспорты закричали, призывая военные суда обратить внимание на их беду. Чижов видел, как к торпедоносцам полосами белого разряженного воздуха тянутся трассы с «охотника» и левых конвойных судов, затем он увидел, как два торпедоносца одновременно клюнули носами и бросили торпеды, следующий миг почти совпал: грязно-серый, почти черный столб воды из-за левого борта транспорта, светлое, с нависшими тяжелыми поплавками брюхо самолета, присевшие враскорячку у орудия краснофлотцы, орудий Андрейчук, трясущийся как в падучей старшина Бондарь у «бофорса» в мягком кожаном сиденье с лапами «бофорса» на плечах, и ключья, ключья самолетной обшивки и поплавок, отвалившихся прямо на глазах.

«Зверь» не мог спасти транспорт, он мог отомстить, это было не так уж мало, и теперь очередь крупнокалиберного двухствольного «бофорса» буравила «лапотъ» от длинной плексигласовой кабины до широкого с толстым стальным поплавком хвоста. Кричал, окутываясь шарами белого едко-го пара, транспорт, пузатый борт его поднимался, открывая ярко-красный травленный суриком бок, с которого низвергались потоки грязной воды. Клапан сирены был, очевидно, заклинен, и транспорт не мог замолкнуть. Подбитый «лапотъ» еще раз клюнул носом, тоже дал крен, почти неуловимо задел белый барашек на воде. Металлическое крыло из тонких стальных переплетений треснуло и легко, будто самолет стал немислимо, невообразимо хрупким, отвалилось, изуродованный «лапотъ» плюхнулся, подняв волну и смяная поплавки, а над ним кругом, огрызаясь веселыми вспышками, ходили еще два, не подпуская

к нему корабли. Оторванное крыло с мотором вопреки всем законам не тонуло еще несколько секунд, потом сразу же ушло под воду, а из изуродованного «лаптя» вывалился желтый пухлый спасательный плотик, и не на него, а на поплавок, а потом уже на него стали выбираться летчики, весь экипаж. Чижов представлял, что все они переломались от удара или хотя кого убило «бофорсом», но они вылезали все, их было даже больше, чем надо, и это было удивительно. Один из верхних «Арадо» резко снизился и вдоль борта «Уральского рабочего» пошел на посадку. Третий, не сбросивший торпеду, шел кругом, стреляя, не давая судам охранения выйти из ордера. Расчет у немецких летунов был вполне осуществимый.

Попробовал «охотник» отвернуть, и вот он тут как тут заходит на транспорт со своей желтой торпедой под брюхом.

Стрелять по севшему «Арадо» — угодишь в свой же транспорт, вон его борт за машиной, как ни вертись, а в прицеле совмещаются. На плотике гребут к «Арадо» руками, короткими дюралевыми веслами, шлемами, запросто успеют, подберет он их и улетит, позор на всю флотилию, мало на флотилию — больше бери.

Верхний «Арадо» опять ударил из пулеметов по палубе «Кооперации». Борт завален, палубы не видно, что натворил — неизвестно, но уж что-нибудь натворил.

— Ныряющими, — передал в мегафон Чижов.

«Зверь» бил по плотнику, по единственно возможной мишени, однако ничтожно малой для тяжелого морского орудия.

Учитывая маяту волны, навели через ствол, в дульной круглой дыре возникал плотик, люди на нем, потом серая вода, небо, опять вода, опять люди. Вытянувшийся на цыпочках у дульного среза Андрейчук пытался поймать сочетание колебаний носа «Зверя» и полузатопленного плотика, пушка опять ахнула, снаряд был тяжелый, ныряющий, для пугания подводных лодок, гильзу выплюнуло на палубу, из ее горловины вытек тяжелый дым, а на поверхности воды уже ничего не было. Хотя бы клочок желтой прорезиненной ткани! Серая студеная вода, белый торпедоносец, взлетающий с этой воды, да веселые вспышки выстрелов из-под его крыльев. Давай стреляй, чего уж теперь. Самолеты уходили, вырубались сирены на «Кооперации», и сразу стало слышно, как переговариваются через мегафоны суда, «охотник» зачаливал потерявшую ход «Кооперацию», там в трюмах гулко били кувалды, лица краснофлотцев на «охотнике» через туман казались белыми, оттуда, с «охотника», захлопал «ратьер».

Чижев осторожно подвел «Зверя» к кривому из-за потерянного крыла самолету, подстопорил машины, и «Зверь» тихо ткнулся в поплавок. С шуточками-прибауточками полезли на крыло аварийщики, последними через обвес перебрался Макаревич и Бондарь. У Бондаря в промасленном мешке звякали инструменты.

— Фенамин погляди, — крикнул Макаревичу с полубака Черемыш, страдая, что не лезет сам, — таблетки такие желтенькие, чтоб не спать... Дивная вещь... И вообще — ограничители открути...

Мало ли что найдешь в самолете, вот на что он намекал.

— Какие ограничители? — не понял Макаревич. — Бобышки такие?

— Бобышки, — простонал Черемыш, красноречиво глядя на Чижева. — У тебя жена в Челябинске?

— При чем тут жена? — рассердился Макаревич. — Вы на что намекаете, товарищ младший лейтенант? — Он стоял на поплавке в ботинках, вода доставала, и он по очереди поднимал ноги.

Черемыш засмеялся и сел под обвес.

— Товарищ командир, — из люка «лаптя» высунулся старшина Бондарь, — тут фриц удушенный, стропу выбросило и удувило, голова во! — Бондарь показал, как вывернута шея у летчика.

— Труп врага хорошо пахнет, — захохотал Черемыш, — северная мудрость, проверь, Макароныч...

Макаревич сплюнул и, не оглядываясь, полез в самолет.

Продолжать радиомолчание не имело смысла, радист выстукивал морзянкой, «гостей» можно было ждать второй раз, и на помощь конвою вызывали эсминец, на корме матросы ловко и спорно зачаливали самолет, там внутри громко переговаривались аварийщики, били молотками, снимали оружие. Постепенно распогодилось, туман уходил.

Прошел в высоту «Р-5», дал красную ракету, на «охотнике» опять захлопал «ратьер», бурун за его кормой вспух, трос натягивался, нос «Кооперации» покатило вправо.

Бондарь волоком тащил по крылу «лаптя» крупнокалиберный пулемет, неожиданно он по-разбойничьи свистнул, повернулся к «Зверю» спиной, нагнулся и задрал ватник — на могучих его, обтянутых клешами ягодицах висели два железных креста. На палубе заржали.

— Нет фенамина! — крикнул Макаревич из люка. — Удочки и черви консервированные, блевать охота... И духи, я художественный стих написал, — он поднял над головой флакон и перекинул длинные ноги через люк, — кто понюхает, тот ахнет,

Черемыш шикарно пахнет, — захохотал и чуть не упал обратно в люк.

Вестовой принес горячий чай, Чижев подставил лицо ветру, прикрыл глаза, потом резко, через мегафон, приказал отставить посторонние разговоры, занять места согласно штатному расписанию, это относилось к Черемышу, дал самый малый и испытал вдруг странное счастье от командирской ли своей умелости, оттого ли, что все было в его руках, от любви ли ко всем этим людям, которыми он командовал, такой вдруг внезапной и горячей, «телячьей», как он тут же себя выругал, что ему захотелось плакать. Он чуть отжал ручку, прибавляя постепенно ход, и обругал боцмана за грязь на палубе.

В этот день в обед Тасю подвесили или, как здесь говорили, «сделали Чкалова». Тася болталась в люльке под кормой мазутовоза «Бердянск», затопленного на Двине год назад и этой весной поднятого. Прямо под названием возле буквы «Р», а вся бригада отправилась есть на полубак. Там они жарили на противне пикшу, и запаха был, надо сказать, дивный.

Кроме Таси и Дуси Слонимской, все в бригаде местные, поморки с Саламбалы, бабы добрые. Бригадирша Агния к начальству жаловаться не бегаёт, тем более законы сейчас строгие, время военное, но оставить вместо обеда позагорать, повисеть в наказание в люльке — это практикует. Забудет поднять и, хоть плачь, хоть вскачь, — не слышит. Сама Агния — баба жилистая, всегда ярко красит рот, на ветру работает без бушлата и любит петь про любовь.

Тася медленно вертится в люльке туда-сюда. И Двина и солнышко тоже вертятся. Внизу голубая прозрачная вода, слева пристань с буксирами, дальше желтые, чисто вымытые пирсы ВМФ, у пирса английский корвет, там голый матрос в желтых по колено штанишках ловит рыбу на спиннинг. У корвета короткие пушечки, с детским довоенным названием — мушкеты.

— «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор...» — назло всей бригаде поет Тася и грызет горбушку. Она отталкивается ботинком от гулкой, даже на солнце ледяной кормы «Бердянска» и бросает в воду кусочки окалины. Если кусочек побольше, то глупыш обязательно спикирует.

— «Чкалова сделали»? — хохочет пацан, возчик сварочного участка Молибога. Он развозит на телеге длинные железные уголки. Молибогой его прозвали за сходство с популярным артистом Алейниковым,

рот у него, как у Алейникова, кошельком. Тася нравится Молибоге, он старается чаще ездить мимо «Бердянска», краснеет, когда ее видит, и грубит.

— Не-а,— кричит Тася,— это у меня вахта, гляжу зорким орлиным глазом, у кого прыщ на носу выскочил!

— Знаем,— оскорбляется Молибога и грозит Тасе кулаком,— слышали, керосин вывернула, сова безглазая, растяпа, пособник врага, ножищи-то — во! Мы еще вернемся, Суоми! — Железные уголки процарапывают на досках пирса белые бороздки, вызывают что-то, как мотив.

Из-за красной башни обшежития на завороте Двины, из-за штабелей бревен до небес вываливаются два шаровых сторожевика, один волочет что-то на буксире, вроде положенный на бок кран. Внизу под Тасей вышагивает в баню взвод салаг в брезентовых робах.

— А-раз! А-раз! — выкрикивает старшина и улыбается Тасе из-под лакового козырька. Брюки у него не по форме, в них широкие клинья, и они прямо заворачиваются вокруг ноги. Красота!

Нестерпимо вкусно пахнет жареная пикша, с полубака к солнышку поднимается дымок. Сторожевик тянет никакой не кран — Тася вытягивает шею,— а белый самолет с обломанным крылом. Тася схватила плоский молоток, которым отбивают окалину, и забарабанила так, что в трюмах пустого «Бердянска» загудело и завыло, затем надела на голову ведро и замерла.

— Чего? — крикнула сверху Агния с набитым ртом.

Тася не пошевелилась.

— Чего? — Агния встревожилась.

Тася сидела неподвижно, звуки через ведро проникали плохо, наверху на Агнию заругалась Дуся, но слов было не разобрать. Люлька дернулась, Тасю поднимали.

— Если оставили пикши, я вас, комсомольское, обрадую.— Тася цирковым жестом сняла с головы ведро и улыбнулась, она была необидчива.— А нет — умрете дурами... — И, перескочив через обвес, стала ловко бить чечетку заляпанными шпаклевкой ботинками.

Бум! — выпалили на корвете, салютуя сторожевику. Тамошний боцман притащил аккордеон и, как был голый, с дудкой на волосатой груди, заиграл английский марш.

Здесь, в уости реки, самолет с повисшими, слабо шевелящимися от зыби винтами казался неправдоподобно огромным, забавный на первый взгляд самолетище, не спутаешь, его хорошо знали в этом пожженном бомбежками городе. Правда, никому

не приходилось видеть его вот так сверху, всегда наоборот.

— Вот уж действительно стервятник,— сказала Агния,— волчище... — и быстро растерла мизинцем помаду на нижней губе.

На палубе сторожевика было много народу, были и знакомые краснофлотцы. «Зверь» часто швартовался у шестого причала пирса ВМФ, недалеко за высоким забором с колючей проволокой. На мостике Чижов разговаривал с длинным лейтенантом в приталенном кителе, на кителе — Красная Звезда. Чижов показался Тасе сильно похудевшим, волосы у него торчали хохолком, краснофлотец принес ему чай и уважительно наливал в стакан с подстаканником.

— Товарищ Чижов,— закричала Тася что есть мочи,— поздравляем с боевым подвигом, горячо, горячо поздравляем!

— Эй, морячилы,— кричала рядом Агния, сложив ладошки рупором, ногти у нее были тоже ярко-красные, как губы,— как там ваше ничего?! — И смеялась, красиво взявшись за обвес.— Товарищ Бондарь, приходите к нам морощку кушать. Наша морощка, ваш сахарок... — и опять смеялась, как стонала,— ах-ах-ах...

Чижов не понял, кто кричит ему, завертел головой, потом сразу увидел Тасю, смутился и облился чаем. Длинный лейтенант засмеялся, протянул ему клетчатый большой платок.

Бум! — опять выпалили англичане. Водают, ни построения, ни захождения, ни команды. Обрадовались сбиту «лаптю» и лепят из своего мушкета. Артиллеристы тоже нагишом — в желтых детских штанишках.

— Самы бы сбивали,— кричит им Дуся и показывает большим пальцем в небо,— сами, сами!..

— Товарищ Бондарь! Держитесь неподвижно, я вас сфотографирую,— ликовала Агния.— Нет, я, я вас сфотографирую...

Чижов из-за длинного лейтенанта опять поглядел на «Бердянск» и отыскал глазами Тасю.

А у Таси ослабли ноги, «ножищи», как называла их Агния, и вдруг она сообразила, что в очках, быстро сняла их и замахала рукой, а потом ушла в каптерку, села на рундучок и закурила, бессмысленно уставившись в полутьму, туда, где стояли кисти и висело барахло.

— Боженька,— сказала она,— если ты есть, иже еси на небеси,— больше слов она не знала,— сделай так, чтобы старший лейтенант в меня влюбился.

За иллюминатором что-то стукнуло, и в него всунулось лицо Агнии.

— Рыбу иди кушать! — закричала Агния,

она всегда кричала, никогда не разговаривала.— Видела, как Бондарь на меня глядел? Морошку, говорит, приду кушать... шпана какая! — счастливо заулыбалась и исчезла.

Багет у зеркала был богатый, крашенный золотом, в нем переплетались знамена, орудия и якоря. Само огромное зеркало отражало часть стены с большой карикатурой на Гитлера. Гитлер сидел на развалившемся пополам эсминце типа «Либерехт Маас», и подпись гласила: «От нашей мины у Гитлера плохая миная». И еще зеркало отражало их четверку — весь офицерский состав «Зверя»: Чижова, Макаревича, Черемыша и Андрейчука. На концерт они опоздали, и лестница и фойе были пустые.

— Пришло в голову, — одобрительно сказал Макаревич про карикатуру, — миная и миная, а суть разная... Синонимы применили.

Все четверо были орденосцы: Черемыш, выставивший вперед ногу в довоенном лакированном полуботинке; Андрейчук с длинным мундштуком, в который он вставлял папиросы; Макаревич, который именно сейчас выяснил, что не добрил губу, и всполошился, сегодня он выступал в концерте самодеятельности флотилии. И в центре — сам Чижев, командир. Себя Чижев представлял как-то по-иному... Зеркало огорчило его, он сунул руки в карманы брюк, покачался на каблуках и предложил Макаревичу не хлопотать и не огорчаться, как баба, а пойти в парикмахерскую добриться. В голубой гостиной, у стены, среди прочих бюстов стоял бюст Чижова. Гипсовый Чижев хмурил брови и высккивал над затемненным окном вражеский торпедоносец.

— Э-те-те, хорош, — сказал Черемыш.

— Очень удачно схвачено, — сказал Макаревич, — поздравляю, командир, — и пожал Чижову руку.

Парикмахерская была закрыта, уборщица пересчитывала салфетки.

— Здесь наш бюст стоит, — сказал ей Черемыш и подергал дверь, — а оригинал не соответствует, дай бритву, мамочка.

— Принципиально не дам, товарищи офицеры, потому что не возвращаете, — сказала «мамочка», выключила титан и ушла.

Подшел старший лейтенант Гладких, командир сторожевика «Память Руслана», в записной книжке у него была бритва. Над «Памятью Руслана» шефствовали палехские мастера и регулярно присылали на судно яркие записные книжечки с наглядной агитацией на деревянных переплетниках.

— Предлагаю меняться, товарищ старший лейтенант, — сказал Черемыш по дороге в курилку. — Вот на мой ножичек...

— У него же щербина...

— А у вас в книжечке уже понаписано...

В курилке Макаревича взялся добривать Черемыш, хотя Макаревич и настаивал, чтобы добривал его сам Чижев.

— Я тебе, командир, доверяю, — уговаривал Макаревич, — а то этот трепач порежет.

Чижев и Гладких сели на банкетку в чехле отдельно — все-таки командиры кораблей, уютно закурили и стали слушать веселую трепотню вокруг Макаревича.

— У меня предчувствие, — трепался Черемыш, — что ты сегодня спутаешься, — Черемыш знал, что Макаревич боится этого, и бил наверняка, — сон был такой... Артист должен внутренним взором видеть картину...

— Отстань, — встревожился Макаревич.

— Порежу, — предупредил Черемыш, — «цветы роняют лепестки на песок», — бил он под дых, — цветы на песке-то не растут, неувязочка...

— Это образ, — не шевеля верхней губой, замямил Макаревич, — разбитой жизни.

Уютно текла вода в раковине, все курили. Брить Макаревича собралось уже человек восемь, даже одеколон принесли. Самому старшему здесь, не считая Макаревича, — Гладких — было 25 лет.

В курилку вошел длинный лейтенант с английского корвета.

— Эй, лейтенант, — сказал ему Черемыш, — на тебе авансом ножичек. Как там насчет второго фронта? — и посмотрел на Гладких.

Тот принял вызов, вырвал два листочка и подарил лейтенанту книжечку. Макаревич одернул перед зеркалом тужурку и пошел за кулисы, а остальные направились в подвал смотреть, как Меркулов лепит катерника Селиванова, потопившего в прошлом месяце в Торосовой губе лодку. Но в мастерскую их не пустили.

— С нами вот союзник, иностранный товарищ, — канючил Черемыш.

Селиванов сидел в зимнем реглане с биноклем и ныл, что ему жарко.

Меркулов раскричался, что творческая работа требует уважения и он будет жаловаться самому командующему. Выпроваживая их, старшина сказал Чижову:

— Товарищ скульптор весь свой паек на кофе и мармелад для вас, товарищи офицеры, отоваривает, он для истории работает, он творческий талант, а вы все — береговой службы» да «береговой службы»... Ну эх... — и закрыл за ними дверь на засов.

Они пошли было назад, но дверь с черной лестницы в фойе перекрыли, и они оказались на улице. Билеты остались у Макаревича. Лейтенанта флота обратно пустили, а их нет.

Верзила лейтенант, который так ничего и

не понял, уходил вверх по лестнице, по красной ковровой дорожке, обернулся, улыбнулся, помахал им рукой.

— Каланча. Никакого понятия о дружбе,— сказал ему вслед Черемыш,— капиталистические джунгли, где человек человеку волк.

У чугунного фонаря стояли две девушки в одинаковых платьях, с лодочками в сеточках, очень беленькие и очень хорошенькие, и Черемыш бросился за пропусками.

— Здесь наш бюст стоит,— донесся его голос из комнатки администратора,— а лейтенант береговой службы не верит...

— Товарищ Чижов? — уважительно закивал администратор и стал выписывать пропуска.

— Вы скульптор? — спросила у Чижова девушка, когда они поднимались в зал.

— Он скульптор,— ликовал Черемыш.— И вот товарищ Гладких тоже скульптор, редкий специалист по разминанию глины. А я командир корабля, а ордена они у меня одолжили, а то им неудобно.

— Перебираешь, Жорж,— сказал Чижов сухо,— замри на деле, знаешь?!

— Дробь,— поскукчел Черемыш,— вас понял, командир.

Гладких отправился играть в шашки, а они пошли в зал.

Для Макаревича сделали специальное освещение, он вышел быстро и запел сразу очень громко и очень сердито. Ария была трудная, надо было не только петь, но и всей фигурой изобразить отчаяние, и это как раз у Макаревича получилось хорошо и трогательно. Им даже показалось, что когда он пел про лепестки на песке, то торжествующе на них посмотрел.

— Ты его больше, Жорж, не дразни,— успел прошептать Чижов,— не дразни, прошу я тебя, и пусть перед командой выступит...

В следующую секунду случилось несчастье, Черемыш ли накаркал, еще ли что, только в следующую секунду вместо «в маске» Макаревич спел «в каске». Так и спел «Всегда быть в каске — судьба моя» и застыл, с изумлением глядя на свои растопыренные пальцы, вроде не зная, что срывать: маску или каску.

Зал замер. Черемыш ахнул. Старенький дирижер отчаянно взмахнул руками, оркестр с места взял две последние строки, и Макаревич громко повторил концовку.

Ему особенно громко хлопали и из сочувствия даже кричали «бис!».

— Пропал мальчик,— убитым голосом сказал о себе Черемыш, будто читая чижовские мысли,— ну что я за трепло такое... а, командир?!

— Офицеров лидера «Баку» на выход! —

внезапно объявила трансляция и защелкала, перечисляя корабли и соединения.

За сценой стучали молотки, там ставили декорации к драматическому отрывку, который должен был быть исполнен силами подплава, но офицеров подплава уже перечисляли, и ведущая концерта краснофлотка так и стояла перед плюшевым занавесом с бумажкой в руке и тоже слушала трансляцию, наклонив голову к плечу.

— Офицеров патрульного судна «Зверь» на выход,— объявила трансляция.

— А вот и мы,— сказал девушке Андрейчук,— пишете, не забывайте.

— Офицеров патрульного судна «Память Руслана»...

Дежурный со «рцами» перегородил рукой дорогу «доджу» с ребятами из минно-торпедного и поманил на себя пикап Чижова. Это было удивительно.

Город был затемненный, сонный. Дела, видно, предстояли большие.

На флотилии, тем более на кораблях, старшие офицеры — не такое уж частое явление, коридор в морском штабе — длинный, в него выходят гофрированные печи и множество дверей, крашенных серой корабельной краской, если такая дверь открывается, то чтобы выпустить старшего офицера, а закрывается — значит,пустила.

И странно только, что большинство здоровается за руку и заводит разговор. Вот открылась дверь, вышел майор береговой службы из наградного отдела.

— Вы Чижов?

— Так точно.

— Со «Зверья»?

— Так точно. Командир патрульного судна «Зверь» старший лейтенант Чижов.

— Очень рад,— говорит майор береговой службы.

Когда майор из наградного отдела вам очень рад, это, как говорит Черемыш, «на дороге не валяется».

— Вы,— говорит майор,— к завтра готовьте наградные листы на всю команду без исключения за сбитый «Хейнкель-Арадо». Скупиться не надо — результат налицо. Тем более сейчас не сорок первый, сорок четвертый на дворе, сейчас награждать одно удовольствие.— И опять со всеми за ручку, и опять: — Очень рад.

Мощная улица перед Домом флота, только что пустая, заполнялась народом. Подъезжали «виллисы», грузовики, и газолиновый дым сливался с синим цветом лам-

почек на массивных с завитушками столбах. Посыльные краснофлотцы выкрикивали своих, а дежурные со «рцами» налаживали очередность отправок.

— Графини Бобринской карету... — сказал чей-то высокий насмешливый голос, и затарахтел мотоциклетный мотор.

С Двины тянуло сыростью, расстроенный Черемыш ждал Макаревича и на всякий случай кашлял, он всегда кашлял, когда перебирал с шуточками, легкие у него и вправду были так себе, но сейчас он кашлял с целью психологического давления на доброго Макаревича и говорил в таких случаях слабым голосом. Застенчиво улыбаясь, прошел к автобусу катерник Селиванов, а его старпом тащил тяжелый меховой реглан и каракулевую шапку. Их провожал Меркулов.

— Это потому, что японский Хирохито, — трепал Меркулов старпом-катерник, — требует какие-то бюсты, а наш командующий, понимаете, ни в какую... что другое — берите, но бюст капитан-лейтенанта Селиванова ни за что. И — бац! — война.

— Эти шутки дурно пахнут, — гневался Меркулов.

Черемыш в кузове хихикал, загремел ведром и тут же закашлялся: шел Макаревич.

— Вова, — услышал Чижов слабый голос Черемыша, — ну есть же такое понятие: язык мой — враг мой...

— Вне службы, товарищ младший лейтенант, вам направо, мне налево, — железным голосом ответил Макаревич.

— Это жестоко, — заныл Черемыш.

Зам по тылу задал вопрос, сколько ворвани и пробки может принять «Зверь» в кормовые трюма, и записал примерные цифры в маленькую книжечку с карандашиком на цепочке, а потом говорит:

— Вы же ужин пропустили, товарищи командиры, — и что-то полному младшему лейтенанту с приятным лицом. Приятный младший лейтенант тут же приятно улыбнулся и проводил в салон-столовую, где пошпателься с подавальщицей в белой наcolке и с маникюром.

Так что Чижов явственно услышал: «И еще две — мою порцию отдайте и подполковника». Тут же исчез, ввел Гладких, его старпома Разсайцева и усадил за соседний столик.

— Сон золотой, — сказал Гладких, когда подавальщица принесла наркомовские стограмм, но не просто, а в зеленого стекла штофе, и открытую пачку «Северной Пальмиры». А матрос с кухни — натуральную жареную картошку с колбасой и винегрет с маслинами. Маслины с обоих столиков отдали Черемышу, остальных от одного их вида мутило.

В столовой стулья в белых чехлах, на столиках длинные вазочки с цветочками.

Радио передавало песни из кинофильма «Моя любовь». Все они достаточно прослужили, чтобы понимать, что скорее всего предстоит что-то очень тяжелое. Но думать об этом не хотелось.

«Только лишь в подушку, девичью подружку, выплачу свою слезу».

Они не знали, самим следует наливать «наркомовские» из штофа или подождать, пока это сделает подавальщица. Решать это следовало командирам, и Чижов с Гладких стали перешептываться через проход. Но не успели договориться. На слове «любовь» открылась дверь, и высокий каперанг-сказал:

— Товарищи офицеры с «Памяти Руслана», товарищи офицеры со «Зверя», к командующему.

Они вскочили, но каперанг развел руками. — Что ж вы не докушали, товарищи, докушайте... — и ушел.

Дверь в коридор осталась приоткрытой, и они еще раз увидели каперанга, он провожал двоих из английской миссии, что-то объяснял им по-английски.

Чижов и Гладких разлили всем из штофа и захрустели фигурно нарезанными в винегрете солеными огурцами. Были здесь еще двое — известные на флотилии катерники, и было приятно хрустеть винегретом, и удивление катерников было приятно. Черемыш вылил в стопку Чижова оставшиеся капли из штофа и, ковырнув ногтем мизинца в зубе, сказал для катерников:

— Надоела свежая картошка, ей-богу, — и пустил струю ароматного дыма из длинной «Пальмиры» в латунную с якорями люстрочку.

— Очень приятно, — ласково сказал каперанг, когда они проходили тамбур между двумя обитыми дерматином дверями.

На столе у командующего стояли нетронутые стаканы с кофе и лежали сигары.

— Товарищи офицеры, — сказал командующий, взял со стола и повертел в руках сигару, — хорошо вюкете, хорошо бьете фашистов, товарищи офицеры.

Садитесь они не предложил, и они стали в дверях «смирно».

— Значит, так, — сказал командующий, — сегодня немцы употребили здесь, на севере, новое секретное оружие, самонаводящую торпеду, возможно, торпеда акустическая и бьет по винтам, возможно, у страха глаза велики, все возможно... Говорят, штаны через голову невозможно надеть. У судов типа «Зверь» и «Память Руслана» задиненная корма, так я помню, затем сразу

погребца, так, загрузите трюма и погребца ворванью или капковой крошкой, заварите броняшку так, что в случае действительного попадания останетесь на плаву... Короче, подведете в Дровяное дрейфботы, они тоже будут подготовлены... А с Дровяного пойдете с земснарядом и будете ходить, пока не подтвердится... В общем, стих поэта Константина Симонова «Сын артиллериста» слышали? Говорят, действительно был такой случай, так что будете вроде вызывать огонь на себя, то бишь торпеду.

Двери опять беззвучно открылись, пришли начштаба и замполит бригады Дидур. Радио все передавало песни из кинофильмов. Прошло минут пять, никак не больше.

— На головном с вами,— командующий кивнул Гладких,— пойдет замполит бригады, ну и радисты на дрейфботах и землечерпалке. Летающие лодки мы базируем на Дровяное,— командующий опять повертел сигару,— наградные листы на команду заготовьте,— это уже Чижову,— притом на всю без исключения. Прошу понять, товарищи офицеры, без такой вашей работы конвой мы проводить не можем, что ж, наше море — мы в ответе. Есть у кого что?

— Хочу заметить товарищам офицерам,— сказал Дидур,— мы не империалистическая Япония, у нас понятия смертников нет, и вернуться с победой шансов у нас с вами более чем достаточно.

Командующий кивнул.

— Пойдите там покушайте, назавтра команды на кинофильм сводите,— сказал он.— «Волга-Волга» отличный, я считаю, кинофильм, и жду, как говорится, с победой в родной порт.

И, позвонив в звонок, распорядился вошедшему каперангу подготовить в Доме флота кинофильм «Волга-Волга» на 8.30 утра.

— Подробности задания личному составу объясните в море,— добавил он, проводил их до дверей и на прощание каждому пожал руку.

Летняя северная ночь была светлой. Они еще посидели в открытом «додже» и покурили. Толстый нахальный краснофлотец, шофер штабного «доджа», со значением зевал, давая понять, что пора бы закругляться.

Чижовский дом спал, скамья под Тасиным окном была мокрой от росы, накануне рядом со скамейкой жгли костер, он даже дымился.

«Признайся мне в своей святой измене»,— насвистывал Черемыш.

Краснофлотец опять со стоном зевнул и почесал живот под форменкой, опустил вниз ноги в расклеванных не по форме брю-

ках. Чижова вдруг заслестнуло раздражение, такое, что стало трудно дышать.

— Вы, товарищ краснофлотец, передайте своему командиру, что вам сделано замечание по форме одежды. Уставную форму, я полагаю, необязательно нарушать,— он соскочил на траву и пошел к калитке. В ноги беззвучно бросился комок шерсти и репейников — пес Пиратка.

Черемыш все свистел, когда Чижов обернулся от калитки, Макаревич сидел на корточках и аккуратно распарывал шоферу неуставные клинья на брюках.

Хлоп-хлоп! — доносилось с реки, там полоסקали белье. В распоряжении Чижова было два часа тридцать минут.

Крутая лестница в тишине скрипела, кусок перил был заменен и укреплен откосиком.

— Интересно,— сказал сам себе Чижов и погладил перилу, что интересно, он и сам не знал. Ходить мишенью до Дровяного и обратно было уж точно неинтересно.

Он поднялся в коридорчик и сразу же услышал, как заскрипел сундук, потом рука испуганно отодвинула занавеску на полукруглом окне, и стало почти светло. Тася сидела на своем сундуке, закрывшись стеганым одеялом, он вспомнил: с этим одеялом он, школьником, ездил на лесославом, и внизу тетка Глафира вышила метку «Чижов Анастасий 21-я ШАД», что означало: школа антифашиста Димитрова. Под ним они спали вдвоем с Валеркой и называли его буркой.

— Богатое одеяло, гагачье,— сказал Чижов и развеселился.— Это мое... — он завернул край одеяла с красной вышитой надписью.

— Что вы? Что вы? — Тася рванулась на своем сундуке.— Мне хозяин дал! — Мелькнула голая полная рука, плечо с лялочкой, кровь бухнула в затылок Чижову, и захотелось пить. Ему всегда было мучительно с девушками, сейчас же он испытывал незнакомое чувство свободы и уверенности.

— Оно было моим в детстве, насколько себя помню,— он засмеялся и сел на ступеньку,— мы его с Валеркой буркой звали.— Зажигалка зажглась с первого раза, дым пошел кольцами, так у него никогда раньше не получалось.

— Вы курите? — спросил он. Тася поспешно затрясла головой, хотя и курила.

«Могла ведь вечером накрутиться»,— подумала она,— вот корова».

— Здесь метка есть,— сказал Чижов и завернул край одеяла,— 21-я ШАД — школа антифашиста Димитрова.— Ему хотелось

еще раз увидеть руку или плечо с голубенькой лямкой.

— Лучше расскажите про свой подвиг, — ужаснувшись собственной глупости, хрипло сказала Тася и потянула одеяло на себя.

— Меткая трасса с героического судна под командованием старшего лейтенанта Чижова прошла корпус стервятника, и седое Белое море поглотило его. — Чижов никогда так гладко и красиво не говорил. «Ну жму, — подумал он про себя, — не хуже Жоржа». — А еще один написал, я сам, ну ей-богу, читал: «При виде нашего большого «охотника» немецкая субмарина трусливо скрылась под водой», — он засмеялся, покрутил головой и опять пустил кольца.

— При виде вашего «охотника»? — Тася тоже засмеялась.

— Да нет, вообще... Это я в смысле, что глупость написана, от незнания... На «охотнике», значит, лопухи, зевнули лодку... А у нее уж такое дело — трусливо, не трусливо, а скрываться...

— Да-а, — сказала Тася.

Дом спал, за стенкой храпели.

— Пойдемте, — вдруг сказал Чижов, сам чувствуя, что голос у него сипнет.

— Куда?

— Ну пойдемте... — он не мог придумать, куда можно сейчас позвать девушку, — прогуляем.

— Пойдемте, — закивала Тася, глаза у нее стали такие, будто он звал ее прыгать с парашютом, — только я оденусь.

Почти беззвучно, на одних носках, он слетел первый пролет, съехал второй по тонким перилам, и, как в детстве, перила катапультировали его с высокого крыльца в мягкую пыль, и, как в детстве, он устоял на ногах.

Хлоп, хлоп! — опять донеслось с реки.

Бу-бум, бу-бум! — билось сердце. Чижов расстегнул крючки кителя и сел на скамеечку. На светло-желтое небо напознали тучи, и дом, составленный из бревенчатых кубов с круглыми окнами, встающий над густыми кустами, был похож на загруженный лихтер. Тася все не выходила. По краю железной крыши шел котигце с обрубленным, как часто бывает на севере, хвостом. Котигце тащил зеленую сетку-авоську с промасленным газетным пакетиком — паёк с чьей-то форточки. Чижов запустил в него комком земли.

На крыльце появилась Тася с сумочкой и лодочками в руках — чтобы не шуметь. Платье на ней было светлое, нарядное, с высокими плечиками, сережки голубенькие, на руке часики, а волосы тоже светлые, почти белые. И в черном проеме двери она напоминала картину в раме, и все в этой картине — от самой Таси до серебри-

стого корыта на стене, по которому проходили тени от облаков, до желтой струганой доски и бузины на углу — было удивительно красиво. Опять беззвучными тенями пронеслись две утки. Что уж случилось, Чижов сказать не мог, но легкость, на которую он рассчитывал, ушла.

— Ну пойдемте, — сказала Тася и надела лодочки, даже ложка у нее была с собой, ложку она положила в сумочку.

Он взял ее под руку, и у скамейки они постояли, не зная, кому первому садиться, он не хотел отпускать Тасину руку. Накануне Тася придавила палец на левой руке, ноготь был черный, и Тася прятала его в рукаве. У ног Чижова терся Пират, оставляя на брючине клочья бурой шерсти. Наконец они сели, он все держал ее под руку и кистью чувствовал упругую горячую грудь. Из баночки, сильно кашляя, прошел эвакуированный старичок со свечкой.

— Какие на севере цветы восхитительные, — сказала Тася, — похожие на южные, но без аромата, я в художественной школе училась, и мы все обязательно рисовали сирень, а у меня по сирени была пятерка... Вы любите цветы?

— Люблю, — кивнул Чижов.

— Какие? — спросила Тася.

— Львиный зев, — сказал Чижов. Мыслей особенных не было, в голове был звон. Из-под воротника он видел Тасину шею и чуть продвинул руку вверх и вперед.

— Зачем вы, — сказала Тася, уставившись на запыленные лодочки, — ведь вы меня не любите...

— Люблю, — сказал Чижов и еще продвинул руку.

— Да? — сказала Тася и часто задышала. — Дайте комсомольское...

— Я член партии, — сказал Чижов, и они еще посидели неподвижно.

Тасю сильно колотило, она повернулась к нему, глаза потемнели и показались Чижову огромными.

— Если вы меня любите, и я вас люблю, — ее все колотило.

«Сумасшедшая», — похолодел Чижов, но эта мысль была последняя, через секунду они целовались, вернее, Тася целовала его.

— Милый мой, единственный, — шептала она, целуя лицо, шею и даже уши.

Ничего подобного Чижов предположить не мог и опять растерялся.

— Я как только тебя увидела, поняла, что ты моя судьба, я даже молилась вчера, ты хочешь меня обнять?..

«Кошмар», — опять пронеслось в голове у Чижова, фуражка слетела в пыль, и Пират нюхал ее.

— Пойдем погуляем,— сказал Чижов, оглядываясь и соображая.

— Пойдем,— Тася сразу встала, готовая ко всему.

Чижов обнял ее за ноги выше колен, притянул к себе, она левой рукой уперлась ему в плечо, а правой гладила его короткие волосы.

«Пора будить отца прощаться»,— подумал Чижов.

Дверь баньки опять стукнула, они встали и пошли. Пиратка бежал за ними, обгоняя и подкладывая на тропинке палку, чтобы Чижов бросил. И обижался и лаял, что тот не бросает.

— Пшел,— сказал Чижов, Пиратка мог перебудить всех. Привыкшие рано вставать люди и в воскресное утро спят чутко.

— Пшел, Пиратка,— сказала Тася и посмотрела сверху вниз на Чижова, сняла лодочки и пошла босиком.

Когда они дошли до поросшего крупными северными ромашками погребца, Чижов поднял ком земли и швырнул в Пиратку. Они постояли, странно было сразу карабкаться, Тася дышала тяжело, будто после бега, и старалась сдерживать это дыхание. Чижов, не оборачиваясь, пошел наверх и только наверху, у старой деревянной трубы погребца, обернулся. Трава была высоченная, почти до колен, облака — длинные, светлые, как ножи. Тася тоже полезла вверх, ей хотелось подниматься ловко, казаться гибкой, и это у нее получалось. Чижов снял китель, они сели на этот китель, и высокая трава, и огромный куст бузины сразу же отгородили их от домов, Кузнечихи и всего остального мира.

Хлоп, хлоп! — доносилось с реки.

— Англичане считают,— сказал Чижов и взял Тасю за руку,— англичане считают...— он провел пальцем по Тасиной шее, Тася схватила его за палец, и так они посидели, слушая, как бухает кровь у каждого в голове.

— Что считают? — спросила Тася.

— Что когда женщины полощут белье, нельзя выходить в море... Даже к командующему, говорят, ходили. Мракобесие такое развели,— Чижов засмеялся, высвободив палец, и обнял Тасю.

— А командующий? — спросила Тася, на Чижове была белая нательная рубашка, растегнутая на груди.

Чижов пытался растегнуть платье там, где пуговицы были накладные, фальшивые, сбоку были крючки, но как подсказешь, никак не подсказешь. И чтобы не подсказывать, Тася медленно, сама дурея, стала целовать Чижову ключицу.

— Что ж командующий? — бормотал Чи-

жов.— Ничего командующий,— он вдруг натолкнулся на крючки,— у нас, говорят, здесь триста лет стирают...— И это было последнее, что он сказал, крючки поддались дружно, разом, и, задохнувшись, они оба опустились в высокую густую траву. Шея, лицо и грудь Таси были белые, Чижов увидел, как она закусила губу, и почувствовал вдруг такую нежность, что в груди заныло и заломило плечи.

— Не бойся,— сказала Тася,— я тебя люблю. Ну что же ты?

— Не знаю,— Чижов сел и растерянно поглядел на часы.— Ты отцу моему не говори, что я заезжал...

— Ну да,— сказала Тася и засмеялась, чувствуя полную власть над ним. Она и не предполагала, что так можно чувствовать.— Приезжали, скажу, но предпочли... смотри, какая я сильная,— она надавила босой ногой на деревянную трубу погребца, но труба не поддавалась.

Чижов размахнулся и ударил по трубе каблуком, доска треснула, посыпалась труха.

— Ты сильнее,— сказала Тася,— но так и должно быть...

Голова у Чижова опять кружилась и тяжелела.

— Конечно, сильнее, конечно, должно быть,— пробормотал он.

Неожиданно Тася взвизгнула и дернула ногой, так что он отлетел.

— Ты что? — не понял он и тут же почувствовал гудение и резкую боль в шее. Из деревянной трубы, как бомбардировщики, эскадра за эскадрой вываливались осы.

— Ой-ой! — кричала Тася.— Туфля, где моя туфля?!

Чижов схватил китель и, отбиваясь им от ос, искал туфлю. Но стоило ему взмахнуть кителем, как из кармана веером вылетели и рассыпались в густой траве документы.

Теперь Тася стояла над ним и бешено вращала китель, покуда он на четвереньках выгребал из лопухов и ромашек удостоверение, аттестат и деньги, потом они скатились с погребца и побежали.

Только на углу Почтовой у Валеркиного дома они остановились и послушали: осы улетели, с холма открывалась река, небо над ней розовело.

— Теперь буду верить в приметы,— сказала Тася и попробовала вытащить жало, ладонь у Чижова уже опухла, пальцы были длинные, тонкие, сильные, на каждом по буквке: «Ч-И-Ж-О-В» и якорек у большого пальца.— Что там говорят англичане?..

— При чем тут приметы? — предполагая в Тасиных словах намек, Чижов напрягся.

— Ты самый лучший,— быстро сказала Тася,— я про ос...— и зубами вытасила жало.

— Теперь я,— сказал Чижов, и в эту секунду они оба одновременно услышали машину, идущую от города, где-то уже на Коминтерна.— Ты отцу скажи, что разбудить жалел,— он помолчал,— лучше вовсе не говори...

— Я фотокарточку принесу,— быстро сказала Тася,— чтоб при тебе была, тебя в школе Чижик звали?

— Нет.

— Пыжик?

— Нет,— засмеялся Чижов,— Тося от Анастасия.

— Тося и Тася,— сказала Тася,— я тебе так и подпишу: Тосе от Таси...

Они быстро шли задними дворами к дому.

За калиткой уже стоял «додж» и приплясывал невесть откуда взявшийся Киргиз в трусах, майке и сапогах, наголо побритая голова была большой.

— Пишите письма,— сказал Киргиз и провел ладошкой по бритой голове,— отправляемся, между прочим, в морскую пехоту,— и попрощался с Чижовым за руку.

Макаревич перебрался назад, уступая место Чижову, тот сел, в «додже» похрипывал приемник. Таси не было, и Чижов вдруг почувствовал, что это хорошо, что ее нет, и сухо приказал водителю трогать.

— Я Жоржу говорю: жена прислала письмо,— сказал Макаревич,— от ихнего климата у нее волосы лысеют и что она страдает... Я пошел к начмеду, но у него таких таблеток нет,— он пожал плечами,— а лысая женщина, я даже не представляю...

— Ну редкие, ну густые,— сказал Черемыш не скоро, когда въехали на Виноградова,— смехота переживать... Папаша здоров?

— Спит папаша,— ответил Чижов и подул на руку.

— Ну и ладно,— Черемыш сперва не понял ответа, поверил так, потом вдруг удивился, покрутил головой и засмеялся.

— Ты чего?

— Если потонем, папаша тебе этого факта не простит, пришел, скажет, и не разбудил, как гад...

Для секретности «Зверь» был ошвартован у пирса подплава, и в начале пирса

стоял дополнительный часовой. Пахло печным дымом от газогенераторов, ворванью, бочки с ворванью уже завезли, и вокруг них гудели мухи.

«Витязь», портовый буксир с медной трубой, отработавший задним ходом и сильно, как на картинке, дымил, он приволок спасательный вельбот с «амика», в цинковые банки на таких вельботах запрессовывались не только НЗ и медикаменты, но и глупости вроде валериановых капель, всех это почему-то сердило, и вельботы звали «ресторанами». На пирсе, раздраженно попрыгивая длинной папиросой, широко расставив ноги, стоял Пеночка, лейтенант Пунченок — помпотех бригады.

— Ну где я вам возьму лист,— сразу напустился он на Черемыша,— завáрите брoн-няшку, а лист зачем?!

— Сми-ирна! — крикнул Андрейчук.

«Смирно» следовало командовать в тот момент, когда ботинок командира ступал на палубу. Андрейчук запоздал, Чижов недовольно покачал головой и отдал честь кормовому флагу.

«Витязь» подработал винтом, чтобы не царапнуть иностранный вельбот.

— У них в НЗ,— почему-то шепотом сказал Чижову начхоз,— есть валериановые капли и трубочный табак,— и хихикнул,— комедия при нашей работе, а? Ресторан, а?

— Что ты цирк устраиваешь,— заорал Пунченок Черемышу,— ну где я тебе возьму лист, ну хочешь, мной заваривай, ну эх! Что мне, листа жалко?.. Я тоже боевой офицер...

Чижов спустился вниз, в каюту, и сел на диван. Гудела вентиляция, пахло нагретым маслом, сырой ветер задувал в открытые иллюминатор, шевелил бахрому плюшевой портьеры, и четкий солнечный круг отпечатывался на клепаной двери. Чижов откинул голову и сразу же представил белую Тасину шею, которую он целует, затем сунул голову под кран, вода была ледяная, заломило затылок, но он терпел, вытерся жестким полотенцем и взял лоцию Белого моря, подаренную друзьями к дню рождения. Титульный лист был разлинован красным карандашом. Синей тушью друзья написали здесь жизненные рекомендации: «Будь краток, точен, тверд. Андрей», «Береги обнову снову, а честь смолоду. Никита», «Жизнь дается один раз... Вадим». Последнюю написал Валерик и размазал: «Давай пожмем другу другу руки и в дальний путь на долгие года».

Надо было работать, а он все видел, как Тася снимает туфли с крепких белых ног.

— Начхоз, а, начхоз,— слышал он стонущий голос Макаревича,— вы рыбу приказали загрузить, а, начхоз?..

— Вестовой, чаю,— крикнул он в коридор,— покрепче!

«Валенки, валенки, не подшиты, стареньки»,— пела трансляция.

Чижев сел на лоцию и уже не отвлекался.

В восемь подали автобусы прямо на пирс — команды поехали в Дом флота. Утро было жаркое, на Двине купались. В Доме флота было пусто и гулко, в затемненном фойе Чижев поглядывал на свой белеющий бюст. Команды сели тесно, и в большом зале Чижову его команда показалась совсем малочисленной.

Замполит бригады Дидур — местный, как и Чижев, помор — небольшой, голубоглазый, в прошлом из политотдела Рыбфлота, пришел с женой, тоже маленькой, крепенькой, в зеленой кофте с оленями. И смеяться она стала сразу же, еще до того, как началось смешно. Из всех не смеялся один начхоз.

— Товарищ замполит,— обратился он к Дидуру, серьезно глядя на экран и сделав брови домиком,— я прошу, чтобы песню про валенки по трансляции никогда не исполняли, ее исполняют в том смысле, что я задерживаю обмен обуви... А я обмен обуви никогда не задерживаю.

В половине десятого того же погожего воскресного дня Тася шла тем же путем, которым несколько часов назад проехал на «додже» Чижев, в сумочке лежал вызов на телефонный разговор с теткой из Рыбинска. Тетка была единственная оставшаяся Тасина родня, не пробросается, хоть и жаль воскресного утра, а иди. Никогда она не чувствовала себя такой ладной и красивой, как сейчас, и поглядела в спину старичка с судками, чтоб тот обернулся, так она проверила силу своего взгляда, старичок обернуться не обернулся, но совсем неожиданно споткнулся, в судках плеснуло, старичок испугался. Тася же смутилась и перешла на другую сторону. Был выходной, окна двухэтажных домов были открыты, и в одном играл патефон. Там сидел матросик с козьей ножкой и глядел на улицу, а в комнате танцевали.

С крыльца Валерик с тревогой следил, как Молибога гонял по тротуару на его коляске, коляска день ото дня становилась шикарнее, ручки на передачу теперь были наборные, полосатенькие.

— Ну,— одобрительно сказал Молибога,

подъехав. Только что помытые доски крыльца еще парили и пахли чистотой.

— Два, понимаешь, ХВЗ,— сказал Валерик Тасе,— а направляющее чкаловское,— такая уж у него манера говорить, будто всю неделю они только и обсуждали его коляску.— Ох-хо-хо,— захохот он, разглядывая Тасю,— золотые, без пяти серебряные,— это про часы.

— Я на переговорный,— строго сказала Тася,— тетка двоюродная вызывает к десяти ноль-ноль, вся моя родня — не пробросается,— и показала зелененький вызов с печатью.

— Лопай,— сказал Молибога и протянул Тасе пакетик халвы.

Валерка же поехал ее проводить, он любил провожать и беседовать дорогой.

Пропылил грузовик с реэвакуированными, худенькие дети с узлов махали руками.

— В Ленинграде кошка стоит четыре тыщи,— объявил Валерка.

С Валеркой можно было говорить о Чижове, и от предчувствия разговора у Таси сладко сдавило грудь.

— Ты в школе с кем сидел? — приступила Тася.

— Со Слоном...— Валерка вспотел, кроме того, он прислушивался к одному ему слышному скрипу в коляске.— Не сидел я с Тоськой,— вдруг заявил он,— и не подбирайся...

Тася угостила его молибогиной халвой.

— Я не люблю,— наврала она про халву.

Валерка не спорил и халву съел.

— Вообще-то ты ему не пара,— важно сказал он, но Тася только засмеялась в ответ. Он порылся в кармане, дал Тасе сухарик и опять послушал коляску.— Трет,— озабоченно сказал он.

На деревянном тротуаре поспевать за коляской было трудно, Тася попросила его ехать потише и тут же увидела мгновенное счастье у него на лице и уже нарочно для него заругалась:

— Разогнался тоже, я ж на каблуках... У него девушка была?

— У кого?

Тася сбилась, не зная, как назвать, не по званию же, ей-богу...

— У Анастасия Ивановича.

— А как же, Фаинка. Она замуж вышла, за летуна...

— А он переживал?..

— Летун?

— Ладно,— рассердилась Тася и замолчала.

— Дико,— ликовал Валерка, но дразнить Тасю, идущую сзади, и одновременно ехать было сложно, он обернулся и застрял колесом в щели забора.

— Понастроили, кулачье...— ругался он, пытаясь выбраться.

Почтампт был рукой подать. Тася опазды-

вала, но ждала, когда Валерик сдастся, грызла сухарь.

— Ладно,— сказал Валерка,— ты лучше...

Тася вытащила коляску.

— Но любил он ее страстно,— чесанул от нее Валерка, он хотел так, что чуть не свалился с тротуара.

— Фаина, помнишь дни золотые,— пел Валерка с той стороны улицы.

— Не знаете — не говорите,— сказала бледенькая телефонистка с выщипанными бровями и тонкими сердитыми губами,— какой такой Рыбинск, когда это ленинградское направление, ноль-третье, а не ноль-седьмое.

У Таси подкосились ноги, сумочка не закрывалась, она зажала ее пальцами. Почтамт был гулкий, холодный, там, где «До востребования», клубился народ, здесь же открыли недавно, пускали по уведомлениям, и народу было всего ничего. Какой-то худой майор береговой службы с замотанной в одеяло пишмашинкой и с Трудовым Красным Знаменем, нынче редким, начфин из управления порта да девочка, похожая на телефонистку, делала уроки за скошенным столом.

— Идите же к аппарату,— крикнула телефонистка,— да идите же!..

И Тася пошла к лакированного дерева довоенной будочке. Каблуки стучали по каменному полу, и Тася боялась громких своих шагов.

«На время разговора удостоверение личности остается у администрации» — было написано на будочке. Тася два раза прочла, но не поняла и стала глядеть на телефон, ожидая, что он зазвонит.

— Ну возьмите же трубку! — закричала телефонистка, и все, даже девочка, посмотрели на Тасю.

Она сняла трубку и услышала какой-то гул, что-то завывало в трубке: воу-воу, и вдруг через это «воу» Тася услышала мамин голос.

— Я же слушаю, слушаю! — кричал где-то мамин голос.— Я же слушаю, ну господи, ну я же слушаю...

— Это кто?! — закричала Тася.— Это кто?!

— Тася,— кричала трубка,— Тася, ответь, Тася!..

— Мама,— кричала Тася,— мама, мамочка!..

— Тася,— кричала трубка,— ты где, Тася?!

— Я на почте,— в отчаянии кричала Тася,— я на почте!..

— Тася,— закричал вдруг мужской го-

лос,— Тася, девочка моя! Говори, говори, нас могут разъединить!

— Папа! — кричала, ничего не соображая, Тася, топая ногами.— Папа!..

— Ну скажи: экий же ты дурак,— папин голос вдруг прорвался, как через пробку, и стал совсем близко, и так же близко детский голос сказал:

— Таська, хи-хи...

— Тася, Тася, какое счастье, какое счастье, я не верила, я не верила! — опять закричал мамин голос.— Как же ты живешь, что ты ешь?.. Ты работаешь?

— Работаю, работаю маляром... в порту...

Мамин голос зарыдал.

— Прекрати! — резко сказал папин голос.— Это бессовестно — сейчас рыдать. Девочка моя, мы все гордимся тобой! Да прекрати же,— сказал он маме...— Сейчас-то, сейчас-то что...

В трубке щелкнуло, разговор закончился. Потом опять щелкнуло, и папин голос откуда-то ужасно издалека сказал:

— Не слышу, ушла уже...

— Я здесь, папа!..— крикнула Тася.

— Ваш вызов: «До востребования» главпочты, Виноградова, семнадцать,— сказал ей сухой незнакомый голос, трубка опять выключилась.

В будку всунулся майор и очень твердо попросил Тасю освободить будку и пригладеть за его машинкой.

— Здесь стекло,— сказала Тася.

— Я сам вижу, что стекло,— строго сказал майор и открыл блокнот.

— «Удар был дерзок и смел,— по складам читал из блокнота майор,— главный калибр бил веселым желтым пламенем, мы ждали праздника на нашей улице и верили в него, и вот он пришел, сказал мне командир главной башни гвардии лейтенант Рыбник».

Тася засмеялась и открыла майору дверь.

— Гвардии лейтенант Рыбник не бывает,— сказала она,— и немецкая субмарина не может трусливо скрыться под водой... И смотрите сами за своей машинкой. А я уезжаю в Ленинград, вы что, не слышали? И буду жить дома, на Зверинской улице.— Неожиданно для самой себя она заплакала и быстро пошла к дверям.

Продолжая плакать, она прошла через почту с галдящей очередью у окошечка «До востребования», мимо высокой старухи, торгующей ящичками и кусочками мешковины для посылок, и старуха почему-то покивала ей головой.

На вертящейся двери катался мальчишка. Тася замешкалась и увидела на той стороне Валерика, тот болтал с шофером полуторки. Тася незаметно свернула в проходной двор. Здесь она выменяла карточки

за две декады на красный шерстяной шарфик, губную помаду и цветную мозаику «Гибель крейсера Хиппер».

— Все,— бормотала она,— все.

Плача и бормоча «все», выпила стакан коммерческой газировки за шесть рублей и вышла на широкую деревянную улицу с выгоревшим углом. Пошел дождь и стал набирать сильнее.

Прощайте, северные елки,
лечу домой на верхней полке.
Прощай и ягода морошка,
лечу домой, гляжу в окошко,—

поют в скверике у вокзала.

Держит Тася в руках телеграфный вызов в Ленинград. Летит трамвай по городу, искры из-под колес, и представляет она себе — окошко у кассы белого молочного стекла, полы в зале мытые, в них лампы отражаются, и железнодорожники в белой форме — туда-сюда, и все едят мороженое.

— Ах, товарищ кассир, мне билет в мягкий вагон до Ленинграда, желательнее нижнее место!

— Ах, дорогая гражданочка, приношу вам искренние глубокие извинения, нижнего местечка как раз нет, купил один генерал... Плацкартного, очень извиняемся, тоже предоставить не можем, и ни в тамбуре, ни на крыше ничего не предвидится, снимите-ка ваши очки, гражданочка, посмотрите вокруг, народу тыща, а посадочных талонов сегодня одиннадцать... Отойди от окошка-то, наела рожу и стоишь... Пожалуйста, пожалуйста, у коменданта запись на месяц вперед. Жаловаться — это пожалуйста, лучше прямо наркомую домой позвони, чего там, если ты такая умная.

Ох, забит вокзал на самом деле — ни сесть, ни встать, ни повернуться.

Сумочки нету? Ну уж это извини, подружка... Кто ж на вокзал с сумочкой ходит?! Тем более тебе зашивать есть куда, можешь и без чемодана двигать...

От сумочки остались ручки крокодиловой кожи.

— Эх, крокодил, крокодил, что твоя кожа против нашей бритвочки,— так смеется Разумовская, соседка по очереди, и трясет на худой коленке своего Павлика.

— Ну какое же счастье надо в жизни иметь,— хохочет Тася,— чтобы паспорт, и вызов, и деньги — все держать в кулаке...— Примерила ручки от сумочки себе на поясок и отдала Павлику, чтоб Разумовская ему штаны подвязывала.

Чижевскую фотокарточку Тася уже всем показала, а родительских ни одной нет.

— Мы на Зверинской улице жили,— рассказывает Тася,— Зверинская — это напротив зоосада, и летними ночами, когда все тихо, можно было послушать, как ревет лев. Родители думали, что меня засыпало, а я, что их бомба в тонну, представляете, а у нас седьмой этаж...

— Чудно, чудно,— Разумовская все трясет на коленях Павлика,— ах, какая вы везучая, Тася.

Радио в который раз объявляет, что победа не за горами, что следует потерпеть, что дороги заняты военными перевозками и что эвакуация без надлежаще оформленных документов проводиться не будет. И не втолкуешь, не объяснишь. Домой, домой. Говорят, в сибирских городах даже еще похлеще, а в Средней Азии совсем жуть, жара такая, что кровь закипает, и все равно тронулась Россия обратно.

Тасина десятка, со 140-го по 150-й номер, расположилась в городском парке за вокзалом. Тасе всегда везет, народ подобрался отменный, подтащили скамейки, на случай стихийных неурядиц вымыли киоск «Соки, воды, сласти», там вещи.

Чухляй — прозвище. Чухляев — фамилия. Чухляев контуженный, бывший лекпом из морской пехоты. Теперь он здесь за царя, вроде старика Чижова, сам на переключках проверяет номера, сам эти переключки назначает и сам же, если кого нет, вычеркивает. Притом жаловаться некому — и народ и начальство на его стороне, беспорядка никто не хочет.

Сам Чухляев уедет не скоро, он из Крыма до станции Джанкой, а туда проезда пока нет.

Очень Тасе хочется съездить на Кузнециху к Чижевым, вдруг Анастасий приходил, думала она, думала и надумала. Нарисовала на фанерке портрет Чухляя, как папа рисовал своих стахановцев и артистов, и пошла его искать.

Чухляев сидел у речки без ботинок, а выстиранные полосатые носки сушили на большом белом камне, перевел Чухляев взгляд с речки на фанерку и говорит:

— При таком таланте и фотографии не надо... Ты бы, девушка, не могла бы рядом капитан-лейтенанта Зозулю нарисовать? — и достал из планшетки фотокарточку.

— Можно,— говорит Тася,— только он в зимнем.

Посидели они еще, подумали. Буксир по Двине прошел, волну поднял.

— Ты там обоим плащ-палатки сделай,— говорит Чухляй,— а то мне можешь тоже автомат повесить... И еще хребет Мустатунтури пусти сзади в виде фона, очень я тебя, девушка, прошу,— и так разнервничался, что уронил носок в воду.

— Сделать,— говорит Тася,— в принципе, товарищ младший лейтенант, все можно, ничего невозможного нет, только для этого нужен настоящий карандаш. За ним надо ехать на Кузнечиху... А если проверка будет?

Чухляев давай кряхтеть. Кряхтел-кряхтел и написал щепочкой на мокром песке: 16 часов.

— Не ради себя,— говорит,— так поступаю, ради капитан-лейтенанта Зозули,— и тут же песок заровнял.— Есть,— говорит,— хочешь? Деньги на трамвай есть?

Вопрос не праздный, люди здесь по две недели живут.

Чухляев дал ей яблоко. И рванула она к своему киоску за новым платком, лодочками и вообще. А то в город выйти страшно.

Павлик играл мозаикой «Гибель крейсера Хиппер», отдала она ему яблоко, а матери его шепнула, что проверки до четырех не будет.

— Это что? — спросил картавый Павлик про яблоко.— Гъиб? — и есть отказался.

Собрались быстренько они и к трамваю, у Разумовской в городе знакомые с ванной.

До Союза печатников путь лежал мимо погребца, за пять дней бузина вся покрылась красными ягодами, такая красота. А вон и сломанная труба с осиным гнездом. Интересно, восстановили гнездо осы?! Или переселились? Тук-тук-тук — стучат каблочки по деревянному тротуару. Туфли на Тасе новые, шелковые чулки и темно-синий свитер-восьмерочка, он Тасю стройнит и вытягивает. «Был бы Чижов,— выколачивают каблочки,— ну был бы Чижов...» В луже рядом с мостками идет какая-то каракатица, лужа исчезает, и Тася скатывается туда камешек.

Глафира Тасе не обрадовалась.

— Я вам платочек купила,— сказала Тася,— здесь такой мышонок вышит, Микки Маус называется, очень смешной... А Ивану Анастасьевичу крышечку на трубку, на ветру курить...

— Положи на стол,— сказала Глафира.

— Вы только объясните про крышечку, а то он не поймет...

— Поймет, небось...

— Я сто сорок седьмая уже,— сказала Тася, топчась в дверях,— так что, может, больше не увидимся... И адрес здесь новый ленинградский... Большая Зеленина. Можно просто писать: Б. Зеленина... Давайте я дров нанову?

— Ты здесь простыню оставила и ру-

баху,— сказала Глафира.— Мышá на платках шить, безобразники эти англичане...

Взяли они веревку и пошли за дровами. Тася про Чижова все хотела спросить, но не знала, как подступиться. Она и раньше Глафиры робела.

Глафира похвалила кофту, а в дровянике вдруг хватъ Тасю за руку.

— Ох,— говорит,— девушка; у нас Пиратку соседская собака покусала, полезла я под дом третьего дня кормить, а на меня оттуда из темноты Тося смотрит большими глазами...

И от того, что она сказала, подкосились у Таси ноги.

В дровянике было полутемно и пахло сырой пылью. «Чепуха какая-то»,— начала успокаиваться Тася.

— Это известно в науке, называется галлюцинация,— чем бóльшую неуверенность своих слов Тася ощущала, тем уверенней говорила,— на таких явлениях, между прочим, строятся различные религии и мракобесия.

— Верно,— сказала Глафира,— беда у нас, девушка, не спорь...

Вдвоем они пронесли через двор вязанки дров, из-под сарая с кряхтением вылез исхудавший Пиратка и заковылял за ними на трех лапах, старательно обходя лужу.

«Ерунда,— уговаривала себя Тася, спускаясь к Валеркиному дому. На тощего Пиратку она боялась смотреть.— Даже думать смешно... Бабины сказки, и все. Бабины сказки, и все».

Но тяжесть с души не уходила. А с тяжестью на душе Тася просто жить не умела. Сырая улица без прохожих в этот рабочий час стала казаться полной скрытого зловещего смысла. На коленкоровой двери Валеркиной квартиры висел латунный черт, показывающий нос,— Валерки не было дома. Был час дня, времени оставалось немного, и Тася под мелким дождем побежала к трамваю.

Через проходную она проехала с Молибогой на его телеге, телега везла длинные уголки.

— Принципиальный у тебя папаша, генерал,— сказал Молибога,— чем на вокзале сидеть, прислал бы «Дуглас», и амба...— Молибога разговаривал грубо, ругал лошадь, прицельно плевал в лужи и отворачивал от Таси правую щеку с прыщом.

После срочного телеграфного вызова в порту считали, что Таська-малярша — дочь известного генерала, потерявшаяся в блокаду.

Свитер-восьмерочка, шелковые чулки и новые лодочки, купленные на присланные

из дому деньги, сразу выделили Тасю из портовой среды.

Но спорить — означало только огорчать собеседника, поэтому Тася спорить зареклась, но Молибоге сказала:

— Мой папа — майор, военный художник, член Академии художеств, и зовут его Марат, я Таисия Маратовна, а генерала Желдакова имя — Михаил, он однофамилец...

— Врешь, — обиделся Молибога, — бабы в кадрах интересовались...

Тася засмеялась и угостила Молибогу купленной в коммерческом магазине конфетой «Дюшес».

— А говоришь, не генерал... — Молибога поглядел в фантик на свет. — Дюшес — это груша, — объяснил он Тасе, — сладкие, собаки, — и незаметно спрятал фантик в рукав на память.

Они обогнули лесовоз «Небо Советов» и сразу же увидели подвешенную Дусю.

— Ха! — сказал Молибога.

Дуся — не Тася. Подвешенная Тася злилась и пела песни, Дуся старалась не плакать.

— Туфли погубишь, — крикнула она Тасе, — совсем с ума сошла!

— За что тебя?

— Под трубой не загрузовала... — Дуся отвернулась и заревела, норма у нее не шла, в другой бригаде, может, и сошло бы. — Волчица, — плакала Дуся, — ну забыла я, ну скажи, целое кино устроила... у меня тоже муж был с положением...

— Эй, генеральша, — на полубаке появилась бригада, кто не доел, тот жует, обсыпает косточки.

— А нам говорили, за тобой самолет прислали, летчик-майор, и бомбы шоколадные! — орут бабы и хохочут.

— А я картоху купила, — Тася показывает сетку с купленной по дороге картошкой. — Сейчас сварю, пошли, Молибога...

— Ты, когда сварится, сигнал подними, — Молибога опять плюнул в лужу и поехал, грочога уголками.

— Я к начальнику порта поеду, — вдруг психанула внизу Дуся. — Я вам не девочка, у меня дети есть...

— Сама вредительство разводишь, — звывала Агния, поднимая Дусю, — грунтовку наложить забыла!.. Ты сперва кирпичики получить забудь... Способная какая. Я гляжу, красит и красит... бракоделка.

— Ты на суде ответишь... — рыдала Дуся. Дул ветер, орала бабы, кричали над рекой чайки. На английском корвете появился рыжий кок с тазом, кормить собак. Собаки приходили сюда со всей округи, где еще подхарчишься.

— Ша!.. — крикнула Агния. — Работать! —

дала взглядом понять, что скандал — дело внутреннее, а не международное.

И с этим ее взглядом все мгновенно согласились. Не будь английского кока, нашлась бы другая причина, — не орать же целую смену.

Агния работала на трубе, не всякий мужик рискнет, уйди завтра Агния, непонятно, что будет с бригадой, небось, та же Дуся вприпрыжку бы побежала умолять вернуться. Без Агнии слабосильная Дуся не закрыла бы ни одного наряда.

Кр-р-р, кр-р-р — заскребли мастерки.

— «Ты правишь в открытое...» — завела Тася и увидела, как Агния заулыбалась ей с трубы всем своим худеньким лицом. И ощутила в груди такую к ней и ко всем бабам любовь, что тут же пообещала себе, что как только купит билет, на все оставшиеся деньги устроит пир.

«Водочки куплю, яичного порошка и, может, испеку «Наполеон». Доеду как-нибудь, — подумала она и пошла на полубак мыть картошку, — буду в окошко смотреть».

— «В такую дурную погоду нельзя подчиняться волнам», — первым голосом вела вместо нее Дуся.

Рыжий кок на корвете притащил аккордеон и начал подбирать.

— Одинокий, как его же собаки, — сказала про него Дуся, — у них по-английски кот будет тутц и не кис-кис-кис, а тутц-тутц-тутц, а наши коты боятся...

Тася стала переливать из бидона в ведро воду и заметила незнакомый тральщик, который вываливается из-за красной башни. Тральщик что-то тащил, вроде десантную баржу.

Воды в бидоне — помыть картошку — не хватало, и Тася пошла в каптерку, она не услышала, как бабы перестали петь. И когда мастерки стучать перестали, тоже не заметила. Вышла на яркий день и ослепла, как сова.

Первой она увидела Агнию, перегнувшуюся на трубе, так нормальному человеку и не усидеть, потом поразилась тишине. Ни здесь, на «Бердянске», ни вокруг на судах не работали, вода из кастрюли плеснула на лодочки, она ругнулась и тут же увидела «Зверя», это его тащил тральщик, черного, скрученного и обожженного. И флаг и вымпел были приспущены и казались яркими на этой страшной головешке. Носовая пушка была согнута и задрана, как хобот у слона, около нее курили и не глядели по сторонам два незнакомых матроса в ярких спасательных жилетах.

— Мамочка, — сказала Тася и уронила кастрюлю с картошкой.

На английском фрегате заиграли дудки, там строили караул. Офицер что-то прокри-

чал, и все там сняли шапки и положили их на согнутые локти...

Бум! — выстрелил на фрегате мушкет. — А-а-а-а... — завyli сирены на «Хасане», а-а-а-а... — подтянули другие транспорты. — Мамочка, — еще раз повторила Тася, — мамочка, мамочка... — и отвернулась от «Зверя», чтобы не видеть, и увидела, как Агния бьется головой о трубу, со всей силы разбивая лоб в кровь.

«Зверя» ошвартовали на пирсе подплава за красными оружейными мастерскими. Тасю и Агнию, которые приехали на молибогинной телеге, туда не пустили. Командир со «рцами» попросил принести документы, подтверждающие родственные связи или регистрацию брака, и добавил, кивнув волевым выбритым подбородком на лоб Агнии, разбитый и перепачканный ржавчиной:

— Вы бы умылись, гражданочка, — стоял, козырнул и ушел.

Они долго сидели под дождем на штабеле досок. Когда уже смеркалось, прикатил, разбрызгивая воду, Валерка, он был в огромном брезентовом плаще и сразу позвал Тасю. Чтобы идти подольше, она пошла вокруг лужи.

— Тоська раненый, но живой, — деловито сказал Валерка, — как говорится, жить будет, но петь никогда... Зато представлен к ордену Нахимова, во какой орденище, — он показал здоровенную свою ладонь, — еще там трое живые...

По тому, как он говорил, и по тому, что ее не позвали, Агния все поняла, тоже подошла, но спрашивать не стала.

Трамваем приехали старик Чижов и Глафира. Они сидели здесь же на досках, на другом конце, как две корявые птицы, и не разговаривали.

Агния встала и, не прощаясь, пошла к «Бердянску», голова у нее была маленькая, солдатские «прогары» большие и без шнурков, со спины она была похожа на уходящего Чарли Чаплина. Ее догнал Молибога, предложил подвезти, но она с ним не поехала, все шла пешком.

С севера пришел снежный заряд, все вокруг стало белым, как зимой. Старик Чижов и Глафира сидели под падающим снегом и дышали, как рыбы, открывая и закрывая рот.

Весь этот вечер во всех его подробностях Тася будет помнить всю жизнь. Как приехал Валерка и уходила Агния, как приехала жена Дидура в мокрой от снега зеленой кофте и, прижимая кулачок к солнечному сплетению, бегом, через КП побежала на пирс. Как у нее, у Таси, тоже болело солнечное сплетение, и она прижимала

теплую ладошку, от тепла, казалось, болит меньше. Как она решила уходить, встала, доски подскочили, и упали старики, и они с Молибогой их поднимали. Как прошел к пирсу подплава адмиральский катер, его называли «Петруша». Как после отбоя на кораблях крутили пластинки, а в баню протопал комендантский взвод. Как били склянки на «Ученом Ломоносове». Как подъехала, разбрызгивая воду со снегом, тяжелая черная машина командующего, и офицер со «рцами» в сдвинутой на затылок фуражке усаживал в нее Чижовых, и еще раз, уже в глубине машины, — белое лицо жены Дидура, она дернула бусы, они ей мешали дышать, веревочка лопнула, и бусы рассыпались.

Но ни Тасе, ни старику Чижову, ни даже волевому дежурному со «рцами» не дано было знать, что катер «Петруша» привез командующего и специалистов Главного Морштаба из Москвы, что катер пришвартовался рядом со «Зверем» и что вывод специалистов был единодушен.

— Значит, заключаем, — сухо сказал командующий, — судно поражено наводимся по винтам устройством, конвои следует оснастить приспособлением, дающим больший звуковой импульс, чем винты... Так, товарищи! — И, глядя на изуродованные и печальные останки «Зверя», добавил: — Считаю, команды обоих судов совершили героический подвиг, именно так, по-другому не назовем...

Медленно, как на фотобумаге при проявке, на порт, на корабли, на скрученный черный «Зверь», на сияющий надраенной медяшкой «Петрушку» накладывается другое изображение — «Зверь» и землечерпалка входят на траверз острова Моржовый.

Конвой на север, советский флаг,
в морских глубинах коварен враг!
Уже победа видна, видна,
прощай, морячка, — одна, одна! —

поет голос и брэнчит, брэнчит балалаечка.

Место последнего боя «Зверя» на траверзе острова Моржовый считалось нехорошим — самое лодочное место. И на «Звере» стеклянные рамы в рубке были вынуты по-боевому. Только что прошел снежный заряд, небо в расхлябанных тучах сидело низко, где побелее, где посерее, где скалстые берега, без визира не увидишь. Волна шла длинная, а-ах, а-ах — ачала сзади землечерпалка и кланялась высоким своим ковшом.

Чижов спал в рубке, как всегда спал в походе, в углу, в кресле, оставшемся от старых хозяев рыбаков, вернее, не в кресле, а в сооруженном в нем гнезде из двух

жарких овчинных тулупов и реглана. И снилось ему, что соседский бык Крюк на самом деле не бык, а Гитлер, замаскировавшийся под быка.

— Бык Крюк, Тосенька, который тебя гонял, выясняется, не бык, а Гитлер,— говорит ему мама, она большая, широкоплечая и грудастая. Как Тася. Мелкая чижовская порода шла от деда.— Его сейчас, Тосенька, арестуют, вот какая радость! — И они бегут смотреть, как его будут арестовывать.

Бык Крюк стоит за обвязкой огорода, действительно, не то бык, не то Гитлер, одна нога в высоком лакированном сапоге, на этом и попался, и знакомая челочка, как раньше-то не замечали. Оттого, что все оказалось так легко и просто, и оттого, что Крюка сейчас арестуют и все кончится, все радовались, ликовали и пели. На огороде стоял грузовик, начхоз продавал детям лимонад и пирожки, и чей-то голос сказал:

— Право двадцать. Вижу шапку дыма. А голос Макаревича ответил:

— Шлейф от тучи... Внимательнее, сигнальщик!

Чижов заставил себя проснуться, вытер рукавом тулупа лицо и спросил Макаревича, в чем дело.

— Шлейф от тучи... Отдыхай, командир,— сказал Макаревич, лицо его на ветру было красное, почти бурое, у них у всех к концу вахты делались такие лица.— Примерещилось сигнальщику... Скоро ведьму на помеле видеть будут... Вестовой, погорячее чаю! Черт-те знает!..

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп — «Зверь» наполнил на волну, чехлы на носовом оружии сняты, за оружием дальше горизонт, серая студеная вода, в темном небе разрывы, не то что чистое небо, тоже облака, светлые дыры, кажется, там сейчас бог на коне попятится, но бога нет, а есть не то шлейф от облака, не то дым.

— Черт-те знает... — Чижов вылез из гнезда, на ветру сразу зазнобило, ему не нравился этот шлейф, и он сразу подумал, что сигнальщик, а не Макаревич прав, но куда промолчал.

Макаревич это молчание понял и стал искать папиросы.

— Скоро Дровяное,— он поправил воротник чижовского реглана,— какой же дым, никакого не может быть дыма,— достал таблетку фенамина и проглотил, поморщившись.

— Ты кончай эту дрянь кушать,— сказал ему Чижов,— выброси вовсе... Я и лектому скажу. Пусть иностранцы кушают...

Макаревич промолчал, все глядел на этот не то дым, не то шлейф. И опять поморщился.

— «Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой...» — пробормотал он.

Со своего места Чижов видел акустика, когда на зигзаге волна хлопала «Зверя» по скуле, лицо акустика болезненно дергалось. Пронзительно насвистывая «Темную ночь», на палубу поднялся Черемыш, и на мостике сразу запахло цветочными духами.

— С днем рождения, командир,— сказал Черемыш, втягивая холодный с брызгами воздух, и протянул Чижову дюралевый портсигар,— здесь я ордена вырезал, а здесь чистое место, разживетесь, дорежу... Рай, кто понимает,— сказал, глядя ваясь туда, куда смотрели все,— плыл какой-нибудь грек под парусом, вез бычки в томате и не подозревал, что на него с высокой скалы глядит Пушкин...

А-ах, а-ах — стонала сзади землечерпалка. — Почему Пушкин? — вскинулся Макаревич.— Ты же офицер все-таки, а не... — и замолчал.

— Ну не Пушкин,— мягко согласился Черемыш, фуражку у него сдуло, он ее поймал и отряхнул об колено,— ехал грека через реку,— бормотал он,— видит грека в реке дым... А ведь это дым, а, командир?!

— Не люблю, когда офицеры душатся,— сказал Макаревич, надеясь, что это не дым, но уже понимая, что скорее всего ошибся.

— Боевая тревога! — скомандовал Чижов.— Передавайте, право тридцать — шапка дыма... Допускаю морской пожар... — Он допил чай и аккуратно положил стакан с подстаканником на сеточку.

Черемыш ссыпался вниз в свой «гадючник», люк с броняшкой захлопнулся, остался запах нагретого масла и цветочных духов.

— Нет квитанции, аппаратура в норме, снежный заряд,— сказал радист. После снежного заряда связи все еще не было ни с Дровяным, ни с базой.

— Внимательнее, штурман,— зло сказал Чижов Макаревичу,— у нас, конечно, не Япония,— и сначала подумал, что ничего такого Макаревич не сделал, просто много взял на себя, но тут же возразил себе, что уж слишком думает Макаревич про лысеющую свою жену и что команда не виновата. И, подумав так, он не сдержал себя, а так и сказал, а сказав, не пожалел:— Команда не виновата, что у вас супруга лысеет, товарищ лейтенант, так что прошу выполнять свой долг,— встал, забрал у него ручки машинного телеграфа и краем глаза увидел, как побагровела шея и бритый затылок Макаревича.

— Нет квитанции. Дровяное не отвечает...

Прокричал ревун, заскрипел элеватор, подавая снаряды к орудию, откуда-то с невидимого берега прилетели два глупыша, стали нырять в пенный след за кормой, Чижов перевел ручки телеграфа, с удовольствием почувствовал, как дернулась под ногами палуба, машины на «Звере» были мощные, удачной довоенной постройки, и облегченная нынче корма давала дополнительные возможности.

— Право сорок. Ясно вижу дым морского пожара! — прокричал сигнальщик.

А-ах, а-ах — кланялась землечерпалка, выдавливая из угольных своих котлов последние мощности. Дым из ее высоченной трубы носило к воде. Там, где был пожар, дым тоже теперь носило, оторвав от темного, верхнего теперь облака.

— Гладких,— сказал Чижов,— это Гладких горит, вот что...

Ветер крутил крупные снежинки, опять задул снежный заряд, будто и не лето вовсе.

— Квитанции нет... Дровяное не отвечает...

— Внимательнее глядеть...

Пробежал, бухая прогарами, дополнительный наряд сигнальщиков, сапоги оставляли на заснеженной палубе глубокие следы, они тут же заполнялись черной водой. Хлопнул, будто выстрелил, на зигзаге брезент.

Вот они.

Патрульное судно «Память Руслана» не горело, оно по сути уже не существовало, догорала черно-рыжая, отвесно торчащая из воды корма, она держалась из-за пробки в заваренных трюмах, пробка и дымила. Задранные вверх, нелепо торчали толстые гребные валы с обрубленными лопастями. Волна разметала обломки, на подзатонувшем бидоне сидела чайка, и на снегу были ясно видны крестики ее шагов, и — ни велбота, ни плотика. «Зверь» шел стремительно, противолодочным зигзагом, только хлопала сырые брезенты на обвесах.

— Вон как его,— крикнул Макаревич,— веером выстрелила, что ли или как, командир?!

Они понимали, что торпеда пришлась по винтам, что было дальше — вот вопрос.

— Веером выстрелила? — опять забормотал Макаревич.— Что ж, может быть, ничего не может быть...

— Внимательней, сигнальщики!..— приказал Чижов.— Радист, есть квитанция?

— Дровяное не отвечает.

Квитанции не было.

— Чаю,— крикнул Чижов вниз,— и погорячее! — От напряжения болела шея, он повертел головой и удивился, что абсолютно спокоен, голова работала четко, и мысли были четкие, будто он их читал.

«Зверь» шел теперь вторым, большим

кругом, и где-то в этом кругу болтались остатки «Руслана» и ахала на волне землечерпалка. Снег пошел реже, и побелевший ковш землечерпалки то исчезал, то опять возникал по левому борту и все кланялся.

— Сигнальщики, каждому держать свой сектор! Внимательней, сигнальщики!

— Дровяное не отвечает...

— Пишите.— Чай плеснуло на пальцы, Чижов встряхнул рукой и стал прихлебывать мелкими глотками, не ощущая вкуса, и опять отметил на себе взгляды носового расчета, боцмана и сигнальщиков. Он придумал это, так спокойно пить чай на глазах команды, в первом же самостоятельном бою и всегда гордился и радовался, что так придумал.

Снежный заряд уходил внезапно, как налетел, может быть, проколесив над морем, именно он через трое суток засыпет снегом сидящих на пирсе подлава его стариков, Тасю, Валерика и Молибогу.

На глазах светлело, море вроде раздвигалось во все концы, судно было белое, леера черные, черные проплешины были и на мостике и у орудий. Волна успокоилась, и за кормой стал возникать след.

Дышалось легко и глубоко.

— Лодки как будто,— сказал Макаревич.

И Чижов сразу увидел лодки. Они возникали из уходящей снежной мути ясно и четко, четче не бывает. Одна огромная, длинная и пузатая, с короткой, будто срезанной, могучей рубкой. Океанская лодка из Атлантики. В штабе флотилии говорили, что они вот-вот придут, вот и прибыли. Другая была меньше, длинная хребтина ее была занесена снегом. Лодки стояли. Точка рандеву у них здесь была, что ли? Хотя это и не имело уже сейчас значения.

— Океанская,— сказал Макаревич,— типа «И»...— облизнулся, зрачки у него стали большими и желтыми, как у кошки.

И тотчас они услышали срывающийся на визг крик сигнальщика:

— Вижу две лодки, две лодки — лево тридцать.

— Сейчас они мешки развяжут,— печально сказал Макаревич,— ух у них мешки...

Вот и все. Эта мысль пришла спокойно, откуда-то со стороны, вроде ни к нему, Чижову, ни к его кораблю не имела она отношения. Как ни крутись, и кого ни кори, и чего ни шепчи сам себе, это было все. Маленький «Зверь» с задранной, набитой пробкой кормой, с землечерпалкой под опекой — третий в этом рандеву. Разбежался, лучше не скажешь.

— Дым! — крикнул он, и ему показалось, что от унижения и бешенства он сейчас заплачет.

«Лодки, лодки, лодки,— стучал радист,—

типа «И», типа «И», — ждал квитанцию и стучал опять: — лодки, лодки»...

На отворачивающей землечерпалке хлопал ратьер, рядом матрос для надежности писал шапкой: «Лодки, лодки», будто они и так не видят.

Струя черно-серого дыма вырвалась наконец из трубы за спиной Чицова, он обернулся посмотреть, как ложится на воду завеса, и глянул на корму, но пелена черного дыма из трубы уже закрывала шканцы, кормовое орудие, матросы тащили от элеватора мокрые болванки. Бондарь с гаечным ключом стоял на коленях, ему было ставить дистанцию.

— Фугасами! — проорал Андрейчук, и дым закрыл его, расчет заднего орудия и кормовой эрликон с вросшим в сиденье белым от снега Титюковым с тяжелыми хомутами на плечах.

Не выполнить задания они не могли, разница в огне, даже не считая торпед, давала им всего несколько минут жизни. Вот что можно было еще сделать — это пристроиться к одной из лодок, влезть между ними, попробовать повредить одну, тогда второй будет не до них, просто невыгодно будет, неэкономично заниматься «Зверем» и земснарядом. Потом, мало ли что будет потом, поставить дым и уйти.

— Будем разрезать! — крикнул он Макаревичу. — Войдем между лодками. — И, увидев его ставшее серым лицо, прибавил: — Будем атаковать, прикажите команде прихватиться... А потом поставим дым опять, поняли, и уйдем, а, Макароныч?.. — И обрадовался, потому что лицо у Макаревича стало счастливым и не оттого, что появился шанс, а оттого, что Чицов назвал его Макаронычем, а значит, простил шлейф от тучи. Нехорошо было бы потонуть, держа зло на душе.

Океанская лодка развязала наконец мешок в сто десять своих миллиметров. Всю ее махину качнуло. Снаряд лег далеко сзади. Они рассчитывали, что «Зверь» за дымом уходит.

— Будем разрезать, — говорил в трубку Макаревич командирам БЧ непривычно высоким, странно счастливым голосом, — пусть команда прихватится... Будем входить в створ между лодками... Разъясните команде, как Нахимов с турками...

Прибежал Андрейчук, уже без реглана, и Чицов приказал:

— Как выскочим из дыма, стреляйте только по правой лодке и только под вздох.

Андрейчук попил воды и исчез в дыму так же внезапно, как появился. Левая — океанская — лодка выстрелила второй раз, Чицов дал винты в раздраз,

так что в трюмах у «Зверя» хряснуло и застонало, снаряды опять легли далеко сзади.

— На вот, выкуси! — сказал Макаревич. Они долго вертелись в густом дыму, Чицов все боялся просчитаться. Всех душил кашель, заливало слезами.

Потом он скомандовал:

— Еще доворот на пятнадцать...

С большой высоты можно было бы видеть лодки, океанскую и поменьше, белую и черную, маленький вертящийся «Зверь», рыскающий носом туда-сюда, чтобы не просчитаться, стену завесы серого клочкастого дыма между ними, Чицову везло, и можно было бы видеть, как дым несло к лодкам и как «Зверь» опять приблизился, и длинные желтые и веселые вспышки из большого калибра лодки над серой, похожей на сталь студеной водой. И земснаряд в стороне, медленно уходящий к острову.

Опустись ниже — все закроет дым.

Воздух резко посветлел, и они вывалились из завесы, и увидели лодки очень близко, и задохнулись от воздуха и оттого, что так близко. Лодки стояли. «Зверь» не ждал по эту сторону, и ему сразу удалось проскочить и завертеться между ними. Теперь они не могли стрелять ни из орудий, ни торпедами, если торпеды у них и были. А «Зверь» мог.

— Фугасами-и-и!..

Только сейчас Чицов увидел, что у них было за рандеву, у этих лодок. Малая лодка В-251 была повреждена, видно, не так просто далась ей «Память Руслана». Ну конечно, как Чицов сразу не заметил дифферент и желтый дюралевый баркас под шпигатами, водолаза они спустили, что ли.

— Это Гладких ей под дыхало дал напоследок! — крикнул Чицов. — Уже когда винты оторвало, она всплыла, и он ей под дыхало дал... Молодец, геройски себя вел. Фугасами-и-и!

«Зверь» стрелял, как на учениях, ревун — выстрел и толчок, то в скулу, то в корму. С мостика было видно, как лопаются здоровенные пузыри краски, на стволе носовой пушки. Лодка была достаточно близко, и Чицов видел, как она продувалась, пытаясь погрузиться. Вода вдоль пузатого, в подтеках борта вскипала белыми шарами. Даже помои и консервные банки были видны, туда, в эти помои, в эти пузыри, и шла трасса с эрликона под двойной борт, в «ноздрю», зверя надо бить в ноздрю. Здесь, на промыслах, знал это каждый пацан. «Гостья» — лодка из Атлантики — меняла угол. И Чицов тоже поменял — накось выкуси! Из танков подбитой лодки по-

тек соляр, вода под бортом будто заледенела, и в ней плавал блестящий от нефти дохлый немецкий морячило в плаще. «Гостья» ударила кормовым орудием, ее качнуло, раз ударила, два — не по «Зверю», по землечерпалке. И накрыла. Да и как ее было не накрыть. Переломились опоры стрелы, стрела повалилась, кладя землечерпалку на бок, вытягивая из воды огромное рыже-красное беззащитное брюхо, водопадом с него лилась вода. Потом снаряд ударил в днище, оно вспухло черным, вокруг днища покатались огромные белые шары, и вдруг ахнуло — взорвались котлы.

— Фугасами-и-и!..

Когда через несколько секунд Чижову удалось посмотреть в сторону землечерпалки, на воде вздымалось рыжее с пробоиной днище, на котором никого не было.

Белая хребтина лодки тоже накренилась, черные дыры-шпигаты почти на воде — самое время.

— Дым, — приказал Чижов.

Бондарь бил капсюля на дополнительных бочках, краснофлотцы катили их к борту уже горящие, фыркающие густой серой струей. «Гостья» все отворачивала, и Чижов опять повел «Зверя» в дым.

Они успели перейти на зигзаг и даже пройти немного, как «Зверь» содрогнулся и откуда-то донесся длинный воющий крик.

— Попали! — крикнул Макаревич и побегал на корму.

Чижов перегнулся через обвес вниз и назад, чтобы тоже увидеть, куда попали, но не успел, разорвался второй снаряд, и его швырнуло в рубку, под кресло с гнездом из регланов, но он повернулся, как кошка, и встал на ноги с перекошенным от злобы лицом. «Зверя» катило вправо, машины не работали, было тихо, и только явственно были слышны крики команды и треск пожара на корме.

Черемыш прибежал на мостик и доложил, что запускает вспомогательное дизельное динамо. Надо было уходить, уходить, не погонится за ними лодка.

В эту секунду радист крикнул, что есть квитанция, случись эта квитанция раньше, хоть на два часа, когда они увидели, как горит Гладких, они могли бы на что-то рассчитывать, сейчас нет, хотя это и была маленькая победа, особенно если на лодке радиоперехват запеленговал квитанцию. Откуда-то с кормы полз едкий дым, горела краска в кладовке и настил у кормового элеватора, там, в дыму и пламени, невидимые ему, распоряжались Макаревич и Андрейчук, туда волокли шланги, кошмы, песок. Носовое орудие на зигзаге вновь выстрелило, но люди там были уже другие.

Внезапно, как молотилка, застучала под

палубой машина, железная обшивка привычно дернулась под ногами, Чижов выровнял «Зверя» и успел увидеть лицо сигнальщика с расцарапанной биноклем переносицей. В следующую секунду они оба увидели торпеду, зеленую, лобастую, с серебряным бурунчиком по загривку, и длинную, прямую, как по линейке, шлейку белых пузырьков воздуха за ней они тоже увидели. Чижов рванул ручки, под палубой опять что-то хрустнуло, он начал маневр по уклонению даже раньше, чем сигнальщик крикнул: «Торпеда!». Винты опять работали в раздрай, и корма послушно пошла влево, но и головка торпеды повернула, это было ясно видно, яснее не бывает, как искривился шлейф белых пузырьков на воде. Чижов приказал Тетюкову стрелять по торпедке, и они успели выстрелить из пушки, и очередь из бофорса потянулась туда же. Чижов все уводил корму влево и кричал в мегафон, чтобы расчет кормового орудия отошел, и успел увидеть, как зеленая головка торпеды опять дернулась, и желтые латунные лючки на ее длинном корпусе, и черные буквы он тоже успел увидеть, и краснофлотцев, бегущих за надстройку, и машущего рукой длинного Макаревича — он кого-то тащил.

И тут же с кормы, оттуда, где был Макаревич, поднялся столб грязно-черной воды и закрыл море, лодки и небо.

Когда Чижов пришел в себя, то сразу увидел, что «Зверь» все катит вправо, хотел выругать рулевого, но увидел, что рулевого нет вовсе, что рулевой убит и висит на обвесе, и понял, что приказывает убитому, и тут же услышал, что не выговаривает слова, а только хрипит и открывает рот. Докладов больше не поступало, орудия не стреляли, штуртрос, очевидно, был перебит, и руль не слушался. «Зверь» погружался носом, ветер снес завесу, и ключья дыма над водой были не от завесы, а от горящего «Зверя» — серые ключья под цвет неба.

Лодки в полумиле были ясно видны. Большая принимала команду малой, та совсем накренилась. И еще Чижов увидел, что флага на гафеле «Зверя» уже не было.

— Сейчас, — забормотал Чижов, закрывая ладонью рот, — сейчас, дорогие мои...

Он шел по развороченной, горячей, искорверканной палубе своего корабля, узнавая мертвых командиров, краснофлотцев и старшин. Какая-то сила воли вела его на корму, он, видно, был не в себе и что-то бормотал, как старик, и гладил мертвых по голове, стараясь, чтобы кровь, текущая изо рта, на них не попадала. У сушилки он увидел мертвого Андрейчука, брючина высоко задра-

лась, открывая штопанный носок, он дернул брючину, погладил его по щеке и пошел дальше. Ему казалось, что за дымом, на корме, могут быть живые. И точно, здесь он увидел Тетюкова и начхоза, которые возились у пушки, пытаясь выстрелить, и маленького вестового, который стоял на цыпочках и держал в вытянутых руках сорванный с гафеля флаг, накость выкуси. Часть кормы была оторвана, винты отрублены, оттого что нос погрузился, толстые гребные валы торчали над водой. Втроем они кое-как зарядили орудие. Втроем кое-как выстрелили.

— Все, — сказал Тетюков и рукавом форменки вытер с лица кровь, как вытирают пот. — Умираем, ах! — сел прямо на палубу и покачал птичьей головой.

— Покури-покури, — громко, в самое ухо кричал Чижову начхоз и толкал в его окровавленный рот папиросу, — посильнее потяни, во...

Чижов ничего не слышал, но кивал головой. Над малой лодкой вдруг поднялся черный горб и ахнуло. Большая, погрузившись под среднюю, выстрелила в нее торпедой. Когда уродливый черный горб осел, лодок на поверхности не было. Один пустой дюралевый баркас на застывшей из-за соляра воде.

Нос «Зверя» все погружался, кормовое орудие задиралось в небо, потом сорвалось и понеслось вниз по наклонной палубе, налетая на кнехты и стреляные гильзы. Била в задранную искалеченную корму волна, всего этого Чижов не слышал, они сидели четвером, прихватившись за кнехт, и неподвижно смотрели туда, где недавно стояли лодки, и на пустой баркас. Потом пошел снег.

Пришла ночь, и Тася поехала на вокзал. Пришел бы трамвай до центра, поехала бы на почтамт маме позвонить, пришел до кольца — поехала на вокзал за вещами, не сидеть же здесь ночью. Она промокла и замерзла, ее трясло. Трамвай остановила милиция, дуга сильно искрила и нарушала затемнение, с этим покуда еще было строго. И пока разудалая кондукторша топотала по крыше вагона и лупила там кувалдой, бабка, из поморок, тихо рассказывала, что сегодня вечером в горсаду, у вокзала, органы задержали диверсанток, которые разожгли костер с целью навести немецкие самолеты.

— Уж навряд ли, — сказала ей Тася из своего угла, — холодно людям, вот и сгруппили, и не трещите, как мотоцикл, от вас голова болит...

Голова действительно болела, было холодно. Тася вышла из трамвая и бегом побежала к вокзалу. Трамвай тронулся почти сразу же,

забегав ее, и синие огни тут же пропали.

«Лето проклятое, — думала Тася, — ах, что за проклятое лето, почему так холодно...»

— Пых-пых-пых, — передразнила ее Мария, высовывая нос из мужского пальто в елочку и пестрого иностранного шарфа. Мария в очереди была 148-я, она из Львова, и чуть что не по ней, сразу плохо понимает по-русски, сейчас же, на удивление, все понимает и говорит приветливо, с опоздавшими и вычеркнутыми старается вовсе не разговаривать. — Тебя Чухляев два раза спрашивал и велел прийти к нему в павильон за каруселью...

— Не вычеркнул, что ли?

— Кто ж тебя вычеркнет?

— А Разумовская-то где?

— Она странная, — говорит Мария, — ничего не думает. Ушла мыться на полдня, а сразу проверка... Захотелось быть мытой, а получилось — битой. Продай папиросу...

Тася на буржуазную привычку отвечать не стала, с реки потянул ветер, ее опять заколотило. Она с трудом нашла свой рюкзак в углу киоска среди других мешков и чемоданов.

— Холодно, ах, холодно, — бормотала она, покуда тащила мешок и шла к карусели.

По дороге к карусели стоял старинный памятник, изображавший корабль во льдах, на одном из четырех чугунных витых столбов горела дежурная лампочка, в ее синем свете Тася сразу же увидела идущую навстречу Чухляя, в узкоплечем, широком в бедрах кительке, с пухлой сумкой. Тасю он в тени не видел и, когда поравнялся с ней, Тася выскочила и попробовала огреть его мешком. Она сама не ожидала этого. Тася вообще сперва была, а потом думала, был за ней такой грех. И тут, скорей со страху, хотела сказать такое, чтобы к месту пригвоздить гада, но слов не было, мешок был лучше. Чухляй выкатил глаза и запыхтел, вцепившись и перехватив мешок.

— Паразит, — шипела Тася и рвала на себя мешок, — паразит ты, вот ты кто... Зачем наврал с проверкой, паразит?

— Я тебя в милицию, — пыхтел Чухляй, — я тебя в милицию.

В кармане у него был свисток, Тася знала это, но он боялся отпустить мешок, чтоб не получить вторично.

— Я в милиции скажу, я в милиции скажу, — шипела Тася, пытаясь дотянуться ногой до тощего чухляевского зада, но Чухляев прыгал, и у нее никак не получалось.

Тася еще не знала, что она скажет, мысль пришла внезапно, она годилась, Тася

даже засмеялась, это была не мысль, это было золото.

— Я в милиции скажу, что ты уговаривал меня разжечь костер. И из очереди не вычеркнул потому, что боялся, что я открою.— Она уже понимала, что Чухляев отпустит ее. И совсем не удивилась, когда так случилось.— Вы утром сто сорок шестую найдите,— руки у нее дрожали, она сунула их между колен и стиснула,— и запишите на мое место.

Чухляев потоптался и подошел к ограде, поискал в кармане папиросы, но не нашел, тогда Тася достала свои «Дели» и зажигалку.

— Дрянь,— вдруг сказал Чухляев.

Тася этого вовсе не ждала.

— И молодая,— Чухляев подумал и соединил два понятия,— дрянь молодая,— сказал он ей,— отдай капитана,— и завертел головой.

Тасе внезапно стало жарко, будто и не мерзла только что.

— Я лучше нарисую, я глупость сказала, вы простите...

— Отдай капитана,— крикнул Чухляй,— не желаю от дряни!..

— У вас шнурок развязался! — крикнула в ответ Тася.— Я карандаш взяла, я эту Разумовскую пожалела, нельзя, что ли... У меня мужа сегодня ранили, он оглохнет, наверно, и будет хромым...

Тася отошла и вдруг, как Агния, ударила лбом о чугунный столб, сначала не сильно, больше для Чухляя, чтобы он простил, а потом уж для себя, чтобы унять боль, которая вдруг колом встала в желудке, она впервые представила себе Чижова глухим и хромым, и задыхнулась, и долго плакала.

— Ты мне все равно отдай карточку,— попросил Чухляев, когда она успокоилась,— а я для тебя все сделаю.

Потом спрятал фотокарточку в сумку и поморгал.

— А то я бы смотрел на картинку и вспоминал бы не капитана, а тебя. А тебя, девушка, я вспоминать не хочу,— и пошел по дорожке из битых кирпичей.— Я хочу про радостное вспоминать,— не поверил он про мужа,— но тебе меня не понять.

Тася достала из мешка пальто на ватине, летнего у нее не было, и затопала в город.

Пиратки во дворе не было, чижовский дом спал, она поднялась на второй этаж, не раздеваясь легла на свой сундук, матраца не было, Глафира его убрала, табуретки тоже не было, поджала ноги и заснула.

Во сне ей снилось, что комната горит и у кровати сидит женщина в красном платье.

Утром она проснулась, увидела за окном густой ватный туман и увидела, что лежит в комнате старика и что на тумбочке стоит молоко и лежат пирожки. В доме топилась печь, этому она тоже удивилась, потому что было лето, потом посмотрела на странно исхудавшую свою руку с остановавшимся часиками и поняла, что, должно быть, долго была больна. За окном звенела пила и было слышно, как старик Чижов выговаривает эвакуированным, что не закрыли колодец, что в воду летят листья.

Потом она увидела ночной горшок и от ужаса закрыла глаза.

После госпиталя Чижов, по ходатайству адмирала, получил под командование большой морской буксир. Это было естественно, командиров, награжденных орденом Нахимова, на флотилии было раз-два и обчелся. После ранения Чижов заикался, но не сильно, и на буксире с этими недостатками можно было работать. Война гремела уже под Берлином.

На рассвете этого дня буксир тащил транспорт, пришедший с пленными из Киркенеса, город начинали асфальтировать, и велись большие ремонтные работы. Чижов стоял на корме и вглядывался в бледные лица на транспорте. Пришел начхоз — он тоже здесь служил, но теперь старпомом — и сказал, что разболтало шатун.

— На той посудине моряки есть,— добавил он и кивнул на транспорт,— но говорят, что береговой службы... кто их знает...

И они оба подумали, что, может, врут немцы с той баржи и что вдруг, чем черт не шутит, плывут сейчас по реке те, кто был тогда на лодках, может, даже торпедист или канонир.

— «Судьба играет человеком...» — сказал Чижов, заикаясь,— мне доктор петь велел от заикания, я эту песню петь буду, ты слов не знаешь?

— Там дальше так,— сказал начхоз,— «Она изменчива всегда, то вознесет его высоко, то бросит в бездну без труда...»

— «Без стыда», по-моему,— сказал Чижов.

— Может, так,— засмеялся начхоз.

— Ты чего? — спросил Чижов.

— Да я вспомнил, как товарищ Черемыш товарищу Макаревичу шнурки на ботинках бритвочкой подрезал, тот потянет — трах, и ко мне: что у вас, начхоз, за шнурки...

Чижов тоже вспомнил и засмеялся.

— Трах,— смеялся начхоз,— и две половинки, так и не узнал...

Они каждый день говорили о них, как о живых.

— А пластинку про валенки тоже това-

рищ Черемыш принес, в том смысле, что я на обуви экономил, надо же, придумал,— и покрутил головой, будто опять обиделся.

— Камрад, камрад, си-га-ре-та,— позвал их с носа баржи какой-то фриц.

— Вот, хрен тебе,— сказал ему начхоз.

У пятого причала, где раньше стоял «Бердянск», они отшвартовались. Вода была гладкая, а небо низкое. Домой в часы, когда не ходили трамваи, Чижов ездил на трофейной мотоциклетке. Дом теперь казался огромным и гулким, эвакуированные разъехались, отец без них скучал и писал им письма.

— Валерку не бери,— закричала из окна Тася,— я ему сказала, чтобы он валил!

— Цыц,— рассердился Чижов,— это еще что?!

— Потому что ты не поешь,— возмутилась Тася,— а треплетесь...

— Пусть басню читает про мартышку и очки,— предложил из другого окна старик Чижов.

— Ему петь, папа, надо, а не читать... тем более ребенок может усвоить заикание.

— Опомнись, Таисья,— взвыла из-за сараев невидимая Глафира,— что же, если у кобеля обрубленный хвост, у щенка тоже хвоста не будет?

— Нет, но если кобель, например, немой?!

— Тася,— рассердился Чижов и завел в сарай мотоцикл.

— Немой кобель, тьфу,— прошелестела мимо сарая Глафира с дровами, громко возмущаться не смела. Тася держала семью в строгости.

Тася вышла на крыльцо, она была беременна, на восьмом месяце, и от этого и оттого, что на ней было теплое пальто, казалась огромной. И Чижов из сарая залюбовался ею. Старик Чижов в натальной рубаше тащил за ней зюйдвестку.

— Вы мне еще бурку наденьте, папа,— кокетничала Тася.

Подкатил Валерка с новым черпаком и книжкой.

— Песенник! — крикнул он Тасе.— Но песни исключительно вогульские,— и захохотал:— «Не шей ты мне, маменька, девичий сарафан...»

Глафира поставила Валерке в багажник коляски корзинку с едой.

— Ух, хлама у тебя,— бормотала она,— ух, хлама...

Втроем они двинулись к реке. Пиратка на непослушных ревматических ногах тащилась сзади. Было раннее утро, улица спала, лежал туман, и верхушка артиллерийского погреба с бузиной была в тумане.

Шла корюшка, мальчишки и бабы ловили ее с плотиков и лодок. Валерка перебрался с

коляски в баркас. Валеркина тетка специально пришла к мосткам, заперла коляску в свой сарайчик и ключ отдала Чижову.

Чижов оттолкнулся веслом, течение здесь было сильное, и мостики, и берег, и Валеркина тетка, болтающая с соседкой, стали быстро удаляться.

— Теперь гляди,— сказал Валерка,— черпак моей конструкции — ручка, можно глушить рыбу, в ручке — зажигалка... здесь резинка, так... чтобы не скользко. У меня Америка патент покупает.

Чижов разгонял баркас по течению, весла ложились ловко, без всплеска, вода билась под днищем, он взглянул на Тасю, увидел, что она зеваает и раздражается, мигнул Валерке.

— Ладно,— сказал Валерка,— я буду говорить, а ты мне в ответ пой, как в опере. Я, например, сказал про черпак, а ты: ну и руки, что за руки, а-а-а-ах, не какие-нибудь крюки...

— Последний раз с тобой еду,— обозлилась Тася,— из любого важного дела ты, Валерик...

— Ладно,— сказал Чижов и засмеялся,— ты «Шумел, горел пожар московский» знаешь? Тогда давай.

— «Шумел, горел пожар московский...» — затянул Валерка, пел он сипло, но неплохо.

— «Дым расстилался над рекой...» — подтянул Чижов.

Неожиданно они услышали сирену и выстрелы из ракетницы, красные ракеты летели в небо и рассыпались там в белом зыбком тумане, потом увидели «Витязя» с медной трубой. Труба чадила черным, как сажа, дымом, «Витязь» мчался от порта на такой скорости, что у носа нависли белые пенные усы, там непрерывно били в рынду, с палубы двое палили из ракетниц. А-а-а-а — выла сирена на «Витязе».

— Пожар, что ли? — испугался Чижов.— Машину запорят, паразиты, под суд пойдут.

Бах! — вспыхнуло на «Витязе», оттуда выбросили в реку бочку с дымом.

Тах-тах-тах — били ракетницы.

— Это война кончилась! — вдруг закричала Тася.— Война кончилась, дураки, при чем пожар, это война, война кончилась..

Чижов бросил весла, волна от «Витязя» ударила в борт, баркас закачался, захлюпал и заскрипел.

— Все, все,— говорила Тася и трясла головой,— все!..

Дым от бочки напоз на них, и она стала кашлять.

— Гребь отсюда! — крикнула она Чижову, закрывая рот платком, кашляя и плюясь.— Ребеночку вредно! Ну гребь же, что же ты не гребешь!..

Чижов греб изо всех сил, и Валерка

греб. Когда они выскочили из дыма и Чижов опять бросил весла, они увидели уходящий вдаль «Витязь», машущие руки, фигурки людей на нем и слышали, как в порту на всех кораблях бьют в рынду. То ли от этого рывка на веслах, то ли от испуга за Тасю Чижов ничего сейчас не испытывал, только усталость.

— Профессор Арьев в Ленинграде делает исключительные операции,— сказал Валерка, голос у него был растерянный, такого голоса у Валерки Чижов не знал,— я написал, и военком поддержал, теперь жду ответа.

— Мамочка, моя мамочка,— говорила Тася,— какое счастье, боже мой, какое счастье...

Чижов смотрел на дым, который несло по реке вверх, и вдруг ему показалось, что если сейчас дым разорвет, то оттуда хоть на минуту появится «Зверь», хлопающий брезен-

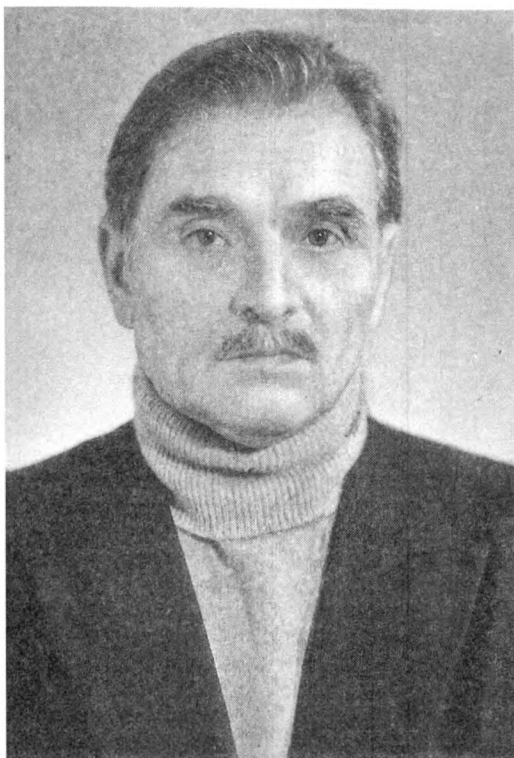
товыми обвесами, с высокой трубой, рындой на полубаке и с милыми, дорогими друзьями на мостике. Подул ветер, дым стало разрывать, понимая, что он сходит с ума, Чижов все смотрел в этот дым, смотрел, как дым уходит.

— Тося! — вдруг закричала Тася, рванулась к нему по баркасу и схватила его.— Там ничего нет, миленький, там нет ничего, не смотри,— и закрыла ему глаза ладонью.

Когда она опустила руку, он увидел промысловый тральщик, на котором галдели бабы из рыбколхоза, плюющуюся остатками дыма бочку на воде и лидер «Баку», гордо расцвечивающийся флагами.

1983 г.





**Евгений
ОНОПРИЕНКО**

ЧАКЛУН И РУМБА

За спиной диктора на экране телевизора проплывают стены старинного замка: таким он видится в сказках.

Замшелые темные стены и таинственные, уходящие во тьму галереи... мосты над глубоким рвом... легкие башенки и узкие бойницы...

— Эта старинная крепость в городе Влорстенберге, что в ГДР, в давние времена именовалась замком Грез. Много легенд связано с ним, — говорит диктор.

Угловая башня, видимо, наиболее пострадавшая и заделанная темной штукатуркой. Стоят козлы, идет ремонт. Под слоем темной штукатурки — надпись мелом, потерявшая, но еще различимая: «Проверено. Мин нет. С-т Чаклун и Румба». 19.IV.45 г.».

— А недавно к ним прибавилась еще одна, — продолжает диктор. — Вот ее следы. Немецкие пионеры обращаются к ветеранам, ко всем, знающим что-либо о сержанте Чаклуне и Румбе, с просьбой сообщить эти сведения в клуб «Подвиг». К поиску подключились советские пионеры. Никто не забыт и ничто не забыто!..

Начались титры, вступила музыка, заглушая текст.

Передачу «Подвиг» в тот день смотрело много людей.

...Холостяцкая однокомнатная квартира,

где все строго, четко и обезличенно-функционально. Стол. Диван-кровать. Два стула. Полочка с книгами. Старик с властным лицом, услышав диктора, отложил газету, настороженно подался вперед. В волнении встал...

...В комнате высотного дома — окно-стена с видом на широкую реку; сейчас по ней медленно и плавно движется многопалубный теплоход, снуют моторки. За столом — молодежь, чувствуют старую учительницу.

Самовар на столе, торт. Глядя на экран, учительница побледнела. Опрокинула чашку, выпрямилась. Ученики бросились к ней...

...В холле больницы у телевизора — выздоравливающие в пижамах. Пожилая медсестра обернулась к телевизору, едва не уронив поднос с лекарствами, наклонилась и увидела надпись на экране: «...лун и Румба»...

...Ветеран войны вышел из магазина с сумкой, в которой был паек, торчали куриные лапы. В витрине мерцал красками включенный телевизор. Ветеран всмотрелся. Недоуменно пожал плечами и оглянулся, словно искал, с кем бы поделиться нахлынувшими воспоминаниями...

...Испытательный аэродром. Группа людей смотрит в небо, там кувыркается черная точка — самолет. Они стоят на большом балконе, дверь в комнату — настель, и там бормочет телевизор.

Ведущий конструктор с досадой оглянул-

ся. Подошел, резко выключил. Уже отходя, вспомнил что-то. Быстро включил, но там уже очаровательная стройная брюнетка призывно показывала ритмическую гимнастику...

...Городская станция скорой ветеринарной помощи. Задумавшись и вспоминая, старый доктор забыл обо всем. А перед ним — девочка со щенком на руках, у щенка перевязана лапа. Смотрит доктор на угасший экран. Вспоминает...

Кончились титры.

Возникли хроникальные кадры.

Проваливаясь под лед, надрываясь, с невыносимой силой и напряжением лошади тащат пушки.

Солдаты, обессиленные, из последних сил бредут по грязи.

В ледяной воде наводят переправу — белые тела, дочерна загоревшие шеи. Вколачивают сваи.

Задышавшись, тащат непосильные ящики. Копают.

На себе вытаскивают машины из тугой грязи.

Нечеловеческий труд.

Идут солдаты нелегкими дорогами войны. Рядом с ними — собаки.

Санитарная тележка мчится по полю среди разрывов, на ней в свежих бинтах — тяжело раненный солдат, санитар бежит рядом.

Собака с разведчиками в дозоре, чутко настроены уши.

Овчарка выскакивает на рельсы, зубами дергает затвор на боку, падает заряд. Собака мчится, подгоняемая фонтанчиками пулевых разрывов, а сзади на дороге чудовищный взрыв поднимает на дыбы паровоз.

Минно-розыскные собаки обследуют котел... саперы извлекают мины...

Парад Победы. По Красной площади проходят у ног вожатых минно-розыскные собаки.

— Вот эти кадры сгодятся! — слышен голос.

В полутемном просмотрном зале телевидения несколько человек.

Зажегся свет.

— Так! — сказал режиссер. — Запрос в Министерство обороны?

— Сделано, — доложил ассистент. — Просим личное дело, словом, все, что известно об этом Чаклуе.

— Два человека звонили, оставили координаты!.. Но, боюсь, они не о том Чаклуе говорят! — сказал редактор.

— Евгений Петрович! — ворвалась шумная помощница. — Там! Пришел ветеран! По поводу сержанта!

В павильоне — перерыв, осветительные приборы выключены, в полумгле видно сплетение кабелей, рельсов, выгородок.

У ветерана — властное лицо, он подтянут, сух; неновой костюм аккуратно отглажен — человек тщательно следит за собой.

— Почел долгом явиться лично, — говорит он режиссеру. — И сразу же заявляю: я категорически против и никоим образом не допущу прославления этого сержанта. До чего дожили, чему учим молодежь... Это грубая ошибка прославлять его. Если хотите — даже политическая.

— Минутку, минутку! — говорит редактор. — Видимо, у вас есть основания так заявлять, но у меня вопрос...

— Да я лично его в штрафной отправлял. А теперь нате вам — почести на весь мир. Дожили!.. — перебил старик.

Режиссер и редактор переглянулись.

— Но почему вы так уверены, что ваш штрафник и наш сержант — одно лицо?

— А Румба? Эмэрэс?

— Действительно, — согласился режиссер.

— Что такое эмэрэс? — спросил редактор.

— Минно-розыскная собака, а он ее похитил и с собой в штрафбат... это тоже в обвинение! Я понимаю, сейчас это модно — вытаскивать обиженных да репрессированных, недовольных да ущемленных. Но надо же думать, что делаем! Да, были ошибки, но зачем же все старое ворошить, на радость врагам?..

— Значит, вы полагаете — надо молчать о тех делах? — сдержанно спросил режиссер.

— Я полагаю — тогда порядок был. Да, и благодаря этому — победа. И цены снизились! И в магазинах не то, что сейчас, той же икры — завалились, не брал никто, а уж крабы, так те и за консервы не считались!

— Да, — сказал режиссер. — И в колхозах на трудодень — шиш, и за колоски после уборочной — десять лет сроку. И, как крепостной, уйти не может, паспорт не получает. Был порядок!

— Зато теперь колхознички процветают, да только хлебушек-то из-за океана везем-покупаем!..

Наступило неловкое молчание.

— Позиция ваша нам понятна, — сказал режиссер. — Все же расскажите, что знаете о сержанте.

— Извольте. Но для того, чтобы вы поняли, почему я так решительно против... А то ваши передачи... Нет, это подумать только — собираются сопляки и на равных, видите ли, с министром!..

— Тут все ясно! — перебил редактор. — Все-таки начните о сержанте...

С плеч сержанта Чаклуна срываю пого-

ны. Резко, беспощадно, выдирая с мясом гимнастерки.

— Ремень долой! — гремит голос.

Срывают с видавшей виды гимнастерки выцветшие медали.

Совершенно потерянный сержант Чаклун с миноискателем в руке, а рядом Румба — большая, с умными глазами, с рыжиной в шерсти собака, чувствуя беду, настороженно поглядывает, готовая вступить за хозяина.

— Ты получил вчера приказ обследовать здесь минную обстановку? — кричит капитан, тот самый юрист, что через много лет явился на телевидение.

— Так точно, получил...

— Обследовал?

— Так точно, товарищ капитан. Обнаружил мины, одну снял. Поскольку имел приказ явиться в часть, обозначил участок табличкой. Да вон она!

Румба, конечно, не понимала слов. Но чуяла беду. Бросалась к ротному, скулила, плакала. Кинулась к Светлане, потянула и ее за юбку, сюда, поближе к хозяину. Оскалилась на капитана, становилась между ним и Федором, не пуская, желая защитить и не понимая, почему так странно молчит и не действует хозяин.

Дело происходило на рокаде.

Рокада — фронтовая дорога, идущая параллельно линии фронта, — ныряла в низину. И возле неиспользуемого сейчас моста через пересохшую степную речушку разместился контрольно-пропускной пункт: шлагбаум, палатка и неяркий костерок возле нее с подвешенным чугуном. Чуть поодаль, за мостом, почти под прямым углом ответвлялась еще одна дорога, и там, на перепутье, чернело пепелище сожженного хутора. Торчали печные трубы. Сливы и груши с одной стороны были прихвачены огнем, пожухли, свернулись листья. Только одна хата непонятно как уцелела. Но все это — там, сзади. А на переднем плане стоял растерянный Федор Чаклун. Рядом — бледная от волнения хозяйка КПП Светлана Мезенцева закусил губу.

Отойдя от Федора, капитан уселся на ящик, стал писать.

Группа саперов безмолвно стояла сзади. Лейтенант, их командир, молчал.

Федор обреченно глядел на боковую дорогу.

Она была мокрой и скользкой после ночного дождя. Размокшая мятая картонка с надписью «Мины» валялась в стороне, очевидно, сбита ветром и грозой. А поодаль, накренившись в кювет, догорала крытая машина, передние колеса и мотор были разворочены взрывом.

Федор взглянул на Светлану — она ответила глаза.

— «Обозначил»... А то непонятно было, гроза идет, ветер, собьет твоё обозначение! Надо было регулировщиков предупредить, старшую! — говорил капитан.

— Но я же...

И тут он встретился взглядом со смертельно бледной Светланой. Она умоляюще покачала головой, покачала отрицательно.

— Ну? — торопил следователь. — Что? Сообщи он вам о минах? — обернулся к Светлане. Она молчала, опустив глаза.

— Так что? Вы заявили: не сообщил... а теперь засомневались, так?

— Виноват, товарищ капитан, — сказал Федор. — Не сообщил.

Она быстро взглянула на него.

— Люди в госпитале! Боевая техника уничтожена. Под трибунал пойдешь, — сказал капитан.

Румба оскалилась и заворчала на него.

— Э, милая, — сказал капитан. — На меня то за что?

Они пошли к машине. Светлана поспешала сзади. Румба не пускала Федора. Лаяла на машину.

— Товарищ капитан, — сказала Светлана тихо. — Тут оно все не так...

— Так! — перебил ее Федор. — Не морочь голову капитану. Что было — было, куда теперь.

Он подал Светлане сверток.

— На-ка это вот!.. Мода.

Она развернула. Это были туфли, аккуратно починенные. Но она и не разглядела их сквозь слезы.

— Спасибо тебе, — прошептала и поцеловала его. — И прости меня, дуру.

— Давай, давай! — торопил капитан. — Ишь ты, амуры развел. За то и загремишь в штрафбат!

— Прощайте, ребята, — сказал товарищам Федор. — И вы, ротный, не держите зла...

Ротный шагнул и протянул ему руку. Не обращая внимания на капитана, сказал:

— Спасибо за службу, солдат...

Румба тревожно крутилась рядом, прижималась к Федору.

— Прощай, Румба. Не поминай лихом! — Федор приласкал ее, она доверчиво прильнула и не хотела уходить. Поскуливала.

— Иди. Теперь у тебя новый хозяин будет. Булкин, бери! — протянул повод Булкину и, заложив руки назад, пошел к машине. Румба рванулась следом, оглушительно залаяла. Оскалилась на Булкина.

— Держи ее! — крикнул Булкину ротный. — Уведи!

Румба упиралась лапами изо всех сил, пока ее тащили. Угрожающе бросилась — солдат едва успел отскокить. Булкин огрел ее ремнем. Она рычала, словно бешеная,

комьями летела пена изо рта.

Федор страдальчески отвернулся.

В сарае Румба бросалась на дверь, на стены. Села и, подняв голову к потолку, завывала...

Ночь. Луна крадется за облаками. Черные тени деревьев, домов. Из сарая доносятся вой Румбы. И другие собаки не спят, волнуются. Вышел Булкин, за ним ротный в наброшенном на плечи ватнике.

— Что делать, ротный? — спросил Булкин. — Который день — и не признает. Не жрет, только воду лакает...

— Ищи подход! — сказал, закуривая, ротный. — На то и вожатый...

— Ищи, — проворчал Булкин. — Найдешь тут...

А в сарае Румба перегрызла повод. Заметалась от стены к стене. И стала лихорадочно рыть передними лапами.

Хмурое раннее утро. Уже который день идут обложные дожди, и весь мир поплыл в грязи. Плывет в низинах туман, перевил луговые дороги. По степи, по тропкам да грунтовке, прыгая через лужи, во весь опор летит, мчитса собака, болтается обрывок поводка.

Квартира, где стеклянная стена чуть не до пола; за стеной внизу сверкающая река несет буксиры; а на заречных лесистых холмах раскинулся город. В квартире опрятно, жардиньерка отделяет уголок у окна, там — журнальный столик и торшер. Полки с книгами. На стене — большая фотография хозяйки в молодости. Старший сержант Мезенцева. С трудом можно узнать ее в строго причесанной женщине. Она и сидит, и говорит, и ходит, словно перед аудиторией, перед множеством глаз.

Еще фотографии: она с классом, на экскурсии.

На столе ваза с цветами, а на ней вязь букв: «Любимой учительнице...»

Канарейки в клетке у жардиньерки.

— Федя Чаклун, — говорит она и подносит к глазам платочек. Тут же отклонила предложенный стакан с водой.

— Нет-нет, я не так слаба. Это воспоминания... Я знала его! И, пожалуй, так, как никто!.. Наше знакомство было, знаете, романтическим... да, это немодное слово сегодня, что делать! У молодых нынче все проще, будничнее, что ли... это я не только как учительница

знаю. Как мать... Нет, я не ворчу на молодежь, это вполне зрелая, наша, советская молодежь. А целина, помните? А выполнение интернационального долга? И все же... все же... мы были чисты и горды! Нам ведь было так мало — по восемнадцать!..

Она задумалась.

— Да, это святое... и хоть потом у меня и не сложилось в жизни... да что? Вся моя жизнь — здесь!.. — смотрела в окно.

Внизу видна была светлая школа, во дворе мальчишки гоняли мяч.

Мезенцева словно опомнилась. Собеседники терпеливо ждали.

— Светлана Андреевна, — осторожно спросил редактор. — А что это за история со штрафбатом?

Только на долю секунды на лице ее мелькнула настороженность ли, растерянность.

— Н-ну, это, знаете... бывают такие роковые стечения обстоятельств, когда виноватых нет. Да и в том ли дело? В ошибках? Мы были чисты помыслами и делами, вот главное! Я ведь... я всю жизнь помнила Федора... думала о нем. Я... да что там! Я любила его, любила с первой встречи. Да только знать этого не знала, дуреха, ведь юная совсем была...

На рокаде у моста оборудуют КПП. Пожилой ефрейтор вкапывает шлагбаум. Поставили палатку, разводят костер.

Молоденькие девчонки, надрываясь, копают укрытия. Измученные тяжелой работой лица.

Одна плачет от злости, дует на кровавые волдыри на ладошках.

Твердая как камень глина. Звенят лопаты. Мокрые гимнастерки девушек. Пот заливал глаза.

Старший сержант Мезенцева Светлана, хозяйка КПП, оглядевшись, все ли сделано как надо, носком сапога провела по земле.

— Сюда — и довольно! А сейчас перекур! Пошла в палатку. Рядовой боец Тоня, жалобно стелая, двинулась за ней, упала на койку.

Светлана, преодолевая усталость, сбросила сапоги и надела маленькие изящные туфельки на высоком каблуке, прошлась.

— Боже, вовсе ходить разучилась.

— Небось твой придет? — недобрительно спросила Тоня. — Ой, Светка, Светка...

— Да что я, виновата, — смущенно сказала Светлана и прижала руки к щекам. — Ой, влюбилась я, девочки! Втюхалась по самые уши!

— Дождь будет, опять потечет в палатке, — сказала Тоня прозаически. И к Светлане: — Свет, а Свет? А что, если мы в той вон хатке расположимся? Там чисто, сухо...

— Идем поглядим,— сказала Светлана.

Они уже подходили к дощатому крыльцу, обрывая по пути обугленные сливы, когда позади раздалось:

— Стой, сто-ой! Назад, дурехи!..

— Кто там бушует? — девушки обернулись.

Спрыгнув с машины, к ним бежал Федор, а впереди большими скачками летела Румба.

— Ой! — шарахнулась от нее Тоня, но Румба на нее ноль внимания, скорее к крыльцу, внимательно, пристально обнюхивает.

— Куда вас черти поперли, дуры набитые! — запыхавшись кричал Федор.

— Ты на кого орешь? Как ведешь себя со старшим по званию? — не на шутку разгневалась Светлана.

На него это не подействовало. Да он и не видел их, все внимание — на крыльцо.

— Ищи, Румба... ищи, милая!..

Румба посмотрела на него, махнула хвостом, пошла в хату. Девушки двинулись следом, но Румба обернулась, не зло заворчала, и Федор их осадил:

— Назад!

— Да в чем дело? — крикнула Светлана, а Тоня, выразительно поглядев на нее, покрутила пальцем у виска. Тут и Федор вышел, виноватый, на девушек не смотрел.

— Чисто, — сказал. — Можно входить.

— Еще б не чисто!

— Мне тут, понимаете, дверь не понравилась! — сказал Федор. — Был случай, точно вот так...

— Да я тут уже была! — фыркнула Тоня.

Проходя по горнице, Светлана сказала насмешливо:

— Аника-воин... за что тебе только медальки повесили...

Румба вертелась у ног.

— А можно ее погладить, Румбу? — спросила Тоня.

— Ну и имечко выбрал! — все с той же насмешкой сказала Светлана и пропела дурным голосом:

Румба — хороший танец,
Румбу танцуют все,
Румбу привез испанец,
Румба живет в Москве!

Румба — словно про нее пели — ослабилась.

— Улыбается! — ахнула Тоня.

Светлана протянула руку, и Румба доверчиво подставила бок: почесали... и прижалась к ногам Светланы.

Вышли на подворье. Румба помчалась впереди.

— Далековато от поста, — все еще сомневалась Светлана.

— Сойдет, мировое помещение!

Так, разговаривая, они вышли на дорогу, ведущую к рокаде. И тут Федор, преобразившись, прыгнул вперед:

— Стой, назад!

— Да иди ты!..

— Назад, говорю! — он схватил Светлану за руку и так дернул, что она споткнулась. И — о, ужас! — высокий каблук сломался. Это привело ее в совершеннейшую ярость. Прыгая на одной ноге, размахивая покаленной туфлей, она бросилась, норовя стукнуть Федора.

— Ненормальный!

Он выхватил нож и шагнул вперед, глядя на дорогу. Там сидела Румба, сосредоточенно глядя в пыль. Федор опустился на колени, разгреб пыль, затем ножом стал осторожно счищать землю.

— Ну, что там еще? — недовольно спросила Светлана.

— Тихо! — он поднял руку. — Уйти всем. Мину буду снимать!..

— И впрямь — мина? — раздалось совсем над ухом. Он поднял голову. На лице, на бровях, на пшеничных усах блестели капельки пота. И первое, что он увидел, — круглые колени Светланы, присевшей рядом. А потом совсем близко увидел ее глаза. И забыл обо всем. Такое лицо было у него, что Тоня сказала со вздохом:

— И этот втюрился. Эй, взорвешься!..

— Как тебя зовут? — спросил он тихо.

— Светлана.

— А я Федор. Вот это да-а!

— Ослепнешь! — улыбнулась она.

— Уйди. Очень тебя прошу. Уходите дальше.

Румба заворчала. Головой толкала Светлану, прогоняя.

Девушки отошли, и Федор стал извлекать тяжелую мину. Светлана с улыбкой наблюдала за ним.

— Эй, — затормошила ее Тоня. — Гляди, «виллис»! Кажись, твой приехал!

Светлана очнулась, заохала.

— Да как же я!.. — показала сломанный каблук. — Быстро принеси сапоги!

Тоня убежала к палатке, возле которой стояла штабная машина и виден был офицер.

Федор подошел к Светлане, рукавом вытирая мокрое лицо.

— Спасибо, — она улыбнулась ему. — Спаситель. Только вот что ты, спаситель мой, натворил, — показала туфлю. Он взял ее в руки.

— Ма-ахонькая!.. Не тужи. Завтра явлюсь разминировать — принесу в лучшем виде! — Починишь?

— Так ведь солдат я! Все обязан... Да... ты вот что. Сейчас я это место веревкой обнесу, напишу табличку: «Мины». А ты — там перенеси-ка свой пост к развилке, и на эту дорогу — никого, поняла? Завтра очистим...

— Поняла, товарищ начальник! — она,

слушая невнимательно, поглядывала на офицера у палатки.

Прибежала Тоня, сапоги принесла, горячо зашептала:

— Скорей иди, ждети!..

— Не забудешь? — говорит Федор Светлане. — Дождь полет, табличку смыть может, так пост непременно сюда!..

— Сделаю, сделаю! — Светлана обулась, топнула сапогом, убежала, скомандовав Тоне:

— Отправь сержанта с попуткой!

Федор шел с Тоней к дороге. Румба впереди, помчалась за Светланой.

— Ты, брат, это, — сказала Тоня. — Сюда рот не разевай, штилеты не бей. Куда тебе!.. Тут такая любовь!..

А Федор ее удивил:

— Дак что же... Это мыслимое ли дело — эдакой красотище да в безхозности пребывать!

Когда полуторка проезжала мимо палатки, он помахал туфлей и крикнул Светлане:

— Про пост, пост не забудь!..

И Румба весело залаяла на нее.

Она, не поворачиваясь, махнула рукой. Пунцовая от смущения Светлана стояла возле «виллиса». Лейтенант с нашими раными, волнуясь и скрывая волнение, говорил тихо:

— Приглашаю. Вечером у нас кино...

— Как же я уеду?..

— Это просто. Ефрейтор! Остаются за старшего, старший сержант вызван в штаб!..

— Есть за старшего...

«Виллис» с места рванул — пыль взвилась. Проскочил по рокаде, мимо ответвляющейся дороги с самодельным платком: «Мины», вкопанным посреди дороги.

Пахнуло прохладой. С севера заходила сизо-мрачная туча, разбухая вполнеба. И там сверкали, полыхали резкие молнии.

Полуторка, в которой ехали Федор с Румбой, тряслась на ухабах, катила по пыльной дороге. Одичалые, заросшие поля проплывали мимо, расколота бомбой старая слива, не успевшая вырастить плоды, сухой бурьян по пояс, сожженные хутора. Сидя на ящиках, Федор разглядывал туфли как чудо из чудес; и сам не знал, какая глупая улыбка была сейчас у него на лице. Солдат, сопровождавший груз, пристроился в углу у борта, подстелив соломы, все бормотал про себя, удобнее укладываясь на шинели, охал, чертыхался, искоса с удивлением посматривая на Федора.

— Ты чего? — не выдержал, спросил про улыбку.

— А? — Федор посмотрел на него, не видя и не понимая.

Солдат опасливо отодвинулся, косясь на него, на Румбу, вставшую передними лапами на крышу кабины. Жмурилась Румба от ветра.

Упали первые капли дождя.

Столики кафе на холме в парке. Сидят три человека — режиссер, редактор и молодой мужчина с усталым, изборожденным морщинами лицом. Режиссер читает отрывок из книги. Когда он закрыл ее и положил на стол, стало видно заглавие «Записки конструктора» и портрет пожилого человека на обложке.

— Вот здесь, — сказал режиссер, — вы пишете о военной собаке. Это Румба?

— Наверное, — ответил Конструктор. Он сидел, повернувшись лицом к танцплощадке, пальцами отбивая ритмы, доносящиеся оттуда. Отсвет мигающих цветных огней падал на его лицо.

— Да, Румба, — повторил он. — Вот не могу я забыть это существо. Она шла рядом с нами, ведь по сути она отрекалась от себя. И только любовь её вела. Любовь и верность. Она, Румба, по совести, так и мне жизнь спасла, да только ли мне?

— Расскажите!

— Федор Чаклун, — задумчиво произнес Конструктор. — Что вам сказать? Вот сейчас иные из нас, ветеранов, ну как бы это... придумывают себя что ли... Ненамеренно, нет. Свойство памяти — выглядеть лучше, красивее... Так вот Федя Чаклун лишен был всего этого на чистое.

Внизу на танцплощадке — взрыв ликования, крики.

— С ума посходили, — поморщился редактор.

— А мне нравится! — сказал Конструктор. — Знаете, зачем я прихожу сюда? Я их хочу понять. Свою внучку, к примеру. Посмотреть на мир ее глазами, ведь завтра этот мир — их, а не мой, не ваш...

К ним подошли и молча попросили прикурить два странных существа с прическами «взрыв на макаронной фабрике», оба в джинсах, оба с нарумяненными лицами. Кивнув, пошли к танцплощадке, и только по тому, что одно существо обняло другое за плечи, можно было догадаться, что это юноша.

— Ну и ну, — улыбнулся редактор.

— А что? — заодно спросил Конструктор. — Нет, от их музыки у меня, конечно, тоже голова трещит. Но ребятки нравятся. Знаете, чем? У них придуманное, ложное не пройдет, если учуют его — оскорбят-ся им.

— А вы полагаете — пусть бесятся?

— А вы полагаете, как прежде, хватать ножницы и резать на них брюки, если они не той ширины? — зло сказал Конструктор.

— Ну при чем тут брюки?

— А при том! Я в аспирантуре учился после войны. Встречает меня в городе лихой комсомольский патруль и — цирк брюки.

Широки! А они — единственные! Ну я им и врезал. А потом на них — в суд. Суд дело не берет, все в растерянности. А я — их оружием, демагогией, — нарушение, мол, конституции! Боже, что было! Райком, горком... серьезные люди, страна в таком положении, а они — с брюками воевать. Думал, посадят! А потом говорят: штрафник, что с него взять? Однако диссертация надолго уплыла! Ёффу! — ему и сейчас было неприятно вспоминать все это. Только добавил: — Заметил я... кто вот так... брюки режет или орет громче всех... эти-то и кончают взятками да воровством.

— Не слишком ли вы обобщаете? — спросил режиссер.

— Ну, в лучшем случае активно помогают закрывать дела взяточников и воров.

— Судя по всему, близко знали сержанта? — вернул его к делу редактор.

— Ну такой штрих. Мы все, конечно, переживали — шутка ли, штрафбат. А Федю одно мучило: собаку-то не имел права брать с собой! Он и по команде обращался, да не до того было...

Хмурое раннее утро. Уже который день идут обложные дожди, и весь мир поплыл в грязи.

По степи, по тропкам да грунтовке во весь опор летит, мчится собака, обрывок поводка болтается. Румба. Перепрыгивает через лужи.

На рокаде, на контрольно-пропускном пункте девушки сбились с ног. На глинистой дороге машины буксуют, ползут, разворачиваются боком — и вот уже пробка перед мостом.

Мечутся разъяренные офицеры, кричат, кто-то размахивает пистолетом перед лицом Светланы.

Девушки в плащ-палатках, как нахохлившиеся птицы, бегают от машины к машине, упрасивают, ругаются.

Сбросив ватники, насквозь промокшие люди с искаженными от натуги лицами толкают ревущие машины. Их захлестывают потоки грязи.

Надсадный, нечеловеческий труд. Война. Обезжая грузовики, подскакивая на выбоинах, промчался штабной «виллис». Светлана проводила его взглядом.

— Да выбрось ты из головы своего лейтенантика! — в сердцах сказала Тоня.

— Не твое дело, — буркнула Светлана.

И тут появилась Румба. Бросилась к Светлане, повизгивала, металась, ища хозяина; не найдя его, жалобно тянулась к Светлане, скулила, тащила ее за юбку, словно звала за собой. Светлана присела и гладила ее по голове.

— А всё ведь из-за тебя человек по-

страдал! — осуждающе сказала Тоня.

— Нету твоего сержанта, — сказала Светлана Румбе.

— Говорят, их, штрафников, отправляют сегодня, — подал голос пожилой ефрейтор.

Румба смотрела в глаза Светлане. Не выдержав этого взгляда, Светлана встала и решительно направилась к «виллису». Летчик-капитан, завидя ее, подтянулся, заулыбался.

— Отвезите меня с собакой к станции! — не то попросила, не то приказала Светлана.

Летчик взглянул на часы, отчаянно махнул рукой.

— Эх, быть мне битым. Садись!

— Па-ш-шел!

— Живей, доходяги!

— Марш, марш!

Под дождем, оскальзываясь, бегут штрафники, тащут на плечах тяжеленные мешки, ящики, грузят в вагоны.

Охрана — тыловые, сытые — привычно покрикивает, похаживая вокруг с автоматами.

— В-веселей!

— Ш-шевелись, лишенцы!

Предельно измученные, мокрые, красные от натуги лица.

Хриплое дыхание сквозь зубы, сдерживаемые проклятия.

— Ко мне! — зычный голос.

Восемь человек стоят, тяжело дыша, перед начальством.

Весь в потертых ремнях, в фуражке с треснувшим козырьком, не обращает внимания на дождь, не вытирает лица — капитан Доний.

— Новички? — спросил. — Значит, так. На время пребывания в штрафном батальоне обращение «товарищ» отменяется...

— Знакомо, гражданин начальник, — буркнул рослый малый с татуировкой на руках.

— Тебе знакомо, да не для тебя речь, — сказал капитан. — Потому скажу так. Вы есть пасынки судьбы и виновны в том сами. И сами, если мужчины, должны и переломить эту судьбу. Но как? Отсюда не выходят так просто. Отсюда выходят или с первой кровью или с наградой. Сейчас грузимся. Оружие получите перед боем. Вопросы есть?

— Хавать дадут когда? — спросил татуированный.

— Блатные привычки изъять! Тебе повели, допустили Родину защищать, и делать это надо руками чистыми. Это я тебе, Корнев, говорю. Завязать! Еще вопросы? Нет? Так у меня такое, последнее. Кто побегит, спрячется там, слукавит — стреляю без предупреждения, а я хорошо стреляю! Я побегу — стреляй в меня. И только так. Там, куда пойдем, один за всех и все за одного. А теперь получите сухой паек. Б-быстро!..

— Быстро, быстро!.. Отправляемся!.. — покрикивал старшина, выбрасывая им консервные банки и хлеб. Федор протянул руку, но его порцию хлеба перехватили.

— Имеешь жалобы, фраер? — поигрывал финкой Корнев.

Федор смолчал, и Корнев перехватил хлеб у молчаливого молодого солдата интеллигентного вида. Мы узнаем в нем Конструктора. Вдруг резкий удар — блатняга грохнулась и, как куль с мукой, сполз вниз.

— Шпана... мразь блатная...

— Н-ну, сука! — хрипел Корнев. — Я те, падла!.. — но броситься не спешил. — Права качать? Я в законе...

Молодой солдат рывком за ворот подтащил его к себе, сказал прямо в перекошенное лицо:

— Один вот такой... у женщины карточки отнял. А у нее — пять душ. А муж убит! — свирепая говорил он, и Корнев заметно тушевался. — И мне таких жалеть? — сквозь зубы продолжал он.

— Отставить!.. — капитан Доний тут как тут. Оглядел обоих. Понял. Поднял финку Корнева, подбросил на ладони.

Тут пронеслось:

— По в-вагонам! Конвоирам — удвоить внимание!

Раздался резкий зовущий гудок, затопали сапоги, заржали лошади, отчаянно закричали взводные.

На разбитый перрон вылетела Румба. Бросилась к дернувшемуся вагону.

— Отойти! — закричал, защелкал затвором конвоир. — Стрелять буду!

Румба на ходу прыгнула в вагон.

— Куда ты, дуреха! — обрадовался ей Федор. Приласкал. Она тыкалась головой в грудь, быстро лизнула его в нос. Отталкивала от него солдат.

— Не положено тебе с нами, Румба! — говорил Федор. — Никак нельзя!..

— Не выбрасывать же ее! — резонно сказал Конструктор.

— Прояви красноармейскую находчивость, — сказал отделенный. — Спрячь ее!

Федор поднял голову. Светлана шла рядом с вагоном.

— Прости, — сказала. — Все из-за меня!

— Жалко мне тебя! Невыразимо! — с тоской сказал Федор.

— Чего-о?! Жалеть? Меня? И кто — ты? Да я...

Проплывает мимо Светланы надпись: «Сорок человек, восемь лошадей».

Все быстрее катится вагон, все резче чететка колес.

— Губы-то... зачем красишь? — выкрикнул Федор.

— Дурачок... это от солнца. И ветра... чтоб не трескались... Я напишу тебе!

Румба из вагона весело залаяла ей прощаясь.

И осталась маленькая фигурка там, далеко позади. Замелькали столбы, деревья.

— Ишь ты, — мечтательно улыбаясь, сказал Федор. — От солнца, значит. А я-то, я!..

За ним в вагоне устраивались солдаты.

— Говорят, на плацдарм нас...

— Не бойсь, дырку найдут...

Солдаты укладывались вповалку. Румба крутилась, ища местечко рядом с Федором, — а места не было. Она лапой настойчиво потрогала солдата: мол, подвинься. Это был Корнев. Замахнулся на нее.

— Мне в лагере псы надоели! — заорал он на Федора.

Румба щелкнула зубами — он заматерился, перебрался в другое место.

Стучали колеса. Вечерняя заря занималась над лесом.

На самом исходе ночи тьму расплосовывал огонь. Зашаталась земля, заложило в ушах, и стал ад. Разноцветные трассы вонзились в берега, в воду, плыли в небе на парашютах осветительные ракеты, непрерывно сверкал оранжевый огонь, и дым застилал прибрежные лозняки. Полки ударной дивизии рванулись к реке, плыли на всем, что могло держаться на воде. Вода кипела, в небо летели обломки понтонов и лодок, человеческие тела, оружие, накренились и уходили в пучину с разбитых плотов пушки и танки. Огонь был такой плотности, что уцелеть было невозможно.

Но приказ есть приказ. И люди выскакивали из окопов, бросались к плотам и лодкам, гребли прикладами, досками. Злой порывистый ветер нес ключья дыма, сметал, срывал дымовые завесы, просвеченные сплошным полыхающим огнем.

Взводные, осатанев, с пистолетами гнали людей на плоты; один из солдат упал на колени и молился, и юный лейтенант с обезумевшим лицом тащил его за ворот к лодке.

Перекошенные лица. Гребут надрываясь. Ссыпаются в воду. Стреляя на ходу, бредут к берегу.

В окопе Румба дрожит от страха и, возбужденная, жметесь к ногам, с мольбой смотрит на Федора, изготовившегося к броску. Скулит, плачет. Не хочет в огонь — знает, что это такое.

— Ну, Румба. С богом! — Федор оттолкнулся от земли и бросился под ураганный вой и свист. Взвизгнув, Румба бросилась следом.

И так, задыхаясь, обессилев, ползут, врываются в траншею, падают на обороняю-

щихся, бьют ножами, опрокидываются под очередями в упор. Нечеловеческая, грозная, страшная, невыносимая работа войны. Ветер несет лохмотья тумана, черного дыма.

Лодку разбило, Румба окунулась в воду, крутила разовой. Рядом шумно вынырнул Федор. Успел схватить с тонущей разбитой лодки автомат. Плывут к берегу, а от туда в упор — жаркое пламя и фонтаны-строчки очередей.

Шатаясь, бредет в воде и от пояса стреляет Федор. Озаренный этим огнем, выходит на берег. К нему бросаются враги, он швыряет гранату и вслед за ней сваливается в траншею, и Румба прыгает туда же; мелькнуло длинное тело, и опрокинулся чужой солдат с занесенным над Федором тесаком.

Когда взойшло солнце, глазам предстала нерадостная картина. Точно ураган прошелся по берегам, срубил, выкосил ивы, лозняк, вербы, свежо белели щепой деревья. Остатки лодок, кружась, плыли по реке. Плыли трупы.

На берегу, в истерзанных, разрушенных траншеях и блиндажах телефонные трубки раскалялись от гнева начальства.

— На том берегу!.. Установить связь невозможно!

— Погонями, головой отвечает! Кто там зацепился?..

Другой голос в сплетении проводов:

— Товарищ пятый, я восьмой!.. Две роты отдельного батальона... и штрафники!

— Связь с ними! Немедленно!..

— Четвертый связист убит при попытке!..

— Объявить в роты — Героя за связь!

На обугленном плацдарме, где зацепилась пехота в немецких траншеях, — следы жестокого побоища. Здесь шла рукопашная. Штрафники очищают окопы от убитых немцев, вываливают их за бруствер.

Штрафники оборваны, в бинтах. Всюду валяется оружие, ящики, окровавленные бинты, котелки, тянутся провода. Люди лихорадочно, спешно углубляют, переоборудуют траншеи. Изможденные, выжатые, мокрые. Мелькают лопаты, взлетает земля.

— Торопись, торопись! — пробегает взводный.

Поднатужась, выворачивают бревна разбитых блиндажей. Нечеловеческая, адская работа.

— Скорей! Сейчас он пойдет!..

Доний приник к биноклю. Посыпалась земля, в траншею свалились разведчики.

— Подползли к роще, там на опушке танки подтягиваются... А во-он... в том овражке пехота накапливается.

— Будто знают гады, что нам их нечем достать!

— Э-эх! — скрипнул зубами Доний. — Сейчас бы нашим пушкарям координаты!

Радист молча протянул капитану разбитую лампу.

— Вот. Пулей зацепило.

Доний схватил лампу.

— Цена наших жизней. — Хотел бросить, но Федор перехватил его руку.

— Капитан! — сказал Федор. — Пишите о танках, координаты, что надо. И это, — взял разбитую лампу, — чем радию оживить, все пишите!

Доний недоверчиво оглядел его.

— Четверых связанных снайпера убрали. — И отвернулся. — Ты же не птица!

— Румба сможет!

Доний с надеждой посмотрел на Румбу. Присел, взял руками за морду.

— А что? — говорит. — Ну, друг человека! Спасай!..

Усилился ветер. Гнал клочья дыма.

У самой воды, в нависших над стремниной кустах — легкое шевеление. Свежестью тянет с реки, туманы уже поднимаются над розовеющей водой — скоро взойдет солнце.

Федор закрепил на голове у Румбы пучки травы, она вертелась и не поддавалась — непривычно, неудобно.

— Надо, милая, надо. А то снайпера враз на пушку... Ну иди, милая... Работай!.. — он прижал ее к себе, легко подтолкнул к воде, показывая на тот далекий берег.

Но Румба не хочет плыть. Замочив лапы, пятится назад, умоляюще смотрит на Федора.

По реке проплыл плот с разбросанными на нем кровавыми клочьями. Лежали убитые.

— Туда, Румба! Туда... Пошла!..

Она вздохнула, как человек, и вошла в воду. Поплыла. Течение стало сносить ее. И скоро уже не различить ее среди плывущих обломков, коряг, ветвей, досок. Плывет пучок травы по реке среди прочего хлама.

А десятки измученных, обреченных глаз с надеждой смотрят ей вслед.

По траншее к Донию подбежал Конструктор. Гнал перед собой Коренева, швырнул его так, что тот свалился к ногам капитана. Сзади подошел пожилой солдат в погонах (штрафники были без погон), с ним большая собака с темными полосами.

— Вот! — с омерзением сквозь зубы сказал Конструктор. — К немцам уползал!

— Я не уползал! — Коренев мечется, хватается за сапоги, лицо перекошено от ужаса. — Падла буду! Потерялся, не в ту сторону лез!

— Выведи его за бруствер и... — Доний махнул рукой, отвернулся.

— Ребята! — кричал Коренев. — Не сгубите! Гад буду, век свободы не видать! По гроб жизни! — он бросился к одному, другому, но все как-то брезгливо отодвигались от его цепких грязных пальцев. Отворачивались. А кто отталкивал.

— Приготовились! — заорал Доний.

Шквальный огонь ударил по позициям. Рев и свист снарядов, треск пулеметов тонул в диком грохоте разрывов, все стало затягивать дымом и пылью. Грозно ревели моторы.

Федор подтолкнул Коренева.

— Иди!

— Не надо, браток! Молю!..

— Бери оружие и стреляй! — крикнул Федор.

— Я найду, я живо! Я... вон пулемет!..

— Брось, он разбитый! Бери это!

Он подбежал к ячейке, кивнул на противотанковое ружье. Коренев готовно схватился за приклад.

— Патроны в сумке, — флегматично сказал солдат в погонах. Возле него сидела собака с темными полосами и лежали в брезентовых чехлах мины.

— Гляди ты! — крикнул Федор. — Свой брат, собачник!

— Это твоя уплыла? — спросил сапер.

— Моя...

— Минер! — донесся крик Дония. — Давай на левый фланг, закрой минами дорогу танкам!

— Есть! — закричал Федор. — Пошли! — тронул автоматом Коренева.

Они тяжело бежали по траншее. Взрывы осыпали их землей. Грохот танков нарастал, и нестерпимо кричал смертельно раненный солдат: «Санитара-а!.. Санита-а-а-ра-а!»

У края траншеи Федор остановился, крикнул Кореневу:

— Видишь ползет? Он сюда, сбоку наметился. Я ему минами дорогу закрою. А ты, чуть подставит бок — бей!

Коренев утерся рукавом.

Взяв в обе руки круглые коробки противотанковых мин, Федор перевалился через бруствер и пополз по изрытому полю. Фонтанчики пулевых разрывов иногда возникали слева и справа.

— Вре-ешь! Гад! — Федор вытирал мокрое лицо. Поставил одну мину, чуть присыпав ее, пополз дальше. А там навстречу уже грозно нарастал танк. Тяжелый «тигр».

Федор оглянулся назад, на Коренева: «Где же ты? Бей!»

Коренев сидел на дне траншеи, закрыв голову руками.

Все сильнее доносился, нарастал гул мотора и стал невыносим.

Коренев вжимался в землю. Противотанковое ружье лежало на бруствере. Подбежал солдат в погонах. Присев, стал надевать на собаку мешочки с минами.

Федор спешил, полз наперерез танку. И он бы успел. Да запутался в колючей проволоке — и в тот же миг пулеметная строчка прошла сквозь него, зазвенела проволока.

Танк близился, нарастал, грохоча мотором, лязгая гусеницами, пер прямо на Федора. А Федор бессильно и безжизненно повис на проволоке.

Танк накатывался все быстрее, и было ясно, что сейчас широкие гусеницы раздавят человека.

Но вдруг — что это? Широким наметом, стелясь над полем, перепрыгивая через воронки, летела навстречу танку серая собака с черными полосами. На боках ее были приспособлены холщевые заряды, торчал штырек-антенна. Трассирующие очереди из танка легли перед нею. Зацепили ее, она упала. Морда была окровавлена, но она собрала последние силы и, когда танк уже был недалеко от Федора, вскочила и, шатаясь, бросилась под танк. Чудовищный взрыв разметал гусеницы, над танком рванулось и вспыхнуло пламя, пахнуло огнем и смрадным черным дымом. Дым этот и затянул экран. Но тут же ветром снесло его. И три других танка оказались совсем близко, накатывались неумолимо.

Совсем близко траншеи. Вот-вот раздавит, растопчет тяжелая лязгающая гусеница Федора.

Редкие уцелевшие солдаты в траншеях вжались в землю.

Один закричал в ужасе, рванул ворот рубахи, бросился из траншеи вон. Его буквально разнесло на бруствере.

И вдруг за рекой загремело и зашипело, словно множество паровозов выпускало пары. Огненные стрелы замелькали в небе. И вот тут, прямо у танков, на стальных коробках возникли, расцвели огненные кусты, много, сливаясь друг с другом; и уже полыхал адский огонь, и дым, черный и жирный, клубился на горячей земле.

— «Катюши!» «Катюши-и!».. — кричал пулеметчик.

— Румба! Доплыла, родная! Доплыла!.. — закричал связист возле Дония и подбросил каску, она тут же и отлетела, сбита пудлей или осколком.

— Врешь, гад! — показывал немцу кукиш пулеметчик. — Доплыла!..

Доний стоял и в бинокль смотрел не на поле боя, а назад, на реку.

— Плывет! — несло кругом. — Вон она, глядите! Плывет, собачка! Плывет, родная!..

Наверху кипел бой, а здесь, у обреза воды, солдаты встречали Румбу. Мокрая, выскочила она из воды, отряхнулась. На радостях лизнула солдата, поворачивалась, подставляя бок, взглядом искала Федора. Доний снял повязку. В непромокаемом пакете лежало что-то тяжелое.

— Есть лампа! — крикнул Доний. — Держи, радист!.. А это? — Он передал лампу, развернул и прочел приказ. Раскрыл другую сумочку. В ней тускло сверкнуло серебро медалей. — «Вручить отличившимся на поле боя и считать снятой судимость». Вот, пацанки судьбы! — с торжеством поднял награды. — Есть шанс выйти в люди! Отобьем атаку, лично вручу!

Румба металась, искала хозяина. Бросилась по траншее. Промелькнула мимо окровавленного Коренева, пытавшегося встать, мимо убитого сапера, вымахнула на бруствер.

Она нашла Федора! Заглядывала в лицо, лизала, лаяла, звала. Ухватив за ворот, попыталась тащить — да цепкая проволока не пускает. Свирепо лаяла на разрывы, на дым.

А Федор уже не слышал, как, пробегая в том дыму, кричал капитан Доний:

— Вперед, славяне!.. Вперед, штрафнички, сыны Отечества!

В прорыв на плацдарме хлынула ударная армия. Еще горели и взрывались танки, не убраны мертвые, еще бредут полями раненые, а ездовые нахлестывают коней, уже катятся батареи, грузовики, заправщики, их обгоняют юркие штабные машины.

Нестройные пехотные колонны растянулись в изнурительном марш-броске. Осунувшиеся черные лица, жадно хватющие воздух рты. Тяжело бегут колонны. Колеблется, позвякивает снаряжение. Минометные ленты, станины пулеметов, кожухи, телефонные катушки, ящики с минами, патронами. Глухой топот. Натирающие шею скатки. Ставшие пудовыми автоматы. Вперед, вперед! Шатаясь, оскальзываясь, из последних сил, задыхаясь, бегут колонны. Едкий пот заливает, щиплет глаза. Кто-то упал.

Румба мечется на дороге, чуть не попадая под колеса, бросается к людям, зовет — да никто не поймет ее. Некогда.

Нартовая тележка везет раненого, рядом бежит девушка. Раненый Конструктор увидел Румбу, приподнялся, позвал. Бросилась к ним Румба. Конструктор сполз на землю, жестом отослал санитарку. Румба тащит ее за юбку, а когда увидела, как тележка разворачивается, побежала впереди, мчалась, летела к догорающему танку, к моткам колючей проволоки...

Новое, сияющее стеклянными стенами здание медицинского научно-исследовательского института. Во дворе — скамейки, больные в пижамах сидят, бродят по тенистым аллеям. Тепло, тишина.

Пожилая, в больших годах медсестра в зеленом халате настороженно смотрела на диктофон, который приготовил редактор.

— Нам дали ваши координаты, — говорит режиссер. — Вы служили в том госпитале, куда после штрафбата попал раненый сержант Чаклун, не припомните его?

— Да их тысячи было, где упомнить!

— А мы поможем. Он сапер, с ним собака была. Румба...

— А-а, ну как же! Это помню, как же, там еще с этой собакой история приключилась... постойте, а вам это к чему?

— Будем делать передачу.

Она помрачнела и решительно сказала:

— Нет. Не хочу. Не буду! Нет, нет и нет... — она решительно встала.

— Но почему? Что с вами?

Она, поколебавшись, остановилась. И в лицо режиссеру:

— А зачем это? Кому это нужно?

— Да для народа нужно! — не выдержал редактор. — Для молодежи, наконец, нужно!

— Попала я случайно на собрание гаражного кооператива. Встает один в президиуме. Красномордый, лет тридцать пять — сорок. Упитанный такой. Вот, кстати, наверное, никогда еще в стране не было столько таких... упитанных! Ну, встает он и читает инструкцию... А у них там ветеран задал вопрос, есть ли льготы, мол, фронтовикам. Вот этот и читает: нет льгот. Ну нет, так нет. Но как он читал! Левитан так про победу не читал! И не в том даже дело. Их там человек пятьсот было! Боже! Чуть не обнимаются, кричат, ногами от радости топают! Как же, нет льгот ветеранам! А те, бедные, их там и было-то человек пятнадцать, сидят, головы опустили, готовы сквозь землю провалиться. Этим, упитанным, что ли, про сержанта показывать?..

— Тем более нужна такая передача! — твердо сказал режиссер.

— Ага. Они после сытного обеда, да еще с рюмкой, не прочь даже и прослезиться от такой передачи. Эмоции способствуют пищеварению... а потом выйдет на улицу... да что там! Ехала я со встречи однополчан, разболелась вся. Ну и в кои веки хотела хотела льготу использовать, билет на поезд без очереди... Эк на меня окрысились! Цацки, кричат, понадевала! Да такого наслушалась!.. Убежала в сквер, наревелась, медали снимала...

— Наша вечная слава. Невеселый резон, — сказал режиссер. — И все же... все же...

— Да что там! — она махнула рукой. — Потому и не хочу услаждать пищеварение красноморды... Что было — наше. С ним и уйдем...

— Тем более нельзя, чтобы память о сержанте пропала.

— Да я знать-то о нем не знаю. Вот только и запомнилось — как он собаке не изменил. Как ради нее на жертву пошел...

Мечется на госпитальном дворе Румба, бросается к дверям, санитары гонят ее.

Федор лежал на операционном столе, и врачи склонились над ним.

— Есть! — торжественно сказал хирург и, показав всем осколок, швырнул его в таз под столом, полный окровавленных бинтов. Звякнул металл. — А пуля — ему на память! Уж больно аккуратно, по заказу прошла. Чуть бы правее и — «напрасно старушка ждет сына домой».

Лицо Федора в испарине. Он под глубоким наркозом.

Румба металась по двору, пыталась заглянуть в окна, встав на задние лапы.

Ее прогоняли. Она увернулась от санитаря, но не убежала, а попыталась лизнуть ему сапог — только бы не прогоняли.

— Пошла прочь! — заорал он, замахаясь поленом.

— Отставить! — послышался усталый голос.

Это вышел врач, руки в окровавленных перчатках держал перед собой. Шатался от усталости. Санитарка сунула ему в рот зажженную папиросу. Он смотрел на Румбу, напряженно глядевшую на него. Она поняла, что он главный, и доверчиво, с надеждой приблизилась и заглянула в глаза.

— Будет жить твой солдат, собачка...

Санитарка вытерла марлей лоб врачу, упала горящая папироса. Врач спал. Санитарка осторожно будила его.

— Раненый на столе...

— Да-да...

И уже уходя, оглянулся на Румбу.

— Говорят — Павлов, говорят — рефлекс, — сказал он. — Вот он, разум! Ну, может, не такой, как у нашего начхоза, но несомненно — разум! Кстати, собаку не прогонять!

— Нельзя, товарищ военврач! Нельзя ей тут...

— Плевать я хотел на нельзя! Вся эта война — сплошное нельзя.

Румба прижилась в госпитале. Повар кормил ее остатками, да раненые, соскучившись по дому, видели в ней то доброе, полузабытое и уютное, что было когда-то домом. Норовили приласкать, погладить. Она уже знала окно на первом этаже, треть от угла, палату, где лежал Федор, он иногда появ-

лялся там, ходил с костылями.

Румба сидела, подняв голову к небу, и, полузакрыв глаза, самозабвенно «пела» под гармошку. Выводила рулады, а раненые, окружив ее кольцом, охали и дивились.

— Из цирка, что ли?

— Да не-е! Сапера собачка!..

Румба перестала петь. Ее привлек веселый шум, крики и суета в палате, она встала на задние лапы и пыталась разглядеть, что там творится.

Творилось же несерьезное. Выздоровливающие раненые — мальчишки — затеяли потасовку, швырялись, дрались подушками. Только Федор и Корнев — это старшие — не принимали участия.

— Пацаны, — снисходительно сказал Корнев, пытаюсь завязать разговор.

Федор решил:

— Ты... это. Кровью судимость смыта — и ладно. А для меня ты — как был, так и есть... и говори, не говори — не отвечу!

Он отвернулся, встал.

— Хватит вам! Мальцы... — прикрикнул на раненых и не увернулся от летящей подушки. Охнув, осел на кровать, схватился за голову. Все удивленно стихли. Подушка упала на пол, тяжело стукнула.

— Ой, — спохватился паренек.

— Там что у тебя, кирпич?! — завопил Федор. И Румба влетела в окно, бросилась к нему, рыча на всех сразу.

— Не-е... — оправдывался паренек. — Не кирпич... Это...

Федор достал из подушки трофейный пистолет.

— Почему не сдал? — морщась и потирая здоровенный синяк, допрашивал строго.

— Так отберут! — оправдывался паренек.

Послышался топот бегущих; едва успели спрятать пистолет, в комнату ворвались медсестры.

— Все по местам! Генералы приехали!

— Эт-то что за безобразия! — увидели Румбу.

— Собака?! Да нас за это всех наладят! Вон, немедленно!.. Генерал собак терпеть не может, а вы!..

Федор ухватил Румбу за ошейник, потащил в коридор.

— Идут!.. — навстречу бежал врач. — Сюда ее, в конторку!

Федора и Румбу втолкнули в конторку, захлопнули дверь.

— Тихо, Румба! — шепотом сказал Федор, оглаживая ее.

В коридоре пропали уверенные шаги, донесли голоса:

— Награждать будут!

Федор в конторке прислушивался, держал Румбу. Смотрел сквозь плохо замазанное

мелом окно и видел: на заднем дворе солдаты, нестроевые, пилили нестроганные доски, сколачивали ящики-гробы.

Другие выносили умерших, укладывали в эти ящики; грузили их на подводы, враз по несколько штук, накрывали палаткой. И увозили, привычно понукая лошадей, ездовые.

Бравый генерал вошел в палату, за ним адъютант с коробочками, порученцы — все в белых халатах.

— Здравствуйте, товарищи бойцы! — трубным голосом возвестил генерал.

— Здра... жела... товарищ... рал! — нестройно, разноречно в ответ: не в строю, непривычно.

— Где ранен? — пошел генерал вдоль коек. — Специальность?

— Под Терновкой, связист...

— Спасибо за службу!

Адъютанту — знак, и коробочка с медалью в руках генерала, он ее — связисту, а офицер с бумагами идет следом, записывает. Один, другой... И пустая кровать Федора, мимо прошел генерал.

— Где ранен? — спросил у Коренева.

— На плацдарме...

— О, — в голос генерала одобрение, хотел генерал руку пожать, а руки — бинты сплошные, толстые чурки. — Спасибо за службу.

И пошел дальше. Офицер присел на край кровати, временное удостоверение на медаль положил на планшет, список.

— Фамилия? Звание? — спросил тихо, чтоб не мешать генералу.

Когда все закончилось и Федор появился в палате, только теперь вспомнили о нем, и всем стало неловко. Он обвел взглядом палату — у всех новенькие медали сияют прямо на нательных рубашках, рядом — на тумбочках.

— Поздравляю, — глухо сказал Федор, — с правительственной наградой.

Было уже поздно. В палате все спали, кто-то храпел.

— Слышь, — прошептал Коренев. — Я ить теперь чихать хотел на всех. Крути не крути — герой войны!..

Федор отвернулся.

— Не одобряешь, — насмешливо сказал Коренев. — А я так полагаю: надо уметь жить! Что в войну, что без войны. Уметь, понял? А так-то вот... лбом об стенку да всюду по правде, этак много не наживешь...

Федор упрямо молчал.

— Ну и молчи! — со злобой сказал

Коренев. — Человек только рождается, он что кричит? «Дай» кричит, а не «на»!

— По этому закону я тебя шлепнуть должен был там, на плацдарме.

— А нахось, выкуси. Слабо тебе! Человека казнить...

— А тебе?

— Человек для себя живет. Для себя! И нечего тут...

Федору невольно его слушать, встал и вышел.

Румба ждала его у крыльца. Он сел на ступеньку, она доверчиво улеглась рядом, положила на колени голову.

Далеко на западе что-то горело в ночи, подсвечивая тучи. Одиноко гудел самолет.

Солнечные блики сверкают на стеклянной стене, где красочно изображены большие ордена Славы и Отечественной войны. День к закату, косые лучи бьют сквозь зеленую крышу ветвей. На скамье у магазина, пристроив сумку (торчат из нее цыплячи лапы), поудобнее усевшись, с удовольствием набирает трубку вальяжный старик с орденскими колодками на пиджаке.

Режиссер и редактор сидят рядом, приготовили диктофон. Старик одобрительно косится на него. Не торопится.

— Сержант Чаклун?.. А мало их было там, сержантов, лейтенантов? Это правильно, что вы обратились до меня. А то, понимаете, обидно за нашу службу. Все про разведчиков да летчиков... а ты попробуй, корпус, шутка ли, это ж десятки тысяч ртов! И в каждый надо положить что-то, да минимум два-три раза в день! Обеспечить, одеть, обусть. Опять же снабдить боекомплектом, табаком, горючим там... нет, без нас любая операция захлебнулась бы!.. А условия? Поставки, сами понимаете, аховые... транспорта нет, ничего нет... а чуть что — тебе пистолетом тычут... а тут бездорожье... а тут бомбежка... Смело заявляю... Мы эту войну на своем, можно сказать, горбу... снабженцы. Вдруг их прервали. Приблизилась пожилая женщина:

— Извините, бога ради, вы ветеран?

Старик хмыкнул. Излишне, мол, спрашивать, колодки медалей сами свидетельствуют.

Женщина заторопилась:

— Понимаете, у сестры давление низкое, ей кофе нужен, а нигде нет, вот я и хотела попросить вас...

Старик понимающе кивнул, полез в сумку.

— Да боже ж мой... прошу вас! — протянул ей банку бразильского кофе. И решительно отверг благодарность женщины; а когда она отошла, сказал режиссеру: — Эх... а небось, и у нее погиб кто... отец ли, дед...

И все же было во всем его тоне что-то, не понравившееся собеседнику.

— Извините, мы отвлеклись,— сказал он.— Сержант Чаклун был переведен к вам в сорок четвертом из саперов, так вы писали нам.

— Ну да!.. Было.— И пошутил:— Но я писал, чтобы привлечь внимание общественности к нашей службе,— обаятельно улыбулся,— а сержант!..

— Не будем отвлекаться,— не очень вежливо прервал режиссер.— Что вы можете конкретно сказать о нем?..

— Я его почему привлек? Нам brave ребята нужны были, у нас служба такая — ух!.. Ну, думаю, помогу парню, хватит ему на передовой!..— И заулыбался.— Я к нему — всей душой, а он!..

КПП расположился возле огромного старого сада; дорога была оживленной, работы хватало. Но сейчас все воинство Светланы, кроме регулировщицы на самом шоссе, находилось на опушке сада. Свершалось будничное, скорбное дело войны. Два солдата подравнивали могильный холмик, один ладил пирамидку. На пирамидке — маленькая фотография. Тоня.

Девушки с поста стоят в скорбном молчании, простоволосые. Головы опустили. За ними грохотала по шоссе армия. Высокое небо гудело от самолетов.

— Ну,— сказал ефрейтор, приладив звездочку. Потянулся за автоматом.— Простимся.

Девушки подняли винтовки. Но выстрелы не слышны, потому что в тот же миг раскатился могучий, страшный удар. Шатнулась земля. Светлана упала на могилу, закрыв голову руками. Яблоки градом заколотили по земле, били солдат по плечам, били лежащую девушку.

В перерыве остро звенело в ушах и доносились громкие команды из сада. И вновь сверкнул чудовищный огонь, качнулась земля, сбитые яблоки застучали по земле; уже вся могила была усыпана круглыми спелыми плодами. Это дальнбойные пушки били по отступающему врагу.

Проезжал грузовик, девушка привычно дала отмашку, как вдруг из кузова — резкий лай, и выпрыгнула большая серая собака с подпалинами. За нею, погремев по кабине, прыгнул и Федор, бросился к регулировщице. Румба скачками летела впереди.

— Ой, Румба! — узнала девушка.

— Где Светлана? — кричал Федор, хватая девушку за плечо. Закричал страшно — потому что увидел и могилу, а поодаль и солдат и регулировщицу с поднятыми к не-

бу винтовками. И среди них не было Светланы.

— Там,— кивнула регулировщица на шоссе, отвечая Федору, и он припустился бегом к могиле. Издали увидел Светлану, упал на колени возле могилы, поднял ее за плечи, приговаривая, как ребенку:

— Ну будет, будет!.. встань!.. слезами не поможешь.

— Федя! — вскрикнула Светлана и припала к его груди.— Живой? Федя, братик, снял грех с души... а у нас вот... Тонюшка... И не жила, и нецелованная!..

Он помог ей подняться. С шоссе требовательно сигнарили, звала его машина.

— Как же я рада тебе, Федя!.. это уже тебя зовут? Не уезжай, братик!..

— Мы в Григоровке стоим. Я вечером отпущусь, приеду!.. Я писал тебе! А ты — как в воду!..

— Приходи, Федя!..

И даже потянулась за ним, когда он побежал к дороге. Из машины он помахал ей рукой, и Светлана понуро побрела к палатке.

Там стоял мотоцикл и прохаживался капитан. Трудно узнать в нем интенданта, но это он. Бросился к Светлане, заботливо и участливо усадил ее на скамью:

— Поздно узнал. Помянуть надо по фронтовому обычаю. Я там привез. Ефрейтор, возьми!

Пожилой ефрейтор принял пакеты, бутылки.

— Все под войной ходим,— сказал капитан.

— Нецелованная и померла! — опять сказала Светлана.

Капитан согласно покивал.

— Поверьте мне,— сказал он.— Я от чистого сердца. Вам отвлечься надо.

— Страшно,— сказала она,— в палатку зайти. Там рядом ее койка... ее вещи.

— Надо жить,— сказал он.— Надо жить, вопреки, надо!.. Сегодня у нас военторг приезжает... кино будет... я заеду за вами!

Вечером, когда Федя и Румба появились на КПП, Светланы не было. Федор решил подождать. Они сидели с ефрейтором, тот запустил жесткие пальцы в кисет Федора, выбрал изрядную толику табака, стал сворачивать самокрутку. Федор вытащил из кармашка часы-луковицу, поглядел.

— Да-а,— протянул ефрейтор. И решил:— Ты, брат, того... сюда рот не разевай, не выйдет. Куда тебе, серому! Тут вон какие цацы. Из ба-альших штабов!..

Федор не то ему ответил, не то для себя вдруг вспомнил:

— Я до войны в леспромхозе работал... Ну... пацан!

Ефрейтор с интересом взглянул на него.

— Да... кино там, допустим... За пятнадцать верст!

— И все пешком?

— Зачем? Когда попутка... то к мотовозу прицеплюсь... а то и пешком!..

Ефрейтор только покачал головой.

Село, где расположился штаб корпуса. В большом доме на веранде — накрытый для ужина стол. Офицеры интендантской службы. Несколько девушек в военном — связистки. Светлана почти не ест, бокалazole нее — нетронутый. Играет патефон.

— Ну, так нельзя, — говорят ей. — Компанию подведите! Выпейте!

— Не надо, — сказал капитан. — Не трогайте, ребята, ей сегодня не до того... Вот, может, отвлечет!

Он подал ей пакет. Она развернула — там духи, пудра.

— Но в военторге же этого не было! — удивилась она.

Офицеры переглянулись и сдержанно посмеялись.

— «Жасмин», — прочла она и вновь готова заплакать.

— Ну, что вы, что вы, — успокаивает капитан.

— Тонины любимые.

А сказав о Тоне, вспомнила КПП. И за щеки взылась, на часики быстро взглянула. Он уловил ее взгляд.

— Сейчас закусим по-фронтовому, по-походному. И в кино! Увольнительная ваша — вот она... — Он наклонился к ней... — И вот еще. К сведению, я не нахал и не назойлив. Так что бояться вам нечего. И я действительно серьезно смотрю на наше знакомство.

Офицеры переговаривались тем временем.

— Капитан! — говорил один. — А должок за тобой растет!

— Слушай, получишь с лихвой и скоро. Вам на дивизию отгрузят тушенку. На полный штат. Я постараюсь отправить ее сразу же после наступления, ты меня понял?..

Светлана не слушала их и вздрогнула, когда возле нее снова оказался капитан:

— Заскучали? Дела...

— Вы обещали сделать для меня все?

— И сейчас повторяю это...

— Есть один человек. Достаточно он повоевал. Хватил лиха да крови пролил. Хочу спасти его! Заберите его с передовой!

— Подъем! — крикнули за столом. — В кино!

Капитан внимательно смотрит на Светлану:

— Расскажите подробно по дороге...

Утро ясное, чистое, и день обещал быть солнечным и теплым. Вожатые в селе воз-

ле сарая кормили собак. Иногда у нартовых собачек вспыхивала короткая ссора, слышался окрик санитаря. Саперы проверяли миноискатели, готовились к выходу. Появился пожилой лейтенант.

— Чаклун! — позвал хмуро.

— Я здесь, товарищ лейтенант!

— Откомандировываешься в штаб корпуса.

— Как... почему? А Румба?

— Румбу оставишь здесь. Булкин! Примешь собаку.

— Не понимаю, — Федор шел за лейтенантом. — Куда, зачем? Почему?

— Не знаю. Приказ! — огрызнулся лейтенант.

— Да как же я Румбу брошу? Не-е, я несогласный!

— Я, может, с войной несогласный! — сказал лейтенант. — Собирайся, Чаклун.

— Идем, Румба!

Федор по тропинке спустился с Румбой к озеру. Был хороший теплый день, недавно отгремела гроза, и над миром висела цветастая радуга.

Федор купал Румбу. Он тщательно мылил ее, бережно поливал.

Потом плавали вдвоем. На берегу она отряхнулась — и маленькая радуга вспыхнула возле нее и над нею.

Во дворе у сарая он тщательно расчесывал ее, Румба жмурилась от счастья. Он принес ей тарелку каши, смотрел, как она ест.

— Пора, — подошел к нему Булкин.

— Держи! — Федор передал ему гребень. Румба почувствовала неладное, забеспокоилась.

Федор собирал вещмешок, завязывал тесемки. Румба чувствовала, беспокойно крутилась подле.

— Ты ее пока в сарай, — сказал Булкин.

Федор повел Румбу в сарай. Собака нервничала. Федор сел на бревно, положил ее голову себе на колени:

— Ну, будь же умницей. Приказ есть приказ...

У него самого сердце разрывалось. Румба преданно смотрела ему в глаза.

— Чаклун! — позвал лейтенант. — Где ты там? Машина в штаб корпуса!..

Федор отвел Румбу в сарай, закрыл дверь. Румба заскулила, стала ломиться в дверь.

Федор торопливо ушел. Стал прощаться с солдатами.

— Везет же людям, — говорили они.

— Небось, завелась мохнатая лапа?!

— Ну, теперь тебе война по боку!

— Не поминайте лихом! — сказал Федор.

— Ты едешь или нет? — закричал шофер.

— Сейчас! Булкин, ты Румбу не обижай!
Ты к ней с лаской!

Штаб корпуса в зеленом городке. Багрянец и золотом светит в садах, на улицах. Автомашины, посты. Пучки разноцветных проводов тянутся к каменному дому. Там мотоциклы, кони у коновязи, охрана. Туда и пришел Чаклун.

И там он встретился с капитаном.

— Здравия желаю, товарищ капитан!..

— Здорово, сержант! Стало быть, ты и есть Чаклун? — капитан с любопытством разглядывал Федора.

— Так точно.

Капитан, видно, остался доволен.

— Ну, моли судьбу, что у тебя такие заступники...

— Какие? Не могу знать товарищ капитан!

— Ладно... не в том соль. Служить будешь тут... в хоззведе... доволен? Отдохнешь от переднего края.

Федор был удивлен, но вида не показывал.

— Ты меня держись, сержант, не пропадешь. А мне такие хлопцы нужны! Чтоб все горело в руках! Ну, и... чтоб языком чесали поменьше... ты меня понял, сержант?

— Так точно! Вернее, не понял, товарищ капитан.

— А ты вроде и не рад?

— Там Румба у меня одна осталась, сердце болит.

— Кто такая?

— Собака...

— Тьфу! Ну, ты даешь, как живой, сержант!

Возле продскладов солдаты грузят в машины ящики, бочки.

— Ну, все? — крикнул шофер, выглядывая из кабины.

— Стой. Стой! — закричал Федор. — Тут вон ящик с тушенкой завалился!

Он тянет ящик, оказавшийся за дверью, приваленный пустой тарой и мешками.

Два солдата из хоззвода переглянулись. Шофер помог Федору, крепко укутал груз палаткой, запеленал веревками.

— Эй, служивый! — окликнули Федора. — Взводный кличет...

Три бойца стояли перед франтом-взводным, и он давал им задание.

— Поступите в распоряжение майора Вишнякова...

— Капитана?

— Бери, брат, выше, уже майора! Потому и вы понадобились...

Интендант в новеньких майорских погонах торопился. Стоя возле дома, где квартировал, у веранды, спросил солдат:

— Объяснили, зачем понадобились?

— Никак нет, товарищ майор!

— Такие дела, ребята, — майору нравится быть свойским парнем. — Сегодня у меня праздник, видите...

— Поздравляем...

— Спасибо. Ну, гости будут. Опять же — дамы. Так ваша задача — разнообразить стол свежей рыбкой. Сеть возьмете у хозяина. В озере рыба есть, узвано. Задача ясна?

— Так точно, товарищ майор!

— Идите!

Они повернулись, и тут же:

— Стой!

Майор подмигнул Федору, ловким, почти неуловимым жестом передал ему бутылку:

— Чтоб не заскучили... и не замерзли!

— Не сомневайтесь, товарищ майор!

— Сделаем в лучшем виде!

Один Федор молчал. Бутылка жгла ему руки.

За ними по улице пехотные колонны шли усталым, тяжелым шагом. Шли уже не в ногу. Спешили.

Федор отвернулся. Напарник взял у него бутылку, спрятал в карман.

Ближе к вечеру празднество было в самом разгаре. Солдаты таскали в сад, где расставлен стол и звучит патефон, большие сковородки с жареной рыбой, несли нарезанный хлеб.

Сзади притормозила машина, послышался смех, возгласы, из сада бросился навстречу майор.

Федор резко обернулся. Майор помогал выйти из «виллиса» Светлане. Она чему-то смеялась. Подняла голову и — глаза в глаза с Федором. Он стоял перед ней, рукава закатаны, в руках — противень с рыбой. Обоим неловко, оба ошеломлены и обескуражены.

— Ты, — сказал он. — А ты зачем тут?

— Ну, братик, как тебе новая служба? — спросила она. — То-то. Светка не только беду приносит!

— Не надо тебе здесь быть, — тихо говорит он. — Эх, ты!..

— Я тебе — жена? Может, невеста, может, что обещала? — озлилась она, больше от неловкости.

— Жалко мне тебя, жалко!..

— Да ты кто такой... какое право?..

— Пройди к столу, — сказал ей майор, а Федору: — А ну, молодец, сюда! — отвел его за угол, оглянулся. — Ты что, мать твою... свинья неблагодарная, ты что себе в голову взял? Она тебе что — ровня, так

говорить? Тебе мало, что тебя из окопной грязи вытянули, от смерти! Ведь это она тебя пожалела!

— Не надо мне той жалости! — Федор грохнул противнем о телегу, рыба полетела в разные стороны.

— Мол-чаты!.. Ты прошлое свое забыл, штрафничок?.. Опять туда хочешь? Ручной пулемет по тебе плачет!

— Вот его-то мне сейчас и не хватает!

— Что?! — взвился майор. — Повтори!

— Пулемета мне сейчас не хватает, говорю, — спокойно выговорил Федор. — Ручного...

Майор вдруг тоже успокоился.

— Хорошо, — согласился он. — Раз ты такой герой: или грудь в крестах, или голова... Давай, геройствуй. Родина не забудет! Каждому — свое. Кру-гом! Марш!

Федор четко повернулся и пошел.

Он вышел на улицу, не мог успокоиться. Но и сюда доносились звуки патефона, он отошел подальше, достал кисет.

— Эй, гвардия, — насмешливый голос сзади. — Кисет не прячь!

Он обернулся.

Мимо тянулись арбы, где на соломе лежали раненые, свежо и ярко белели бинты, адела кровь. Западный край неба был затянут пеленой пыли и дыма. Неумолчно гудела война. Самолеты барражировали, невидимые в небе. Раненые в выгоревших, побелевших от солнца гимнастерках, укрытые прорванными, пробитыми шинелями и ватниками. Лица белые, безучастные, сосредоточенные на боли. Уже по ту сторону страшной игры, боя, званий, начальства. Младший лейтенант, раненный в обе руки, сказал Федору:

— Дай закурить...

Федор подошел с кисетом. Тут же другие руки протянулись, выгребали табак...

— Ничего живут, — сказал изможденный солдатик. — Ишь, пристроился! С музыкой...

— А чего? Гляди, бугай, отъезься!

— И скажи ты, чем дальше от передовой — тем их больше!

— Сержант! Чаклун! — слабо позвали с другой арбы.

Голос был знакомый, и Федор бросился туда.

На соломе лежал, весь в бинтах, немолодой его взводный, из спецотряда.

— Взводный, Петрович! — кинулся Федор. — Как же это вы!.. Не убереглись?

— Тяжко было, — с трудом говорит взводный. — Многие там...

— А... Румба как? Попривыкла к Булкину?

— Нету Булкина.. И Румба... Затосковала

без тебя... не давалась... прямо силком волокли!.. Ранило ее...

— Тяжело?.. И где она?

Взводный кивнул.

— В ветеринарный лазарет успели... отправить...

Одинаковые многоэтажки со всех сторон обступили зеленый островок, оставшийся от старого города. Здесь, среди пышных деревьев, — одноэтажный домик под липами весело смотрит из-за кустов, от ворот к дому ведет заасфальтированная дорожка. Во дворе — буйные кусты черемухи да сирени, мальвы да георгины; среди кустов — ящички, в них мелькают красноглазые белые кролики. У входа в дом на скамейке сидит старая женщина, в руках у нее клетка с попугаем. Мужчина с девочкой принесли хомяка. Молодая женщина держит на руках кошку. Ветеринарный пункт.

В доме — это некогда был жилой дом — сохранились ставни, даже половички; теперь стоят полки с пробирками, колбами, лекарствами, люди в белых халатах и шапочках хозяйничают здесь. Пожилой врач с тяжелым массивным лицом неожиданно ловко перевязывает лапу щенку, которого держит девочка. Школьники помогают ему. Щенок тихо покусывает от страха.

— Сейчас, погодите малость! — это Ветеринар обратился к режиссеру и редактору. — Ну, не больно же тебе! — грубовато прикрикнул на щенка. — Зачем симулируешь?

— Он не симулирует! — сказала девочка. — Он боится...

— Во-во! Как дети, ей-богу.

— А и не все дети боятся врачей! — упрямо сказал мальчик.

— Дедушка Вася, а когда вы еще к нам в школу придете? — допытывается школьница. — Вот, как вы тогда рассказали про то, как лошадок на войне лечили, так в юннаты сразу столько записалось!..

— Приду, приду... Ну а теперь — с вами! — повернулся он к режиссеру.

— Можно нам послушать? — спросил мальчик.

— А у нас секретов никаких! — развел руками Ветеринар. — Значит, вас сержант интересует. Так я его и не знал, видел разок и все!.. Но твердо заявляю — человек стоящий. Это я по отношению к нему собаки определяю. Да... видите, дело какое. Кстати, знаете, сколько лошадок пропустили наши ветлазареты? Миллиона три-четыре за войну. Но ведь больше всего страдали кони. А из предметов — стекло. Иной раз так на тебя раненая лошадь смотрит, так!.. А спасения нет, нога раздроблена, добывать надо. И глаза отводишь, и даже, знаете, стыдно за то, что ты человек.

— Идите, ребята. Кроликов покормите,— сказал редактор.

— Да не надо их отсылать! — сказал Ветеринар.— Не надо беречь от изнанки жизни. Пусть знают. Крепче будут. Им все останется, хорошее и плохое. Да... Так что в основном мои пациенты были лошади. Ну, там коров местному населению — это лечили. А собачки — те нет, те всего два-три раза были, потому и запомнил. Эта самая Румба у меня в безнадёгах числилась. И не столько от ран, нет. От тоски! Жить она не хотела, видно... а в таких случаях мы что ж... Помню, привезли ее... ну, вытащил я осколки...

Солдаты-санитары на носилках принесли Румбу. Она была перевязана, но бинты сбились, растрепаны. Слабо порывалась вскочить. Ветеринар — тот самый, только молодой — положил руку ей на загривок, бормотал:

— Сейчас, сейчас, милая... потерпи, голубушка...

Румбу уложили на стол, привязали. В глазах ее застыли ужас и боль. Врач наполнил шприц, она рванулась.

— Иглу не показывайте, они уколов боятся,— сказала фельдшер.— Как дети.

— Нежности, «дети»! — сказал Ветеринар.— Раз солдатская собака, то и терпи, как солдат!

— Солдат, тот знает, за что терпеть. А она? — пробормотала фельдшер.

Сняли с Румбы надрезанный осколком ошейник. На медной пластинке выбито: «МРС 21-45».

— Минно-розыскная собака. И номер,— сказал санитар.

— Приступим! — скомандовал врач.— Обезболивание дали?

— Сделано...

Врач наклонился над Румбой. Вытащил осколок, бросил в ведро — звякнул металл.

Разрушенная деревня. Здесь расположился ветеринарный лазарет. На бывшем скотном дворе — видать, крепкое было хозяйство — несколько длинных кирпичных зданий фермы тянулись к опушке леса; на крыше краской намалеван огромный красный крест. Лазарет обнесен колючей проволокой, часовой у входа, санпропускник, дезинфицирующие опилки у ворот. Это был армейский большой лазарет; стояло множество лошадей, самых разномастных. Одни — у коновязей, другие — в стойлах. Зрелище было необычное — лошади в бинтах, повязках; ноги, шеи, иногда круп. В стойлах были и подвешенные на веревках — чтобы не ложились, пока не заживут раны на брюхе. Непри-

вычно высились два верблюда: один — с завязанной шеей, у другого — туго забинтована задняя нога. Сама «операционная» находилась за фермой, здесь были стойла для привязи, огромный деревянный стол, ремни, веревки. Иногда операции делали под крышей — в непогоду, ночью. Лошади привыкли к виду окровавленных несчастных собратьев, к пронзительным крикам и ржанию за фермой.

Солдаты чистили лошадей, санитары меняли повязки, смазывали раны. Привезли сено, лошади тянулись мордами.

Выгуливали выздоравливающих.

Операция была закончена.

— Все,— сказал врач.— Обработать раны — и в загон ее, чтоб не ушла!..

— А вот как с ухом быть? Край уже срезан, как бинтовать?

— А никак,— ответил врач.— Смазать мазью, пусть заживает. Кто там следующий?..

Ветеринар осматривал корову, которую привела бабка. Корова была ранена в шею. Он приказал густо смазать раны. Корове сделали укол, стали перевязывать шею.

— Следующий! — сказал врач.

— Все на сегодня...

Румба лежала, безучастная, в своем загоне. Рядом нетронутая еда в миске. Чашка с водой.

— Плоха,— докладывал санитар, когда врач подошел к загону.— Вовсе плоха. Не ест, не пьет...

— Что же ты, милая,— ветеринар вошел в загон, присел на корточки: Румба попыталась зарычать, но сил не было.

— От врачей только половина,— сказал он.— Остальное от тебя зависит. Воля к жизни. Борись, голубушка!

Румба не реагировала.

Во дворе врач менял повязку на ноге жеребенка, когда подошедший санитар сказал:

— Товарищ майор, с собакой неладное...

Румба в загоне стояла на дрожащих лапах. Принюхивалась. Беспokoйно толкалась мордой в доски.

— Вот уже полчаса. Сама не своя. Беспokoится, плачет.

— Так просто у них, у животных, ничего не бывает,— сказал врач.

Вдруг Румба заскулила, из последних сил встала на задние лапы.

Сзади к врачам подошел Федор. Бросил вещмешок и автомат, кинулся к клетке:

— Румба!.. Жива?..

Она визжит, слабо лает, бросается. И когда он, не спросясь, вошел в загон, прильнула к нему, тело ее сотрясала дрожь.

— Не бойсь, миленькая, все, теперь уж я никуда,— он гладил ее, ласково приговаривал: — А отощала, бедная! Что же тебя тут, не кормят?

— Кто такой? — спросил врач.— Хозяин, что ли?

Федор вскочил.

— Так точно, товарищ военврач! Сержант Чаклун, вожатый эмэрэс 21-45!

— Как же ты ее одну отпустил? Вожатому положено сопровождать животное в лазарет...

— Так получилось, товарищ военврач. Но теперь...

— Смотрите! — крикнул санитар.

Румба жадно ела, наклонясь над миской.

— Ну, теперь пойдут дела! — улыбнулся Ветеринар.

Федор отошел на минутку, она тотчас бросилась за ним.

— Я здесь, тут я, вот он я!.. — подбежал он.

И тогда она снова принялась за еду.

Закатное солнце бьет в стеклянную стену квартиры. За рекой — залитый солнцем город. Теплоход подал голос. Светлана Андреевна вновь принимала телевизионщиков: сидела в кресле, перебирала старые фотографии.

— В последний раз мы встретились... да-да, войдите! — отозвалась на звонок.

Вошла молодая женщина. Нервничала, поглядывая на гостей.

— Мне бы с вами, Светлана Андреевна... наедине...

— А у меня, Землякова, ни от кого секретов нет! — чуть повысив голос, ответила Светлана Андреевна.— И то, зачем ты пришла, знаю. Знаю и сразу скажу: зря пришла!

Женщина судорожно перевела дух.

— Да чем хотите клянуть: не повторится больше!

— Ты уже сколько раз каялась?

Женщина униженно молчала.

— Эх, Светлана Андреевна! Можно подумать, сами вы молодой не были,— сказала Землякова, и Мезенцева гневно выпрямилась в кресле.

— Ты мою молодость не трогай! Моя молодость в борьбе да боях прошла! А ты? Пьянки да гулянки? Пока соседи не вытерпели, да к нам, в товарищеский суд? Она о моей молодости, видите ли... Какая судьба ни есть — вся моя! И я никого вместо себя не подставляла!

Женщина почти с ненавистью смотрит на нее.

— В кино-то ветеранов... другими показывают,— тихо сказала и вышла. Повисла неловкая пауза. Мезенцева кашлянула:

— Да. Так вот, в последний раз мы виделись уже за рубежом... в городке Бунцлау.

Федор молча, сосредоточенно вынимает мину. С величайшей осторожностью извлекает ее из земли, за ней тянется проволочка. Он измучен, устал. Разгребает мерзлую землю с трудом. Проволочка ведет к другой mine. Федор, лежа, с аптекарской точностью орудует ножом. Румба сидит рядом.

И эту мину положил Федор на кучу уже обезвреженных и сложенных у какого-то сооружения. Вытерев лоб, Федор сел на мины и закурил. Отдыхал. Руки дрожали.

Взгляд его, обращенный к обелиску, который он разминировал, стал заинтересованным. Он встал, подошел ближе. Обелиск стар, на нем выбиты позеленевшие литеры:

«До сих мест довел победоносные войска свои фельдмаршал Кутузов. И здесь смерть положила предел славным делам его. Да будет благословенна память героя. 1813 год».

Федор обошел обелиск. Рукой стер грязь, открылись другие слова, тоже с «ятями»:

«Последний ордер. Повелеваю: сердце мое вынуть и зарыть здесь, в саксонской земле, дабы знали мои солдаты, сыны России, что сердцем я всегда с ними. Идем вперед! С нами бог. Перед нами — разбитый неприятель. Да будет за ними тишина и спокойствие. Михайло Кутузов».

А за обелиском с «полторки» девушки сгружали указатели, палатку, нехитрый скарб КПП. И командовал ими знакомый ефрейтор, который, подойдя, окликнул:

— Эй, земляк, огонька нет ли?..

Обернулся Федор. Узнал:

— Вы? А где же? — кинулся взглядом к машине...

— Ты про Мезенцеву? — спросил сержант.— Перевелась от нас. Вчера встретили... она теперь, на военно-полевой почте. Вон, в Бунцлау!..

Порывистый ветер нес мрачные тучи над чинным бюргерским городком, над чинными улочками и аккуратными маленькими площадями; над домишками с острыми черепичными крышами, над сгоревшими баррикадами из автобусов и ролей, их расчищали цивильные немцы; над чинными и ровными рядами белых простынь в окнах.

Это был армейский тыл; регулировщицы на перекрестках, у которых Федор спрашивал дорогу, проходящие обозы, проносившиеся военные автомобили, вставшие на привал колонны танков. Все время навстречу попадались инвалиды. Их становилось все

больше; по аллеям катились коляски с ними; одни еще неумело передвигались на новеньких костылях, другие сильно хромали, опираясь на новые палки, у тех протезы вместо рук, еще не освоились, не умеют прикурить. И все в штатском, еще необоношенном, непривычном.

Румба заворчала. Она слышала этот запах — солдатский запах врага. Но хозяин шел спокойно:

— Тихо, Румба, тихо. Этих не тронь. Эти отвоевались.

Навстречу, постукивая палкой, шел надменный, с выправкой кадровика слепой. Вела его овчарка. Но и собака все понимает!.. Встретившись с Румбой, потянула в сторону. Выхоленная, с лоснящейся шерстью. Румба напряженно смотрела — часть уха у нее оторвана, шерсть припалена, рубец на боку...

Когда-то здесь была фабрика игрушек. Их и сейчас тут полно — на полках, стоят куклы и собачки у девушек на длинных столах, заваленных тысячами солдатских «треугольников». Ибо сейчас тут, в просторном цехе, расположилась военнопольная почта.

С ошеломляющей быстротой девушки сортируют письма. Иногда дуют на пальцы.

— Мезенцева! — позвали. — На выход! Светлана встала. Пошатнулась от усталости, пошла к выходу.

В конторке у начальника почты к ней бросилась Румба и шагнул Федор. Обрадовалась Светлана невероятно. Чуть-чуть заминка, а потом бросилась, обняла его, головой прижалась к груди:

— Не захотел ты тогда моей помощи. А сейчас как?..

— Да вот... в ударной армии службу несем с Румбой.

Румба тыкалась мордой в ее колени.

— Румба... милая! — Светлана присела, приласкала собаку. Румба подставила ей бок: почеша.

Начальник, усталый пожилой капитан, сказал:

— Иди, Мезенцева...

Вышли на улицу. И опять косяком — инвалиды.

— Тыфу ты, — сказал он. — Вроде они со всей Германии сошлись!

— А так и есть. Вон он сам — протезный завод...

У входа на завод стояла негустая толпа. И женщины с инвалидами. Многих привезли издалека.

Первые шаги на костылях. Глухие проклятия. Бессильные стоны. Расступаются, молча

пропуская Федора со Светланой и Румбу. Ненавидящие глаза. Испуганные. Безразличные. Затуманенные болью глаза.

Темные большие палатки, целые дома — палатки изнутри слабо просвечивают. Здесь много подвод, в темноте лошади вздыхают, жуют. Тлеют во тьме огоньки папирос. Солдаты грузят на подводы горячий пахучий хлеб. Пекарь, в форме, в белом фартуке и колпаке, вышел прикурить с ездовыми.

Федор и Светлана идут между подводами. Светлана обняла морду лошади, пахнущую сеном, прижалась к ней щекой. Смотрела.

Ездовые укутывали хлеб плащ-палатками.

Свет упал на двери, озарил молчаливую толпу детей.

— Свет! — заорал часовой, и стало темно. Но в тот короткий миг в отсвете дети увидели большую собаку и в страхе попятнулись, кто-то побежал. Светлана попросила, и повар вынес им булку горячего пахнущего хлеба. Разломила, обжигаясь, стала есть. Угостила Румбу.

— Значит, опять на передовую? — спросила Светлана. — Зря, напрасно ушел ты из хоззвода.

— Нельзя так, — ответил он.

— А вон иные могут. Еще и поговорку придумали: кому мол, война, а кому мать родная...

— Кому ж воевать, кому дело делать? Он крадет — и я, мол, чем хуже? Знаешь, что будет?

— А что будет?

— Плохо людям будет! — убежденно сказал он. — Про суть свою людскую забудут, про душу... и начнется: ты мне, я тебе. Нет, не по мне!

— Что ж, пусть мир вверх тормашками, а ты при своем?

— При своем. Это точно. Вот ты меня в хоззвод... да если б, скажем, нас на переформировку куда, уж как бы обрадовался, уцелеть-то куда как хочется! А такой ценой — ну, нет! Да что там... я о тебе говорить хотел!

— Обо мне не надо.

— Слабая ты, Свет!

— Чего ж липнешь?

— Потому и липну. Эх, не война бы! Я б тебе той слабины не дал!

Идут. Дальние отсветы войны озаряют темные тучи вдали. Гудит и гудит ночной самолет.

— Вот я с тобой — и мне хорошо, — говорит она. — Надежно. Мы и войну осилим чем? Надежными мужиками. Вот и ты... А уедешь, и...

Она вздохнула и обняла его. Прошептала:

— Хочешь, идем ко мне?

Он задохнулся.

— Вот так вот?..

— А что?

Пауза.

— Распишемся, а? — загорелся он. —
Завтра!..

— Дурак ты! — непонятно сказала. И совсем нелогично добавила: — Спасибо тебе... ты прав! Не надо этого, не надо, чтоб так вот!..

Румба сидела и смотрела на них.

— Приходи прямо с утра. Пораньше!.. И поженимся! — сказала Светлана. Вновь обняла и стала целовать. Потом благо- разумно отстранилась.

— Ну все, хватит. До завтра...

Рано утром Федор шагал по городку к игрушечной фабрике. Словно тени, маячили инвалиды.

Румба была беспокойна. Металась. Скулила, тащила за собой Федора; убегала вперед и оглядывалась, словно звала его идти скорее.

Капитан сверял бумаги возле почтовой машины. Не успел Федор, козырнув, обратиться к нему, капитан сказал:

— Нету старшего сержанта Мезенцевой.

— Как — нету?

— Да так... Ночью подполковник приехал за нею... Переводят в штабы... Вон, записку велела тебе.

«Прости, братик, прости, миленький, меня, глупую дуру. Знаю — нельзя, а уйду. Плачу. Храни тебя бог!»

Федор скомкал записку. Румба тревожно глядела на него. Он поправил ушанку, сказал привычным усталым голосом:

— Ну что ж, Румба... Что ж, эмэрэс ты моя верная... пошли!

Он отошел. А Румба не уходила. Повизгивая, заглядывала в дверь. Оглядывалась на Федора. Звала за собою.

— Нет ее, — сказал он. — А нам еще шагать...

Он пошел по улице, за поворотом влился в колонну солдат и стал неразличим.

В Германии гремели последние выстрелы и рвались последние мины...

Подмосковный зеленый тихий городок. В большом парке видны многоэтажные здания. На проходной, ворота которой украшены большой звездой, стоят часовые.

Военные архивы Министерства обороны. Читальные залы, люди обложились папками.

Хранилища. Миллионы, десятки миллионов документов, папок, личных дел.

Наградной лист.

«Гвардии сержант Чаклун Ф. З. с МРС 21-45 с риском для жизни предотвратил провокацию противника, суть которой состояла в том, чтобы подорвать объект № 15 («Замок Грез») в тылу наступающих советских войск, инсценировав это злодеяние, как акт вандализма Советской Армии. Противник заминировал замок большим количеством зарядов и авиабомб, а также мин, поставленных на неизвлекаемость. Гвардии сержант Чаклун Ф. З. проявил мужество и доблесть. Достоин награждения орденом Боевого Красного Знамени»...

Федор работает по изнеможению. В подвале тишина, и только слышно тиканье часового механизма. Федор, стиснув зубы, вынимает из стены камни, осторожно складывает. Снимает одну мину. Другую. Пот катит по лицу, а вытереть не может — руки заняты. Сжав зубы, вывинчивает взрыватель. Отсоединяет провода.

Тиканье смолкло. Он на руках, как ребенка, выносит заряды наверх. Складывает их в большом рву, дно и стенки которого вымощены камнями.

Это — тот самый замок Грез, который мы видели в начале. Его окружает могучий ров, сейчас он сухой. На краю рва сидит, заглядывая вниз, Румба.

Федор сложил заряды внизу. Поднялся по каменным ступенькам к Румбе, приласкал ее. Присел на ступеньку. Сняв шапку, тщательно вытер ею лицо и стал закуривать. Руки его дрожали, табак просыпался.

— Все, Румба! — весело сказал он. — Свалили работенку.

Румба, тяжело дыша, лежала у его ног.

— И ты заметь, — продолжал Федор. — Что это такое? Мину извлекаю там, взрыватели снимаю — с руками все четко. А вот как закончу, потом — дрожь проклятая, а?

Румба не отвечала.

Закурив, он встал, закинул за плечо автомат и взял миноискатель.

— Ну что, милая? Потопали дальше землю чистить.

И в это время из-за туч стал нарастать гул. С запада шли самолеты.

— Эге, Румба, не пошли. Да сколько их! Ложись! — крикнул он, падая и хватая Румбу.

Страшный вой и свист. Полыхнул огонь, взрывом отбросило Румбу, она страшно завизжала где-то внизу, во рву.

— Румба! — Федор бросился за нею вниз.

Штурмовик заходил низко, над самой землей. Федор во рву бросился к Румбе. Схватил ее на руки, успел толкнуть в коридор, из которого выносил заряды.

Страшная строчка резанула по дну рва. Ударили чудовищные разрывы, и все затянуло удушливой бурой мглой.

В открытом «виллисе», пробирающемся среди развалин берлинского квартала, кроме шофера, были Светлана и подполковник медицинской службы. По всему видно, он побаивается Светланы, и по тому, с каким обожанием смотрит на нее, ясна причина его боязни.

— Со дня на день — победа, — сказал он. — Я решил, распишемся в день Победы? Не возражаешь? Памятная будет дата!

— Отчего же, — сказала она. — Не возражаю, конечно.

Машина встала, пережидая, пока пройдет длинная колонна пленных. Невдалеке меж развалин проходили саперы. Там послышались крики. Большая собака вымахнула из-за угла и помчалась мимо машины.

— Румба! — крикнула Светлана и выскочила из «виллиса». Румба бросилась к ней, визжала, ластилась, была сама не своя.

— Ну, что ты, собачка, что ты, где ж твой хозяин?

К ней подбежал сапер, Светлана смотрела мимо него, ждала Федора. Сапер попытался взять Румбу на поводок, она окрысилась и не далась.

— А где же... Федя! Федя-а! — позвала Светлана. — Где он?

— Нет больше Феде, — сказал сапер.

— Как же так — нет? Это недоразумение, чепуха какая-то... этого быть не может!

— То-то я гляжу, собака вас признала. Прямо беда с нею, придется списывать, чуть что — убегает, не может служить!.. И куда ты, глупая, убегашь, куда лыжи востришь?

— Поехали, — подполковник, бережно взяв за плечи, усадил Светлану в машину, кивнул шоферу, машина тронулась.

Румба тотчас рванулась из рук солдата. Он кричал, размахивая руками, но собака упрямо бежала за машиной.

Светлана неотрывно смотрела в боковое зеркало. Дорога забита — машины, повозки, орудия... Но собака бежала под крики ездо-вых и гудки машин.

— Стой! — не выдержала она. И тихо сказала подполковнику: — Вадим, эта собака должна быть со мной.

— Но это невозможно, это же эмэрэс, это...

— Это — Румба!.. Со мной, — ровным голосом повторила Светлана.

Подполковник положил руку на плечо водителя:

— Останови...

Светлана выпрыгнула на дорогу.

— Румба!.. Ру-умба!..

Собака мелькнула среди колонны и исчезла...

— Румба! Румба!..

— За ней! — приказал подполковник.

Машина рванулась.

— Вы не видели собаку? Большая, серая... — обращалась Светлана к солдатам. Но никто ничего не видел. — Что же делать? Нет, мы не уедем, пока не найдем ее!

Подполковник торопился, смотрел на часы, но машина притормаживала. Один раз, другой...

На автостраде — контрольно-пропускной пункт. Другие регулировщицы, другая палатка. Но и здесь девушки не видели собаки.

Колонна танков. Танкист, высувшийся из люка, развел руками, а когда разочарованная Светлана отошла, переглянулся с товарищами и пожал плечами.

Хутор недалеко от дороги. Крепкие чистенькие постройки, двухэтажный дом под красной черепицей.

Светлана расспрашивает предупредительных немцев.

— Хунд! — говорит им. — Айн хунд. Гросс хунд.

— Нейн!..

— Их вейс нихт!..

Внезапно в городке раздалась стрельба. Сначала один, потом несколько выстрелов. А затем — шло, словно сухой треск сучьев в костре.

Подполковник насторожился, расстегнул кобуру, подвинул в машине ящик с гранатами. Водитель достал автомат.

Мотоциклист во весь дух летел по шоссе, палил в воздух.

— Победа! — кричал. — Победа-а-а!..

Подполковник с водителем налили в жестяные кружки, одну протянули Светлане.

— С Победой!

Светлана машинально взяла кружку.

— С Победой, Федя... Победили. Все победили... Я тоже... С Победой!..

...Как бы мне хотелось закончить на этом рассказ об МРС 21-45, военной собаке Румбе! Да из песни слова не выкинешь. Растаял в небе пороховой победный дым, померкли, спали снопы салюта, и вот сжалась тьма, и вспыхнула в ней последняя искра. Уходит праздник, и в неизбежности забот начинается будний день. Народная боль, гнев и ненависть, переплавившись, могучей, страшной волной ударили, сотрясая твердь и небо. И спасли мир, в который уже раз, Россия? — спадала волна, входила в тихие берега, и уже покойно, уже тихо... все дальше и глуше отзвук громов.

Но почему же я не могу забыть то существо, оно промелькнуло в мириадах других искорок-жизней и угасло бесследно, и вовеки

веков о нем — ничего. Но оно было! Движимое только любовью и только верностью, оно отрекалось от самого себя, от предназначения своего и шло со мной неизменно. Так, значит, зачем-то было оно? И значит, зачем-то нужны были и моя, и его судьба, и судьба тех сержантов? Вот опять встает зеленая заря, а в полной, густой тишине беззвучно проплывает в ночи яркий теплоход по зеркальной речной воде. Годы идут, спешат, летят куда-то. А я все чаще возвращаюсь к ним, тем сержантам. Я был рядом с ними, шел вместе, и когда мне худо теперь, я вновь и вновь вижу сквозь годы — сквозь все эти годы! — простые застенчивые лица и глаза, перед которыми не слукавить. Где вы, мои сержанты?.. Как не хватает мне вас... Был же какой-то смысл и в нас с вами, и в Румбе!

Уходим мы, последние защитники печальных рубежей нашей тревожной, горькой и

грозной славы. Уходим, достреливая последние патроны — годы, месяцы, дни... Они зовут нас, военные побратимы, и мы возвращаемся в свои навсегда бессмертные родные взводы, батальоны и роты, к верным товарищам своим; они дали нам долгую увольнительную, но выходят сроки, тревожно поет неслышимая труба, и в глухой, невообразимой, немыслимой черноте уже угадывается прерывистый зовущий лай военной собаки. Скоро-скоро мы станем травой, облаками; мы уходим, оставляя вам этот горький, такой прекрасный и сладостный мир. Мы сделали, что могли.

1987 г.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

А. Солженицын «Тунеядец»

Г. Климов «Вымыслы»

Б. Клетинич «Свобода на баррикадах»

Б. Грабал «Поезда под особым наблюдением»

С. Фрейлих «История одного боя»

Б. Метальников «Война. Одна на всех,

но каждому своя...» (окончание)



**Петр
ПАВЛЕНКО**



**Михаил
ЧИАУРЕЛИ**

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА

К публикации.

Далеко не все фильмы, возмеченные когда-то, попадали в золотой фонд нашего киноискусства. Время выносит свой приговор. Но порой им уготована другая, особая судьба — остаться в памяти документами эпохи, порождением ее мифов и идиологов.

Цветущее поле.

В отдалении возникает детская песня:

Хороший день, земля в цвету.
Цветы растут, и я расту.
Цветок взойдет и опадет,
А мне расти из года в год.

Дети проходят, взявшись за руки, и поют:

Земле цвести,
И нам расти.
Весенним и прекрасным днем
О счастье давай споем,
О счастье, о весне
В нашей солнечной стране...

Среди ребят учительница Наташа Румянцева.

— Пошли, ребята, пошли. На завод опоздаем...

Ребята берутся за руки и вместе с Наташей поют:

Хороший день, земля в цвету.
Цветы растут, и я расту...

...Очертания гигантского завода и рядом с ним живописного заводского поселка выступают на фоне утреннего неба. Вот-вот рассветет. Даже птицы — и те еще не проснулись как следует и только сонно отряхиваются в нежной весенней зелени деревьев.

Но вот тишину раздвинул могучий низкий голос заводского гудка. Его октава величественно всколыхнула воздух, как хорал.

Зажирикали птицы.

Кудлатый пес, со стоном зевнув, нехотя вылез из своей будки и заспанными глазами огляделся.

Где-то вдали зазвучало радио.

День начался, хотя солнце еще не взошло. Мартеновский цех.

Блеск расплавленного металла слепит глаза. Выпуск плавки. Огнедышащая струя металла льется в ковш.

Едва различимые фигуры сталеваров в спецовках, рукавицах и синих очках движутся у пылающих печей.

Молодой сталевар, сдвинув на лоб очки, присаживается и вытирает лицо.

Свет пламени играет на его одежде. Кажется, что она сейчас вспыхнет.

К сталевару подбегает редактор стенгазеты Зайченко со свежим экземпляром «Красного сталевара» в руках.

— Алэш,— кричит он, но сквозь шум цеха его едва слышно.— Сколько сегодня выдал за смену? — и показывает номер многотиражки с портретом Алексея на первой полосе.— Вот, в героях ходишь! Вчера дал девять тонн с квадратного метра. Сегодня не подкачал?

— Ступай ты к черту,— улыбаясь, говорит Алексей,— пиши — одиннадцать тонн с квадратного метра.

— У-у-у... так цэ ж всежитный рекорд, Алексей,— радостно ахнул Зайченко и заторопился, чтобы не опоздать с этой новостью. Мы следуем за ним по мартеновскому цеху.

Стайка школьников, окруживших девушку-учительницу, пугливо топчется в дальнем углу.

Учительница с увлечением рассказывает, и ребята внимательно слушают ее.

— Ребята, я вам уже рассказывала, что первые металлургические заводы в России были построены царем Петром, но они были маленькие...

— Наталья Васильевна, а Стаханов тоже был при царе Петре? — прерывает ее Ленька Гуров.

Рассмеявшись, учительница отвечает:

— Что ты! Стаханов родился в наше, советское время. Таких людей, как он, раньше не могло быть.

Учительница очень молода, лет двадцати, очень красива. Ее тоненькая, почти детская фигурка выражает большую волю, лицо открытое и смелое.

Она, видно, приготовилась к долгой беседе, но подбежавший редактор «Красного сталевара» помешал ей.

— Что это такое? Это что такое? — кричит он еще издали.— Экскурсия? А печать ничего не знает... Как же так? Некрасиво,

Наталья Васильевна! — И он пожимает ей руку, в шутку притворяясь рассерженным.— Однако дадим заметку и об экскурсии.— Ловко развернув лист, он начинает быстро записывать на уголке: «Школьная экскурсия тов. Румянцевой».

Ребята, подталкивая друг друга, разглядывают тем временем портрет Алексея Иванова, лучшего сталевара завода.

— Ну, я бегу, Наталья Васильевна! — говорит Зайченко.— Алешка Иванов сегодня одиннадцать тонн дал, красота! — И, оставив экскурсию, мчится из цеха через широкий заводской двор в контору. Он бежит, размахивая газетой и крича встречным: — Одиннадцать тонн с квадратного метра!.. Всесвитный рекорд! Можете себе представить?

Секретарь директора завода Лидия Николаевна, девушка в локонах, которые так красиво и замысловато уложены на ее голове, что напоминают шоколадный торт, говорит по телефону:

— Нет его... да, да. Что у вас, рентген с собой? Ну, занят, потому и нет...

Звонит второй телефон. Не кладя первой трубки, она подносит к уху вторую.

— Алло! Нет директора. Что? — ее лицо вдруг краснеет. Она вскакивает в сильнейшем волнении.— В «Правде» прочитали? Честное комсомольское? — И, бросив телефонную трубку, она приказывает вбежавшему Зайченко: — Костя, милый, беги к комсору Томашевичу, возьми «Правду», нам всегда позже всех приносят. Скорей, скорей!

Зайченко, не понимая срочности дела, говорит ей:

— Я хотел Хмельницкого повидать. Алешка Иванов сегодня одиннадцать тонн дал!

— Оставь, Хмельницкий занят. Беги, я тебе говорю, за «Правдой». Такое случилось...

Зайченко, которому нелегко передается волнение Лидии Николаевны, исчезает, бросив свою газету, а секретарша, поправив прическу, входит в кабинет, на двери которого значится: «Директор завода».

Хмельницкий — грузный, здоровый человек, из рабочих, с большими руками, в которых перо кажется былинкой, углублен в работу.

— Василий Васильевич,— шепчет секретарша,— Василий Васильевич!

— Скройся! — мрачно отвечает он басом, не отрываясь от работы.

— Василий Васильевич!

— Скройся, говорю тебе!

— Не скроюсь... Орденом нас наградили!

— Что?

— Орденом Трудового Красного Знамени.

Хмельницкий, подпрыгнув, выскакивает на середину комнаты. Секретарша пробует скрыться за дверь, но он, схватив ее за руку, возвращает в кабинет.

— Кто сказал?

— В «Правде» напечатано.

— Где «Правда»?

— Да вы же никогда не читаете ее здесь, я посылаю вам на квартиру,— лепечет Лидия Николаевна, то и дело поправляя свои локоны, а Хмельницкий продолжает держать девушку за руку.

В кабинет директора врывается группа рабочих с возгласами «ура»! Впереди заслуженный сталевар Ермилов и комсорг Томашевич.

Ермилов. Слышал?

Хмельницкий. Давай газету!

Томашевич. Смотрите.

Хмельницкий (*читает газету*). «Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении...»

Ермилов (*перебивает*). Алеше Иванову — орден Ленина, тебе, Васильич, тоже. А мне «Знак».

Раздаются возгласы рабочих:

— Поздравляем!.. Поздравляем директора!

Хмельницкий. Ну, поздравляю.

Раздаются радостные крики:

— Качать директора!

— Ура!

Хмельницкого на руках с радостными возгласами выносят из кабинета.

Алексей Иванов с товарищами выходит из цеха, к нему навстречу бежит группа рабочих. Его поздравляют, аплодируют, преподносят букет цветов.

На заводском дворе собрались сталевары. Хмельницкий стоит среди ликующих рабочих мартеновского цеха.

Хмельницкий. Только теперь работать надо еще лучше. (*Увидел старого рабочего, подходит к нему*.) А, Николай Порфирьевич, поздравляю, очень рад за вас.

Хмельницкого окружает группа ребят с Наташей Румянцевой.

Ребята (*хором*). Поздравляем вас, Василий Васильевич!

Хмельницкий. Это что же, экскурсия?

Наташа. Да.

Хмельницкий. Молодец, молодец, учительница! Вот тебе еще нагрузка, Наталья Васильевна, приходи сегодня в клуб и будешь делать доклад о товарище Иванове.

Наташа. Как же так, Василий Васильевич! А я же о нем ничего не знаю.

Хмельницкий. Ничего, ничего, зайди к его мамаше, она тебе многое расскажет.

И не успела Наташа вымолвить слова, как Хмельницкий уже скрылся в толпе рабочих. Наташа стоит, устремив взгляд вперед.

нистые улицы. Маленькие домики с палисадниками.

Наташа Румянцева идет, окруженная школьниками. Они поют хором.

Из калитки выходит Иванов в светлом костюме и в шляпе, отлично выбритый.

— Вы не знаете, где дом Ивановых? — спрашивает его Наташа.

— Вот этот самый,— равнодушно отвечает молодой человек, не обратив никакого внимания на учительницу и удаляясь быстрыми шагами.

Ребята удивлены:

— Да это ж и был Иванов, Наталья Васильевна. Не узнали?

Наташа входит во двор. Ребята остаются ждать ее у калитки. Они вынимают из карманов бабки, и начинается игра. Лохматый черный пес Ленки Гурова принимает деятельное участие в игре мальчиков.

Сени. Навстречу Наташе выходит пожилая женщина.

— Простите, здесь живет товарищ Алексей Иванов?

— Да, только что вышел. Разве не встретили?.. Алеша! — зовет она.— Алеша!

Смущенная Наташа удерживает ее:

— Не нужно, не нужно! Мне удобнее, собственно говоря, с вами.

Ребята глядят в щели забора на то, что происходит во дворе.

Мать Иванова и Наташа сидят под цветущей черемухой, вестницей русской весны.

Старуха рассказывает:

— Мы спокон веков сталевары: и муж покойный был сталеваром, и батюшка мой тем же делом всю жизнь занимался, и деды наши, и прадеды. Поначалу на Урале фамилия наша жила, а потом сюда перебрались, при Сталине, как бы сказать, приглашены были делу пример показать, потому как мы люди не простые, девушка. Мы люди знатные, себе цену всегда знали. Алешенька, конечно, всех дедов своих перегнал, в большой почет вышел. Про себя он мне иной раз говорит: «Я,— говорит,— мама, сталинец». И правда, сталинец, ничего не боится, ему препятствий нету. Строптивный такой парень получился, дай ему бог счастья. Любознательный был мальчонка, до всего тянулся. Часы приметит или там гармонь — сейчас в руки загребет и давай разбирать.

Ребята слушают, прильнув к забору. Бабки забыты. Все их внимание приковано к рассказу матери Иванова.

Наташа говорит:

— Вы все мне чудесно рассказали, Антонина Ивановна, кроме одного: когда он родился?

— Ох, матушка ты моя, красавица,— говорит Антонина Ивановна,— забыла я. Ну да он у меня государственного рождения человек. Двадцать пятого октября, по старо-

му стилю, тысяча девятьсот семнадцатого года — вот когда родился. Покойный мой муж, бывало, говорил: «Ты, мать, вроде как крейсер «Аврора» — по старому режиму сыном вдарила». И то — вдарила! Экий сын! Правда, что снаряд, — все на свете пробьет.

Дети удивленно шепчутся у забора:

— Кто это «Аврора» — она, что ли?

— Да не она, а вроде... это сравнение.

— Сам ты сравнение! Она же старуха, а не крейсер...

— Вот я как дам по уху, будешь знать, кто «Аврора»!

И затевается шумная возня, быстро переходящая в потасовку. Кто-то стукнулся спиной о забор. Забор зашатался. Закричали в несколько голосов:

— Подначку нельзя! Я Наталью Васильевну позову... Наталья Васильевна, Ленька рогаткой бьется!.. Наталья Васильевна!

Наташа Румянцева прощается у ворот с матерью Иванова.

— Приходите вечером в клуб, — приглашает Наташа.

— Приду, приду, красавица, — говорит старуха, — послушаю твой рассказ.

Большой клуб переполнен. В президиуме Хмельницкий, Ермилов, инженеры, среди рабочих в партере Иванов. Пот лет с него ручьем. Рядом с ним товарищи — Костя Зайченко и Томашевич.

Наташа стоит у трибуны. Она докладывает волнуясь:

— Все наше — и сталь, которую мы варим, и машины, которые строятся из этой стали. Я счастлива, что живу в такое замечательное время и что в первых рядах моего поколения идут люди, подобные Алексею Иванову.

Аплодисменты.

Иванов разглядывает Румянцеву. Ему не верится, что она может сказать что-нибудь толковое.

Костя Зайченко, аплодируя, толкает Алексея в бок:

— Хорошего, Лешка, себе агитатора нашел.

Тот смущенно откашливается:

— Черт ее знает, чего несет...

Слышен голос Наташи:

— На его глазах создавалась наша страна. Вместе с нею мужал и крепнул характер Иванова...

И мы пробегаем глазами по залу, по лицам сидящих.

Вот в первом ряду Антонина Ивановна, мать Иванова, рядом с ней другие матери и отцы, старики сталевары с медалями и орденами на груди.

А дальше безусая молодежь, юноши и девушки, тоже с медалями и значками отлич-

ников, и совсем юнцы, фабзавучники, будущие мастера стали.

Все народ крепкий, сильный, веселый.

Взгляд Иванова неотступно и восторженно следит за Наташей. Зайченко толкает Томашевича в бок, обращая его внимание на Иванова.

И Томашевич шепчет Алексею на ухо:

— Ты где же с ней успел познакомиться?

— Да я даже и не знаком.

— Откуда она о тебе знает? И любознательный, и часы починил, и то, и се...

— Шут ее знает. Я не знаком.

— Не ври. А я думал, что мы одни с Костей Зайченко по ней страдаем; оказывается, и ты нашего полку, брат.

— Да отстань ты! — морщится Иванов, но не может оторвать взгляда от Румянцевой.

Зайченко огорченно шепчет Томашевичу:

— Пропал наш с тобой концерт, Витя! Слышал, как она о нем? И герой, и человек будущего...

— погоди, Костя, вот как ты споешь, а я сыграю новую вещь, она и о нас так говорить станет. Ей-богу! А это ж она по обязанности, общественная нагрузка!

Румянцева продолжает:

— Я очень волнуюсь, потому что никогда не произносила речей, и я думаю, что вы тоже за меня волнуетесь. Я сейчас закончу. Вот что я хочу сказать, товарищи... Кто привел нас к победам сегодняшнего дня? Кто открыл перед нами все возможности? Вы знаете, о ком я думаю. Но я сейчас вот что хочу сказать: для меня было бы величайшим счастьем увидеть его и сказать ему, что я... но поскольку это невозможно... я просто скажу: да здравствует товарищ Сталин, породивший нас для великой и счастливой жизни!

Зал поднимается рукоплещая. Возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Сталину — ура!»

Вестибюль клуба. Здесь очень оживленно. Появление Наташи Румянцевой, Зайченко и Томашевича встречается аплодисментами.

Наташа, взволнованная выступлением, аплодисментами, говорит своим спутникам, как бы оправдываясь:

— Как смогла, так и сказала...

Навстречу выходят Алексей Иванов, его мать и Ермилов.

Наташа шепчет Томашевичу:

— Это его мама...

Мать Иванова подходит к Наташе и, обняв ее, говорит:

— Ну и соловей, ну и оратор. Уж так уважила, так уважила нашу фамилию. Алеша, ты бы хоть спасибо сказал Наташе...

Алексей, пожимая руку Наташе, говорит:

— Разрешите поблагодарить от всего серд-

ца. Своим докладом вы меня просто в краску вогнали...

— Ну, что вы... Это я должна вас благодарить за великолепный рекорд.

Томашевич берет под руку Наташу:

— Разрешите в качестве подшефного музыканта проводить вас домой.

Алеша, отстраняя Томашевича:

— Нет, брат, сегодня уж буду я провожать, так сказать, в качестве подшефного сталевара.

Все кругом смеются. Иванов берет под руку Наташу и, уходя, говорит матери:

— Мама, иди домой, я скоро буду.

Улица перед домом Наташи. Идут Наташа и Алексей. Наташа на ходу декламирует:

Что в имени тебе моем?

Оно умрет, как шум печальной

Волны, плеснувшей в берег дальний,

Как звук ночной в лесу глухом...

и, остановившись, смеясь, спрашивает Алексея:

— Кто это написал?

Алексей, смутившись и неловко переминаясь с ноги на ногу, только промолвил:

— Это?..

Наташа смеется:

— Это Пушкин написал.

— Может быть, Пушкин.

— А вот это? — и, взойдя на крыльцо, Наташа декламирует:

Здесь встанут стройки стенами,

Гудками, пар, сипи.

Мы в сотню солнц мартенами

Воспламеним Сибирь.

— Маяковский!

— Правильно,— говорит Наташа, несколько удивившись.

— А это ваш дом, да? — в замешательстве обняв водосточную трубу, спрашивает Алексей.

— Да... Может быть, зайдете к нам?

— Да нет, уже поздно,— отвечает Алексей, посмотрев на часы. Они прощаются.

— Большое вам спасибо,— говорит Алексей.— До свиданья.

Наташа входит в дом, подходит к окну и видит, что Иванов, забыв выход из палисадника, идет вдоль дома. Выглянув из окна, она, смеясь, окликает:

— Товарищ Иванов, а вы не туда пошли.

— А где выход? — спрашивает Алексей, подойдя к окну.

— Там,— указывает на калитку Наташа.

Иванов, порывшись в карманах, достает два билета:

— Наталья Васильевна, пойдемте завтра на концерт. Вот у меня два билета,— и протягивает ей билеты.

— Спасибо,— говорит Наташа.— Я с удовольствием пойду. Только вы заходите за мной.

— Да нет, уже вы сами приходите, я буду ждать,— смущаясь, отвечает Алексей и, снова прощаясь, наконец уходит.

На концерте Алексей сидит рядом с Наташей, но, как ни странно, ему скучно и неудобно. Музыка не понятна ему и, видимо, невероятно утомляет. Желание вздремнуть так сильно, что он едва сидит. Глаза против воли смыкаются.

— Ох, ей-богу, хуже, чем в ночной смене! — наконец произносит он вслух, и Наташа, зашикав на него, беззвучно смеется.

Она вся поглощена музыкой и тем вниманием, которое оказывал ей со сцены Томашевич. Он ей одной улыбался и кланялся и для нее одной играл.

Закончилось первое отделение, и все направляются в фойе. Томашевич не отходит от Наташи, они с увлечением говорят о Чайковском, и Алексею не удается вставить ни слова в их разговор.

В это время подбегает Костя Зайченко, разодетый, как жених, с цветком в петлице.

— Выпьем по кружке? — предлагает ему Алексей.

— Что ты, что ты! — машет Зайченко руками.— Мне сейчас выступать.

Оставив Алексея одного, он убегает не оглядываясь.

Подходит Хмельницкий и, окинув взглядом обстановку, сразу определяет положение.

— Не светит твое дело? — спрашивает он Алексея сочувственно.— Ну, ну, не гляди быком, я к тебе с сердцем.

Он берет Алексея под руку.

— Ты смотри... не снижай темпов наступления... всем фронтом, понятно?.. Сталь музыке всегда переспорит. Держись крепче.

Алексей неприязненным взглядом окидывает Наташу и Томашевича.

Раздается звонок, народ повалил в зал, и Томашевич, взяв Наташу под руку, увлекает ее вместе с другими, а Алексей, прячась за спинами людей, идет следом.

Думая, очевидно, что Иванов сбежал, Томашевич садится рядом с Наташей, а Алексей, прислонившись к боковой колонне, наблюдает за Наташей.

На сцене поет Зайченко. Его молодой красивый голос проникает в самое сердце.

Слеза бежит по лицу Алексея. Он не замечает ее. Он стоит, прислонив голову к колонне, и, глядя на Зайченко, мучается.

Не песня смутила Алексея, смутила его любовь к Наташе. К ней одной тянется его душа, и Алексей не знает, дотянется ли. Но-

вый мир нежности и красоты открылся перед ним в ее лице. Но его ли этот мир и здесь ли проходит путь настоящей жизни, этого он еще не может понять. Полюбит ли она его? Сомнения одолевают Алексея, ему думается, что счастье быть любимым не для него. И он зол на все, что препятствует ему быть рядом с Наташей.

Наташа, издали наблюдавшая за Алексеем, беспокоена.

Рабочие из бригады Иванова во главе с Ермиловым обратили внимание на странное состояние Алексея.

Ермилов, подмигивая товарищам и указывая на Иванова глазами, говорит:

— А наш-то — того, по всему видно, в любовь ударился.

Все тихо засмеялись. Иванов увидел устремленные на него насмешливые взгляды товарищей.

Он стоит, сжав кулаки, и если б не стыд перед людьми, он бы выдрал все вихры у этого Томашевича и надвое переломил бы «проклятого» Зайченко. Тяжело дыша, он оставляет клуб и один идет по темным улицам к реке; слезы бегут по его лицу.

Сев на берегу, он запел. У него хороший баритон, и он любит петь, только стыдится. Но сейчас, в тишине весенней ночи, под дальнее пение первых соловьев, песня его льется свободно, как разговор с самим собой.

Эх ты, Ваня, Ваня...

поет он, отирая слезы.

Ему хорошо наедине со своей тоской. Постепенно песня успокоила и ободрила Алексея. Он находит утешение в ее звуках, и новые надежды шевелятся в его душе.

Ночь. Комната Иванова. Он сидит за столом. Развернул том Пушкина и отбросил, заглянул в стихи Лермонтова и не прочел ни строки, а потом, сжав голову руками, погрузился в чтение Маяковского.

Мать входит к нему и сразу догадывается о причине мрачного настроения.

— Отказала? — спрашивает она.

— Не говорил еще, — отвечает он.

— Ты, как отец, тянешь, тянешь, пока всю душу не вымотаешь. Я, знаешь, когда отец покойный за мной ухаживал, ему аж два подметных письма послала: дескать, торопись, а то вашу даму могут увезти в добрый час...

— А он?

— Отец-то? Шальной был, вроде как ты, — прибеги, аж двери затрещали. Довела я его тогда... А может, тебе стихи ей написать? — спрашивает мать. — Я одного знала, он все больше стихом завораживал, вычитает где-нибудь, себе в бумажку спишет — и ну приворазивать. Вон их у тебя сколько! Спиши, которые красивее, и пошли...

Он молчит.

— Девушка чистая, хорошая, ничего не скажешь, — вслух думает мать, — но только не для тебя она, Алеша: ты человек рабочий, а она... из ученой семьи. Ее родитель инженер, что ли, большой...

Сын засыпает, опершись на руки.

Мать подходит к столу и читает:

Литературная шатия,
Успокойте ваши нервы,
Отойдите — вы мешаете
Мобилизации и маневрам...

— Да... не подходит к нашему делу... Ну, утро вечера мудренее, — и выходит на цыпочках, стараясь не потревожить сына.

Иванов стоит в кабинете у Хмельницкого.

— Василий Васильевич, дай ты мне какой-нибудь отпуск или учиться пошли куда-нибудь подальше, — не могу я тут больше.

Хмельницкий басит:

— Прописал бы я тебе отпуск по шее, да вашему брату везет. В Москву вызывают. Собирайся.

— Я готов хоть сейчас, хоть в Москву, хоть на полюс, — горячо говорит Иванов. И сразу озабоченно спрашивает: — А кто вызывает-то?

— Сталин, — отвечает Хмельницкий.

— Не поеду, ни за что не поеду!.. Да как же я... — взволнованно бормочет Алексей.

— Поговори у меня! — грозит Хмельницкий. — Вместе летим. Я тебя ни на шаг не отпущу...

— Не поеду, — настаивает Иванов, — боюсь, даже представить не могу, чего я говорить буду...

— Чудак-человек, говорить ему надо... С тобой будут говорить, а ты знай себе слушай, ума набирайся... Такое человеку счастье, а он еще ерепенится!.. Пошли, милый, самолет ждет...

Сад молодо зеленеет. Цветут деревья. Поют, заливаются жаворонки в небе. Сталин поднимает голову и прислушивается.

В белой домашней куртке Сталин обминает ногой землю вокруг только что посаженного им деревца.

Подходит дежурный, говорит:

— Товарищ Сталин, прибыл по вашему вызову сталевар Иванов.

— Просите Иванова сюда.

Алексей идет по дорожке сада. Он очень взволнован.

— Ей-богу, я не могу, — говорит Алексей дежурному, — отпустите меня, ради бога... что я... рапортовать надо или как?.. Лучше

Хмельницкого, вызовите, а?

Дежурный не успевает ответить — Сталин сам идет навстречу гостю.

Иванов, глубоко вздохнув, останавливается. Губы его дрогнули.

— Здравствуйте, Виссарион Иванович, — вымолвил он через силу, — то есть... простите ради бога...

Сталин смеется.

— Это моего отца звали Виссарионом Ивановичем, а я — Иосиф Виссарионович... Ничего, ничего... — смеясь и повторяя «Виссарион Иванович», он, обняв Иванова, ведет его в дом, где уже накрыт стол.

За столом товарищи Сталин, Молотов, Калинин, Маленков, Берия, Ворошилов и Иванов.

Все блюда стоят на столе. Подающих никого нет. Каждый берет сам, что ему надо.

Иванов, чтобы не сделать какой-нибудь оплошности, ест один хлеб.

Сталин говорит ему:

— Когда гость не ест, хозяину обидно. Попробуйте вот это, — и кладет на тарелку Алексея рыбу, наливает вина в бокал.

— Спасибо. За ваше здоровье, товарищ Сталин, — говорит Алексей.

— За мое здоровье часто пьют, — отвечает Сталин. — Давайте за вас выпьем, за ваши новые успехи.

Все пьют. Берия снова наполняет бокалы и как бы вскользь замечает:

— Их завод только Ивановым и держится, а вообще неважно работает...

— Наш завод? — Иванов не заметил шутки. Он взволнован и отвечает с достоинством: — Наш завод сильный, народ у нас смелый, дерзкий, далеко вперед видит... Нет, не зря нас орденом наградили, товарищ Берия.

— Завод у них ничего, — говорит Сталин, — руководство только немного отстаёт... Верно? Иванов отрицательно мотнул головой.

— Нет! Таких директоров, как наш Хмельницкий, по всему Союзу поискать, — произносит он уверенно, — сталь мы даем хорошую, такую никто не дает. Так и называется у нас — хмельницкая сталь.

— Сталь многие дают, но не все отдают себе отчет, для чего она и сколько ее нужно нам... У вас о войне народ что думает? — спрашивает Молотов.

— Думают, что подходит она, подкатывается... — отвечает Иванов.

— В будущей войне сталь будет решать все, — говорит Сталин, — ибо чем богаче оснащен воин, чем сильнее его техника, тем ему легче победить.

— Сталь-то у нас, товарищ Сталин, хорошая, а будет еще лучше, — говорит Иванов. — Я вот выдал первую плавку новой марки, а наш старик сталевар Ермилов, гляди, меня

через месяц-другой и перекроет. Получше плавку выдаст. А там еще кто откроется...

— А вы и сддадитесь? — спрашивает Ворошилов.

Сталин усмехается:

— Конечно, сдастся. Успокоится на достигнутом — и все.

— Я — на достигнутом?! — восклицает Иванов. — Я никогда не успокаивался на достигнутом. Да и никто из нашей молодежи не представляет себе, ну как это, например, можно без соревнования. Сталь варить — это надо головой работать, — заволновался он вдруг. — Может, вам так сообщают, что, дескать, состав есть, технологический процесс указан — точка, делай?

— А разве не так? — улыбаясь, спрашивает Сталин.

— Не совсем так, — отвечает Иванов, отодвигая от себя тарелки, нож, вилку, чтобы было свободнее рукам. — Сталь — она, как живая, товарищ Сталин. Все обеспечено как будто и делаешь все по технологической инструкции, а глядишь — брак. В чем дело? В том дело, я вам так скажу, чтобы сталь правильно, хорошо прокипела. Может, матери так детей не рожают, как я эту сталь. Вот как оно!.. Ходишь возле мартена, душа дрожит, все думки там, в печи, будто я сам в огне варюсь.

Иванов останавливается.

— Рассказывайте, рассказывайте, — говорит Сталин, придвигая к Иванову его тарелку, но тот, не замечая, отодвигает ее в порыве нахлынувшего красноречия.

— А когда плавка готова, гляну на металл и сразу вижу, удалась или нет. Тут отца-мать забудешь. А как пошла... такая радость берет, тогда все нипочем, петь тогда охота... Тут шум, грохот, а ты поешь себе, как соловей.

Все выходят из-за стола. Окружают продолжающих беседу Сталина и Иванова.

— Вы женаты, товарищ Иванов? — спрашивает Молотов.

— Приближаюсь, — туманно отвечает Алексей.

— К чему это вы приближаетесь? — спрашивает Сталин.

— К тому... к женитьбе приближаюсь, а не выходит. Не моей, видать, марки сталь. Если можете, помогите, товарищ Сталин, — вздохнув и смутившись, отвечает Алексей.

Все смеются. Сталин разводит руками.

— Тяжелый случай! Но если что от меня зависит, конечно, помогу. А в чем дело, по существу?

— Красавица! — говорит Алексей. — И душа чистая! И умница! А вот стихами меня замучила... Вдруг, скажем, звонит по телефону: «Алло! Алексей, Алеша! «Кавказ подо мною, один в вышине...» Продолжай!» Вы понимаете?

Сталин, смеясь, останавливает его:

По улицам горящего города мчатся немецкие мотоциклисты. За ними танки.

Площадь заводского городка. Молчаливая толпа жителей. Среди них Наташа. Под балконом немецкий офицер не торопясь продолжает речь.

Он говорит:

— Порядок от германской армии очень очень гуманный. Русский народ — народ славянский, сам жить не может. Мы дадим новый порядок.

Кто-то негромко свистнул.

Немец смотрит: перед ним стоит хмурая толпа. Он замечает в толпе мальчишку-ремесленника и обращается к нему с добродушной улыбкой:

— Кто сделал небольшой свист? Ты, мальчик?

— Я,— говорит Ленька, выступая вперед.

— Нехорошо. Я давал первый урок. Ты нарушил порядок.

— Я братишку позвал,— отвечает Ленька.

— Я понимаю,— говорит немец.— Фюрэрсте раз будем сделать один показ.

Офицер поднимает руку. С балкона спускают веревку с петлей. Офицер сам надевает мальчику петлю на шею. Тот не очень испуган и не ожидает больших неприятностей.

Немец делает знак, веревка поднимается. Мальчик хрипло вскрикивает.

В толпе движение.

Кричит Наташа:

— Что мы стоим? Товарищи, это звери!.. Убивайте их!

Безоружные люди бросаются на немцев.

Яблоко лежит на столике перед госпитальной койкой.

Иванов открывает глаза, смотрит.

Косая полоса осеннего солнца врывается в комнату, освещает столик и яблоко.

— Яблоко? — удивленно шепчет Иванов.

— Алеша! — слышит он шепот и узнает голос.

— Зайченко? Я где? — спрашивает Иванов.

— В госпитале. Уж мы тебя искали, искикали...

Иванов перебивает:

— Наташа где?

— Про что ты спрашиваешь, Алеша? Немец пид Москвой.

Иванов закрывает глаза. Слеза катится по его щеке.

— Как под Москвой? А Сталин где?

— А Сталин в Москве,— отвечает Зайченко.— Тильки на него одного надежду держим. Як Сталин из Москвы, так всему конец!

— Как же немцы под Москвой? — го-

ворит Иванов, открывая глаза.

— Осень, Алеша. Три месяца ты пролежал...

— Наташа,— опять спрашивает Иванов,— Наташа где?

— Наши говорят — Леньку Гурова немцы повесили. Тут Наташа на них бросилась... Увезли ее в Германию... пропала Наташа. Нам надо на завод пробиваться, производство налаживать в тылу.

Иванов открывает глаза:

— Наташа в Германии, в плену? Ну, мое производство теперь — мертвых фрицев делать! — И Иванов, вскочив с койки, рванулся из палаты.

— Алеша, куда ты? Стой! — кричит Зайченко вдогонку Алексею и бежит вслед за ним.— Тебе на завод надо ехать... Стой!

Ночь. Кремль. Бьют куранты.

В кабинете товарища Сталина совещание. Присутствуют Сталин, Молотов, Василевский, Жуков.

Жуков докладывает, стоя перед картой Подмосковья:

— Немцы накапливают силы. Разведка указывает — к северо-западу от Москвы подтягиваются третья и четвертая танковые группы Готта и Хюпнера.

Сталин. Да... хотя Москва взять в клещи. Молниеносный удар у них провалился, так теперь они хотят взять концентрическим наступлением... (Жукову.) Дальше.

Жуков. В центре 4-я немецкая армия тоже получает подкрепление. На юге, против Тулы, 2-я танковая армия Гудериана получает новую материальную часть. Всего, по данным разведки, под Москвой набирается до полусотни дивизий. Видимо, немцы готовятся к решающему удару. Судя по тому, что они сосредоточили на флангах мощные танковые группировки, удар будет нанесен одновременно с юга и с севера. Таков замысел противника.

Сталин. Да... (Идет на середину комнаты.) А в распоряжении Гитлера ресурсы всего западноевропейского континента с населением свыше трехсот миллионов человек. Это не шутка... (Подходит к Жукову.) Надо продержаться, изматывая их силы, мы должны выиграть все то время, которое нам необходимо для подготовки контр наступления.

Жуков. Понимаю, товарищ Сталин. У меня вот людей маловато и с техникой плохо. Нам бы сейчас танков штук полтора-раста.

Сталин. Полтора, говорите... возьмите пока что восемнадцать машин. И эти... бронейки... отличное оружие.

Молотов. Прекрасное оружие.

Жуков. Тысячи три надо бы.

Сталин. Три тысячи даже мало. Но пока что возьмите двести. Начнете наступать — все дадим, ничего не пожалеем. Авантюрная стратегия Гитлера рассчитывает на панику и растерянность. Сохранить спокойствие — это значит сорвать все их планы.

Товарищ Сталин идет в глубь кабинета. Подходит к своему письменному столу, медленно набирает трубку.

Сталин. С противотанковыми рвами не опоздаем?

Молотов. Щербаков четвертые сутки на работах — говорит, успеем...

Сталин. Берия не вернулся?

Молотов. На оборонительных рубежах. Василевский. Товарищ Сталин, как быть с парадом?

Сталин. Будет.

Василевский. Их авиация зверствует.

Сталин. Завтра седьмое ноября. Всегда в этот день был парад, будет он и завтра. Василевский. Разрешите сообщить об этом членам Политбюро?

Сталин. Надо сообщить. Сообщите.

Товарищ Сталин направляется к выходу. Все встают, собираясь выйти за ним.

Пасмурное ноябрьское утро в Москве.

На серой, ничем не украшенной Красной площади стоят войска. Стоит пехота в полном вооружении.

В небе, за низкими серыми облаками, слышно гудение авиационных моторов и глухой треск пулеметных очередей.

В небе, не прекращаясь, идет бой.

Над площадью звонко проносится:

— Смирно!

Все замирают.

На Мавзоле, как капитан на мостике корабля, появляется Сталин. Рядом с ним Молотов, Берия, Василевский, Буденный, генералы.

— Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники...— начинает Сталин.

И мы видим стрелковые окопы в подмосковных лесах.

Радист поймал в эфире речь Сталина и переключает ее на рупор. Взрывом мин засыпает окопы. Бойцы ползком пробиваются к рупору слушать Сталина. Их лица встревожены. Они не ожидают веселых известий. Пули взвизгивают над головами.

— ...рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда!..— слышится спокойный голос Сталина.

И мы видим затемненные цехи прифронтowego завода и измученных бессонницей людей у станков. Иные поднимаются с

пола, на котором они спали, не выходя из завода.

Станки жужжат, речь Сталина слышна сквозь гул станков.

— ...В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны.

Сталин на Мавзоле.

— ...Несмотря на временные неурепехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон...

Под звуки сталинского голоса идет рукопашный бой.

— ...Мы имеем теперь замечательную армию и замечательный флот, грудью отстаивающие свободу и независимость нашей Родины...

Голос Сталина уверенно и твердо раздается над полем схватки:

— ...Вся наша страна, все народы нашей страны подпирают нашу армию, наш флот, помогая им разбить захватнические орды немецких фашистов.

Летчик-истребитель включил радио, прислушивается, зорко озирая небо. И слышит вдруг:

— ...Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?

Вопрос, неожиданно донесшийся с земли, застает летчика как бы врасплох.

— А кто сомневается? — спрашивает он, точно вопрос обращен лично к нему.— Побьем, факт! — Глаза его уже ищут противника, и он ложится в крутом вираже, выходя в атаку.

— Николай, Сталина слышишь? — кричит он, и голос четко отзывается:

— Слышу!

А с земли доносится к ним:

— Сынки, Сталина слышите? Ну-ка, вместе с ним дайте фрицам!

В воздухе перекличка голосов.

По Красной площади проезжают стройными рядами автомашины. Проходят танки. Выезжают с Красной площади «катюши».

Подмосковные окопы.

Линия траншей. Строчит из пулемета солдат. Идет бой.

— ...Не так страшен черт, как его малюют! — слышат в окопах, и огромный, сильный солдат поднимается во весь рост. Это Иванов.

— А ну, браточки,— оборачивается он к своим,— не так страшен черт, слышали? Рядом с Ивановым Зайченко.

Над крылечком полуразрушенной деревянной избы репродуктор, покалеченный пулями. Он раскачивается на ветру, едва держится, но голос из него льется спокойно:

— ...Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленые немецкие войска?..

В одной из комнат рейхсканцелярии, видимо, приемной Гитлера, несколько военных, тут же Геринг, стоят у радиоприемника и слушают речь Сталина. Кто-то шепотом переводит на немецкий язык.

Внезапно рука Геринга заглушает передачу.

Из открытых дверей комнаты виден роскошный зал, где собрались послы союзных Германии держав, папский нунций в кардинальской одежде, военные в парадной форме, корреспонденты. Здесь же приготовлен обильный завтрак.

В момент, когда заглушили радио, Гитлер, высоко задрав голову, вбегает в зал, где, видимо, его ждали.

Испанский генерал, щелкнув шпорами, склоняется в почтительном поклоне:

— Испания приветствует вас, мой фюрер! — говорит он.

Подходит турок, тоже военный:

— Президент господин Исмет Иненю поручил передать вам его искреннее восхищение победами вашего оружия!

Японский военный:

— Сегодня Япония празднует вашу победу, мой фюрер.

Кардинал обращается с приветствием к Гитлеру:

— Святой престол передает свое благословение немецким героям Москвы... — Гитлер самодовольно отвечает коротким кивком головы. Кардинал продолжает: — Святой престол давно связал свою судьбу с вашей, дорогой фюрер!

Судя по лицу кардинала, он затеял длинную речь, но Гитлер, не любящий никого слушать, кроме самого себя, перебивает:

— Дорогой Арсениго, я жду папской энциклики против большевизма. Вообще, я с большим удовольствием приветствовал бы на престоле святого Петра именно вас. Вы истинный наци, Арсениго. Вам бы носить не рясу, а форму штурмовика. — И, обращаясь к присутствующим, Гитлер торжественно изрекает: — Господа, Москва у ног Германии. Ворота в Россию распахнуты настезь. Я перевожу часы истории на столетие вперед. С коммунизмом будет раз и навсегда покончено. Наградой за победу будут германские границы до Урала, хлеб и уголь Украины, нефть Кавказа, русские, украинские и белорусские рабы... Вот они!

Гитлер распахивает окно, и видно, как

мимо рейхсканцелярии под конвоем наглых эсэсовцев проходят русские пленные.

Оборванные, избитые, крайне изнуренные, идут они, связанные друг с другом. Когда один из них падает, другие, не смея остановиться, должны тащить его за собой.

В группе, в первых рядах, идет Наташа Румянцева. Это не та прелестная, тонкая, изящная девушка, которую мы знали до войны, а другая, ожесточенная, огрубевшая, постаревшая.

— Должно быть, это рейхстаг. Вот оно фашистское знамя, — говорит Наташа.

Массивные здания, войска, самодовольная толпа — все вместе создает картину необычайной, помпезной торжественности.

С ненавистью разглядывая вражескую столицу, проходят, шатаясь, советские пленные.

— Радуются, сволочи! Празднуют!.. Москву, говорят, взяли... — произносит девушка, идущая рядом с Наташей.

— Неправда это! Не может этого быть! — шепчет Наташа.

Гитлер отворачивается от окна со словами: — Эти рабы получат крепких немецких хозяев. Однако пора, господа, от комплиментов переходить к деловой помощи.

Турок щелкает шпорами:

— Я жду решения Анкары не позже завтрашнего дня.

Испанец щелкает шпорами:

— Я жду исторических директив генерала Франко сегодня вечером...

Гитлер выходит в приемную. Дежурные вытягиваются перед ним.

— Иодль, какие вести с фронта? Неужели мои войска еще не вошли в Москву?

— Войска утомлены бесконечными боями. Перед последним ударом нужна передышка. Надо думать, русские дешево не отдадут Москвы, — докладывает генерал Иодль.

Гитлер перебивает его:

— Что? Вы говорите глупости. Русской армии нет, я ее уничтожил, кто может сопротивляться? Кучка сталинских фанатиков? Я приказал взять Москву седьмого ноября, то есть сегодня.

Он нервно бегаёт по комнате.

— Поймите Москву!

Рука Геринга у приемника.

Слышен спокойный голос Сталина:

— За полный разгром немецких захватчиков! Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!

— Что это? — истерически визгливо спрашивает Гитлер, брызгая в лица окружающих слюной, которую они не смеют стереть. — Это что такое?

— Это Сталин, мой фюрер! Там, кажется, парад на Красной площади, — растерянно отвечает Геринг.

— Каким образом парад? Москва при последнем издыхании, она уже в моих руках!.. Немедленно тысячу самолетов! Черт бы вас всех побрал! Тысячу самолетов в воздух — и на Москву!

...Взлетает в воздух множество самолетов. В небе толчея голосов:

— Форвертс!.. Хайль Гитлер!.. Нах Москау!.. Вася, бери второго!.. Сережка, нет патронов, иду на таран!.. Хох... Молодец, Сережка, молодец!.. Нах Москау... Иван Васильевич, заходи справа!.. Форвертс, форвертс!.. Жги, жги!.. Не жалеи!..

НИ ОДИН НЕМЕЦКИЙ САМОЛЕТ НЕ ПРОРВАЛСЯ К МОСКВЕ.

На Мавзолею Сталин спокойно заканчивает историческую речь:

— Под знаменем Ленина — вперед, к победе!

И войска с Красной площади идут на фронт.

Снежные поля Подмосковья усеяны разгромленной немецкой техникой, трупам.

НИ ОДИН НЕМЕЦКИЙ ЗАХВАТЧИК НЕ ПРОШЕЛ К МОСКВЕ.

Кабинет Гитлера.

Гитлер в темном эсэсовском мундире, плечи которого густо усыпаны перхотью, неистово кричит на Браухича:

— Ничтожество! Я сделал из вас фельдмаршала не для того, чтобы вы проиграли так отлично начатую войну...

Вблизи огромного письменного стола стоят Геринг, Геббельс, Борман и военные: Браухич, Кейтель, Йодль, Рундштедт, фон Бок и начальник генерального штаба Гальдер.

— Мой фюрер, если мы вспомним вещице слова великого Фридриха, предостерегавшего от вторжения в Россию... — спокойно говорит Браухич.

— Я не хочу вспоминать вашего Фридриха!

— Также и Бисмарк предостерегал не идти на Восток.

— Я не знаю, что завещал вам Бисмарк, я знаю, что начертал вам я! На моем знамени одно слово: «Вперед!» Вы не читали «Майн кампф»!

Браухич, обменявшись быстрым взглядом с генералами, говорит:

— Мой фюрер, на Востоке наступило некоторое затишье, и я считал бы необходимым воспользоваться им...

— Да, да... воспользоваться непременно, это хорошо, — соглашается Гитлер. — Что предлагаете?

— Воспользоваться как можно скорее, мой фюрер, и оттянуть наши армии из России...

— Что?

— ...хотя бы на линию Березины, чтобы подготовиться к весеннему удару.

— Вы в своем уме, Браухич, или вас пора уже отправить в сумасшедший дом? Оттянуть армии из России? Стоило начинать войну!

— Война с Россией, мой фюрер, — это такая война, которую знаешь, как начать, и не знаешь, как кончить, — настаивает Браухич. — Вы обещали нам, мой фюрер, политический распад Советского государства — только это и вело нас в поля России. Но распада нет, мой фюрер, я сказал бы, — наоборот... Воевать придется долго, и воевать надо серьезно.

— Браухич, замолчите! В моих руках вся индустрия Европы, все ее жизненные ресурсы. В Америке деловые круги поддерживают нас. Вы понимаете, кулак какой силы я занес над этой азиатской страной, уже потерявшей цвет своей армии? Что может устоять передо мной?.. Это зима задержала меня, а не русские. Зима! И вы, Браухич, маловажно и трусы...

— Не зима нас задержала, мой фюрер, а...

Гитлер сжимает кулаки:

— Браухич, вы изменник!.. — истерически кричит он. — Дезертир!.. Победа мной указана и должна быть добыта!

Гитлер, беснуясь, бежит у стола, внезапно останавливается, обращается к Рундштедту:

— Рундштедт, примите главное командование.

Рундштедт. Мой фюрер, я не могу принять вашего назначения... Воевать с Россией — это безумие. Если мы не могли победить ее в 1914 году, когда она была отсталой и зависимой, то тем более мы не сможем добиться успеха сейчас.

Гитлер. Это еще что?

Рундштедт. Стратегический план германского командования на Востоке потерпел крах.

Гитлер. Ах, вот как! Заговор?.. Отлично... Я, я научу вас, как следует воевать... Я возглавлю армию... Кейтель!.. Будете со мной... Доктрина молниеносной войны изложена в моей книге, надо только уметь читать...

После короткой паузы он продолжает:

— Коммунизм — враг не только Германии... Мы авангард. Мы нужны и Англии и Америке. Неужели вы серьезно думаете, что Черчилль искренне держит сторону Сталина? Вы, господа генералы, травмированы Россией, хотя находитесь на русской земле. — Сжимает кулаки. Лицо наливаются кровью. — Собрать все, что можно. Выжать Европу, как лимон. Итальянцев, румын, венгров — всех в огонь. Кликнуть клич в Испании, во Франции, в Швеции, Турции... Крестовый поход! Я воз-

главляю... В Лондоне и Вашингтоне должны понять, что я делаю их дело. Вы слышите меня? Их дело!..

Он шатается от кликушеского возбуждения.

Гebbельс подобострастно, соболезнующе говорит Гитлеру:

— Вы устали, мой фюрер, вам следует отдохнуть.

— Да, конечно, мой фюрер,— вторит Геринг.

— Да, да,— Гитлер трет лоб.— Я должен отдохнуть.

Будуар Евы Браун.

Золотистые волосы, убранные, как драгоценность, кукольно красивое лицо, не омрачаемое ни единой мыслью, изящные руки в кольцах...

Такова Ева Браун.

Гитлер устроился напротив нее, жуя пирожок, и его полный восторга взгляд не может оторваться от Евы.

Большое удовольствие, которое он получает, наслаждаясь пирожками и разглядывая свою любовницу, мало-помалу успокаивает его. И все же он время от времени возвращается к мрачным мыслям.

— Успокойся, Адольф,— мягко говорит Браун.

Он улыбается, кладет голову на ее колени.

— Знаешь, Ева, я в конце концов разрушу Москву! Если бы не зима, я был бы уже в Москве, но я еще буду в ней. Я! — произносит он страстным шепотом и продолжает жевать пирожок.

— Конечно, милый, ты все можешь,— она стряхивает перхоть с его мундира и перебирает рукой волосы.— Ты должен ежедневно мыть голову тем эликсиром, что я тебе дала. Покажи ногти! Ай-ай-ай! — и, вынув из волос шпильку, начинает чистить ему грязные ногти.

— Я выгоню русских в леса Сибири! — говорит Гитлер.

— Ну да, ну да, натюрлих. Только не волнуйся и будь всегда чистеньким, красивым,— говорит Ева Браун и протягивает Гитлеру пирожок.

— Войну, Ева, я закончу в Сталинграде. Это будет символом — покончить со Сталиным в Сталинграде. Ты не находишь?

— О, натюрлих, только ты один мог придумать такой ход!

— Да, я один, это верно,— соглашается Гитлер.— Это гениально — покончить со Сталиным в Сталинграде.

И он стремительно выходит из комнаты.

Вбежав в свой кабинет, где его терпеливо ждут генералы, Гитлер подходит к огромной

карте Советского Союза и, обхватив ее руками с севера и с юга, кричит:

— Я возьму Россию в гигантские клещи. Смотрите!.. Я разорву ее пополам на Волге... Я задушу Москву...

Кейтель. Колоссально!.. Это поистине замысел гения, мой фюрер!

Рундштедт. Мы не в состоянии, мой фюрер, нанести в этом году несколько одно-временных ударов.

Гитлер. Не говорите мне этого. Я нанесу один удар с юга, но он будет смертелен.

Он обращается к Иодлю:

— Скажите, Иодль, сколько дивизий мы можем бросить к Волге?

Иодль (угодливо). Всю группу Паулюса, всю группу Манштейна, всю группу Клейста.

Гитлер. И румын, и итальянцев, и всех, всех... К станкам поставим пленных. Подготовьте приказ. Паулюса — к Волге, Клейста — на Кавказ. И вы увидите, чем это кончится. Я задушу Москву.

Геринг. Наши ресурсы, мой фюрер, на исходе... трудно подготовить большое наступление.

Гитлер. За бензин отвечает «Фарбениндустри». А что думают эти ваши тупоголовые англичане, задерживая шведский вольфрам? Они думают, что я лью кровь немцев для их удовольствия? Пусть дадут хром и вольфрам, иначе я заключу сепаратный мир с большевиками и пушу их в Европу...

Геринг. Мой фюрер, я предусмотрительно вызвал Чарльза Бедстона, представителя английских фирм в Швеции. Он тесно связан с правящими кругами Англии.

Замок Геринга. Дожливый день. Подъезжает закрытая машина, и пассажир в пальто с поднятым меховым воротником быстро, не желая быть узанным, входит в вестибюль.

Слуга встречает его молчаливым поклоном.

Гостя ведут наверх. Он не снимает пальто, и мы пока не видим его лица.

Лакей стучит в дверь. Она открывается изнутри, на пороге ее появляется Геринг. Его мясистое лицо расплывается в угодливой улыбке.

— Я чрезвычайно рад, что вы откликнулись на мое приглашение,— и он радушно вводит гостя в роскошный кабинет, сам помогает ему снять пальто и усаживает в глубокое кресло у пылающего камина.

Кабинет убран с королевской роскошью. Персидские и туркменские ковры, хрусталь и фарфор. На стенах картины русских и французских художников. Гость не без удивления разглядывает сокровища. Геринг самодовольно знакомит с ними гостя.

— Это из Киевского музея,— говорит он.— А это из Лувра... Это подарок Вены... Это Муссолини прислал из Венеции...

Гость садится в кресло, говоря:

— Весь мир в вашем замке.

— Пока только Европа,— смеясь, отвечает Геринг.

Гость медленно набивает трубку и с удовольствием затягивается, грея ноги у огня.

Геринг наливает ему рюмку коньяку.

— Французский,— прибавляет он,— подарок Петэна.

Гость — высокий, красивый англичанин лет сорока пяти.

— Признаться,— сухо произносит он,— я без особой охоты отпралялся из Лондона в это путешествие, третье по счету, как вы, вероятно, помните, дорогой Геринг.

Геринг беспомощно разводит руками и придвигает гостю ящик с сигарами.

— Война на Востоке давно была бы закончена, приди Гитлер и англичане к соглашению в прошлом году,— продолжает гость раздраженно и высокомерно.— Надеюсь, вы меня вызвали не по этому вопросу? — И добавляет: — Сегодня события вне нашей воли. Хозяин положения — Сталин, как вам должно быть понятно.

— Я хотел вас видеть, дорогой Бедстон, конечно, не только как старого друга. Мой интерес к вам несколько шире.

Лакей вносит поднос с кофе.

Когда лакей исчезает, Геринг вполголоса обращается к гостю:

— Я пригласил вас, дорогой Бедстон, чтобы в качестве старого друга Англии просить о личном одолжении.

— Уж не хотите ли вы прокатиться к нам, подобно Гессу? — посмеивается англичанин.

— О нет, нет,— хохочет Геринг,— еще не изобретен парашют, который был бы способен меня выдержать!

Грохот зениток доносится до сидящих. Быстро входит лакей.

— Американски. Большой налет,— коротко сообщает он.

Глядя на гостя, Геринг невольно прислушивается к тому, что происходит вне замка, и его только что улыбавшееся лицо выражает сейчас откровенное беспокойство и страх.

— Мы можем пройти вниз... — учтиво предлагает Геринг, но гость спокойно отказывается:

— Эти американские дневные налеты, по моему, одна реклама... Продолжайте, пожалуйста...

— Я прошу у вас личного одолжения... Моя сегодняшняя просьба заключается в следующем: Сталинград пожират все наши резервы, все запасы. Для нового наступления нам дозарезу необходимы танки. Для легирования стали нужны, как вы знаете, хром и вольфрам. Турция дает недостаточно. Во имя спасения западной цивилизации от большевизма вы нам должны помочь, Бедстон.

Мы ведь делаем не только германское дело.

Гость задумывается:

— Плохо воюете, Геринг. Надо отстранить вашего сумасшедшего... Не забывайте, что перед вами Сталин — великий полководец.

— Германия вложила такой огромный материальный пай в Гитлера, что менять его поздно... — замечает Геринг, — да, кроме того, он имеет влияние на обывателя.

— Скажите мне откровенно, Геринг, вы возьмете когда-нибудь Сталинград? — спрашивает англичанин.— Весы войны колеблются — и не в вашу пользу, а мы сделали для вас все, что могли. Второго фронта ведь нет... И я не знаю, когда он будет... Цените это.

— Мы это ценим. Сталинград будет наш. Адольф заявил об этом публично... Потеря Днепра, Дона, Волги будет означать для Советского Союза то же, что означала бы для Германии потеря Рейна, Эльбы, Одера и Дуная. Никакая человеческая сила нас оттуда не выгонит. Поверьте мне, Сталинград будет взят.

— Когда?

— Как только получим от вас хром и вольфрам.

— Сколько?

— Двадцать тысяч тонн. Бедстон, и как можно скорее.

— Немыслимо...

Геринг наполнил бокалы.

— Мы не должны торговаться,— произносит Геринг уже не просительно, а строго.— Не забывайте — мы ваш форпост. Если мы не справимся сейчас с Россией, вам и Америке придется начинать все сначала.

— Не читайте мне нравоучений, Геринг.

— Где и как? Прошу учесть срочность дела!.. — деловито говорит Геринг.

— В Стокгольме. Представитель «Армстронг Виккерс» будет ждать представителя Круппа.

Геринг поднимает свой бокал.

— За наш Сталинград! — говорит он улыбаясь.

— За вас в Сталинграде! — отвечает гость.— Как говорится по-русски,— ура!

Оба молча пьют.

— Ура-а-а! Ура-а-а! — слышится отовсюду.

Идет ожесточенный бой.

То и дело вспыхивающие ракеты освещают землю неровным светом. В небе шарают прожекторы. Взметая снег и землю, рвутся снаряды.

Крутой берег Волги, изрезанный блиндажами, вздрагивает и осыпается. Дождь осколков. Противотанковые орудия ведут бешеный огонь по немецким танкам.

ВЕЛИКАЯ СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА, ЗНАМЕНУЯ НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА ВОЙНЫ, ПРИБЛИЖАЛАСЬ К КОНЦУ...

Поле гигантского танкового сражения. Немецкий танк, переполезая через развалины, идет прямо на Иванова.

Иванов бросает связку гранат, но не падает. Танк надвигается на него.

Придя в ярость, Иванов решительным броском вскакивает на танк и стреляет из пистолета в одну из бойниц.

Начинается жестокая, безумная схватка человека с машиной, напоминающая единоборство Мцыри с барсом.

Танк поднимается на развалины и спускается с них, точно пытается стряхнуть с себя смельчака, а он упорно стреляет в бойницы.

Вдруг Иванов вспомнил, что где-то у него еще осталась одна ручная граната. Он бросает ее в разбитую смотровую щель.

Раздается взрыв внутри танка. Танк останавливается и, окутавшись дымом, загорается.

Измощенный Иванов лежит на броне, дымится одежда на нем.

— Алексей, слезай! Взорвется! Алексей! — кричат Зайченко и Юсупов и, видя, что товарищ по-прежнему не двигается, стакивают его.

— Десятый за одни сутки!.. — кричит Юсупов на ухо Иванову и вместе с Зайченко ведет его к берегу.

По лицу Иванова струится кровь, волосы и руки опалены, он едва идет.

— Пойдем к Волге, обмоешь кровь, — говорит ему Зайченко.

— Куда? — хрипит он. — Не пойду... Давайте, ребята, назад. За Волгой мне делать нечего.

— Небольшой перевязка сделают, — увещевает Юсупов. — Хороший бой имели, Алеша. Говорят, Сталин здесь...

Алексей Иванов останавливается:

— Если он здесь, чего же мы за реку идем? Сталина здесь оставим, а сами туда? Нет, брат, это не тот закон.

И он, несмотря на протесты Зайченко и Юсупова, идет обратно.

— Командующий... Чуйков!.. — вдруг шепнул Зайченко, заметив генерала.

Высокий, крепко сложенный генерал идет навстречу Иванову.

— Здравствуйте, товарищи! — говорит генерал Чуйков.

— Здравствуйте, — чеканно отвечают в один голос бойцы.

— Здорово дрались, ребята! Мы наблюдали за вами. Особенно вы, товарищ гвардии сержант. Ваш подвиг — пример для всех.

Иванов, набравшись смелости, обращается к генералу Чуйкову:

— Товарищ командующий, разрешите

обратиться. Гвардии сержант Иванов.

— Пожалуйста...

— Слух есть, товарищ Сталин приехал, здесь находится.

— А было ли, товарищ Иванов, время, когда мы без Сталина находились? А? Да разве без него устояли бы? Здесь он, и всегда был с нами!.. Товарищ гвардии старший сержант!.. От имени Родины награждаю вас орденом Красного Знамени...

Он оборачивается к сопровождающему его полковнику, берет из его рук орден и прикалывает на грудь Иванова.

Грохот боя в это время замирает. Но где-то вдали слышно мочеее «ура».

— А шо цэ там за «ура» такое, товарищ командующий? — спрашивает Зайченко.

— Помните слова Сталина: «Будет и на нашей улице праздник!»? Он наступил! Сегодня соединились Донской и Сталинградский фронты. Немцы взяты в гигантские клещи. Это — великий перелом в войне. С победой, товарищи! Сдержали мы слово, данное товарищу Сталину, и отстояли Сталинград. Спасибо всем вам, спасибо!

— Служим Советскому Союзу! — дружно отвечают бойцы.

Кабинет Сталина. Вечер. Огонь не зажжен. Сталин, Молотов, Калинин, Маленков и Берия слушают радиопередачу.

Отдаленно слышится знакомый голос диктора Левитана:

Две отборные немецкие армии, шестая и четвертая танковая, насчитывавшие свыше трехсот тысяч, перестали существовать... Пленено две тысячи пятьсот офицеров и двадцать четыре генерала с генерал-фельдмаршалом Паулюсом во главе.

Сталин. Молодцы сталинградцы! Окончательно провалились все эти мольтке, шлиффены, людендорфы, кейтели. За последние тридцать лет Германия дважды оказалась битой, и не случайно.

Молотов. В сорок первом году они валили все на мороз, теперь свалят на степи и бездорожье.

Сталин. Еще бы.

Молотов. Навсегда дискредитирован дутый авторитет немецкой военной мысли.

Сталин. А мы повторим удар, чтобы не зазнавались. Старик Кутузов был на десять голов выше немецких барабанных генералов. Он говорил: хорошо подготовленное контрнаступление — очень интересный вид наступления. Это они у нас пробуют второй раз. В немецкой науке об этом ничего не сказано.

Входят Антонов, Штеменко.

Сталин. Как дела со сталью?

Берия. Отлично, товарищ Сталин.

Сталин. Вот это хорошо. Конечно,

они пока еще будут сопротивляться, но скоро наши войска очистят от них советскую землю и начнут громить фашистские орды на их собственной территории. Теперь одна задача — вперед и вперед!

Карта фронта, передвигаются флажки. Голос диктора Левитана:

Попытка германской армии перейти в наступление на Курском направлении закончилась для нее плачевно. Красная Армия перешла в контрнаступление по всему фронту и освободила значительную часть временно захваченных немцами советских территорий.

Иванов, Зайченко и Юсупов с автоматами в руках бегут по горячей, заваленной обломками зданий улице. Немцы стреляют по ним из укрытий, идет бой за разрушенный город, в котором до войны жили Иванов и Зайченко. Все вокруг сожжено, изуродовано.

— Вот это наш клуб, здесь я увидел ее в первый раз,— говорит Алексей, останавливаясь у развалин: — А там наша школа, Наташина школа... одни развалины...

Бойцы огибаят угол здания и насканивают на фашистского офицера, наблюдающего в бинокль за боем.

Узбек подкатывается ему под ноги, и Иванов, схватив его, взваливает себе на плечи. Они бегут дворами и садиками.

— Хороший «язык» взяли,— с удовольствием восклицает Юсупов,— штабной «язык»! Дорогу не потерял?

— Я тут и слепой вывернусь. Свои места,— говорит Иванов, задыхаясь под тяжелой ношей.

Вдруг он останавливается.

— Ну-ка, Юсуп, посторожи его,— глухо произносит он и в ужасе разглядывает пепелище, на котором они находятся.

Тем временем Юсупов деловито обыскивает, обезоруживает и связывает пленного.

— Пойдем, дорогой, пойдем,— торопит Юсупов Алексея.

— Юсуп, Костя, да это наш дом,— растерянно шепчет Иванов.— Тут наша комната была...— показывает он на воронку, из которой торчат железные ножки исковерканной кровати.— Я, брат, тут родился. Эх, мама, родная моя старушка, что с тобой стало? — сквозь слезы шепчет Алексей и, опустившись на землю, щекой прислоняется к пеплу родного дома.

Немец презрительно молчит.

Узбек говорит ему:

— Это, слушай, не война... Что вы делаете? Детей убиваете, женщин убиваете — такого нигде нету. Сволочь ты, это самый верный слово будет.

— Я не сволочь, я есть офицер. Исто-

рия, ферштейст? История имеет закон. Дойчланд идет форвертс, вперед. Совет идет назад... назад. Вы — старая эпоха... Мы — новая эпоха, жизнь...

Алексей Иванов поднимает лицо с земли, оно серо от пепла и слез.

— Это кто сказал?

— Адольф Гитлер, фюрер.

— Ага, он так сказал? Добре...

Узбек, нервничая, срывает с плеча автомат и направляет его на офицера:

— Как свинья умирать будешь! Ей-богу, клятва даю: ни один живой фриц не оставлю!.. Сюда стать!

Алексей останавливает Юсупова:

— Нет, милый, мы его не убьем... Мы ему такую казнь придумаем... Ты сам откуда? — спрашивает он офицера.

— Берлин. Унтер ден Линден.

— Ага, добро!.. Вот я как приду на твой Унтер ден Линден, кисель из твоего дома сделаю. Понял?

— В наш Берлин ни-когда война не будет. Ни-когда!

Юсупов хватает офицера.

— У-у, шайтан, шайтан,— кричит он, норовя задушить офицера.

— погоди, Юсуп. Ты слышал, немец, что я тебе сказал? Один прах от твоего Берлина оставлю,— голос Иванова повышается до крика: — И не кричи тогда, что я жестокий, слышишь? Я добрый, я никого не трогал. Я к тебе не лез. Я добрый, но теперь ты, скотина, молчи, слова не вымолви. Ступай вперед!

Бойцы пробираются к своим. Иванов оглядывается:

— Прощай, родной дом!

Юсупов качает головой:

— Я твой политика не согласен... Если каждый фриц будем оставлять, большой себе убыток сделаем.

— Я хочу, чтобы он своими руками построил мне мой дом. Я хочу дожить до того, Юсуп, когда вот такая сволочь, как этот немец, сам скажет: «Да будет проклят Гитлер, что породил меня, да буду проклят и я, что породил Гитлера».

Они идут по развалинам, среди пожаров. Уличный бой еще продолжается. Куда-то на руках волокут маленькую пушку, на перекрестке стреляет пулемет, но улицы уже заполняются народом.

Женщины бросаются к советским бойцам, обнимают Иванова, Юсупова, Зайченко, плачут у них на груди.

— Алеша! — раздается вдруг крик.

Их обступают.

— Вернулся?.. Иванов Алеша, вернулся... живой.

— Нет, я еще не вернулся... Я еще иду на запад...

Он останавливается, чтобы спросить о Наташе.

— Мне ничего не скажете?

Все молчат. Только одна старуха говорит:

— Мы тебя считали погибшим, Алешенька, а ты жив... Может, и с хозяйкой твоей так же получится... Дай тебе господь счастья!

Иванов машет рукой и догоняет товарищей.

В небе мощный рокот бомбардировщиков. Пленный фашист поднимает голову. Иванов говорит ему:

— Знаешь, куда летят? На твой Берлин, на Унтер ден Линден! Чувствуй... Мы люди нежадные — что вы нам, то и мы вам. Получите сполна!

Навстречу им движутся танки. Вся земля покрывается танками, орудиями, конницей, пехотой. В воздухе бомбардировщики, штурмовики, истребители. На экране наплывом появляется карта военных действий, на которой оживают стрелы, указывающие пути наступления советских войск, разрезающие фронт противника.

Слышен голос диктора:

Советские войска с двенадцатого января перешли в наступление на фронте от реки Неман до Карпат протяжением семьсот километров. Войска генерала Черняховского вели наступление на Кенигсберг. Войска маршала Рокоссовского, действуя по северному берегу Вислы, отрезали Восточную Пруссию от центральной Германии. Маршал Жуков двигался южнее реки Вислы на Познань. Маршал Конев — на Ченстохов — Бреслау. Генерал Петров преодолевал Карпаты. Генерал Толбухин вел бои в Венгрии. Генерал Малиновский — в Словакии.

Генерал Антонов докладывает у карты военных действий на исторической Крымской конференции.

ШЛА ИСТОРИЧЕСКАЯ ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Открывается весь зал Ливадийского дворца, где за большим круглым столом сидят товарищ Сталин, товарищ Молотов, Рузвельт, Черчилль, их советники и референты.

Все внимательно слушают.

— Вследствие неблагоприятной погоды эту операцию предполагалось начать в конце января, — говорит генерал Антонов, — однако ввиду тревожного положения, создавшегося на Западном фронте в связи с наступлением немцев в Арденнах против наших союзников, Верховное Командование советских войск отдало приказ начать наступление не позднее середины января.

Переводчики склонились за спинами Рузвельта и Черчилля.

Рузвельт следит за докладом Антонова. Черчилль, спокойно ерзая на стуле, обращается к референту:

— Выходит, они нас спасали?

— Да... — отвечает референт.

Антонов продолжает.

— Немцы сосредоточили на центральном участке фронта двадцать четыре танковые дивизии. Верховное Советское Командование путем вспомогательных операций на флангах растянуло основную ударную силу немцев, и цель, намеченная Верховным Командованием советских войск при наступлении, была достигнута. Советские войска за восемнадцать дней наступления продвинулись на пятьсот семьдесят километров и вышли на реку Одер в районе Кюстрин, разгромив сорок пять дивизий немцев. Противник потерял свыше трехсот пятидесяти тысяч солдат и офицеров пленными и не менее восьмисот тысяч убитыми. В результате наступления советских войск переброшено с Запада на Восточный фронт шестнадцать дивизий, находится в пути пять дивизий, и готовы к переброске тридцать дивизий. В самое ближайшее время можно подготовить операцию для окончательного разгрома противника.

Сталин. Выходит, больше пятидесяти дивизий. Мы считаем, что союзники должны ударами авиации по коммуникациям противника препятствовать переброске войск с Западного фронта и из Италии на Восток и начать наступление в первой половине февраля.

Союзные советники и эксперты удивлены.

Американский военный советник, взглянув на Рузвельта, говорит безапелляционно:

— Генерал Эйзенхауэр считает в данный момент невозможной какую-либо решительную активизацию. Наши силы в хаотическом состоянии, снабжение войск испытывает невероятные трудности...

Перебросив сигару из одного угла рта в другой, Черчилль произносит:

— Рано, рано говорить сейчас о подготовке разгрома, когда англо-американскими войсками еще не преодолена линия Зигфрида, когда перед нами Рейн, неразбитые немецкие армии... Наше положение весьма серьезно.

— Именно сейчас обстановка для вас весьма благоприятна, — замечает Молотов, — немцы потерпели крупное поражение на Советском фронте. Их наступление в Арденнах приостановлено. Силы немцев на вашем фронте ослаблены в связи с переброской войск на Восток.

— Не спорю, но на это нужно время... — говорит Черчилль.

— Как воевать, — замечает товарищ Сталин. — Если вести, как некоторые, бесконечную войну патрулей, можно протоптаться на месте и пять лет.

Черчилль дымит сигарой. Его голова окутана дымом.

— Протоптаться... — повторяет он. — Если б ваши специалисты ознакомили и нас с опытом преодоления водных рубежей, мы бы

уже были за Рейном. А кроме того, ваш удар не сможет быть сильнее январского. Таков железный закон войны! Закон убывания сил...

— Он не характерен для советской стратегии, — спокойно замечает товарищ Сталин.

— То обстоятельство, — говорит Черчилль, — что ваши войска стоят в семидесяти—восемьдесят километрах от Берлина, не должно внушать вашему командованию радужных надежд, господин Сталин. Борьба будет идти на территории Германии в крайне затрудненных условиях — каналы, озера, леса, города... Немцы были гораздо ближе к Москве... Однако... мы все знаем, чем это кончилось.

— Наши люди научились воевать лучше немцев, — с тем же спокойствием отвечает товарищ Сталин.

— Ваше наступление рискованно, когда у вас в тылу, в Курляндии, тридцать немецких дивизий — полумиллионная армия, двадцать семь дивизий в Восточной Пруссии и еще до двадцати разбросано в разных котлах. Немцы нарочно оставляют у вас в мешках крупные группировки, чтобы не дать вам возможности двигаться вперед.

— Тем хуже для немцев, — отвечает товарищ Сталин. — Тем меньше будет у них сил защищать Берлин. А эти группировки уже блокированы и обречены на гибель.

— Вы многим рискуете, желая войти в Берлин первыми. Если мы войдем вместе, это будет прекрасно для идеи объединенных наций, — делает последний ход Черчилль.

Сталин. Если союзное командование обеспечит должную активность на Западе, то я считаю, что мы все...

(Референты, куда-то шедшие с бумагами, останавливаются. Все замолкают, напряженно слушают.)

Сталин. ...находимся накануне сражения за Берлин.

Черчилль. Господа! Мы не готовы к последней битве. Раньше, чем наносить решающий удар, следует договориться по основным вопросам.

Сталин. Я считаю, что мы о многом уже договорились, и не только здесь, но и в Тегеране.

Рузвельт. Мне кажется, у нас нет серьезных разногласий.

Молотов. Мы договорились об оккупации Германии и контроле над ней после поражения...

Черчилль. В основном, только в основном.

Молотов. Договорились и о размерах репараций...

Черчилль. Условно... условно...

Рузвельт. Насколько я помню, это было безусловно, а не условно. Мы единогласно

высказались за «вето» и уточнили нашу общую точку зрения на западную границу Польши...

Черчилль. Условно, условно...

Сталин. Как так условно? В течение тридцати лет территория Польши дважды являлась воротами войны против Советского Союза. Мы должны закрыть эти ворота созданием сильной и дружественной нам Польши. Что же тут условного? Я не могу считать свою миссию выполненной, если не обеспечу народам Польши, народам Украины и Белоруссии завоеванного их героизмом спокойствия.

Черчилль. Я не люблю торопиться... больше того, не надо торопиться.

Сталин. Народы хотят мира. Мы можем и должны дать его народам как можно скорее...

Рузвельт. И на максимально долгий срок...

Черчилль. Господин Сталин, я не могу решать исхода войны, не думая о Японии...

Рузвельт настороженно смотрит на Сталина.

Сталин. Через три месяца после разгрома Гитлера — это я вам сказал еще в Тегеране — можете рассчитывать на помощь советских вооруженных сил против Японии.

Черчилль. Через три? Вы думаете?

Сталин. Я повторю: через три!

Черчилль. Значит, мы договорились.

Сталин. Опять условно?

Черчилль. Нет, теперь уже безусловно. Проходит официант с подносом, на котором бокалы с вермутом.

Сталин. Прошу вас!

Все берут бокалы.

Черчилль. У меня к вам последняя, дружеская просьба, мой боевой соратник и друг. Я прошу вас выпить за здоровье английского короля!

Сталин. Короля? Я против монархии, господин Черчилль, вы это знаете.

Черчилль. Я ваш гость, господин Сталин, и я вас очень прошу выпить за здоровье короля Великобритании...

Сталин. Если вам это так нужно, я могу сделать вам приятное.

Рузвельт. За чье здоровье?

Черчилль. Я предлагаю тост за короля! Рузвельт. А-а... я пью за здоровье Каллини!

Все поднимают бокалы.

Москва. Кремль. Рассвет.

Машина влетает во двор Кремля. Из машины выходит маршал Жуков, сверяет свои часы с боем курантов на Спасской башне.

Три часа утра.

Следом — вторая машина. Это приехал маршал Конев.

Из третьей выходит маршал Рокоссовский. Они идут, оживленно переговариваясь.

Жуков. Что-то предвидится, я полагаю. Конев. Да, что-то будет, безусловно. Зря не вызвали бы.

Рокоссовский. И всех троих, главное. Они входят в кабинет Сталина, где за длинным столом сидят члены Политбюро: товарищи Молотов, Калинин, Маленков, Берия, Ворошилов, Каганович, Булганин, Микоян и маршал Советского Союза Василевский.

Входит Сталин. Все встают.

— Прошу.

Все садятся.

Товарищ Сталин спрашивает:

— Ну, так как же, кто будет брать Берлин — мы или союзники?

— Мы, товарищ Сталин! — отвечает Жуков.

— Вот что сообщает агентство Рейтер, — говорит Сталин, — «Союзные войска продвигаются вперед почти беспрепятственно. Единственной преградой являются воронки от бомб да разрушенные мосты. Не раздастся ни одного выстрела...» А вот из лондонской газеты: «Вдоль дорог идут немцы и ищут, кому бы сдать». Это важно помнить, потому что немцы могут без боя сдать Берлин англо-американцам. По слухам, до нас дошедшим, Монтгомери создает крупную группировку для захвата Берлина.

Молотов. Обстановка, безусловно, требует принятия самых срочных мер.

Булганин. Я бы сказал — немедленных...

Сталин. Как у нас со снабжением армии?

Микоян. Наша армия обеспечена необходимым, товарищ Сталин.

Сталин. А как с танками, с самолетами, с горючим?

Молотов. Сколько понадобится, столько и дадим.

Берия. Задержки ни в чем не будет, товарищ Сталин.

Сталин. Без американской помощи?

Берия. Без.

Сталин. Без «Стандарт-ойль»?

Берия. Без.

Все смеются.

Сталин (*наклоняясь к Калинин*). Очень хорошее дело — социалистическая система. Вот теперь ее надо показать во всей силе. Мы решили последний удар по Германии подготовить к шестнадцатому апреля...

Командующие вынимают из портфелей карты фронтов. Штеменко раскладывает карту перед товарищем Сталиным.

Сталин. Первый Белорусский наносит удар непосредственно по Берлину. Первый Украинский наносит его слева, с выходом основных сил севернее Лейпцига и Дрездена, и должен быть готов к борьбе за Берлин в

случае необходимости. Второй Белорусский сменит правофланговые армии товарища Жукова и начнет наступление на Штеттин-Ростокском направлении, обеспечивая удар на Берлин с севера. Каковы ваши планы и предложения?

Первым докладывает маршал Жуков. Он развернул карту своего фронта и склонился над ней:

— Мой фронт растянут до моря. Если товарищ Рокоссовский сменит войска моего правого фланга, чтобы я усилил центр, то я смогу быть готовым к шестнадцатому апреля.

Сталин. Ни в чем не нуждаетесь?

Жуков. Хорошо бы, конечно, усилить меня артиллерией. Я считаю, что, если бы удалось создать плотность артогня в двести двадцать стволов на километр фронта, это бы сильно помогло, товарищ Сталин.

Товарищ Сталин неторопливо вынимает записную книжечку.

Сталин. Не двести двадцать стволов вам нужно на километр, а по крайней мере двести восемьдесят. И танков берите как можно больше. Все равно скоро их будем на плуги перековывать. (*Сталин подходит к Жукову, Коневу и Рокоссовскому.*) Сейчас не сорок первый год, сейчас всего вдоволь. Хватит у нас и танков и орудий не только на Берлинскую операцию. Значит, если товарищ Рокоссовский сменит ваш правый фланг, к шестнадцатому успеете?

Жуков. Так точно, товарищ Сталин, буду готов.

Сталин (*Рокоссовскому*). Догнали генерала Буша? А как гнал, аж пятки сверкали.

Микоян. Надо сказать, что здоровую нахлбучку устроили они фашистам.

Булганин. Блестяще было выполнено задание товарища Сталина.

Сталин (*Рокоссовскому*). Как у вас дела?

Рокоссовский. Войска моего фронта, товарищ Сталин, перегруппировываются у Данцига. Значит, мне предстоит все свои силы перебросить на Одер.

Сталин. Главное — уложиться в сроки, которые нам дает обстановка.

Рокоссовский. Сделаю все, чтобы быть готовым к шестнадцатому апреля.

Сталин (*Жукову*). А какими армиями собираетесь нанести главный удар?

Жуков. Армиями Берзарина, Кузнецова, Чуйкова, танками Катюкова и Богданова.

Сталин. Да, эти хорошо сражаются, они справятся. (*Коневу.*) А как у вас дела?

Конев. Я только что закончил Опельнскую операцию, товарищ Сталин. У меня третья танковая армия понесла потери, укомплектовывается, и вообще мои основные силы на левом фланге. Мне предстоит их перегруппировать вправо. Одного бою,

что раньше двадцать пятого апреля не буду готов.

Сталин. Это поздно. Уплотните свои сроки. Может быть, вам подбросить из Балтики две-три армии?

Конев. Не успеют подойти, товарищ Сталин. Придется действовать наличными силами.

Сталин. Учтите, что вам придется впоследствии работать и в Пражском направлении.

Конев. Понимаю, товарищ Сталин.

Сталин. Итак, к шестнадцатому. Готовьтесь, товарищи, к последнему сражению. Пора кончать войну, пора!

Командующие прощаются и уходят.

Сталин (Антонову). Подготовьте директивы: товарищу Жукову — провести наступательную операцию с целью овладеть столицей Германии городом Берлином и не позднее двенадцатого—пятнадцатого дня операции выйти на реку Эльба. Товарищу Коневу — выйти к Дрездену и Лейпцигу. Рокоссовскому пошлем директиву позже.

На фоне вечернего неба — силуэты самоходок.

Бойцы Иванов, Зайченко, Юсупов, Кантария и Егоров в окопах.

Зайченко, смеясь, продолжает рассказывать:

— И вы знаете, хлопцы, який у мене голос был, а? Свежий, чистый, мене ж с завода в консерваторию учиться послали. Не эта б война проклята, так я, может, в Большом театре выступав.

Все бойцы смеются, Егоров говорит:

— Слышал, Юсуп?

— Алеша, Алеша, ну скажи им, ну чего они смеются! — обращается за поддержкой Зайченко.

— Чего мы стоим? Шли, шли и вот стали у Одера,— подходя к брустверу и глядя на запад, с горечью говорит Иванов.

— Вперед спешит, Наташа у него в плену, в Германии,— объясняет Зайченко товарищам и, обращаясь к Алеше, продолжает: — Алеша, может, она еще жива.

— Если бы Наташа жива была...— вздыхает Иванов.

— А знаете, хлопцы, с чего у меня голос пропал? — продолжает Зайченко. — На нервной почве...

Все кругом смеются. Иванов вопросительно произносит:

— Чего стоим?

— А вы не смейтесь, хлопцы. Вы это зря смеетесь. Вот мы в Берлин придем, там у меня голос прорежется. Я вам всем там на рейхстаге заспиваю. Алеша, помнишь? — И Зайченко начинает петь:

Отчего я люблю тебя,
Тихая ночь? Так...

Его песня постепенно переходит в симфоническую музыку.

Стоят самоходки, «катюши», танки, гаубицы с надписями на стволах: «За Сталина!», «По Берлину!», «За Родину!» Стоит мотопехота. Все застыло. Все готово и ждет сигнала.

Из блиндажа появляется капитан Неустров, за ним два бойца со знаменем.

Грохот неслышанной силы оглушает землю. Девушка, сдернув чехол с прожектора, направляет сильный луч вперед, в сторону немцев. Небо вспыхнуло, точно загорелось от края до края. Юсупов углем пишет на каске: «Сталинград — Берлин».

Свет прожекторов, сверкающие дорожки от снарядов «катюш», взрывы у горизонта — все смешалось в урагане огня. Распустив крылья и беспомощно щебеча, птицы побежали по земле, прижимаясь к людям.

Захрипели, забили копытами кони. Загромыхали танки. Двинулись самоходки.

НАЧАЛОСЬ ВЕЛИЧАЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ ВСЕХ ВОЙН, СОВЕТСКИЕ АРМИИ НАЧАЛИ ШТУРМ БЕРЛИНА — СТОЛИЦЫ ФАШИЗМА.

В этот час более четырех тысяч танков, двадцать две тысячи артиллерийских и минометных стволов, пять тысяч самолетов и сотни тысяч людей двинулись на штурм Берлина.

Юсупов что-то прокричал на ухо Иванову, тот жестом показал, что ничего не слышит. Тогда Юсупов тоже жестом показал, что должно быть, сейчас начнем наступать, и азартно заплясал в окопе, разбрызгивая вокруг себя воду. Невдалеке лежат Кантария и Егоров.

Раздается команда:

— Егоров, Кантария, Юсупов, Иванов, Зайченко, к знамению!

Гвардейское знамя сталинградцев с черно-оранжевыми ленточками ордена Славы выносят к бойцам.

Кантария, Егоров, Иванов разворачивают его. Портрет великого Ленина, освещаемый вспышками орудийных выстрелов, колеблемый легким ветерком, обращается к западу.

Знамя пронесят по узким окопам. Гвардейцы преклоняют колени и благоговейно целуют знамя.

Вдруг стихло.

Иванов и его товарищи уже готовы к атаке. Они вылезли из окопа и лежат на бруствере. ...В эфире тихо.

Чей-то голос произносит:

— Вперед!

И, точно эхо, это слово подхватили и на

разные лады стали повторять и варьировать в воздухе:

— Вперед, пехота! Вася, давай!.. Истребители в воздух! Есть в воздух!.. Вперед на Берлин!.. До встречи в Берлине!.. Который час, Зина?.. Семь... Чего семь — вечера, утра?.. Утра, конечно... Солнце взошло... А у нас, Зина, никакого солнца не видать, такой дым.

Иванов поднялся, крикнул:

— Вперед! — и пошел с гранатой в руке.

Восторженные крики бойцов перекрыли грохот снарядов.

— Ура-а-а! — разносится по равнине.

Теперь уже немного рассвело. Иванов оглядывается и не узнает ничего. Деревья, еще ночью покрытые розовым цветом, стоят голые, с обломанными ветвями. Сбитые воздушными волнами лепестки цветов розовым снегом устилают землю. Исчезли и поля озимых. Там, где еще вчера изумрудно зеленели пашни, сегодня чернеет вздыбленная, перепанная снарядами, взбитая вихрями земля.

Перегоняя пехоту, несутся орудия, танки. Не желая уступить дорогу танкам, карьером летят тачанки с пулеметами. На броне танков мелькают надписи: «За Родину!», «За великого Сталина!», «Суворов», «Кутузов», «Учительница Румянцева», «Сталевар Иванов».

Иванов, читая надписи, хватается за грудь, кричит что-то, но танки с адским грохотом скрываются вдаль. На белых стенах придорожных домов виднеются свежие надписи углем.

Иванов подскочил, начертил штыком: «Иду напролом» — и побежал вперед.

Промчался танк с надписью на броне: «Заправился до самого Берлина!»

Промчался другой: «Заправился до полной победы!»

Пехотинцы провожают их завистливым смехом.

Немецкую землю покрыли танки, пушки, минометы, «катюши» и тысячи, тысячи людей. Весь этот грозный поток несется по дорогам и полям. С самолета кажется, что бежит сама земля.

Кабинет Гитлера в рейхсканцелярии. Здесь Гитлер, Геббельс, Борман, Геринг и Кребс. Настроение растерянное, подавленное. Поминутно звонят телефоны.

Гитлер нервно шагает по кабинету. Геббельс, Борман и Кребс склонились над картой берлинского оборонительного района.

Геринг, вытянув ноги, полулежит в кресле, тупо уставившись в одну точку, как бы ничем не интересуясь.

Адъютанты поминутно входят в кабинет и что-то докладывают Кребсу.

Гитлер вдруг останавливается, вопроси-

тельно смотрит на Кребса.

Кребс. Русские прорвались на правом фланге сто первого армейского корпуса, на участке дивизии «Берлин». Потери велики.

Гитлер. Фольксштurm на защиту Берлина! Всех под ружье! Германия в опасности. Сейчас победят только те, кто беспредельно предан мне, те, кто верит в победу! Геббельс, вам в тяжелые дни хочу вручить судьбу Германии и поручаю высокою миссию: быть имперским комиссаром обороны Берлина.

Геббельс. Мой фюрер, я не пожалею жизни, чтобы оправдать ваше доверие.

Входит Линге и передает бумаги Кребсу. Тот передает их Гитлеру и говорит:

— Русские прорвались на участке триста третьей пехотной дивизии. Но у Зееловских высот девятой армии удалось удержать натиск русских. Наши просят подкреплений и боеприпасов.

Гитлер подходит к карте, смотрит, затем приказывает:

— Введите в бой мотодивизию «Курмарк».

Кребс. Последний резерв, мой фюрер! Гитлер. Да, да. «Курмарк».

Кребс отдает распоряжение адъютанту.

Адъютант выходит, но тотчас вернувшись, докладывает: — Русские прорвались на стыке между одиннадцатым танковым и пятьдесят шестым танковым корпусами. Наши просят подкреплений. Тяжелые потери. Положение очень тревожное.

— Удержать русских во что бы то ни стало! — кричит Гитлер.

Геринг (*вставая с кресла*). Введите в бой восемнадцатую мотодивизию.

Кребс (*адъютанту*). Ввести в бой восемнадцатую мотодивизию!

Адъютант уходит, входит Линге.

Линге. Одиннадцатый танковый и пятьдесят шестой танковый корпуса отходят к Берлину.

Гитлер (*в бешенстве*). Немедленно расстрелять командующего. Отдайте приказ не отступать ни на шаг, даже если американские танки будут у них за спиной. Бросьте на закрытие прорыва дивизию «Нордланд».

Линге уходит. Навстречу ему — Геббельс.

Геббельс. Хайль! Мой фюрер, отличные новости. Между Черчиллем и Эйзенхауэром разногласия в вопросе направления главного удара их сил. Конфликт! Американцы отказываются наступать на Берлин вследствие расстройств тыла. Ваш гений это предвидел!

Гитлер. Я их всех столкну лбами. Они перегрызутся у меня на глазах. Я натравлю англичан на американцев, а их обоих — на русских. Верьте мне — мы выиграем войну. Победа где-то рядом.

Геббельс. И вторая новость, мой фюрер. Девятая армия контратаковала русских. Русские задержаны на Зееловских высотах.

Гитлер. Русские никогда не возьмут

Берлина. Я сам буду его защищать. Оттяните к Берлину войска, сражающиеся на Эльбе. Поторопите американцев. Пусть они мне останоят русских. Армия Венка пусть идет на защиту Берлина. Немедленно! Я вам говорю — русские не будут в Берлине!

Черчилль в кулуарах палаты общин. Из зала заседаний доносится гул голосов. Несколько парламентаров и журналистов окружают премьер-министра Великобритании. Здесь же Бедстон, возвратившийся из поездки к Герингу.

Черчилль дает интервью:

— Русские не возьмут Берлина. Они понесли огромные потери, господа. Это надо понять. Русские армии, великолепно сочетая военную силу и мастерство, менее чем за три недели продвинулись от Вислы до Одера, гоня перед собой немцев... Их мощь иссякла — это естественно.

Журналист (отходя). Из сегодняшней беседы я извлек лишь один интересный прогноз, что русские не возьмут Берлина.

— Даешь Берлин! — слышится голос Иванова.

Бой на Зееловских высотах.

Длинная гряда крутых, почти отвесных высот, утыканная надолбами, переплетенная колючей проволокой, усеянная минными полями, поднимается впереди. «Тигры» и «Фердинанды» сотнями вкопаны в землю.

— Сталинградцы, вперед! — зовет Иванов.

Шинель горит на нем. Он сам, как пламя, Юсупов и Зайченко ползут на животах, разряжая минные поля. Стоит нестерпимый грохот. Танк «Учительница Румянцева» идет, стреляя, сминая все на своем пути.

— Даешь Берлин! — кричит Иванов, бросая гранату в немецкий окоп.

За ним торопятся Юсупов и Зайченко.

Груды горящих немецких танков. Исковерканные орудия. Горы вражеских трупов.

По трупам громяют наши танки. По трупам врагов солдаты на руках тащат орудия. Все истомлены напряжением.

— Вперед, вперед! — кричит Иванов.

И вдруг на горизонте новая волна немецких танков. За первой — вторая.

— Окончательный смерти! — хрипит Юсупов, работая лопатой. — Алексей, залезай под земля!.. Один спасений — земля!

Кто-то ползет назад.

— Не сметь! Не сметь! Вперед! На Берлин! — кричит Иванов и упрямо ползет вперед, сопровождаемый друзьями.

Они проползают между горящими немецкими танками.

— Алеша, стой! — говорит Юсупов. — Сегодня дело не пойдет!

— Пойдет! — упрямо твердит Алексей. — Назад повернешь — убью.

— Зачем! Пойдем вперед! — отвечает Юсупов.

Из-за дымящегося немецкого танка неожиданно выскакивает немецкий унтер-офицер. Кулак Иванова сбивает его с ног. Юсупов наваливается на офицера. Зайченко скручивает ему руки.

— У-у, гад! — Иванов поднимает кулак. — Сколько танков, говори! — хрипит Иванов.

— Мольшаты! — кричит фашист. — Ты есть пленный. Рус, сдавайся!..

— Я? Ах ты, чижик, сукин сын!.. У Берлина стою и сдаваться буду?

— Кто Берлин? Ты?.. Никогда!.. Только с поднятой рукой!.. Мы будем драться, пока не придут американцы... Тогда... Хайль Гитлер!

— Ах, ты!.. Американцев захотели? Юсуп, веди его.

Юсупов ведет пленного:

— Пойдем, пойдем! Хороший «язык», Алеша, будет — эсэсовец, танкист. Пойдем, пойдем!

— Ах ты, бисова душа, — произносит Зайченко.

— Очень интересный «язык»! Очень! Руки вверх! — приказывает Юсупов пленному.

А волна немецких танков уже накатывается от горизонта.

На наблюдательном пункте командующего Первым Белорусским фронтом, в узкой щели на высоте, затянутой зеленой сетью, у стереотрубы стоит Жуков.

В окуляр далеко видно. Бойцы залегают то тут, то там. Волны немецких танков катятся одна за другой, сдерживая напор наших бойцов и заставляя их зарываться в землю.

— На правом фланге остановились, — докладывает адъютант.

— Прикажете командиру ввести в бой второй эшелон.

Звонит телефон.

Штабной офицер, выслушав донесение, докладывает:

— Товарищ командующий... В центре заминка.

Лицо Жукова покрывают мелкие капли пота. Он сдвигает фуражку на затылок, распаковывает шинель.

— Как у соседей? — спрашивает он коротко.

Штабной офицер так же коротко отвечает:

— Первый Украинский фронт продвигается согласно плану. Второй Белорусский начинает форсирование Одера.

Жуков вынимает часы, глядит на них, точно изучая:

— Заминка уже на добрый час... Пошлите танковый полк в центр прорыва... Срочно!.. Приказываю возобновить атаки! Пленные что говорят?

Адъютант. Только что взяли в плен унтер-офицера танкиста Ганса Андерера... Говорит, Гитлер приказал обороняться до последнего, даже если американские танки будут у них за спиной...

Жуков. Вот оно как!.. Американцев ожидают? Ага... Прикажите возобновить атаки на всем участке прорыва. А показания того пленного немедленно сообщить Ставке.

Жуков снова прикидывает к окуляру стереотрубы.

Сталин в маршальском кителе у себя в кабинете перед огромной оперативной картой. Карандашом обведены линии Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов.

Антонов издает, стоя около телефона, короткий:

— Это Зееловские высоты, товарищ Сталин. Получено сообщение от Жукова... Военнопленный унтер-офицер Ганс Андерер сообщает, что у них получен приказ Гитлера удерживать Одер при всех обстоятельствах, сражаясь до последнего. Мы, говорит он, должны не пускать русских в Берлин, даже когда американские танки будут у нас за спиной.

Сталин. Кто сообщает? Унтер-офицер? Нашли тоже авторитетный источник! Трудности наступления Первого Белорусского фронта нам и без того понятны. Сообщите Жукову — не придавать значения показаниям пленного унтер-офицера. Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между союзниками. Эту паутину надо разрубить путем взятия Берлина советскими войсками. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. *(Рассматривает карту.)* Сообщите Рокоссовскому: не позднее двадцати четвертого апреля главными силами развить наступление на юго-запад, нанося удар в обход Берлина с севера с целью прикрытия войск Жукова с севера-запада. Соедините меня с Коневым.

Антонов уходит. Звонок телефона. Сталин берет трубку:

— Товарищ Конев? Здравствуйте. У Жукова дело идет туго. Поверните танковые армии Рыбалко и Лелюшенко на Целендорф, в обход Берлина с юга, как было договорено в Ставке. Ваши войска должны соединиться с войсками Жукова в районе Потсдама и создать кольцо окружения вокруг Берлина. Всего наилучшего.— Сталин кладет телефонную трубку, закуривает, думает, решительно говорит: — С Берлином скоро будет покончено.

Берлин горит. Горят целые кварталы. Горят парки. Горит лагерь для военнопленных, расположенный вокруг большого завода. Во

дворе жмутся под охраной эсэсовцев пленные. Среди них Наташа, американец Смит в пилотке, англичанин Джонсон в берете, француз, чех...

Звук сирены разносится по заводскому двору.

На заводе бьют тревогу. Немцы в панике. Смит. Это, должно быть, летят русские. Наши никогда не бомбили этот завод.

Джонсон. Наши тоже.

Наташа. Господин Жижка... Товарищ Пашич... Наши!.. Слышу по звуку... Смотрите, смотрите... Заходят... Пусть бомбят! Пусть ничего не останется от проклятого лагеря! Ура!..

Эсэсовский офицер выскакивает во двор к телефону:

— Алло! Не успели эвакуировать. Загнать всех пленных обратно в лагерь и уничтожить? Хайлы!..

Эсэсовские офицеры и охрана, избивая пленных прикладами, кнутами, загоняют их обратно в лагерь. Крики заключенных, лай собак, вопли раненых, автоматные очереди. Падают расстрелянные. Все меньше и меньше остается живых.

Наташа, выступив вперед, кричит:

— Друзья мои! Друзья мои! Настал час. Не будем ждать смерти. Идем на них!

Призыв Наташи подхватывают заключенные. Один из них, бросаясь на немцев, кричит: — Вперед! Итальянец Эмилио, за мной! — Вперед!

— Не стрелять! Я американец! Вы с ума сошли. Я американец! — в исступлении кричит пожилой человек в форме американской армии и, обращаясь к человеку в берете, говорит: — Джонсон, скажите им.

— Я не умею разговаривать со зверями. Крики расстреливаемых, очереди автоматов, лай собак.

Между тем советские танки с воем идут вперед. Вместе с танками бегут советские бойцы. Группа бойцов подбегает к лагерным воротам.

Со сторожевой вышки эсэсовец открывает стрельбу. Падают бойцы.

Один из бойцов дает очередь из автомата по охраннику и подбегает к лагерным воротам. Это Иванов. Он слышит крики, автоматные очереди за стеной. Ему показалось, что он слышит голос Наташи. Схватившись за решетку, он хочет сломать ее.

— Наташа! Наташа! По-моему, там Наташа! — кричит он в исступлении Юсупову и Зайченко.

Кто-то кричит:

— Наши танки!

Танк врывается в лагерные ворота и прорывается внутрь лагеря. Бойцы бегут за ним. Разбегаются немецкие охранники. Оставшиеся в живых заключенные бросаются с радостными криками к советским бойцам.

Плача от радости, они обнимают их и целуют. Русская девушка Катя, плача, кричит:

— Наши танки! Наташа! Наташа!

И Наташа, обессиленная от напряженной борьбы, падает без сознания на руки Кати. Измученные люди, ожидавшие смерти, обнимают и целуют наших бойцов. Болгарин запевает:

Шуми, Марица, окровавленна...

Чех громко запел свой гимн. Итальянец распахнул куртку и заплясал от радости.

Звуки гарибальдийского гимна влились в общий напев, в котором слышатся «Интернационал», «Марсельеза», Гимн Советского Союза.

Обнимают Иванова, качают Юсупова, целуют Зайченко.

Наташа почти рядом с Алексеем, но в общей сутолоке не видит его. Схватив ломы и железные прутья, пленные рука об руку с освободившими их бойцами выходят на горящую улицу, в огонь и грохот рукопашной схватки.

Гимн Советского Союза вобрал в себя все напевы и победоносно гремит, все ширясь, все усиливаясь.

Возникает песня:

Услышал Сталин стон своих детей,
Своих солдат послал за нами.
И, жизни не щадя своей,
Они прошли сквозь пламя.

Братья, спасители, камрады,
Друже, товарищи солдаты!
Никогда не забудем мы вас,
Тех, кто нас и всю землю спас.

Товарищ Сталин нас от смерти спас.
Пришли товарищи родные.
Мы не забудем этот час
И подвиги России.

А Иванов ищет Наташу. Он осматривает убитых, раненых.

К нему подходят Зайченко и Юсупов.

— Нет, нет. И нигде ее нет. Ни среди мертвых, ни среди живых нет.

Горит Берлин. Огонь, дым, взрывы.

Мы видим Геббельса перед микрофоном, он иступленно произносит речь:

— На сегодня Берлин стоит. Стоит для всего западноевропейского мира. Стоит для Германии. К нам на помощь идут новые силы. Большевицское наступление должно быть разбито и будет разбито в Берлине!

В огромном кабинете стоит Гитлер, Гимлер и Борман — позади. Руки Гитлера дрожат, голова сильно склонилась влево,

глаза неестественно блестят, точно стеклянные.

На совещании присутствуют военные, Геринг, Геббельс. Генерал Кребс развернул на письменном столе карту военных действий.

— Мой фюрер, положение угрожающее: русские прорвали нашу оборону на Зееловских высотах,— говорит он без предисловий,— необходимо принятие экстраординарных мер...

— Вы, я вижу, полагаете, что война уже закончена? — иронически спрашивает его Гитлер.— Вы близоруки, Кребс. Никогда еще за всю войну обстановка не складывалась для нас столь благоприятно...— произносит он, глядя поверх голов.

Оглушительный грохот прерывает его. Задрожала люстра, с чернильницы свалилась крышка.

Наступило молчание.

Стопятидесятимиллиметровое орудие заряжено. Два артиллериста, его обслуживающие, падают раненые. Подбегают Иванов, Зайченко и Юсупов. Иванов дергает шнур. Выстрел.

Сильный удар потрясает здание рейхстага, и с потолка кабинета сыплется штукатурка. Геббельс. Пройдемте в бомбоубежище, мой фюрер!

Это не самое глубокое из подземных помещений. Оно обставлено весьма комфортабельно и красиво, освещено лампами, скрытыми в стенах.

Кребс снова раскладывает свою карту и начинает:

— Берлину угрожает окружение...

Но Гитлер пренебрежительно отмахивается от него. Он не намерен заглядывать в карту.

— Господа! — говорит он, глядя вверх.— Берлину не угрожает опасности! Сделанные мной распоряжения и новое оружие меняют обстановку.

Стоит брошенное своим орудийным расчетом немецкое орудие. Ствол его направлен на север. Иванов, Юсупов, Зайченко подползают к орудью, поворачивают ствол на юг, заряжают.

Иванов дергает шнур.

Выстрел.

Глухой обвал опять доносится до слуха находящихся в бомбоубежище. Замигал и погас свет.

В темноте раздается голос Геббельса:

— Придется пройти в ваш бункер, фюрер...

— Горячие дни! Но ничего, ничего. У меня есть кое-что в запасе,— говорит Гитлер.

Толкаясь, тяжело отдуваясь, Гитлер, Геббельс и сопровождающие их генералы спускаются вниз.

Комнаты маленькие, тесные. Узел связи. Электростанция. Овчарка со щенятами в какой-то буфетной. Ящики с винами и всевозможной провизией в коридоре.

— А-а, Блонди! — ласково треплет Гитлер собаку.

Кабинет. Рядом маленькая, скупо обставленная спальня. Ева Браун сидит на диване, подобрав под себя ноги.

Гитлер как бы невзначай спрашивает Бормана:

— Ну, а здесь спокойно, по крайней мере? Где мы находимся? — Он делает вид, что понятия не имеет о своем личном бункере.

Борман вынимает карандаш и на чистом листке бумаги чертит расположение бункера.

— Над нами восемь метров железобетона,— хвастливо докладывает он,— чудесная вентиляция, связь с фронтами. Здесь, мой фюрер, вы не услышите ни одного звука...

— Ни одного звука жизни,— на ухо говорит Кребс Кейтелю, и тот пугливо отстраняется от неосторожного.

Кребс в третий раз раскладывает карту.

— Положение угрожающее... — решительно говорит он.— В Берлине будет решаться судьба Германии...

Но Гитлер опять останавливает его:

— Как только речь заходит о русских, вас начинает знобить. Это травма сорок первого года!.. Я принял сейчас окончательное решение, господа. Кейтель и Иодль улетают к Деницу, Геринг займется подготовкой Альпийского плацдарма, Гиммлер берет на себя западные области. Берлин буду оборонять я, Геббельс и Борман остаются со мной. В Берлине я столкну Сталина с его союзниками и выиграю войну.— Он кричит, брызжа слюной в лицо Кребса: — Вы увидите, что значит быть твердым, уверенным в своей силе!..

Кребс закрывает глаза.

— Уговорите его оставить город,— тихо говорит Кребс Иодлю,— тогда Берлин будет свободен. Вы же знаете, он приносит только несчастье.

— О чем вы говорите? Уже поздно что-либо предпринимать... Поздно... — беспомощно разводит руками Иодль.

Штаб Кребса. Аdjутант Кребса у телефона:

— А? Пропустить, Август! — Он спешит к двери, в которую двое немцев вводят раненого:

Раненый. Русские танки прорвались в

Люненвальде.

Аджутант. Что?

Раненый. Русские танки прорвались в Люненвальде.

Появляется Кребс. Слышит последние слова раненого.

Кребс. Не может быть! Не может быть!

Раненого уводят.

Кребс у телефона:

— Говорит Кребс. Русские танки стремительно прорвались с юга на Берлин, окружают его, берут в клещи. Сообщите как-нибудь об этом фюреру.— Кладет трубку.— Это конец!

Геринг, без мундира, в подтяжках, толстый, неповоротливый, руководит упаковкой фарфора, золота, картин...

Комната напоминает разгромленный коммиссионный магазин.

Из приемника доносится голос Геббельса:

— Берлин был и останется немецким. Фюрер не покинет Берлина. Советские танки будут остановлены новым оружием, которое еще не вступало в действие. Это оружие непобедимо. Фюрер бережет его для последнего удара.

Геринг. Фюрер наш только и ждет, когда бы ударить на юг, в Баварию. Новое оружие!.. Этот Геббельс думает, что его язык такое уж новое оружие... Но этим оружием даже меня не остановишь, не только русских. *(Собирает какие-то бумаги в ящичек с драгоценными камнями, говорит своему камердинеру.)* А это храните на Курфюрстенштрассе, у Мюллера. Он связан с американцами, и все будет в целости.

Звонок. Геринг нехотя берет трубку.

Приемная Гитлера. Аджутант говорит в телефон:

— Господин Геринг?

— Я,— отвечает Геринг.

Аджутант. Вы не уехали, как предполагали?

Геринг. Нет еще. Тысячи ответственных дел.

Аджутант. Фюрер просит вас к себе.

Геринг. Буду. Сейчас.

Положив трубку, Геринг задумывается.

— Подать парадный костюм? — спрашивает камердинер.

Геринг испуганно машет руками:

— В наши дни в парадных костюмах только в гроб ложатся... Интересно, вручат ли они ему мой ультиматум или скроют от него?

Еле волоча ноги, Гитлер бесцельно бродит по бункеру, держа в дрожащих руках засаленную, измятую карту Берлина. Затем, растелив карту на столе, он начинает лихора-

дочно расставлять на ней пуговицы, которые срывает со своего пиджака. Вот он присел возле Евы Браун, которая полирует ногти. Она проводит рукой по его волосам.

В комнату влетает Геббельс.

— Негодяй! — кричит он.

Гитлер растерянно спрашивает:

— Кто?

— Геринг, мой фюрер. Произошло то, чего мы все ожидали. Геринг изменил, — и он подает Гитлеру телеграмму.

Глазами загнанного волка оглядывает Гитлер свой бункер и не берет, а вырывает телеграмму из рук Геббельса.

Лицо его дергается в нервном тике. Он хохочет.

— Геринг дает мне отставку! — кричит он Еве, хотя та сидит рядом. — Ты только послушай: если я сегодня до двадцати двух часов не передам ему верховной власти, он возьмет ее сам. Свинья!.. Фальшивомонетчик! Ему — верховную власть!.. Чтобы этот вонючий боров руководил Германией?! Я прикажу публично расстрелять его!..

— Все твои генералы — свињи, Адольф, — жестко произносит Браун, рассматривая свои ногти. — Все тебя бросили, предали.

— Да, кажется, мне пора уйти... Завещание, скорей завещание! Христианс, — зовет он секретаршу.

— Но прежде я должна стать твоей женой, Адольф. Пошло уходить на тот свет любовницей, — говорит Ева, маня рукой секретаршу Христианс с пишущей машинкой.

— Ах, да, да! Мы повенчаемся. Мы повенчаемся!

Секретарша, присев на корточки, ждет приказаний.

Гитлер бормочет:

— Скорей зовите американцев... ах... Сталин! Всех поставил на колени. Но еще, может быть, не все кончено. Я не поддамся! Да, надежда есть...

— Фюрер, все это писать? — спрашивает Христианс.

Гитлер безнадежно машет рукой:

— Что писать? Поздно... Меня, друг мой, скоро будут показывать в паноптикуме, вонзить по деревьям с ручными медведями... Я жертва, мне суждена голгофа.

Он замолкает, погаснув. Последний луч сознания покидает его лицо, и губы бормочут что-то неясное.

— Что, фюрер? — переспрашивает секретарша.

— Когда я венчаюсь, вы не знаете?

— О какой свадьбе вы говорите, фюрер? Русские в тысяче метров от нас. Бои идут в метро.

— Пустите в метро воды Шпрее, затопите метро!

— Фюрер, там наши раненые. Их тысячи.

— Это не имеет значения. Сейчас ничто

не имеет значения, кроме моей жизни!

Секретарша бросается перед Гитлером на колени:

— Мой фюрер, там десятки тысяч честных немцев, там мои братья...

Гитлер. Пустите в метро воды Шпрее.. Затопите метро!

Секретарша. Майн гот, майн гот, майн гот!..

В узкие и темные тоннели берлинского метро вливаются потоки Шпрее. Визжа, бегут стаями крысы и прыгают на раненых, тысячами лежащих на рельсах, на перроне, на лестницах. Люди ковывают на костылях, ползут на руках, стреляются или в ужасе закрывают лица.

— Что такое?.. Что это? — кричат они, захлебываясь.

Кто-то вбегает сверху.

— Кругом вода!.. Будь ты проклят, Гитлер!

— Гитлер? Почему Гитлер?..

— Только что наши саперы взорвали плотину... Говорят — приказ фюрера.

— Будь проклят!.. Сумасшедшая собака!

— Будь проклят!.. Будь трижды проклят!

Крики сливаются в сплошной вой.

Крысы осатанело прыгают на стены, прыгают и падают в воду.

На пороге бункера генерал Кребс. Он входит запросто, без доклада, не вынимая изо рта сигары, чего не посмел бы сделать еще неделю назад, и без приглашения садится в кресло, ногой оттолкнув в сторону Blondi, любимую собаку Гитлера.

Гитлер. Ага! Кребс сейчас расскажет все новости. Где, наконец, армия этого проклятого Венка? Чего он медлит? Вы сообщили ему мои директивы?

Кребс (не вставая с места). Сообщил. Гитлер. Ну?

Кребс. Ответа нет.

Гитлер. Ну, ясно. Его армия на марше. А вы не находите, что ему пора бы уж включиться в дело?

По тону ответов Кребса все чувствуют, что Кребс о чем-то умалчивает, что-то обходит, но они еще ни о чем не догадываются.

Между тем Гитлер сосредоточенно глядит на карту и начинает передвигать по ней пуговицы, изредка бросая отрывистые замечания:

— Мешок!.. Петля!.. Через два дня я затяну петлю на шею русских! Где эти проклятые американцы? Кребс, помогайте им всеми силами скорее добраться до Берлина!.. Мы их тут всех столкнем лбами. Я вырву у русских их успех руками американцев. Поняли? Я заставлю их грызться на моих глазах... Слышите?

В это время в комнату врывается Борман. Весь вид его говорит о крайнем волнении и возмущении.

— Мой фюрер! Ужасное известие! Мы перехватили американское радио, они сообщают, что Гиммлер предлагает им мир на любых условиях. В то время, как вы героически защищаете Берлин, Гиммлер ведет переговоры, изменник!

Гитлер ошолоблен. Лицо его наливаются кровью, голова трясется, он тяжело дышит, потом выкрикивает сквозь слезы:

— Ультиматум? Мне?.. От Гиммлера, от этого недоноска, которого я сделал человеком?.. Ничто меня не миновало, нет таких измен, которые бы не коснулись меня. Это конец!

С автоматами в руках показались на улице Иванов, Зайченко и Юсупов.

Иванов кричит:

— Костя! Какая это улица?

— Унтер ден Линден! — отвечает Зайченко, увидев надпись на стене.

— Эй, мать!.. — Иванов поднимает немку с земли. — Тут тебе не место... домой надо... Нах хаузе... ферштейн?

— Нет у меня ничего — ни дома нет, ни сына нет, ничего нет... — Она встает, вздымая вверх руки: — Будь ты проклят, шут несчастный! Верни мне мою Германию, отдай мне моих сыновей. Отдай мне моего Ганса! Будь ты проклят, Гитлер!

Берлин горит. В тоннелях подземки захлебываются люди.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО АПРЕЛЯ ВОЙСКА ПЕРВОГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА СОЕДИНИЛИСЬ ЗАПАДНЕЕ ПОТСДАМА С ВОЙСКАМИ ПЕРВОГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА И ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРШИЛИ ПОЛНОЕ ОКРУЖЕНИЕ БЕРЛИНА.

В подземном кабинете Гитлера накрыт стол. Вино, цветы, фрукты. Из комнаты Евы Браун слышно бормотание пастора, а в кабинете, у стола, развалившись в креслах, сидят генералы Кребс и Вейдлинг.

Кребс (*прислушивается к тому, что происходит в соседней комнате*). Сейчас бракосочетание закончится, и они выйдут. Я вас представлю, и вы скажете ему все, что вам взбредет в голову.

Вейдлинг. Я восьмой комендант Берлина за последние трое суток. Это кабак! Слышите, Ганс? Я говорю — это кабак!

В это время в панике врывается в комнату солдат:

— Русские в двухстах метрах от рейхсканцелярии!!

Кребс. Уходите. Сейчас не до этого — фюрер венчается.

Солдат. Что делает, простите?

Кребс. Венчается.

У солдата расширяются глаза, и он начинает дико хохотать.

— Тихо, вы, идиот, — шепчет Кребс и выталкивает его.

Кребс и Вейдлинг дремлют, вытянув ноги в запыленных сапогах, будто находятся в деревенской пивной.

В это время дверь из комнаты Евы Браун открывается, и она выходит под руку с Гитлером; оба со свечами в руках. За ними чинно шествуют Борман и Геббельс.

Генералы дремлют. Гитлер осторожно переступает через ноги Кребса и Вейдлинга. Ева Браун сердито ударяет генералов перчатками по плечам.

Вскочив, они поздравляют новобрачных. Садятся за стол.

Гитлер сразу заговорил:

— Я принял решение покинуть вас. В данный момент Германия должна иметь руки свободными. — И Гитлер поднимает бокал.

— За здоровье новобрачных! — провозглашает Геббельс.

Затем наступает молчание. Гитлер погас. Он безучастно глядит перед собой пустыми глазами и машинально крутит шарики из хлеба. Иной раз рука его безотчетно пытается расставить их на тарелке в виде треугольников и ромбов.

Ева Браун обращается к адъютанту: — Мой дорогой Линге, я не вижу нашего доктора...

Линге показывает жестом, что тот покинул бункер.

— Он ничего не оставил для нас?

— Оставил, фрау Ева, — отвечает Линге и подает ей коробочку. Ева осторожно раскрывает ее. Там шесть ампул.

— Это надежно? — спрашивает она.

Линге пожимает плечами. Тогда Браун закатывает ампулу в бутерброд и дает Блонди. Собака тотчас падает мертвой.

— Хорошо, это надежное средство, — говорит Браун.

Все молча соглашаются. Они сидят, жуют и не глядят друг на друга. На их лицах безнадежность.

Бункер вздрагивает, свет медленно гаснет.

Перед полковником Зинченко в подвале дома на Королевской площади стоят сержант Егоров, младший сержант Кантария и старший сержант Иванов.

Полковник Зинченко держит в руках большое красное знамя, он взволнован.

— Дорогие товарищи! — говорит он, запинаясь от волнения. — Нам доверена великая честь — водрузить по приказу товарища Сталина знамя Победы над Берлином. От имени Родины я поручаю это знамя вам,

Кусок стены в это время треснул от немецкого снаряда и обвалился, осколки кирпичей разлетаются по комнате, и все трое бросаются к знамени.

— Идите, сынки... И... чтоб все в порядке...— говорит полковник.

Егоров принимает знамя. Полковник обнимает и целует всех троих. Все подходят к знамени, целуют край его. Кантария и Егоров, поцеловав знамя, сворачивают его, покрывают чехлом.

— Сердце мое с вами,— говорит Зинченко и кивает на рейхстаг.— Там увидимся.

Стрелки пуль вылетают из дома и, пригибаясь, бегут к площади.

Генерал-полковник Чуйков вздремнул, сидя за своим рабочим столом в пустом полуразбитом доме. Накинутая на плечи шинель свалилась на пол, в разбитое окно дует ветер.

На закусочном столике дребезжат стаканы и чашки, будто комната на колесах и ее то и дело бросает по ухабам.

Адъютант подходит к командарму на цыпочках, набрасывает на его плечи шинель. Звонит телефон.

Еще как следует не проснувшись, Чуйков берет трубку и, не раскрывая глаз, признает:

— У аппарата Чуйков.— И тотчас откашлялся, протер глаза.— Помалу двигаемся. Ясно, к празднику хорошо бы. Есть. Нажмем. Есть, есть... будет сделано.

Задребезжал второй телефон. Чуйков берет трубку:

— Чуйков слушает.— Потом прикладывает обе трубки к ушам, и сразу лицо его веселеет и оживляется.— Парламентеров прислали,— говорит он в первую трубку,— начальник генштаба генерал Кребс с важным сообщением. Так. Жду вас, товарищ генерал армии.— Положив обе трубки на место, говорит адъютанту: — Сейчас будет генерал армии Соколовский. Тогда зови парламентеров.

— Переводчик нужен? — спрашивает адъютант.

— Им такое скажут, что и переводить незачем,— отвечает Чуйков.

Входит генерал Кребс, в сером мундире, при всех орденах, с моноклем в правом глазу. Подполковник фон Дувинг и переводчик-майор следуют за ним.

Кребс сдержанно кланяется и, следуя молчаливому приглашению генерала армии Соколовского, садится в кресло у стола.

Переводчик Кребса говорит, испуганно вытаращив глаза:

— Начальник генерального штаба сухопутных сил Германии генерал пехоты Кребс

уполномочен передать вождю советского народа заявление решающей важности.

— Я уполномочен выслушать вас,— отвечает Соколовский.

Кабинет товарища Сталина. В кабинете товарищи Сталин, Молотов, Калинин, Маленков, Берия, Ворошилов, Булганин, Каганович, Микоян. Генерал Антонов принимает по телефону важное сообщение и вслух передает его:

— Генерал Кребс передал письмо Геббельса и Бормана... «Сообщаю вождю советского народа как первому из не-немцев, что сегодня, тридцатого апреля, в пятнадцать пятьдесят, Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством».

Сталин встает и делает несколько медленных шагов.

— Как гангстер, как проигравшийся игрок, скрылся от суда народов,— говорит Сталин.— Причины самоубийства?

— Военное поражение,— отвечает генерал Антонов.

— Окончательное банкротство, значит... Еще что?

— Власть передал Деницу, Геббельс — имперский канцлер... Хотят установить непосредственный контакт с вождем советского народа.

— Безоговорочная капитуляция! Только на этих условиях мы можем с ними разговаривать,— говорит Сталин.— Обеспечить доставку Деница к нам. А если будут колебаться, поторопите их.

Соколовский говорит:

— Полная, безоговорочная капитуляция! Кребс, вскочив, удрученно прижимает руки к груди:

— Катастрофа, полная катастрофа,— бормочет он.— Главное — прекратить эту войну. Но я не уполномочен это решать. Господин генерал, я предлагаю паузу боя. Прошу вас.

— Слушайте, капитулируйте, а то ведь всех к чертям перебьем,— говорит Чуйков. Он встает, подходит к окну и поднимает штору.— Что за черт, рассветает!

За окном движется орудие, украшенное цветами.

— Первое мая...— горько улыбается Кребс.— У вас в Москве большой праздник...

— Ничего, он у нас и в Берлине неплохо получится,— отвечает Чуйков.

Кребс в отчаянии выходит.

Бой за рейхстаг разгорается. То и дело падают раненые. Стоит такой грохот, что не слышно ни стонов, ни команд. Егоров, Кантария и Иванов подбегают к левой ба-

люстраде лестницы. В здание еще нельзя пробиться.

Иванов бросает гранату в дубовую, окованную медью дверь, следом за ней вторую и третью — дверь разлетается; перед тем как вскочить в пробоину, он на мгновение оборачивается. За ним справа и слева бегут и ползут люди, полные боевого самозабвения. Они кричат, машут руками. Они бегут, истекая кровью и не обращая внимания на свои раны. Они отмахиваются от санитаров.

Посредине лестницы Зайченко падает, схватившись за грудь, и рука его становится красной.

— Беда!.. — кричит он. — Беда!.. Не дойду!..

— Что с тобой? — подбегает к нему Юсупов.

Зайченко отвечает, глядя на рейхстаг:

— Вот вин, проклятый, здесь вин, но всей жизни не хватит, щоб до нього дойти. — Слабеющей рукой он вынимает носовой платок и, смочив его своей кровью, протягивает Юсупову: — Брат, дотянись до рейхстага, водрузи мой флаг там. За меня водрузи!.. Мертвый, а все равно там хочу быть.

Юсупов берет окровавленный платок и, сжав зубы, мчитя вперед.

Егоров и Кантария вбегают со знаменем внутрь здания. Сверху что-то грузное свалилось им под ноги. Они поднимают головы.

Из окон второго и третьего этажей, завернувшись в тюфяки и матрасы, прыгают вниз обезумевшие немцы.

Бросив несколько гранат, Иванов уже вломился в двусторчатый круглый вестибюль второго этажа. С верхних балконов немцы бьют чем попало, стреляют из автоматов, бросают тяжелые обломки стен, швыряют гранаты. Только вбежал Иванов, как от потолка оторвалась громадная люстра и, ударившись, ахнула, как разорвавшийся снаряд. Вестибюль трянуло. Иванов оглянулся — у входа Егоров и Кантария со знаменем в руках.

— В обход! В обход! Идите дальше! Прикрою! — кричит Иванов и отползает в угол, в нишу, под защиту статуи какого-то германского императора. — Ну-ка, фриц, прикрой на минутку! — хлопнул он по статуе и, прислонясь к ней, метнул гранату.

Немцы, что были вблизи, отхлынули. Егоров и Кантария промчались дальше.

Узкими темными лестницами поднимаются Кантария и Егоров наверх. Всюду дерутся. Сгребая ворох бумаг, немцы поджигают их, дым понесся по узким коридорам, валя с ног.

На какой-то узкой лестничной клетке Егоров и Кантария останавливаются, чтобы передохнуть и определить обстановку.

Над ними дерутся, опрокидывая шкафы, бросая мебель. Под ними дерутся, поджигают бумагу и солому.

— Вперед? — спрашивает Егоров това-

рища.

— Обязательно вперед! — отвечает Кантария.

И они продолжают взбираться наверх.

А Иванов тем временем прижался к стене, зажав в руке гранату, и слышит, как за углом, в двух шагах от него, притаился и тяжело дышит немец.

Оба выжидают, как охотники. Вдруг Иванов упал плашмя наземь, немецкая граната разорвалась позади, а он метнул свою точно и ползет дальше.

Тем временем Егоров и Кантария взобрались на крышу здания, к бронзовым коням. Они бегут, едва дыша, пригибаясь от осколков. Рядом с бронзовыми конями лежит, раскинув руки, Юсупов. Маленький окровавленный платок Зайченко торчит на спине бронзового коня.

Егоров и Кантария водружают знамя в пробоину в бронзовом коне, рядом с флажком Зайченко, и глядят с крыши на площадь.

Подбегает Иванов и, увидя лежащего Юсупова, бросается к нему, поднимает на руки:

— Юсуп, милый, что ты! Смотри — Берлин наш! Смотри, где мы!

Юсупов не отзывается. Иванов бережно кладет его тело и смотрит вниз, на площадь.

— Ура! — разносится по всей Королевской площади и Тиргартену, от Шпрее до Бранденбургских ворот.

Тысячи бойцов издалека увидели алое знамя Победы над рейхстагом. Иванов утирает слезу.

В большом зале рейхстага еще что-то горит, клубится дым, ползут и стонут раненные, но уже сотни советских бойцов заполняют зал, пишут свои имена на стенах и с интересом оглядывают последнее поле сражения за Берлин.

Молодая певица из фронтového ансамбля, сбросив ватник и шинель и оказавшись в длинном концертном платье, поднялась на поверженную мраморную фигуру и запела «Песнь о Сталине». Сотни голосов подхватили песню, и грозно взвилась она среди огня и дыма только что закончившегося боя.

А на площади перед рейхстагом уже пляшут. Солдат-туркмен вынул из сумки заветный, давно припасенный халат и, накинув его поверх гимнастерки, пустился в пляс. Кантария перехватил его танец лезгинкой, и площадь захлопала в ладоши. На касках и котелках бойцов пестрят надписи: «Владивосток — Берлин», «Тбилиси — Берлин», «Сталинград — Берлин».

— Вот черти! Поесть как следует не дадут, — с усмешкой произносит русский солдат, отставляя банку консервов, и вступает в плясовой круг:

— Я из Сталинграда! Победа!
За ним вбегает другой, третий, четвертый...
десятый...

— Я из Орла! Победа!
— Я с Урала!
— Я из Еревана! Победа!
— Я из Москвы!
— Я из Ленинграда!
— Я из Баку! Победа!
— Я из Киева!

Среди ликующей толпы круглолицый боец:
— А мы рязанские!

В круг вбегает освобожденная из плена девушка, за ней другая.

В то время как площадь поет и танцует, десятки людей взбираются на стены рейхстага и пишут мелом или выцарапывают ножами надписи. Боец, взобравшись на плечи товарища, пишет то, что ему диктуют, — это, очевидно, очень смешно, все хохочут, подсказывают...

В стороне запели украинцы. Запел и Алексей. Он стоит на широкой гранитной нисходящей к площади лестнице рейхстага и видит перед собой тысячи родных лиц. Глаза Алексея в слезах. Он думает о Наташе, и радость великой победы подернута печалью. Наташи нет, и, может быть, никогда уже он не увидит ее.

А она стоит тут же, на огромной площади перед рейхстагом, среди тысяч и тысяч советских людей, и из ее глаз льются слезы счастья. В эту минуту она тоже думает об Алексее, и был момент, когда ей показалось, что где-то рядом звучит его голос и даже слышалась его любимая песня «Эх ты, Ваня!» Она начинает искать его, но найти кого-нибудь в этой толпе невозможно.

Под сенью Бранденбургских ворот стоят в это время два генерала, два Василия Ивановича — Кузнецов, командарм третьей ударной, и Чуйков, командарм восьмой гвардейской.

— С рейхстагом тебя, Василий Иванович, — говорит Чуйков.

— С рейхсканцелярией тебя, Василий Иванович, — говорит Кузнецов.

Они стоят, смотрят на танец бойцов и слушают разноголосый хор песни.

Вся Унтер ден Линден и ближайшая часть Шарлоттенбургского шоссе вплотную заставлены танками, пушками, обозами, самоходками, «катюшами». Даже сталинградский верблюд здесь, он лениво жует что-то, удивленно озираясь на шум и музыку.

Люди все прибывают и прибывают. На мотоциклах, велосипедах, грузовиках, тачанках, верхом советские бойцы подъезжают к рейхстагу со знаменами и флагами и, едва отыскав свободное местечко в стене, втыкают их.

— Здорово молодежь наша танцует, — радостно, но с ноткой зависти в голосе говорит Кузнецов.

— А что им не танцевать? — говорит Чуйков. — Войну закончили, по домам поедут... А вот мы с тобой, Василий Иванович, безработные, — произносит он улыбаясь.

— Да, похоже на то, — отвечает Кузнецов. И, взглянув друг на друга, они весело смеются. Им радостно, что война закончилась.

Самолет делает круг над горящим Берлином. Из тысяч уст вырывается одно слово: Сталин. Вереницы машин, толпы солдат и освобожденных из плена стремятся к месту посадки самолета, приветствуя с земли того, с кем связана их судьба, их счастье. Тут русские и чехи, французы и поляки, англичане и американцы с национальными флагами.

Сталину слава! Навеки он верен
Той клятве, которую Ленину дал.
Наш друг и учитель в народе
уверен,
Он вместе с народом всегда
побеждал.

Великий вождь! Желаем вам
Здоровья, сил на много лет.
За вами к светлым временам
Идем путем побед.

Сталину слава! Сквозь пламя
сражений
Бесстрашно провел он советский
народ.
Прошли мы, как буря, как ветер
весенний,
Берлинской победой закончив поход.

Великий вождь! Желаем вам
Здоровья, сил на много лет.
За вами к светлым временам
Идем путем побед.

Сталину слава! Советским знаменам
И ленинской партии нашей хвала.
Идем к коммунизму путем
непреклонным,
И вождь нас ведет на большие
дела.

Алексей Иванов в числе первых, пробравшихся к аэродрому. Нервы его напряжены до крайности.

Наташа идет вместе с русскими девушками.

На аэродроме народ стоит плечом к плечу и глядит в небо: сейчас приземлится самолет Сталина. Наконец, огромная стальная птица с

ярко-красными крыльями пронесится низко над головами. Все бросаются к ней, обгоняя друг друга. Каждый хочет увидеть Сталина первым.

Алексей в двух шагах от Наташи, но она в этот момент и не думает о нем.

Все мысли ее сейчас о Сталине. Увидеть и услышать Сталина — значит почувствовать собственную победу, осознать собственную силу и пережить огромное счастье, которое может быть, случается раз в жизни.

Она бежит, расталкивая своими худыми и слабыми руками всех, кто впереди, и слезы вытекают у нее на глазах, когда более ловкие оттирают ее в сторону.

Между тем Сталин уже вышел из кабины и, окруженный народом, улыбается и аплодирует победителям. Народ расступается, образуя узкий проход.

Увидев Рокоссовского, Конева и Чуйкова, Сталин подходит к ним:

— Здравствуйте, товарищ Чуйков! Здравствуйте, товарищ Конев! Здравствуйте, товарищ Рокоссовский! Примите мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина.

Возникает мощное «ура». Бежит ликующий народ. Алексей и Наташа, приближаясь к Сталину, очутились почти рядом.

Сталин обращается к народу:

— Товарищи! Сегодня мы празднуем великую победу над германским фашизмом. Дорогой ценой приобретена эта победа. Не забывайте принесенных вами жертв. Отныне история открывает перед народами, любящими свободу, широкий путь. Каждый народ должен бороться за мир во всем мире, за счастье простых людей всех стран, всех народов. И только тогда можно будет сказать, что наши жертвы не пропали даром, что каждый из нас сможет твердо смотреть в свое будущее.

Мощное «ура». Алексей и Наташа рукоплещут, никого не видя, кроме любимого и родного лица Сталина.

Но радость не любит быть одинокой. Она хочет переливаться из сердца в сердце, и Наташа оглядывается на того, кто стоит с

ней рядом, чтобы поделиться своим восторгом. Она оглядывается мельком, сначала не обратив внимания на соседа, но затем взглянула еще раз и, забыв обо всем, бросилась на шею Алексею.

Он не сразу понял, в чем дело. Последние дни его обнимали и целовали сотни освобожденных девушек, и сейчас это даже показалось ему неуместным. Но вот до его слуха доносится ее, Наташин, незабываемо милый голос. Алексей отпрянул и потом, ничего уже не соображая, схватил ее своими черными, обожженными солнцем и войной руками и прижал к себе.

Сталин в нескольких шагах от них, он останавливается, ласково глядя на встречу двух душ, потерявших друг друга в водовороте войны. Он смотрит и отечески улыбается, точно скрепляет своим присутствием и благословляет своей улыбкой их жизнь.

Наташа подходит к нему и, смело взглянув в глаза, говорит:

— Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин, за все, за все, что вы сделали для нашего народа, для нас!

Сталин, несколько смущенный неожиданным вопросом, разводит руками. Наташа подходит к нему и прижимается губами к его плечу.

Возникает мощное «ура». Иностранцы, каждый на своем языке, приветствуют Сталина.

— Да здравствует Сталин!

— Пусть живет вечно наш Сталин!

— Слава Советской Армии!

— Слава великому Сталину! — несется на всех языках мира. Возникает песня:

Великий вождь! Желаем вам
Здоровья, сил на много лет.
За вами к светлым временам
Идем путем побед.

Сталин вновь обращается к народу — все замолкает.

— Будем же беречь мир во имя будущего! Мира и счастья всем вам, друзья мои.

1949 г.

Карл Юнг

ДИАГНОЗ ДЛЯ ДИКТАТОРОВ

(Гитлер, Муссолини, Сталин)

Интервью, которое мы предлагаем вниманию читателей, выдающийся швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг дал в октябре 1938 года корреспонденту американской газеты «Интернешнэл

Космополитэн» Г. Никебокеру. (Опубликовано в январе 1939 года.)

Научная концепция Юнга связана с психоанализом Фрейда, несмотря на серьезные расхождения во взглядах ученых на

природу бессознательного. Юнг разработал учение о «коллективном бессознательном», в образах которого он видел источник общечеловеческой символики. Согласно этой концепции, представитель современной европейской цивилизации постепенно теряет связь с природой и способность к оригинальному творчеству. Эта доктрина стимулировала интерес Юнга к массовым проявлениям коллективного бессознательного и в частности к национал-социализму.

Концепция Юнга — особенно понятие «национального (расового) бессознательного» — вызвала острую научную полемику, но до сих пор интересна как одна из первых попыток анализа явления диктатуры сквозь призму аналитической психологии.

Елена Корсунская

Г. Никебокер. Что бы произошло, если бы вам пришлось запереть Гитлера, Муссолини и Сталина вместе в одной комнате, оставив им на неделю одну буханку хлеба и один кувшин воды? Кто-то завладел бы всей едой и питьем или же они их поделили бы?

Карл Юнг. Сомневаюсь, что они стали бы делиться. Гитлер, шаман по сути своей, вероятно, держался бы в стороне. Без своего немецкого народа он оказался бы просто беспомощным. Муссолини и Сталин, оба вожди и сильные люди с присущими им правами, наверное, вступили бы в спор, но Сталин, как более грубый и жесткий, по-видимому, взял бы верх.

В первобытном обществе существовало два типа сильных людей. Это вождь, физически мощный, превосходивший силой всех своих соперников, и шаман, сильный не сам по себе, но благодаря силе, которой наделяли его люди. Исходя из этого мы имели императора и главу религиозной общины. Император был вождем, а провидец был шаманом, не наделенным особой силой, но при этом он владел магией, то есть сверхъестественными способностями. Он мог, например, помочь или помешать обрести блаженство в загробной жизни, предать проклятию отдельного человека, общину или целую нацию, а отлучением от церкви причинить людям огромные неприятности.

Так вот, Муссолини — это человек физической силы. Увидев его, вы немедленно это осознаете. Его тело внушает мысль о хороших мускулах. Он вождь уже по той причине, что индивидуально сильнее любого из своих конкурентов. И, безусловно, склад ума Муссолини

соответствует его месту в этой классификации: у него ум вождя.

Сталин принадлежит к той же категории. Однако он не создатель. Ленин создал, а Сталин жадно истребляет род. Он конкистадор; он просто взял сделанное Лениным, вонзил туда свои зубы и все растерзал. Ленин сломал структуру феодального и буржуазного общества в России и заменил ее собственным созданием. Сталин теперь его разрушает.

Психологически Сталин не так интересен, как Муссолини, и уж несравнимо менее интересен этого шамана Гитлера.

Г. Никебокер. Всякий, в чьем распоряжении находятся сто семьдесят миллионов человек, как у Сталина, неизбежно становится интересен, нравится он вам или нет.

Карл Юнг. Нет, Сталин — это просто животное. Хитрый крестьянин, наделенный инстинктом могучий зверь — и в этом отношении, несомненно, гораздо более могущественный, чем все остальные диктаторы. Он напоминает одного из сибирских тигров — с этой мощной шеей, этими щелевыми усами и улыбочкой кота, поедающего сметану. Насколько я могу судить, Чингисхан был, возможно, Сталиным древности.

Гитлер — тот совершенно другой. Его тело не производит впечатления силы. Отличительная черта его облика — мечтательный взгляд. Я был особенно этим поражен, когда увидел его изображения периода чехословацкого кризиса — его глаза смотрели взглядом ясновидящего. Нет никакого сомнения в том, что Гитлер принадлежит к категории поистине мистических шаманов. Как отозвался о нем кто-то на последнем партийном съезде в Нюрнберге, мир не видел ничего подобного со времен Магомета. Эти очевидно мистические свойства Гитлера и заставляют его делать вещи, которые нам кажутся нелогичными, необъяснимыми, диковинными и неоправданными. Но обратите внимание — даже терминология нацистов мистична. Возьмите само название нацистского государства. Они именуют его Третьим Рейхом. Почему?

Г. Никебокер. Потому что Первым Рейхом была «Священная Римская империя», Вторым — тот, что создал Бисмарк, и Третий возник при Гитлере.

Карл Юнг. Конечно. Но это все гораздо более многозначно. Никто не называл Первым Рейхом империю Карла Великого или Вторым — государство Вильгельма. Только нацисты именуют себя Третьим Рейхом. В самом этом названии заключен глубокий мистический смысл: в бессознательном каждого немца выражение «Третий Рейх» отзывается эхом

библейской иерархии. Так, Гитлер, уже не однажды показавший, что он осознает свое мистическое предназначение, становится для приверженцев Третьего Рейха чем-то большим, чем простой человек.

Опять-таки взгляните на повсеместное возрождение в Третьем Рейхе культа Вотана. Кто такой Вotan? Бог ветра. Возьмите название «Sturmabteilung» — «Штурмовые подразделения»*. Шторм, как известно, ветер. Точно так же и свастика представляет собой вращающуюся форму, вихревое движение которой направлено всегда влево, что в буддийской символике обозначает нечто зловещее, неблагоприятное, обращенное в бессознательное.

И все эти символы Третьего Рейха указывают на массовое движение, которое должно увлечь немецкий народ, втянутый в ураган бессмысленных эмоций, все дальше и дальше навстречу судьбе, увиденной одним лишь пророком, провидцем, самим Фюрером, а может быть, недоступной и ему самому.

Г. Никебокер. Но почему тот самый Гитлер, который повергает ниц и заставляет обожествлять себя каждого немца, не производит почти никакого впечатления на иностранцев?

Карл Юнг. Совершенно верно. Очень немногие иностранцы оказываются восприимчивы к тому, что завораживает каждого немца в Германии. Так происходит потому, что Гитлер — зеркало бессознательного каждого немца, которое, правда, не отражает ничего, что выходит за пределы Германии. Он рупор, усиливающий шепот немецкой души. Он первый, кто поведал каждому немцу то, что тот и сам, особенно после поражения в мировой войне, думал и чувствовал. А черта, характерная для всякой немецкой души, — это комплекс неполноценности, комплекс младшего брата, того, кто всегда немного опаздывает к раздаче угощений. Власть Гитлера не политическая, она магическая.

Г. Никебокер. Что вы понимаете под словом «магическая»?

Карл Юнг. Чтобы разобраться в этом, нужно понять, что такое бессознательное. Это та часть нашей психики, которую мы едва контролируем и где хранятся всевозможные впечатления, ощущения, мысли и даже умозаключения, в которых мы не отдаем себе отчета. Кто-то может едва слышно говорить в соседней комнате, пока мы тут с вами беседуем. Вы не обращаете на это никакого внимания, но разговор за дверью записывается в вашем

бессознательном так же надежно, как если бы оно было пленкой в диктофоне. Пока вы сидите здесь, мое бессознательное фиксирует во множестве нюансов то впечатление, которое вы на меня производите, хотя я этого не осознаю. И вы были бы немало удивлены, если бы я рассказал вам обо всем, что уже бессознательно узнал о вас за этот короткий промежуток времени.

Теперь о Гитлере. Секрет его силы не в том, что его бессознательное более наполнено, чем ваше или мое. Секрет Гитлера коренится в двух свойствах: первое — его бессознательное имеет исключительный доступ к его сознанию, и второе — он позволяет себе идти у него на поводу. Он подобен человеку,⁶ который сосредоточенно вслушивается в поток намеков и подсказок, нашептываемых голозом из таинственного источника, а затем поступает по их указанию. Мы же, если наше бессознательное иногда и пробивается к нам, как это бывает в сновидениях, слишком рациональны, слишком умственны, чтобы ему подчиниться. Таков, без сомнения, Чемберлен. Гитлер же слушает и подчиняется. Подлинный вождь всегда вedom.

Можно понять, как это ему удается. Он сам уже ссылался на свой Голос. Этот Голос — не что иное, как его собственное бессознательное, в котором отразился немецкий народ, то есть бессознательное семидесяти восьми миллионов немцев. Вот что делает его могущественным. Есть буквальный смысл в его словах, что всеми своими свершениями он обязан только народу Германии. И так, со своим бессознательным, вмещающим души семидесяти восьми миллионов немцев, он подлинно могуч, а со своим бессознательным чутьем реальной расстановки политических сил внутри страны и в мире он до сих пор еще не совершал ошибок*. Вот почему принятые им политические решения оказываются верны вопреки мнениям всех его советников. Информация, накопленная его бессознательным и доведенная им до сознания с помощью исключительного дара, оказывается точней, чем у всех тех, кто пытался оценить ситуацию изнутри или извне. И конечно же, это говорит еще и об его настоятельном желании действовать исходя из той информации, которой он располагает.

Г. Никебокер. Можно предположить, что именно так и были приняты по-настоящему рискованные решения Гитлера, каждое из которых реально угрожало войной: когда он вошел в Рейнскую зону в марте

* Слово Sturm в немецком языке (sturm — англ.) означает как «шторм» (воен.), так и «буря, гроза, шторм». (Примеч. пер.)

* Напоминаем, что это говорится в 1938 г. (примеч. ред.)

1936 года, в Австрию — в марте 1938-го и когда заставил союзников уступить ему Чехословакию. А ведь известно, что многие из высших советников Гитлера каждый раз предостерегали его против подобных действий, поскольку были твердо убеждены, что союзники окажут мощное сопротивление, а в случае войны Германия будет обречена на поражение.

Карл Юнг. Именно так! Дело в том, что Гитлер понимал своих оппонентов лучше, чем кто-либо другой, и хотя сопротивление казалось неизбежным, он знал — ему уступят без боя. Это, должно быть, стало особенно ясным во время приезда Чемберлена в Берхтесгаден. Так Гитлер впервые встретился с высшим британским государственным деятелем.

Позднее, в Годесберге, Чемберлен повторил, что целью его тогдашнего приезда было сообщить Гитлеру, помимо прочего, о решимости Британии начать военные действия, если тот пойдет слишком далеко. Но своим бессознательным, ни разу еще не обманувшим его чутьем Гитлер так глубоко распознал характер британского премьер-министра, что никакие дальнейшие ультиматумы и предостережения Лондона уже не производили на него ни малейшего впечатления. Он знал, не догадываясь или смутно чувствовал, а знал, что Британия не рискнет начать войну. И все же речь Гитлера во Дворце спорта, где перед всем миром он дал священную клятву войти в Чехословакию 1 октября независимо от согласия на это Британии и Франции, была первым и, пожалуй, единственным указанием на то, что в наиболее критический момент Гитлеру-человеку становилось страшно следовать за Гитлером-пророком. Его голос повелевал ему идти вперед и уверял, что все будет благополучно. Но рассудок говорил ему, что опасность велика и, возможно, непреодолима. Поэтому впервые дрогнул голос Гитлера, у него перехватило дыхание. Его речь была плохо выстроена и скомкана в конце. Кто из людей не испугался бы в подобную минуту? Произнося речь, определявшую судьбу, вероятно, сотен миллионов людей, он становился человеком, который смертельно боится того, что он делает, но принуждает себя к этому, ибо так приказал ему Голос.

Г. Никебокер. Его Голос не ошибался. Но кто знает, может быть, он и дальше будет столь же безошибочен? В таком случае будет крайне интересно понаблюдать за событиями нескольких ближайших лет, ведь, как он сказал после победы над Чехословакией, сегодня Германия стоит на пороге грядущего. Это означает, что если его Голос скажет ему,

что немецкому народу предназначено стать хозяином Европы, а возможно и мира, и при этом сохранит свою всегдашнюю правоту, то все мы находимся в преддверии потрясающе интересного периода, не так ли?

Карл Юнг. Да, немецкий народ сегодня, кажется, уверен, что обрел своего Мессию. Теперешнее положение немцев напоминает то, в котором в древности находились евреи. Потерпев поражение в мировой войне, немцы начали ждать Мессию, Спасителя. Это очень типично для людей с комплексом неполноценности. У евреев он обуславливался географическими и политическими факторами. Та часть мира, где они жили, была настоящим плацем, по которому дефилировали завоеватели и с востока и с запада. И вернувшись после своего первоначального изгнания из Вавилонского плена, когда римляне грозили уничтожением их роду, они выдвинули утешительную идею Мессии, призванного вновь объединить всех евреев в одно государство и спасти их.

И немцы приобрели свой комплекс неполноценности по сходным причинам. Они вышли из долины Дуная слишком поздно и только начали формироваться как нация в те времена, когда французы и англичане уже в большой степени прошли этот путь. С большим опозданием они включились в борьбу за раздел колоний и основали империю. И когда наконец они собрались все вместе и образовали сплоченную нацию, то, оглянувшись вокруг, увидели британцев, французов с богатыми колониями и всем, что сопутствует развитым нациям. Они исполнились зависти и обиды, подобно младшему брату, у которого старшие отняли львиную долю наследства. Это было первопричиной немецкого комплекса неполноценности, который во многом определил их политическую мысль и деятельность, да и по сей день, без сомнения, оказывает решающее влияние на всю их политику. Невозможно, как видите, говорить о Гитлере, не говоря о его народе, потому что ничего, кроме немецкого народа, в Гитлере нет.

Во время последней поездки в Америку мне пришлось в голову, что можно проследить интересную географическую аналогию между ней и Германией. Я отметил, что где-то на Восточном побережье Америки существует определенная группа людей, называемых «жалкое белое отренье». Я узнал, что это в основном потомки первых поселенцев, носящие превосходные старые английские фамилии. Жалкое белое отренье застряло в этих краях после того, как люди более энергичные и инициативные забралась в свои крытые повозки и уехали на Запад.

Затем на Среднем Западе вы встречаете наиболее, на мой взгляд, уравновешенных людей в Америке. В местах, расположенных дальше на запад, вы видите людей менее устойчивых в этом отношении.

Мне кажется, если взять Европу в целом, включая сюда и Британские острова, то эквивалентом вашему Западному побережью окажутся здесь Ирландия и Уэльс. Кельты наделены богатым воображением, яркими способностями. Умеренному Среднему Западу будут в Европе соответствовать англичане и французы, вполне стабильные в психологическом отношении народы. Но дальше вы оказываетесь в Германии, а за ней живут славянские мужики, «жалкое белое отребье» Европы.

Так вот, мужики — это люди, которые по утрам не могут подняться и спят целый день подряд. А немцы, их ближайšie соседи, — это люди, которые умели вставать, но поднимались слишком поздно. Вы не припоминаете, как немцы даже и по сей день изображают Германию в своих комиксах?

Г. Никсбокер. Да, «Сонный Михель», длинный тощий малый в ночной сорочке и ночном колпаке.

Карл Юнг. Это верно, Сонный Михель проспал раздел мира на колониальные империи, и немцы таким образом приобрели свой комплекс неполноценности, заставивший их желать мировой войны. Конечно, после поражения в ней ощущение неполноценности приобрело еще большую остроту и вылилось в мечту о Мессии, и вот они получили своего Гитлера. Если он для них и не подлинный Мессия, то все же напоминает ветхозаветного пророка: его миссия состоит в том, чтобы объединить свой народ и привести его в Землю Обетованную. Это объясняет, зачем нацистам нужна борьба с любыми формами религии, кроме их собственного идолопоклонничества. Я не сомневаюсь, что кампания против католической и протестантской церквей будет продолжаться с неослабевающей энергией и упорством по той здоровой, а нацистской точки зрения, причине, что она стремится утвердить новую веру — гитлеризм.

Г. Никсбокер. Вы допускаете, что гитлеризм сможет в будущем стать основной религией Германии, как магометанство для мусульман?

Карл Юнг. Думаю, это в высшей степени вероятно. «Религия» Гитлера более всего приближается к магометанству. Трезвая, житейская, обещающая максимум награды еще в этой жизни, но и с мусульманского толка Валгаллой, куда смогут попасть и продолжить свои увеселения са-

мые достойные немцы. Подобно магометанству, она учит добродетели меча. Свою первейшую задачу Гитлер видит в том, чтобы сделать свой народ сильным, ибо дух арийца должен быть поддержан силой, мускулами и сталью.

Конечно, это не религия духа в том смысле, как мы обычно употребляем этот термин. Но вспомните, что во времена раннего христианства именно церковь претендовала на всю полноту власти, и духовной, и светской! Сегодня церковь оставила эти притязания, но их позаимствовала тоталитарные государства, нуждающиеся не только в светской, но и в духовной власти.

В данном случае «религиозный» характер гитлеризма подчеркивает, как мне кажется, и то, что он полностью принят немецкими общинами во всем мире, далекими от политической власти Берлина. Посмотрите на южноамериканские немецкие общины, особенно в Чили.

(Меня удивило, что в этом анализе диктаторов ни слова еще не было сказано о влиянии на сильных людей их матерей и отцов. Доктор Юнг не считает их роль ведущей.)

Крайне неверно считать, будто диктатор становится тем, кто он есть, по причинам личного характера, например, из-за сильного противоборства с отцом. Миллионы людей противостояли своим отцам с не меньшей силой, чем, скажем, Муссолини, Гитлер или Сталин, но не превратились в диктаторов.

Стоило бы запомнить одно правило, справедливое по отношению ко всякому диктатору: «Это гонимый, подвергающий гонениям других». Диктаторы должны были чувствовать себя крайне тяжело во время возникновения диктатуры. Муссолини пришел к власти, когда страна была погружена в хаос, рабочие вышли из повиновения, и угроза большевизма вселяла в людей ужас.

Гитлер начал свою деятельность в пору экономического кризиса, снизившего уровень жизни в Германии и усилившего безработицу до невыносимых пределов, да к тому же после грандиозной инфляции, которая довела до обнищания (хотя положение затем и стабилизировалось) весь средний класс буржуазии. И Гитлер, и Муссолини получили свою власть из рук народа, и она не может быть у них отнята. Интересно, что оба они видят опору своей власти преимущественно в мелкой буржуазии, рабочих и фермерах.

Но продолжим разговор об обстоятельствах, позволяющих диктаторам прийти к власти. Сталин взял власть, когда смерть Ленина, создателя большевизма, оставила

партию и народ без лидера и страна неясно представляла себе свое будущее. Сталин сумел это использовать.

Громадная разница между тремя диктаторами Европы, но еще больше отличий между их народами. Сравните мысли и чувства немецкого народа с тем, что думают и чувствуют итальянцы. Немцы чрезвычайно впечатлительны. Они бросаются в крайности, всего немного выведены из равновесия. Это космополиты, граждане мира. Они легко теряют свою национальную индивидуальность и любят подражать другим народам. Каждый немецкий мужчина хотел бы одеваться, как английский джентльмен.

Г. Никебокер. Только не Гитлер. Он всегда одет по-своему, и никто еще не смог обвинить его в попытке выглядеть так, будто он покупает вещи на Сзвэйл Роу.

Карл Юнг. Верно. Ибо Гитлер говорит своим немцам: «Теперь, bei Gott*, вам пора начинать становиться немцами!»

Немцы необыкновенно восприимчивы к новым идеям и, если какая-либо из них покажется им привлекательной, склонны проглотить ее без всякой критики, пребывая какое-то время полностью в ее власти; но потом они скорее всего отбросят ее и увлекутся новой идеей, возможно, целиком противоречащей первой. Таким образом они строили свою политическую жизнь.

Итальянцы более стабильны. Их ум не склонен совершать невообразимые скачки. В Италии вы находите тот дух равновесия, которого недостает Германии. Когда фашисты взяли в Италии власть, Муссолини даже не сместил короля. Муссолини работал не в исступлении духа, но с молотом в руках, выковывая из Италии нужную ему форму, подобно тому как его отец, кузнец, обычно делал подковы.

Этот итальяно-муссолиниевский уравновешенный темперамент проявился и в отношении фашистов к евреям. На первых порах они и вовсе их не преследовали, но даже теперь, начав по ряду причин антисемитскую кампанию, держатся в определенных рамках. Главной причиной, побудившей Муссолини перейти к антисемитизму, была, я полагаю, уверенность, что евреи мира могут быть неподкупной и эффективной силой в борьбе с фашизмом — особенно, я думаю, Леон Блюм во Франции. К тому же этим он хотел еще более укрепить свои связи с Гитлером.

Так что если Гитлер — это шаман, полубожество, миф, то Муссолини — это человек. И потому в фашистской Италии

все имеет более человеческий вид, чем в нацистской Германии, где весь ход жизни определяется откровениями. Гитлер едва ли существует как человек. Во всяком случае, он исчезает за своей *rôle**. Муссолини, напротив, никогда не исчезает за ней. *Rôle* исчезает за Муссолини.

Я видел дуче и фюрера вместе во время официального ответного визита Муссолини в Берлин; мне посчастливилось оказаться всего в нескольких ярдах от них, и я смог хорошо их изучить. Забавно было следить за выражением лица Муссолини, который впервые в жизни наблюдал знаменитый гитлеровский «гусиный шаг». Не видел его, я мог бы впасть в распространенное заблуждение, будто гусиный шаг был введен в итальянской армии в подражание Гитлеру. И это растроило бы меня, так как в поведении Муссолини я уже обнаруживал определенный стиль самобытной личности, не лишенной в некоторых вопросах хорошего вкуса. Так, сохранение короля, например, или сам выбор титула — «дуче», — не дож, как в старой Венеции, и не дюк, а «дуче», простое итальянское слово для обозначения лидера, — все это, на мой взгляд, обнаруживало хороший вкус.

Итак, наблюдая за Муссолини, я чувствовал, что он наслаждается этим зрелищем с восторгом маленького мальчика, попавшего в цирк. Но даже еще больше понравилась ему ловкость кавалеристов и их верхового барабанщика, галопом пронесшегося вперед и занявшего место на одной стороне улицы, в то время как оркестр расположился на другой. Барабанщик должен галопом проскакать вокруг отряда и остановиться перед строем. Причем все это он делает не трогая поводьев и направляя лошадь одними коленями, так как обеими руками он в это время бьет в барабан.

В тот раз это было сделано великолепно и так понравилось Муссолини, что он рассмеялся и начал хлопать в ладоши. Вернувшись в Рим, он ввел в употребление гусиный шаг, и сделал это, я уверен, исключительно ради собственного эстетического удовольствия. Ведь это и впрямь очень впечатляющее зрелище.

Рядом с Муссолини Гитлер производил на меня впечатление автомата в маске, робота. За все время представления он ни разу не рассмеялся, как будто был не в духе и дулся на все вокруг. В нем не было и подобия человеческого. Его лицо выражало лишь нечеловеческую одержимость в служении определенной цели, без всякого намека на чувство юмора. Каза-

* Bei Gott — клянусь Богом (нем.).

* Rôle — роль, маска (франц.).

лось, он был двойником живого человека, а Гитлер-человек прятался внутри, как придаток к нему, и делал это умышленно, чтобы не повредить механизма.

Как паразитически непохожи друг на друга Гитлер и Муссолини! Я не мог не симпатизировать последнему. Его физическая энергия и пластичность человечны, теплы, заразительны. А рядом с Гитлером вы впадаете в панику. Вы знаете, что никогда не сможете заговорить с этим человеком, потому что он не человек, а коллектив; не индивид, а целая нация.

Я могу спорить, что у него нет друзей. Как можно вести задушевные разговоры с нацией? Личный подход объяснит вам в Гитлере не больше, чем изучение личности художника даст для объяснения великого произведения искусства. Всякий шедевр — продукт времени, целого мира, в котором существует художник, и миллионов людей, окружающих его, тысяч направлений мысли и форм человеческой деятельности. Поэтому Муссолини, который всего лишь человек, всегда найдет себе преемника, но не представляю, как это делает Гитлер.

Г. Никебокер. А если бы Гитлеру пришлось жениться?

Карл Юнг. Он не может жениться. А если бы он женился, то перестал бы тогда быть Гитлером. Но трудно представить, что он когда-нибудь это сделает. Я не удивлюсь, если он целиком пожертвует своей личной жизнью ради Дела. Это часто случается, особенно среди таких лидеров-шаманов, но гораздо менее характерно для типа вождя. Кажется, что Муссолини и Сталин ведут совершенно нормальную сексуальную жизнь. Подлинной страстью Гитлера является, конечно, Германия. Можно сказать, что у него сильный материнский комплекс, им всегда будет владеть либо женщина, либо идея. Идея — всегда женского рода. Впрочем, как и ум, так как голова, мозг способны к творению, следовательно, подобны чреву, женщине. Бессознательное мужчины, как правило, репрезентируется женщиной, и наоборот.

Г. Никебокер. Какую роль в характерах диктаторов играет то, что мы называем личными амбициями?

Карл Юнг. Я бы сказал, что для Гитлера это не имеет особого значения. Не думаю, что он более честолюбив, чем любой нормальный человек. Амбиции Муссолини превосходят обычный, средний уровень, но одного этого явно недостаточно для объяснения его силы. Он также чувствует, что отвечает каким-то потребностям нации. Гитлер не правит Германией, он просто проводник неких общих

тенденций в развитии событий. Это придает его облику что-то сверхъестественное и психологически завораживающее. Муссолини же правит Италией, но до определенной степени, в остальном же он орудие в руках итальянского народа.

Со Сталиным все по-другому. Преобладающее свойство его характера — личные амбиции. Он не отождествляет себя с Россией. Он правит ей как некий царь. Не забывайте и о том, что он все-таки грузин.

Г. Никебокер. Но как вы можете объяснить то, что Сталин выбрал именно тот курс, которым теперь идет? Сталин представляется мне не только небезынтересным, но еще и загадочным. Перед нами человек, который провел большую часть жизни как революционер, большевик. Его отец-сапожник и набожная мать отправили его в богословскую школу. Уже в юности он стал революционером и с тех пор на протяжении двадцати пяти лет больше ничем, кроме борьбы с царем и царской политикой, не занимался. Он сидел в тюрьмах и отовсюду убегал. Так как же вы объясните, что человек, всю жизнь борющийся с царской тиранией, сам стал чем-то вроде царя?

Карл Юнг. Тут нечему удивляться. Человек всегда приобретает черты того, с кем он борется. Что подорвало военную мощь Рима? Христианство. Потому что, завоевав Ближний Восток, римляне оказались завоеванными его религией. Так охотник на диких зверей может в конце концов приобрести хищные черты. Я знаком с человеком, который много лет охотился на крупного зверя по всем установленным правилам спортивной охоты, но затем его пришлось арестовать, так как он пошел на зверя с пулеметом. Этот человек стал охот до крови, как те пантеры и львы, которых он убивал. Сталин так много боролся с царским гнетом, что теперь делает то же самое, что и царь. По-моему, сейчас уже нет никакой разницы между Сталиным и Иваном Грозным.

Г. Никебокер. Но как объяснить такой отмеченный многими процесс: уровень жизни в Советском Союзе значительно вырос и продолжает подниматься?

Карл Юнг. Конечно, Сталин может быть одновременно и хорошим администратором, и царем. Было бы чудом, если кому-нибудь удалось помешать процветанию такой изначально богатой страны, как Россия. Но Сталин не очень самобытен, и сколько дурного вкуса в том, как он «делает» себя царем: грубо, на виду у всех, совершенно не скрываясь! Как это по-пролетарски!

Г. Никебокер. Но вы так и не объяснили, каким образом Сталин, преданный

делу коммунистической партии, работавший в подполье во имя осуществления идеалов — тогда в высшей степени альтруистических, смог превратиться в хапу-гу, забравшего себе всю власть?

Карл Юнг. На мой взгляд, перемена в Сталине произошла во время революции 1917 года. До той поры он честно и бескорыстно служил Делу, возможно, и не помышляя о личной власти по той простой причине, что никогда не имел возможности получить ее. Но во время революции Сталин впервые увидел, как добиваются власти. Я уверен, что он с удивлением сказал себе: «Да это же так просто!» Наблюдая, как Ленин и другие достигали высших ступеней власти, он, должно быть, повторял про себя: «Так вот как это делается! Ну, я могу взять над ними верх. Единственное, что нужно сделать, это расправиться с теми, кто стоит рядом».

Будь Ленин жив, он бы непременно расправился и с ним. Ничто не смогло бы остановить его, как ничто не останавливает сейчас. Разумеется, он хочет, чтобы его страна процветала. Чем более благосостоятельна и велика его страна, тем более велик он сам. Но он не может отдать все силы на упрочение благосостояния страны, пока не удовлетворена его личная жажда власти.

Г. Никебокер. Но сейчас он, без сомнения, обладает всей полнотой власти.

Карл Юнг. Да, но ее нужно удерживать. Он окружен стаей волков. Надо все время быть начеку. Мы, должен заметить, обязаны принести ему большую благодарность.

Г. Никебокер. За что?

Карл Юнг. За предьявленное всему миру отличное подтверждение аксиомы, что коммунизм неизбежно ведет к диктатуре. Но сейчас оставим этот разговор, и давайте я объясню вам, в чем, собственно, состоит моя терапия. Как врач я обязан не только провести исследование и поставить диагноз, но и рекомендовать лечение.

Почти все это время мы с вами говорили о Гитлере. Потому что в настоящий момент это очень важный феномен диктаторского режима. Значит, для него я и должен предложить свою терапию. Иметь дело с феноменом такого рода чрезвычайно трудно. И слишком опасно.

Итак, если мой пациент действует по внушению высшей силы, которая находится вне его самого, я не смею толкать его к послушанию. Он все равно не станет этого делать, а начнет действовать еще решительней, чем до моих сове-

тов. В моих силах только попытаться, истолковав Голос, склонить пациента к поступкам менее пагубным для него самого и для общества. Единственный способ спасти демократию на Западе — а под Западом я подразумеваю также и Америку — это не делать попыток остановить Гитлера. Вы можете попытаться направить его по иному пути, но остановить его, не вызвав всеобщей великой катастрофы, будет невозможно. Его Голос повелевает ему объединить немецкий народ и вести его к лучшему будущему, к славе и богатству. Вы не можете помешать ему сделать это. Вы можете только попросить повлиять на направление его экспансии. Пусть идет на Восток. Отвлекайте его внимание от Запада. Пусть идет на Россию. Это будет последовательным лечением для Гитлера.

Не думаю, что Германия удовлетворится кусочком Африки. Германия смотрит на Британию и Францию с их великолепными колониальными империями, на Италию с ее Ливией и Эфиопией, но думает о своих собственных размерах, о семидесяти восьми миллионах немцев в сравнении с сорока пятью миллионами британцев, сорока двумя миллионами французов и сорока двумя миллионами итальянцев и претендует не просто на столь же большое пространство, каким владеет любая из трех великих западных держав, но гораздо большее. И для нее есть только одно поле деятельности — это Россия.

Г. Никебокер. А что будет с Германией, если она попытается свести счеты с Россией?

Карл Юнг. А это уж ее дело. Мы заинтересованы в этом просто потому, что это спасет Запад. Никто и никогда еще не покушался на Россию без того, чтобы не испытать потом горького раскаяния. Это не слишком аппетитная еда. Окончание трапезы может занять у немцев сотню лет. Тем временем мы будем в безопасности. Говоря «мы», я подразумеваю всю западную цивилизацию.

Инстинкт должен подсказать западным государственным деятелям не задевать Германию. Она слишком опасна. Инстинкт не обманул Сталина, когда он предоставил западным народам вести войну и уничтожать друг друга, а самому тем временем поджидать, когда можно будет собирать кости. Это спасло Советский Союз. Не думаю, что он когда-нибудь вступит в войну на стороне Чехословакии и Франции, разве что в самом конце, чтобы получить свою выгоду, воспользовавшись изнурением обеих сторон.

И вот, обследуя Германию, как я обследовал бы пациента, я скажу: пусть она двинется на Россию. Там очень много

земли — одна шестая часть суши. Россия ничего не потеряет, если кто-то возьмет кусочек, да и, как я уже говорил, никто еще не преуспел, пытаюсь сделать это.

Как спасти ваши демократические США? Их, конечно, надо спасти, иначе все мы пойдём ко дну. Вы должны держаться в стороне от общего помешательства, избегать заразы. Держите большую армию и флот, но берегите их. Если начнется война, ждите. Америка должна иметь большие вооруженные силы, чтобы помогать поддерживать всеобщий мир, а в случае войны решить ее исход. Вы последнее прибрежище западной демократии.

Г. Никсбокер. Но как возможно поддерживать мир в Западной Европе, если Германия, как вы говорите, должна «идти на Восток», если уже сейчас Англия и Франция официально признали границы новой, искромсанной Чехословакии? Не начнется ли война, если Германия попытается включить это государство в свою административную систему?

Карл Юнг. Англия и Франция не подтвердят своих гарантий Чехословакии, как не сделала этого Франция в отношении своих прежних обещаний. Ни одна нация не держит своего слова. Нация — это большой слепой червяк. Следующий куда? За своей судьбой, быть может. У нации нет чести, нет слова, которое она могла бы держать. По этой-то причине в старые времена и старались иметь королей, обладавших личной честью и словом.

Разве вам не известно, что если вы отберете сто самых умных людей мира и сведете их вместе, то они превратятся в тупую толпу? Десять тысяч таких людей будут иметь коллективный интеллект, равный уму аллигатора. Вам не приходилось замечать, что, чем больше людей вы позва-

ли к обеду, тем глупее разговор за столом? В толпе все достоинства, которыми обладает каждый, множатся, сваливаются в кучу и становятся характерной особенностью целой толпы.

Не у всех есть добродетели, но у всех есть низшие инстинкты первобытного пещерного человека и злобные черты дикаря. В результате нация, состоящая из миллионов людей, становится похожа на ящерицу или крокодила. Ее государственные деятели не могут иметь высокой нравственности. От Гитлера не приходится ждать выполнения данного Германией слова в международных сделках, соглашениях или договорах, если это войдет в противоречие с ее интересами. Потому что Гитлер — сам нация. Вот почему он всегда, даже в частной беседе, говорит так громко — потому что он говорит семьюдесятью восьмью миллионами голосов...

Нация — это монстр. Все должны испытывать страх перед нацией. Это ужасная вещь. Вот почему я стою за малые нации. Маленькие нации подразумевают маленькие катастрофы. Большие нации означают большие катастрофы.

Зазвонил телефон. В тишине кабинета в этот безветренный день я смог слышать голос пациента, который жаловался, что ураган чуть не сбил его с ног в собственной спальне.

— Ложитесь на пол и будете в целости и сохранности, — посоветовал доктор.

Тот же совет дает сейчас мудрый врач Европе и Америке, когда сокрушительный ветер Диктатуры бушует у оснований Демократии.

Перевод Е. Корсунской.



**Будимир
МЕТАЛЬНИКОВ**

ВОЙНА. ОДНА НА ВСЕХ, НО КАЖДОМУ СВОЯ.

(Отрывки из воспоминаний)

От автора

Это отрывки из второй части книги, готовящейся в издательстве «Искусство». В первой части рассказывается о зеленой планете моего детства — уютном дворе в Замоскворечье, о радостях бытия, о рано прснувшейся тяге к чтению, словом, о счастливом детстве. В один недобрый день оно было прервано — сначала арестом отца, затем матери. Еще до этого были арестованы старшая сестра матери, Варя, ее муж, дяди — Володя и Толя. Так большая дружная семья — а как было весело, когда собирались все вместе! — оказалась рассеянной по архипелагу ГУЛАГ и сгинула там. Уцелел только дядя Володя. В сороковом году я вернулся из детдома в Москву, где в нашей старой квартире оставались дед и бабка с отцовской стороны. Год я проучился в техникуме, а потом разразилась война.

1. Выжить

До шестнадцати лет, до получения паспорта, мне не хватало трех месяцев, когда пришел день 22 июня 1941 года. А через несколько дней я уже оказался в армии.

Дело в том, что еще зимой из мальчишеской тяги к оружию я записался в техникуме в снайперский кружок. Занимались мы раз в неделю: изучали винтовку, учились прицеливаться. Это делалось так: винтовка закреплялась в станке, а кто-то, выполняя команды прицеливающегося, «сажал» мишень на мушку. Давалось по пять «выстрелов». Потом через отверстие в центре ми-

шени ставилась точка. Пять таких точек довольно убедительно показывали кучность, то есть стабильность прицеливания. Уже было интересно! Потом раза два стреляли в тире из малокалиберки. С завершением учебного года должен был быть выезд в военные лагеря, где предстояло овладеть винтовкой со снайперским прицелом.

Я решил было, что с началом войны все эти детские игры отменят, но оказалось наоборот — если ранее выезд в лагеря был добровольным, то теперь нас известили, что это обязательно. Вот таким образом через несколько дней после начала войны я попал на армейскую службу.

Допускаю, что режим в этих лагерях, расположенных между Истрой и Волоколамском, был менее суровым, чем в обычной части. Это были лагеря, где проходили сборы офицеров запаса и студентов московских институтов. Впрочем, с началом войны никаких поблажек уже не полагалось, об этом нас предупредили — служба по всей форме. Подъем в шесть, отбой в десять, свободного времени — полчаса перед отбоем, а все остальное — занятия тактикой, строевой подготовкой, изучение уставов. Кормили по старой довоенной норме, которая называлась тимошенковской, — хлеб лежал на столах навалом, и его вполне хватало, как и всего прочего. Так плотно и сытно я не ел уже давно.

В лагерях еще был жив дух и стиль той довоенной армии, которая называлась рабоче-крестьянской, считалась «плотью от плоти», а командиры, казалось, еще следовали заветам Чапаева («Я какой командир? А я такой командир, что приходишь ты ко мне, а я чай пью — садись и ты со мной»). Иными словами, отношения между командирами и рядовыми были при всей строгости дисциплины все же более доброжелательными: без крика, ора, мата, без подчеркивания своей беспредельной командирской власти и полного ничтожества и бесправия рядового. С этим мне пришлось столкнуться через два года. Ну а пока все было безумно интересно и замечательно. И, топя в солдатском строю с винтовкой за плечом, я жалел, что меня не могут увидеть ребята со двора.

Но сводки, сводки! Каждый день мы с нетерпением ждали газет и ничего не могли понять: где немцы, где наши, почему мы отступаем? Что с Минском? Почему уже назвали Бобруйское направление, когда еще не сообщали о сдаче Минска? Откуда взялось Могилевское направление? И почему молчит Сталин?

Наконец он выступил, назвал нас всех «братьями и сестрами», даже «друзьями» — это было необычно, это волновало. И вся страна услышала то знаменитое дрожание и позвякивание стакана. Но об этом — молчок, об этом немногие решались говорить: научил нас отец родной держать язык за зубами!

Кажется, именно после этого выступления перестали петь знаменитую «Если завтра война». Во всяком случае в первые дни лагерной жизни мы ее еще пели, переиначивая «если завтра» на «если нынче». Но теперь факт нашего отступления по всем фронтам был признан, и песня эта упоминалась только с руганью.

...Ровно через месяц после начала войны, двадцать второго июля, наша снайперская рота пошла в наряд по лагерю. Кому-то доста-

лось дежурство на кухне — в то еще сытное время это считалось самой большой неудачей.

...А мне с напарником досталось идти в секрет. Это пост охраны, скрытый от посторонних. Что-то вроде засады. Тут мне и довелось встретить первый налет на Москву. Под утро небо наполнилось гулом множества самолетов. Они шли волна за волной, и мы поняли, что они летят на Москву. Вот когда стало по-настоящему тревожно. А где же наши прожектора, зенитки, самолеты и славные летчики?

Вскоре мы увидели на горизонте несколько прожекторов и определили, что это в районе Волоколамска. Прожектора метались по небу, казалось, бесцельно, потом доносилось негромкое попукивание, и в небе стали вспыхивать искорки — это били зенитки. А самолеты летели и летели, не обращая внимания ни на зенитки, ни на прожектора. И ни один не был сбит, не упал, охваченный огнем, на землю, а мы так ждали... Разрывов бомб мы не слышали, но вскоре увидели в той стороне, где была Москва, как разгорается зарево. Горит моя Москва! Вот тут нам стало жутко. Что происходит?

Постепенно светлело, самолеты несколько раз еще пролетали туда и возвращались, а нам все хотелось, чтобы при возвращении этот гул был бы поменьше, тогда можно было бы надеяться, что их сбивали. По сводкам, потом, значилось, что их сбивали десятками, но нам не довелось увидеть в ту ночь ни одного случая.

А через два дня нас отправили по домам.

Двадцать пятого июля, на грузовике, я въезжал в Москву по Волоколамскому шоссе. Въезжал и жадно смотрел по сторонам — как, что? Видел же я зарево над моим городом, и, клянусь честью, я думал тогда о целой Москве, а вовсе не о своем дворе и доме! Так как же ты, Москва?

И, славу богу, она уцелела! Да, я видел по дороге несколько сгоревших деревянных домов, одно или два здания, поврежденных бомбами. Удивлялся не виданной ранее камуфлирующей окраске больших зданий и радовался, что разрушения были незначительными.

Дом мой, двор и все поблизости тоже оказалось на своем месте. Правда, на Большой Полянке наполовину было разрушено здание районного Совета, сгорел кинотеатр «Великан» возле Добрынинского универмага и был разрушен почти целый квартал между Житной улицей и Крымским валом — сейчас на этом месте начинается тоннель, идущий под Октябрьской площадью.

В школе, что стояла в нашем дворе, был

устроен призывной пункт. Теперь с раннего утра и до позднего вечера тут толпился народ. Пели песни, играла гармошка, кто-то храбрился, кто-то тосковал, кто-то был угрюмо сосредоточен, плакали женщины, кто-то радостно здоровался со знакомыми, кто-то прощался, предчувствуя расставание навек.

Уже ходили упорные слухи об окружении, десантах, диверсантах, подающих по ночам сигналы немецким летчикам, о сожженных на наших аэродромах сотнях самолетов, о беженцах и толпах народа на вокзалах. Поугас энтузиазм первых дней, все больше и больше закрадывалась в людей тревога — нет, не так шла война, как нас уверяли!

Налеты на Москву с немецкой педантичностью начинались в одно и то же время, люди это быстро подметили и, не дожидаясь объявления воздушной тревоги, стали уходить в подвалы и бомбоубежища. Мой дед и бабка панически боялись бомбежек и намеревались уехать в деревню. У них уже были куплены билеты. А пока каждый день мы уходили в подвал той самой школы, что была во дворе. Я то сидел в подвале, то выскакивал наружу поглядеть, что происходит. Выходить из укрытия было небезопасно: осколки зенитных снарядов то и дело сыпались на землю. Пожалуй, эти осколки представляли более реальную опасность, которая заставляла искать укрытия.

Но мальчишки есть мальчишки, кто-то предложил полезть на крышу школы, чтобы посмотреть сверху на Москву. И попробуй-ка откажись — стыда не оберешься! Полезли по наружной лестнице и увидели жутковатое и в то же время роскошное зрелище — небо полосовали сотни прожекторов, время от времени они выхватывали серебристую рыбину азростата воздушного заграждения. Над головой как будто гром рокотал — это рвались зенитные снаряды. Эхо разрывов, отражаясь в облаках, растягивало звук, слышалось протяжное — тонн! тонн! Время от времени ввысь устремлялись трассы пулеметов — куда они падали, было не понятно. В нескольких местах по горизонту виднелись пожары. Но вот в скрещении прожекторов мелькнул самолет. Тотчас к нему устремились другие прожектора, а потом туда же потянулись трассы.

— Ура! — завопили мы. — Поймали! Поймали! Сейчас ему...

Но мы рано обрадовались, самолет вильнул и скрылся, прожектора суматошно рыскали вокруг, но не могли его нащупать. Потом раздался жуткий нарастающий вой бомб и взрывы — один, другой, третий.

И вот зенитный огонь сместился и оказался у нас над головой, осколки забарабанили по крыше, как градины.

— Пора тикать! — предложил я.

После двух лет, проведенных в детдоме на Украине, у меня еще часто тогда прорывались украинизмы, меня даже поддразнивали: «Тану, тану!» Это я вместо «да» иногда говорил по-украински «та».

Мы быстро спустились в подвал, и едва успели это сделать, послышался такой оглушительный вой, что казалось — эта бомба предназначена не кому-нибудь, а нам. Все оцепенели. Потом грохнуло так оглушительно, что и в самом деле подумалось: бомба попала в нашу школу. Свет замигал, подвал весь содрогнулся, послышались испуганные вскрики. Но вот свет снова зажегся, и все недоуменно и с облегчением оглядывались — неужели пронесло? Дед с бабушкой крестились.

После отбоя выяснилось, что бомба, и большая, — говорили даже, что не менее пяти-сот килограммов, — попала в школу на той стороне переулка, метрах в ста от нашей. Когда мы вышли из подвала, там уже хлопотали пожарники и спасательная команда. От типового четырехэтажного здания уцелел один лестничный пролет. Там, в подвале, тоже было бомбоубежище и погибло много народа — часть так и осталась под развалинами. Через несколько дней оттуда потянулся тошнотворно-сладковатый запах разложения. Особенно сильно он ощущался по ночам.

Зрелище этих развалин произвело сильное впечатление на население окружающих домов — стало ясно, что от тяжелой бомбы школьное бомбоубежище — не спасение, и люди стали вечерами уходить ночевать в метро. Какое-то время ходили и мы, мальчишки, но больше из интереса.

Не помню точно, но кажется, в десять часов метро останавливалось и людей выпускали внутрь. Естественно, все не могли разместиться в вестибюле станции, поэтому пускали и в тоннели. Были приготовлены тысячи деревянных лежаков, наподобие тех, что водились на черноморских пляжах, их укладывали на шпалы, и люди спали на них. Не помню, чтобы я тоже спал, больше мы бродили от станции к станции — любопытно же было пройти по тоннелю, куда ранее невозможно было попасть.

Почему-то заходили мы в метро на станции «Охотный ряд» (ныне «Проспект Маркса»), а потом пробирались тоннелем до «Библиотеки Ленина». Однажды, когда мы так шли, раздался тяжкий удар, гулко раскатившийся в обе стороны тоннеля. Когда после отбоя мы вышли наружу, то увидели, что бомба попала совсем рядом с метро и разрушила часть дома на Моховой, рядом с домом, где когда-то жил А. Чехов. Здание было довольно аккуратно срезано наполовину так, что

его обваленную часть быстро заделали, и уцелевшая половина существовала до недавнего времени. Проходя по Каменному мосту, мы увидели дырку в нем, еще одна бомба упала на мостовую напротив знаменитого Дома Правительства, выбив немало окон.

Довольно скоро москвичи привыкли к бомбежкам, и многие перестали вообще прятаться куда-нибудь. Кстати сказать, с каждым днем противоздушная оборона Москвы усиливалась, и теперь к городу прорывались только отдельные самолеты. Иногда они прорывались и днем, когда даже воздушную тревогу не успевали объявить.

С начала августа сорок первого, проводив деда с бабушкой в деревню, я остался один и с тех пор мог рассчитывать только на себя. Правда, в Москве жила и моя двоюродная сестра Лида, и тоже одна. Она была на год младше меня. Незадолго до войны тетя Нина привезла ее в Москву, потому что там, где они жили (в Западной Белоруссии, у границы), не было русской школы-десятилетки, а Лида перешла уже в восьмой класс. С другой стороны, тетка боялась за свою московскую комнату и, кажется, надеялась вскоре перебраться в Москву. Поскольку Лиде, как и мне, не было еще шестнадцати, ей необходим был опекун. Таким опекуном стала давняя подруга моей матери и тети Нины Валентина Селиверстовна.

Этой женщине я многим обязан в своем образовании. Она познакомила меня с такими писателями, ставшими у нас знаменитыми только в пятидесятых годах, как Ремарк и Хемингуэй. Чтение становилось для меня уже не просто развлечением, а чем-то более серьезным. Ну а чем голоднее становилась жизнь, тем необходимой становилась и книга — с ней легче было переживать голодные спазмы в желудке.

Хемингуэй меня просто потряс и горечью «Фиесты», и молитвой героя в «Прощай, оружие!». На всю жизнь запомнил, как он чуть не целую страницу твердит: «Господи, сделай так, чтобы она не умерла!.. Милый, господи...» Это «милый» по отношению к самому господу Богу я точно прочитал в свои шестнадцать лет: это не фамильярность — это отчаяние. И — конечно же, опять — сладкие слезы, пролитые над вымыслом. Кажется, выше я написал, что выплакал последние детские слезы при встрече с бабушкой? Так вот, эти слезы, про которые я сейчас пишу, уже не детские, это слезы читателя, слезы человека, сравнившего в чувствах с героями книг, так что я не погрешил против правды.

С Валентиной Селиверстовной мы много говорили о прочитанных книгах, она расска-

зывала мне об авторах и их роли в литературе.

Позже мы недолгое время даже жили коммуной — я, Лида и Валентина Селиверстовна.

Надо признаться, что с отъездом деда и бабушки я несколько ошалел от своей свободы и независимости. Полноправное владение целой комнатой сблизило меня даже с теми прибранными ребятами, которых я раньше сторонился. У меня стали собираться в ненастную погоду, поигрывать в карты и, конечно, выпивать. Впрочем, выпивка исчезла в магазинах быстро, последней памятной добычей было пять или шесть бутылок кагора. Кто-то сказал, что если в кагор насыпать сахара и подогреть, то «заберет» больше.

У кого все это можно было проделать? Конечно, у меня. Сахара у меня не было, но был чайник. Сказано — сделано, и вот мы с чайником, полным горячего пунша, во время тревоги и бомбежки бегаем по двору и распиваем кагор. Соседи начинали коситься на меня. Позже дошла очередь до одколонов — начали с «Тройного», потом пили «Жигули». (До сих пор помню на торце здания, что перед поворотом от дома Пашкова на Каменный мост, красочную рекламу этого одколона: «Аромат родной земли навевают «Жигули».) Потом пришел черед самого дорогого одколона — «Кремль». Да-да, того самого, во флаконе в виде кремлевской башни, что и до недавнего времени еще попадался в магазинах. Потом пили денатурат, политуру, какие-то лаки, настаивая их на ржавых гвоздях и затем пропуская через противогаз. Словом, какой только гадости я не перепробовал ради компании, на самом деле пить мне совсем не нравилось. Больше меня привлекала закуска, потому что жизнь становилась все голоднее и голоднее.

В конце нашего переулочка, поближе к Москве-реке, был небольшой колхозный рынок. Он все пустел, пустел, и женщины, приходя, всплескивали руками:

— Картошка сегодня по двадцать рублей!

Но к зиме не стало ее ни по двадцать, ни по сорок, ни по пятьдесят.

На что жил я? В середине августа с помощью знакомых Валентины Селиверстовны я устроился работать на завод «Компрессор» электромонтером. Устроиться было непросто — у меня не было ни официального разряда, ни паспорта, помогло знакомство. Каждый день на двадцать четвертом трамвае я тащился чуть ли не целый час за Абельмановскую заставу на шоссе Энтузиастов — это была довольно утомительная дорога, тем более что по утрам, чтобы влезть в трамвай, приходилось провисеть на под-

ножке не одну остановку. Опоздания я страшился, как и все, — это грозило судом и тюрьмой, а с началом войны все законы ужесточились.

Работал я в отделе капитального строительства, но чаще меня посылали в помощь то каменщикам, то штукатурам (навыки, приобретенные таким образом, позже мне пригодились). Трудились на воздухе, что в теплое августе было приятней, чем в душных цехах. Одно время работали возле таинственного спеццеха, из которого по ночам выезжали закрытые чехлами машины странного вида. Это были знаменитые впоследствии «катуши».

Получал я, в силу невысокого разряда, немного, рублей триста пятьдесят — четырехста. Однако первую получку мои напарники по бригаде потребовали отметить, и в какой-то попойке я выставил им несколько бутылок популярного портвейна «Три семерки». Домой вернулся пьянехонек, но помню, что счел необходимым показаться в таком виде во дворе — знай наших!

Валентина Селиверстовна не стала занудничать и пилить меня, но нашла какие-то очень весомые слова, чтобы объяснить мне, что пьянство — это удел низкосортных людей, которые больше ничем занять себя не способны.

— А как же герои «Фиесты»? — спросил я.

Она позволила себе не без сарказма объяснить мне мое ничтожество по сравнению с героями Хемингуэя.

— Ну а если просто скучно?

Вот тогда-то она и сказала мне хорошо запомнившиеся слова:

— Интеллигентному человеку не бывает скучно с самим собой!

Когда же я попробовал возразить, ссылаясь на отсутствие образования, Валентина Селиверстовна доказала, что для того, чтобы быть интеллигентным, не обязательно иметь образование. Можно иметь и два высших образования и не стать интеллигентом. Интересный у нас получился разговор. И я стал по возможности удерживаться от выпивки.

Однажды мы долбили в бетонном полу желоб для электрической подводки. По очереди били кувалдой по большому зубилу. Когда подошла моя очередь держать зубило, я решил, что желоб достаточно глубок.

— Хорош, — сказал я и... взялся второй рукой поверх зубила. Напарник то ли не расслышал меня, то ли я поздно сказал и он уже не мог удержать замаха, ахнул кувалдой по зубилу. На счастье удар пришелся не по середине, а чуть сбоку указательного пальца левой руки. Кость уцелела, но мясо с нее содралось, так что она очень интересна по-сверкивала своей странной белизной, пока ее

не залило кровью. Напарник схватился за голову, побелел от вида крови, несмотря на то что был рослый и сильный мужик, потом поволок меня в санчасть. Палец воспалился, и я сел на долгий бюллетень.

У меня оказалась бездна свободного времени для чтения. За книгами я ходил к Валентине Селиверстовне и засиживался у нее все чаще и чаще. Осень сорок первого года очень много дала мне в смысле самообразования, пожалуй, именно в это время чтение из развлечения превратилось в потребность души.

Но была в этом занятии и утилитарная польза — за чтением легче было забыть про пустой желудок. Дело в том, что, не имея надлежащего рабочего стажа, я получал по бюллетеню гроши. По карточкам я выкупал главным образом хлеб — за всем остальным были такие очереди, что стоять в них было выше моих сил. Я возненавидел очереди еще с памятной зимы в Кировограде* и предпочитал жить впроголодь, но не убивать время в очередях.

Вот тогда я и начал распродажу того немногого, что осталось от родителей, — какие-то ботинки, которые были мне слишком велики, что-то из одежды. Носил я вещи в государственную скупку, получал за них такой мизер, что с трудом хватало на порцию жиденькой гречневой каши за тридцать рублей, которую можно было еще купить без карточек в кафетерии при гостинице «Москва». К весне сорок второго почти все было продано. А зимой уже наладилась менка между горожанами и колхозниками, и я горько пожалел о своем легкомыслии. Меняя вещи на продукты, люди получали гораздо больше того, что мне давали в скупке. Но продукты все дорожали, дорожали, и вот уже за новый костюм можно было получить всего пуд муки или два с половиной пуда картошки. Этот эквивалент — что картошка в два с половиной раза дешевле хлеба, — я помню с той зимы сорок первого года.

Весной, когда продавать уже было нечего, я поволок за город цинковую ванну, в которой меня купали, когда я еще был ребенком. Я прошагал от деревни к деревне километров тридцать. Сначала просил за ванну десять килограммов картошки, потом восемь,

* В Кировограде я жил после детдома. Учился в школе ФЗУ. Зима 40—41 запомнилась мне тем, что даже во время малой войны с Финляндией на Украине случались перебои с хлебом. А поскольку это было и тогда моей главной едой, приходилось стоять за ним целыми ночами при тридцатиградусном морозе. Я чуть не отморозил тогда ноги — вот откуда ненависть к очередям.

в одном месте мне давали пять, но я не согласился. Стало темнеть, подмораживать, я дня два ничего не ел, выбился из сил и был уже не в состоянии вернуться в ту деревню, где мне давали пять килограммов. Какая-то тетка возле самой станции, скорее всего просто из жалости, предложила мне два кило картошки. Утром я, как говорится, плюнул бы ей в рожу за такое предложение, к вечеру же я так ненавидел ванну, отмотавшую мне руки, что смиренно благодарил тетку за эти жалкие два кило, которые съел сразу же по возвращении домой без соли и без масла.

Была у меня такая слабость: когда было что поест, я устраивал себе пир, когда не было — клал зубы на полку. Знаю, что это неблагоприятно и нерасчетливо, но ни тем ни другим я никогда не отличался. Война быстро научила меня какому-то фатализму, а может, я наслушался всевозможных философов, утверждавших, что пишу надо съесть немедленно, завтра она может испортиться, пропасть, ее могут украсть, может что-то случиться с тобой — война все-таки.

Однажды, зачитавшись до утра, я вышел на улицу довольно поздно, и первый же встретившийся парень спросил:

— Расчет получил?

— Какой расчет? — удивился я.

— Да ты что, проспал все на свете?! — заорал он. — Немцы фронт прорвали! Заводы эвакуируются! Всем расчет дают за два месца!

Новость была ошеломляющая. Неужели немцы так близко? Подошедшие ребята все подтвердили и посоветовали мне ехать за расчетом.

Был серенький денек — знаменитое 16 октября. Утренний пик, когда трамвай переполнены едущими на работу, давно прошел, но втиснуться еле удалось. И всю дорогу вагон гудел, обсуждая ситуацию. Где правительство? Где Сталин? Как близко подошли немцы? Кто отдал приказ об эвакуации и почему молчит радио? И действительно, передачи по радио шли обычные, о том же, что всколыхнуло всю Москву, — ни звука.

Чем ближе было к шоссе Энтузиастов, тем отчетливее ощущалось — поток машин и людей двинулся из Москвы. Ехали на грузовиках, забитых людьми и каким-то домашним скарбом, шли пешком с мешками через плечо. Несколько раз мелькнули люди с тележками и детскими колясками. Потом я даже видел пожарную машину, на которой ехали пожарники с семьями и пожитками, — все это, несмотря на какую-то угрюмую тишину, походило на панику.

...В коридорах отдела кадров был хаос: одни бумаги валялись на полу и по ним ходи-

ли, другие охапками выносили в грузовик. Действительно, завод эвакуировался. Объявления, наскоро написанные от руки, гласили, что какие-то составы должны стоять там-то и там-то, кто желает эвакуироваться, должен записаться сам и записать членов своей семьи.

Я получил расчет — зарплату за два месяца, как будто и не бюллетенил. У меня на руках оказалась куча, в сущности, уже бесполезных денег — рублей семьсот.

На Калужской (ныне Октябрьской) площади у магазинов стояли очереди — решено было срочно отоварить все карточки населению Москвы. Как и выдача двойной зарплаты, это был разумный шаг властей. И странно было увидеть, как на улице никто не обращал внимания на женщину, продающую манто под котик всего за тысячу рублей. Потом попался какой-то военный, сотрясающий воздух новыми сапогами.

— Двести рублей! Всего двести! — взывал он.

Но все пробежали мимо, и я тоже, хотя позже и пожалел: ведь деньги были, а обувь вскоре стало нечего, но странно было в тот момент что-то покупать впрок.

Надо было решать главный вопрос: что делать? Невозможно было даже представить себе, что немцы войдут в Москву, и в то же время все говорило, что это может случиться. Так уезжать или оставаться? Не хотелось уезжать в неизвестность, но невозможно было представить себе — как же это остаться, если в Москве окажутся фашисты? У меня в кармане был новенький паспорт, полученный всего неделю назад, и я еще не нагордился им. Решил я так: без боя Москву не отдадут, бои скорее всего будут затяжные, и я должен принять в них участие — зря, что ли, учился в снайперской школе? А уж если случится самое страшное, если Москву оставят, уйду вместе с войсками в последний момент. Приняв такое решение, я успокоился и с любопытством присматривался ко всему, что происходило вокруг.

А происходило черт знает что: над Москвой носились тучи пепла, жгли бумаги учреждения, и жгли книги обыватели. У мусорных ящиков валялись сочинения классиков марксизма, Ленина и Сталина. Жгли портреты, хранящиеся в домоуправлениях, которые вывешивали по праздникам. И нет-нет да и слышались блудливые высказывания обывателей:

— А что, в конце концов, немцы культурная нация, нам-то бояться нечего...

Я до сих пор помню эти лица — это было потрясающее человеческое открытие, но бог с ними, не буду их упоминать. Но уж пре-

зирал я их со всем пылом юношеского максимализма.

По Москве ходили всевозможные слухи: где-то разграбили обувную фабрику, где-то склады магазина, какие-то касиры бежали с баснословными суммами. Мои прибрятенные сверстники во дворе рассказывали об этом с восторгом и сожалением, что им не пришлось пожить... Думаю, все это было сильно преувеличено.

Я зашел к Валентине Селиверстовне, она была подавлена и удручена. Ее муж, как и многие московские интеллигенты, записался в народное ополчение и где-то, по слухам под Ельней, попал не то в окружение, не то погиб. Во всяком случае в военкомате ей выдали ту самую знаменито позорную справку, в которой говорилось: в списках погибших, попавших в плен и пропавших без вести не значится. В каких же списках значилось множество людей? Скорее всего в списках подозреваемых, потому что по такой справке не выдавалось пособие даже женщинам, обремененным большим количеством детей. Почему не занести тех, о ком нет сведений, в списки пропавших без вести? Да и были ли такие списки, что-то я не припомню. Все это останется на совести военной бюрократии. Но если до какого-то времени Валентина Селиверстовна надеялась получить известие, то теперь, когда немцы подошли к Москве, таких надежд оставалось все меньше и меньше. Лида тоже убивалась неизвестностью о родителях, и, глядя на двух грустных женщин, я вдруг почувствовал, что мне все же лучше, чем им, — мне-то все ясно и ждать известий не от кого.

Валентина Селиверстовна сказала, что возле Дома Правительства на Москве-реке стоит баржа, с которой продают населению картофель. Сама она работала на радио в иностранной редакции (была переводчиком по профессии) и стоять не могла, но не худо бы запастись картошкой — кто знает, что впереди.

Как я уже говорил, стоять для себя в очереди меня не заставила бы никакая сила, но тут речь шла обо всех нас, и мы с Лидой отправились с утра пораньше на набережную. Баржа стояла там, где теперь вход в Театр Эстрады. Очередь была длиннющей. Мы с сестрой оказались где-то в районе двести шестидесятих номеров. Давали по двадцать килограммов в руки, поэтому очередь двигалась медленно.

...Вот уже и день перевалил за полдень — серенький, как и все те октябрьские дни, — но и половина очереди еще не прошла, и я понимал, что вряд ли мы дождемся картошки. Я стал уговаривать сестру уйти, но она

стояла на своем: пока дают, будем стоять. Если я хочу, то могу уйти, а она останется. Бросить ее я, конечно, не мог. Вот, пожалуй, пример того, как в некоторых обстоятельствах женщины оказываются более стойкими, чем мужчины.

И вот мы стоим, я зол как черт, Лида кротка, но непреклонна. Вдруг забухали зенитки и послышался гул самолета. Возле Дома Правительства зениток было много, и осколки посыпались на землю. Люди кинулись в укрытие под арку дома и под навес над подъездом. Немногие оставшиеся в очереди, в том числе и я, стремительно продвинулись вперед, поближе к барже. Лиду я отослал под арку. И тут послышался вой падающих бомб, я лег под парашют набережной, потом громынуло, я выглянул и увидел, как за кремлевской оградой прямо в том углу, что ближе к Каменному мосту, поднялся столб взрыва. Куда упали остальные бомбы, я не видел, потому что в этот момент еще кто-то убежал из очереди, а я рванулся вперед и оказался в непосредственной близости от заветных весов. Потом вернувшиеся люди пытались восстановить прежний порядок, но не тут-то было — никто из оставшихся в сократившейся очереди не отдал своего места.

И вот всего через полчаса после того, как я был готов плюнуть на очередь и уйти, я тащил сорок килограммов картошки в мешке. Пройти надо было с километр, ноша, которая поначалу казалась приемлемой, вскоре стала невыносимой, и меня водило из стороны в сторону. Но сестре я не позволил сменить меня. Я был счастлив и горд тем, что мы добыли эту картошку. Когда, вспотев и измучившись, я приволок ее к Валентине Селиверстовне, встал вопрос: а как ее разделить?

— Да зачем делить, оставайся у меня, и все, — сказала Валентина Селиверстовна.

Так образовалась наша коммуна. Потом выяснилось, что можно отоварить не только картошки, но и получить дополнительную норму по корешкам, и мы с сестрой снова бегали по магазинам. Пошел месяц относительно благополучной и сравнительно сытой жизни.

Еще 20 октября по радио выступил председатель Моссовета Пронин. Москва объявлялась на осадном положении, был введен комендантский час, и дни паники прошли. Об этих днях, памятных всем москвичам, официальная печать долгое время тщательно помалкивала, возможно, поэтому остался невыясненным вопрос, отчего же возникла паника 16 октября. На мой взгляд, это произошло оттого, что разумное решение о выдаче зарплаты и раздаче населению продуктов, а также и эвакуации не было объявлено населению широко и спокойно. Нача-

лись слухи: ага, эвакуируются, ага, сами бегут... Кстати, 20-го же было объявлено, что мародеры и сеющие слухи и панику будут расстреливаться на месте. Не слыхал я о расстрелах, но порядок был восстановлен быстро. Но почему же было не сделать это не 20 октября, а раньше, скажем, 17 или 18? Видимо, какой-то момент растерянности был и в правительстве, стало быть, в панике виновато оно*.

После 16 октября школы какое-то время не работали, я уволился с завода, и все время мы с сестрой проводили за чтением или приготовлением еды к вечеру, когда приходила Валентина Селиверстова. Похоже, ей тоже было веселее и не так одиноко в нашем обществе.

Но вот подбьели мы наши продукты, кончилась и картошка, наступил новый месяц, и мы с сестрой могли получить только иждивенческие карточки, по которым полагалось триста граммов хлеба. У Валентины Селиверстова — служащая, по ней полагалось пятьсот граммов. А в магазинах, после того как раздали двойную норму продуктов, стало пусто — карточки отоварить становилось все труднее.

...И вот в такую недобрую минуту, когда голод стал особенно острым, я вспомнил, что в шкафу у Валентины Селиверстова хранятся десять плиток шоколада «Золотой Ярлык»! Она купила его в те уже баснословные времена, когда его можно было купить без карточек по какой-то повышенной цене, и все надеялась отправить мужу посылку на фронт. У нее было даже одиннадцать плиток, но одну она торжественно достала 6 ноября, после того как мы услышали по радио речь Сталина на торжественном собрании по случаю 24-й годовщины Октября.

* В. Карпов в книге «Маршал Жуков» подтверждает правильность этой мысли, а именно, что паника началась с приказа об эвакуации правительства, ценностей, госучреждений и т. д. Одновременно В. Карпов приводит свидетельства очевидцев о раздаче населению продуктов, в частности, в районе Большой Полянки. Я жил рядом с этим местом, но никакой раздачи продуктов не видел, а главное, и не слышал об этом. Продукты, как правило, не раздавались, а продавались.

Что же касается грабежей и беспорядков, в которых принимали участие и дезертиры, как упоминает В. Карпов, то, не исключая их возможности, хочу заметить, что Москва, с ее режимом официального и тайного надзора за населением, с бесперывной проверкой документов на улицах и по домам, была самым опасным городом для дезертиров. Да и настроение людей было такое, что выдать дезертира считал бы своим долгом любой человек.

Я отнюдь не сталинист и еще расскажу историю своих отношений с этим человеком, но правды ради должен сказать — эта речь сделала свое дело. Раз Сталин в Москве (а мы знали, что правительство переехало в Куйбышев), раз все идет как и раньше — и торжественное собрание, и неоднократные бурные аплодисменты, и обещание победы, и парад на Красной площади 7 ноября, — все это внушало надежду.

В два приема — 6 и 7 ноября — мы ликвидировали плитку шоколада, достойно отметив праздник.

И надо же было мне вспомнить об этом шоколаде! Лида как на грех ушла — она часто навещала свою квартиру. Надо было показаться, чтобы ее не отметили, да и просто так, постирать, чтобы соседи Валентины Селиверстова не ворчали на нас и, как призналась Лида позже, поплакать в одиночестве о своих родителях.

Не помню, сколько я боролся с соблазном, проклятый шоколад не выходил из головы, я уже ощущал на языке божественный вкус, голова кружилась не то от голода, не то от возбуждения. И наконец вождение победило — я достал плитку и съел ее. А вечером со страхом ждал возвращения Валентины Селиверстова — заметит, не заметит? Ах, если бы она заметила, может быть, на этом бы все и кончилось, и я бы не дошел до полного падения!

Но вступивший на стезю порока никогда не остановится в самом начале, он обязательно пойдет дальше. Ничего не заметила Валентина Селиверстова, и на следующий день я снова съел плитку. Что со мной случилось? Ни до этого, в детстве, ни после, в армии, я не был способен украсть что-то у товарища — это считалось самым позорным делом! — а я всегда так дорожил дружбой и товариществом... И не мог я, скажем, съесть хлеб сестры или Валентины Селиверстова, как не мог съесть и лишнюю картошку, а этот проклятый шоколад как бы выбивался из круга табу. Он как будто представлялся мне то ли ничьим, то ли чем-то лишним, черт его знает, видимо, это были провокации лукавого ума. Бывало, я даже удерживался день и... гордился своей выдержкой. Но проходил этот день, снова подступало искушение, и коварный голос шептал: а, семь бед — один ответ, чего уж тепер! И я доставал очередную плитку.

Мое воровство было обнаружено, когда в шкафу вместо десяти осталось всего две плитки. Как же растерялась и, что еще страшнее, как устыдилась Валентина Селиверстова, когда спросила, не поднимая глаз: — Ребята, а где же шоколад?

О, господи! Кажется, такого позора я не испытывал за всю свою жизнь... Сестра

просто не поняла вопроса, но щеки мои запылали так, что все всем стало ясно. Земля не могла провалиться подо мной и спасти меня от устремленных на меня глаз, поэтому после нескольких секунд оглушительного молчания я схватил шапку, пальто и выскочил из этого дома с тем, чтобы никогда не возвращаться...

А вот идти-то мне было некуда! Снег в том году выпал рано, многие помнят, что парад на Красной площади проходил в снегопад. С тех пор он не таял, установилась зима, и морозы день ото дня все крепчали. Термометр в моей квартире показывал градусов семь-восемь ниже нуля. Я запомнил это потому, что потом было еще хуже. Дров не было, все заборы вокруг были давно уже разобраны на дрова. Денег тоже не было — даже на то, чтобы выкупить свои триста граммов по карточке. За карточкой, сгорая от стыда, мне пришлось на следующий день идти к сестре. Она встретила меня сурово и, ничего не сказав, молча отдала карточку. С ней мне тоже было стыдно встречаться, и мы расстались надолго.

Итак, к голоду присоединился холод. Позже, когда стало известно о ленинградской блокаде, я мог кое-что сравнивать. Конечно, мне было намного легче, у меня было не 125 граммов, а 300, а позже и вообще рабочая карточка.

Вообще-то мне полагались какие-то дрова по талонам, но я не мог их добыть. Мне сказали, что, раз я вовремя не получил, их сдали и теперь надо ожидать нового года, когда будут выдавать новые талоны. Тут было какое-то вранье, но я ничего не мог поделать. Заведовала талонами и карточками моя соседка Нина Алексеевна. Бомбежек она боялась дико, так что вообще скоро переселилась в подвал церкви, сидела там безвылазно, устроив что-то вроде филиала домоуправления, совершенно обовшивев. Характер у нее испортился, и на настойчивые вопросы посетителей она начинала так визжать, что проще было плюнуть и махнуть рукой. Так многие поступали, отступил от нее и я, предупредив, что в новом году потребую все талоны, что мне были обещаны.

И тут наступают в моей памяти провалы — я не помню в подробностях, как прожил эту тяжелую зиму без дров.

Помню, правда, огромную радость, когда по радио сообщили о разгроме немцев под Москвой. Сразу отлегло от сердца — защитили Москву, слава богу! Но радость заглушали заботы — как же спастись от холода?

Время от времени где-то что-то раздобывал, пытался жечь книги, начав с родительских. Первыми пошли тома органической

и неорганической химии, потом химия Меншуткина, потом еще какие-то. До художественной литературы не дошло — понял, что книгами мою огромную голландскую печь не натопишь. Вот когда я пожалел, что у меня нет буржуйки, которые все больше и больше входили в моду. С помощью буржуйки можно было хоть на время нагреть воздух в комнате даже с помощью книг и старых газет.

Накутывал я на себя все, что мог, включая какую-то домотканую дерюжку из оставшегося дедовского имущества, служившую в качестве светомаскировки на окнах. На постели у деда с бабкой, кроме сенника, был еще потник — что-то вроде войлочной попонки, которой накрывают лошадей. Я заворачивался в этот потник и спал в нем, как в коконе, — какое-то время это спасало меня от простуды. При этом я эмпирическим путем обнаружил, что все же лучше раздеваться до белья, хотя поначалу это просто жутко, но потом согреваешься быстрее. Бельем же у меня были сатиновые трусы и майка — кальсоны я, как все ребята моего возраста, презирал, а потому и не обзавелся вовремя. Бежать на работу в новогодние холода, подходящие к сорока градусам, в трусах и хорошо выношенных брючонках — это, я вам скажу, лихое дело! И все же в цеху со сквозняками из окон и то и дело распахивающихся дверей был просто рай по сравнению с домом. Самая низкая температура, которая была у меня в комнате, — это семнадцать градусов ниже нуля.

Однажды я проснулся и почувствовал, что не могу вдохнуть от резкой боли где-то под лопатками. Термометр у меня был — он показал под сорок. Кое-как я выполз в коридор и попросил соседей вызвать врача. Это тоже было не просто — телефона в доме не было, надо было идти в автомат. Кажется, это сделала Люба Шумилина, та самая моя соседка, добрая душа, которая жила в четырехметровой комнате. Вот врач-то и ужаснулся, увидя в комнате температуру в семнадцать градусов ниже нуля, а потому и я запомнил ее.

Дальше — провал, дальше я ничего не помню, каким образом выкарабкался из болезни в таких условиях? Но как-то выкарабкался, потому что, как видите, жив до сих пор. Может, это было уже к весне и морозы отступили? Короче, я как-то поправился и снова запрягся в заводскую лямку.

На завод я поступил вскоре после своего ухода, вернее, изгнания из коммуны. Надо было получать рабочую карточку и 600 граммов хлеба — иначе дело труба. Но в ноябре сорок первого это было не просто — многие заводы эвакуировались, а на оставшемся производстве жизнь еле теплилась и, во всяком

случае пока, работников хватало. Очень хотелось найти место поближе, чтобы не ездить так далеко, как на «Компрессор». Я стал обходить близлежащие предприятия и наткнулся на завод «ВАРЗ» на Большой Ордынке. («ВАРЗ» — второй авторемонтный завод). Электромонтеры не требовались, и я пошел учеником токаря. Зарплата не волновала, главное было — получать рабочую карточку; чтобы выкупить продукты, требовалось не так уж много денег.

Токарный станок я освоил быстро и через неделю уже стоял на конусах — это была основа для хвостового оперения снарядов «катюш». Работа была простая — насадить конус на деревянную насадку, зажатую в патрон, очистить наждачной шкуркой поверхность от окалины и по шаблону обрезать оба конца. Сначала, когда я овладел этим делом, мне оно понравилось. Как будто получалось ловко: не останавливая станка, я надевал конус, чистил, обрезал, потом ударишь легонько деревянной колотушкой по конусу, и он сам сползает с насадки. Тут важно было не схватиться за край — острый, вращающийся, он мгновенно прорезал рукавицу и впивался в ладонь. Женщин, работавших на конусах, легко было отличить по вечно перевязанным рукам — как ни наловчились они выколачивать по двести, двести пятьдесят конусов за смену, а нет-нет и ошибались. Кстати, они неплохо зарабатывали — до тысячи и более рублей. Обработка одного конуса стоила четырнадцать копеек.

Я же более полуторы сотен конусов не делал — надо было и покурить, и поболтаться по заводу, и вообще монотонная и однообразная работа на конусах мне быстро обрыдла. Я попросился у мастера на другие операции. Мастер охотно сделал это, поскольку таких операций женщины побаивались. Работа состояла в обработке хвостовой части снаряда — той самой, на которую впоследствии крепился конус с оперением. Для этой части снаряда, где находилось сопло, откуда била реактивная струя пламени, предназначалась особо тугоплавкая и потому очень прочная сталь. Обработать ее можно было только победитовыми резцами, да и то стружка из-под резца раскалялась до красноты и надо было очень внимательно следить, чтобы красная спираль не хлестнула тебя по лицу или по рукам — время от времени такие случаи бывали. Резцы часто ломались, тупились — чуть для скорости возьмешь стружку потолще и — крак! — резец сломан, а мастер устраивает скандал или делает начет — победитовые резцы были в дефиците. Потом мне доверяли и внутреннюю обработку, но до самой тонкой и денежной я

не дошел. Это была расточка так называемого критического отверстия, то есть сопла. Допуск полагался в два микрона, потому что от точности зависел полет снаряда: чуть шире — и снаряд упадет ближе, уже — и он перелетит цель. В цехе было только два старых опытных токаря, которым доверялась эта работа. Но и зарабатывали они здорово — до трех тысяч! Впрочем, и за брак с них вычитали чуть ли не двести рублей. Сумма эта ошеломительная. И я думал: а конус же стоит весь снаряд, да еще со всей начинкой? Сколько же это рублей «стреляло» в немцев за один, скажем, залп «катюши»? А за всю войну?

Рабочая смена продолжалась официально двенадцать часов. Со второй половины месяца, поскольку план всегда трещал, начинали прихватывать еще часа по два. Выходных почти не было, разве что в начале месяца. И все же завод поначалу был мне не в тягость, потому что дома было так холодно, что и идти не хотелось. Но, с другой стороны, такие смены изрядно выматывали силы. У токарного станка не посидишь, все эти двенадцать — четырнадцать часов надо было выстоять на ногах. Кстати, расточка мне для станка не хватало. С тех пор как я стал жить впроголодь, начиная с детдома, я рос плохо, поэтому стоял у станка на специальном возвышении площадью приблизительно метр на метр. Впрочем, половину цеха составляли такие же ребята, как я, и даже помоложе, так что все работали на подставках. Тут важно было не забыть и не оступиться, иначе можно растянуться или стукнуться головой о работающий станок.

В зиму сорок первого — сорок второго я не видел не то что солнца, а и дневного света. Уходишь из дома — темно, приходишь — еще темней... Тут уж стало не до товарищей, не до развлечений — лечь бы скорей да заснуть.

Заснуть требовалось как можно скорей, чтобы не мучил голод. Редко-редко удавалось мне сохранить кусок хлеба для ужина. Выкупал я его с утра, половину съедал по дороге на завод, остальное — в обед. А хлеб уже пошел сырой, с большим припеком, с добавкой картофеля — я очень хорошо помню, как пайка в шестьсот граммов становилась все тяжелее, а оттого и горестно сокращалась в размерах. Но голодный человек ест не вес, а количество! Хлеб становился самой главной, самой насыщенной, самой изысканной моей едой, часто являющейся в голодных снах.

Мне приходилось труднее еще и оттого, что я был один. В семьях было какое-то хозяйство и мало-мальски систематическое

питание. Конечно, уже никто не безумствовал и не варил, скажем, очищенную картошку, а только в мундире. Мало того, и из этих очисток норовили печь какие-то лепешки — я видел, как жарили их хозяйки в нашем коридоре. Говорили — вкусно, не знаю, не довелось попробовать. И вообще, готовить, варить, выстаивать очереди за керсином — все это было не по мне.

К весне сорок второго стали появляться какие-то загадочные продукты, о которых я только слышал, хотя и видел огромные очереди, — суфле, солодовое молоко, время от времени где-то продавался жмых. Но и это было не для меня.

Я питался только тем, что можно было получить в заводской столовой. К этому времени в карточках для удобства стали появляться талончики мелкого достоинства — на двадцать граммов крупы, тридцать, сорок. За них давали порцию супа или каши. С одной стороны, это было для меня удобством, с другой — голод был уже так силен, что я выедал свою крупу в первую половину месяца, а во вторую — довольствовался щами из серой капусты.

Вначале я ухитрился пробираться в столовую по два раза, но я не одинок был в этих попытках, и вскоре ввели талоны, которые раздавал мастер. Такой опыт с крупой привел к тому, что я, испытывая постоянное сосание и спазмы в желудке, научился точно так же, раньше сроков, «выедать» и хлеб. Пользуясь тем, что в буфете столовой было всегда полутемно, я научился переделять талоны: скажем, с двадцать пятого числа на пятнадцатое. И таким образом, последнюю декаду месяца оставался без хлеба!

Как я доживал до выдачи новых карточек, убей меня бог, не помню! Плохо, конечно, было, видимо, просто страдал и терпел, больше-то ничего не оставалось. Вот когда наступили ягодки настоящей голодухи! Ко всему прочему я подцепил где-то вшей и, что еще хуже, — чесотку. В моей промерзшей квартире ни одна вша или чесоточный клещ не выжили бы — стало быть, подцепил я их на заводе. Несколько раз, содрогаясь при одной даже мысли о том, чтобы идти домой, я ночевал на заводе в раздевалке. Я клал на цементный пол две подставки, на которых работали ребята у станков, под голову — пучок ветоши для обтирки станков. Было жестко, от пола веяло холодом, но казалось, что тут теплее, чем дома. Через два дня, отлежав бока (я здорово похудел, и кости выпирали отовсюду), мне казалось, что дома все же лучше — мягче и есть во что закутаться. А через какое-то время я снова оставался в раздевалке.

И вот я стал ощущать какой-то нестерпимый зуд, особенно в паху и в подмышках. Удержаться от того, чтобы не почесаться, не было сил, а потом вдруг обнаружили расчесы, красные полоски, затем они стали мокнуть. Сходил я к врачу, он прописал какую-то белесую вонючую мазь и посоветовал почаще ходить в баню.

Легко сказать! Ближние Крымские бани были повреждены бомбежкой, в более далеких, Кадашевских, как, впрочем, и во всех остальных, стояли огромные очереди. А когда стоять? Ясно было, что после смены уже не успеть. Пошел я снова к врачу, объяснил ситуацию, и он, ворча, что совершает нарушение, с таким диагнозом бюлеть не выдает, все же выписал мне его на один день. Каково же было мое отчаяние, когда, отстояв часа три в своих трусишках на морозе, я вошел наконец в тепло бани, получил кусочек мыла с половину спичечного коробка, а у самых дверей мыльного отделения вдруг нарвался на дежурного банщика. Увидев белый налет, оставшийся от мази на моем теле, он решительно и бесповоротно заступил мне путь:

— Чесоточным не положено!

И я с позором был изгнан из блаженного банного тепла! Хотели даже мыло отнять, но я его, конечно, не отдал.

Как же быть? Придя домой, я разломал деревянную дедову кровать, что стояла на кухне, затем — кухонный шкаф, предварительно тщательно осмотрев все полки, закоулки и щели. Под бумагой, которой было выстлано дно ящиков, я обнаружил несколько фасолин, горошин, с половиной чайной ложки каких-то крупинок и даже лавровой листик и несколько горошин черного перца — чем не супчик?

О том, чтобы нагреть ледяную печку таким количеством топлива, нечего было и думать, но можно было нагреть воды, сварить супчик и кое-как совершить омовение перед открытой дверцей печки, сидя на корточках.

В спину веяло ледяным холодом, но из дверцы печки шло тепло — только успевай поворачиваться и подставлять бока. Вот я помылся, похлебал замечательного супчика (не помню только, с хлебом или без) и лег спать почти счастливым.

Господи, как мало иногда надо человеку! Позже я вычитал у Спинозы определение понятия удовольствия: это переход от худшего состояния к лучшему. Отсюда вывод: чем хуже ваше состояние, тем больше будет удовольствие. Продолжая эту мысль, можно заключить: раз нет большего бедствия, чем война, стало быть, самые большие удовольствия мы испытали в те времена? Очень может быть!

Миновал пик морозов, дело шло к весне, пару раз довелось мне увидеть солнце в начале февраля. Но со мной начало твориться что-то странное — все чаще и чаще находила апатия, сонливость, слабость. Вся эта зима помнится мне только в двух состояниях — работа у станка да пребывание в холодной постели в ожидании, когда она наконец нагреется от моего тела. Но теперь, казалось, тело мое тоже начинало остывать и согреть постель становилось все труднее и труднее.

Тяжелее стало и стоять у станка. Если раньше усталость накапливалась только к концу смены, то теперь я чувствовал ее уже через час после начала работы. Иногда даже ноги начинало сводить судорогой, и я стал все чаще и чаще отлучаться в курилку, чтобы посидеть там. Курева у меня, как правило, не было, но можно было стрелнуть «сорок». И я перестал выполнять норму, а это было чревато плохими последствиями. За невыполнение нормы грозил суд, кого-то в другом цеху уже осудили — об этом гудел весь завод. Пока я ходил в учениках, норму не спрашивали, теперь у меня был третий разряд, и никаких поблажек не полагалось. Сначала я норму выполнял, но потом слабел все больше и больше, особенно к концу месяца, когда до срока «выедал» свою карточку. Я достиг немалого искусства в перedelке талонов на нужное число. Конечно, подделка талонов — преступление, это я понимал, но успокаивал себя тем, что ем-то я свою норму, никого не обьедаю.

И вот как-то, стоя у станка, я вдруг ощутил легкий звон в голове, потом окружающие предметы стали виднеться в каком-то радужном ореоле — таким мир видится через трехгранную призму, — а телу стало удивительно легко... Очнулся я на полу, мне брызгали в лицо водой, а я не понимал, что случилось. Это был первый голодный обморок, вскоре последовал второй. Когда случился третий, я, еще не открывая глаз, услышал:

— А везет парнишке! Все назад да назад падает...

Только позже, когда я снова встал к станку, до меня дошло: а что если бы я упал вперед? На станок с бешено вращающейся заготовкой и огненно-красной стружкой из-под резца? Скорее всего искалечил бы себе лицо, а то и вовсе без глаз остался!

И мне стало ясно — дохожу. Слово это уже вошло в быт — доходягами называли тех, кто слабел от голода, терял человеческий вид. У таких появлялся какой-то лихорадочный и нездоровый блеск в глазах. Не знаю, как выглядел я сам, — в зеркало человек себя, по сути дела, не видит, по-

тому что скован собственным взглядом, и выражение глаз ускользает. Но что дохожу — понял... Что же делать?

Видимо, первым делом — отдохнуть. Для этого надо было, выражаясь языком моего двора, «закосить» бюллетень. А как? Следовало посоветоваться с парнями во дворе, среди них были великие специалисты. Советов я получил множество. Например, можно было нагнать температуру, натерев подмышку солью, но некоторые врачи этот способ уже знали. Можно было поднять температуру простым напряжением мышц всего тела и задержкой дыхания. Поскольку градусник у меня был, мне продемонстрировали, как это делается, температура поднималась до тридцати семи и двух или трех десятых — для бюллетеня достаточно. Но это был бюллетень на два дня, правда, можно было и повторить, но все равно долгого освобождения это не давало.

Стало ясно, что надо уходить с завода, там я просто загнусь, а значит, бюллетень нужен длительный, чтобы в это время поискать другую работу. Знаток предлагали еще разбить палец молотком, срезать мясо с фаланги указательного пальца и даже с локтя. Шевеля локтем или пальцем, можно задерживать процесс застывания, но мне это не приглянулось. И я принял наиболее безболезненный и, как оказалось, самый эффективный способ. Купили в аптеке вату, бинты и три флакона нашатырного спирта. На сгибе кисти сделали повязку и мочили ее нашатырем не менее часа. После этого на коже образовался огромный волдырь, как будто от ожога кипятком. За таковой его и следовало выдавать в поликлинике, но прежде надо было отмыть самым тщательным образом руки от запаха нашатыря — иначе можно было угодить под суд за умышленное членовредительство. Не менее часа я отмывал руки. Мои эксперты принялись, наконец было решено, что я могу отправляться в поликлинику.

Хирург, наскоро глянув на огромный волдырь, разосривший уже до начала пальцев и заходивший далеко за кисть, велел сестре наложить повязку с какой-то мазью.

И вот, когда сестра слегка склонилась над рукой, она вдруг замерла и уставилась на меня недоверчивым и испытующим взглядом. Я похолодел! Я понял, что она уловила запах нашатыря, крепко пропитавший мою кожу. Может быть, даже этот волдырь был наполнен не чем иным, как тем же нашатырем. Сейчас меня разоблачат, а там — суд и тюрьма! Видимо, сестра все это прочла на моем лице, оценила и то, как я выглядел, — а лицо у меня тогда цветом напоминало росток из проросшей картофелины, глаза запали, и был я весьма худ. Жизнь

тогда в Москве была стабильней сегодняшней: одни и те же продавцы, кондукторы в трамваях или работники аптек работали на своих местах подолгу, и эта сестра знала меня в лицо уже несколько лет, так что ей было с чем сравнить мой нынешний вид. Она ничего не сказала, и я благодарен ей по сей день за молчание, иначе трудно предположить, как обернулась бы моя жизнь и судьба... Скорее всего скверно. Так, первый раз нарушив суровые законы военного времени, я избежал кары...

Наконец-то можно было отдохнуть от заводской лямки! Кормежка не улучшилась, даже наоборот, я лишился столовой, но зато сэкономил силы, и это было очень существенно. А потом и вовсе пришла весна, тепло, солнце, и мой организм научился разлагать солнечный свет и подпитываться за счет фотосинтеза. Заодно я научился извлекать из газированной воды с сиропом на сахарине жиры, белки и углеводы. Не верите? Но я же выжил! И другого объяснения этому факту у меня нет.

Хуже всего было то, что я не мог найти новую работу. А работа, как я понял, мне нужна только такая, чтобы хоть чуточку могла подкормить, иначе сдохну. Но попробуй найди такую!

Еще до войны я слышал: «Блат — выше Совнарком!» Ну, землячество, кумовство, связи — все это существовало в России издавна, но пышным цветом расцвело во время войны. И взяточничество. Уже во времена застоя я не раз вспоминал войну — снова наступило раздолье для торгашей! А тогда появилась горькая поговорка: «Кому война, а кому — хреновина одна» — и еще знаменитое: «Война все спишет!» Затрещали многие устои.

Я обходил столовые, хлебозаводы, магазины, пытаясь устроиться кем угодно — хоть посуду мыть! — и везде отказ. Ясно было, что берут только своих или за взятки — об этом говорили открыто. Я бы, может быть, и дал, да нечего было...

Рука моя заживала, бюллетень скоро должен был кончиться — надо было возвращаться на завод или... «Или» означало: уйти самовольно, за что меня должны были неминуемо судить. В конце апреля, когда истекли последние дни моего почти двухмесячного бюллетеня, пришел я получать карточки и увидел, что меня почти забыли. Сменился начальник цеха, новые люди сидели в отделе кадров, где выдавали карточки. Мне показалось, что подзабыли даже в цеху, куда я заглянул. Родилась отчаянная мысль: а может, и вправду забыли? Может, сойдет? Кому я вообще там нужен?

Больше я на завод не ходил. С июня сел на иждивенческую карточку и... снова начал

доходить. Уже не помогала ни газировка, ни фотосинтез. Голод не подчиняется законам арифметики, и триста граммов хлеба по иждивенческой карточке, которую я теперь получал, после шестисот не означает усиление голода в два раза. Он может усилиться и в четыре, и в десять раз, но может и прекратиться. Вместе с жизнью. Я начал понимать это.

На опустевшем за зиму колхозном рынке снова возникла жизнь — появились колхозники с зеленью и картошкой и даже молоком, но главное: какие-то бабы торговали хлебом, нарезанным на куски. На рынок потянулись и горожане со всяким скарбом — чего там только не продавали: носильные вещи, обувь, нитки, иголки, постельное белье, посуду, карандаши, примуса, керосинки и керосин в бутылках, инструменты. Словом, на рынок тащили все, что только можно найти в доме. Инвалидов в сорок втором году еще не помню — царство их я обнаружил в сорок четвертом. Но раз продают, значит, и покупают? И я потащил из дома все, что только было можно, — тарелки, вилки, кастрюльки, потом продал простыни, подушки, одеяло и тот самый знаменитый потник, который помог мне пережить зиму, — зачем мне потник, лето ведь!

Вакханалия продаж со страстной мечтой выручить хоть какие-нибудь гроши, чтобы купить кусок хлеба или банку варенца за двадцать пять рублей, продолжалась весь июнь. К началу июля продавать было уже нечего. Пробовал я тогда собирать и варить крапиву, ел ее без соли и масла. Однажды наелся до того, что вырвало. Искал грибы-шампиньоны, что в таком изобилии водились на зеленой планете моего детства. Но то ли конкуренты опережали меня, то ли грибы исчезли.

Надо ли напоминать, что я ухитрился опять выесть свою карточку до срока, и последняя декада становилась почти неразрешимой проблемой?

При систематическом голодании самое тягостное то, что невозможно наесться. Едва поел, как опять хочется есть. И мысли начинают ходить по замкнутому кругу: что бы продать, как бы изловчиться, что можно придумать? Мысли эти не помогало вышибить из головы даже старое испытанное средство — чтение.

А потом и вовсе наступил момент, когда строчки расплывались перед глазами, голова кружилась и начались обмороки. И даже мысль о смерти не очень пугала — наступала полная апатия.

И вот лежу я как-то на травке в своем опустевшем дворе — ребята кто в армии, кто

сидит, кто работает — греюсь на солнышке, экономлю силы. Дня три я уже ничего не ел. Помню, что к этому времени обувь моя развалилась вдребезги и я уже целый месяц шлепал босиком. И вдруг подходят ко мне мои старые довоенные товарищи — Левка и Лёдик. Левку я не видел почти всю зиму — он жил на казарменном положении на своем заводе, где-то на окраине Москвы, и дома не появлялся. К Лёдику я как-то забрел, он сам позвал меня к себе, но попал в неудачное время. Мать посадила его за стол и начала кормить, не подумав даже извиниться передо мной за то, что ничего не может предложить. Это было такое переносимое жлобство, что, высидев минут пять, я ушел, чтобы не возвращаться больше никогда.

И вот этот сытенький Лёдик начал как-то меня стыдить, что и ноги-то у меня грязные и в бане-то я, видно, не был месяца два (что было правдой). Я послал его куда хотел.

— Опускаешься!

— Тебе-то что? — огрызнулся я.

— Сдохнешь!

— Жалеть, что ли, будешь?

— Да как же тебе не стыдно! Посмотри на Левку, тоже один живет, ровесник, а рубашка чистая, где порвалось — зачищено. Ты посмотри на себя!

Смотреть на себя мне было не во что — зеркало я тоже загнал.

— А, иди ты!.. — снова огрызнулся я.

Лёдик обиделся и пошел. Левка, не сказавший при этом ни слова, двинулся за ним. Но вскоре вернулся, сел рядом, помолчал, выскреб из кармана остатки махорки и закурил. Курнув для приличия пару раз, протянул мне:

— Хочешь?

Я с жадностью затынулся раз, другой — голова закружилась, давно уже не курил — и закрыл глаза. Я услышал негромкий голос Левки:

— Ты сегодня ел?

Я отрицательно мотнул головой, не открывая глаз.

— А вчера?

Я снова мотнул головой, вдруг захотелось зареветь, но я сдержался.

— Пошли ко мне, — предложил Левка.

— Зачем?

— А просто так... У меня дома еще махорка есть.

Дома он первым делом вынул из стола три холодные вареные картофелины и кусок хлеба граммов на полтора.

— Рубай!

— А ты?

— Я уже сегодня ел.

Нет, если уж начинаются законы дружбы,

то я не мог ударить в грязь лицом.

— Только вместе!

— Ладно, — засмеялся Левка. — Вместе, но не поровну, договорились?

И он отдал мне две картофелины и большую часть хлеба. Потом поставил чайник и мы попили кипяточку с солью — хорошо! А Левка развивал свою благотворительную деятельность.

— Айда в баню!

— Да ну! — отнекивался я.

— Пошли, пошли! Хорошо будет! У тебя сменка есть?

Пришлось признаться, что все, что у меня есть, — на мне (остальное давно износилось или продано). Левка открыл комод и покопался там.

— Держи! — бросил он мне на колени трусы и майку.

Я пытался отнекиваться, но Левка заверил меня, что это не его, а остались от сожителя его матери, тот на фронте, и трусы ему в ближайшее время не понадобятся.

Сходили мы в баню — и это было прекрасно! Пока стояли в очереди, рассказал я ему, как прожил зиму, почему ушел с завода — об этом совсем на ухо, чтобы никто не слышал, — как искал место и не нашел того, что надо.

— А на «Красном Октябре» был? — загорелся Левка.

Я только рукой махнул. «Красный Октябрь» — это знаменитая кондитерская фабрика, бывшая «Эйнем» — и сейчас находится позади кинотеатра «Ударник» и Дома Правительства, на самой стрелке, где Москва-река разделяется на два рукава. Стрелка приходилась чуть наискосок против того места, где мой переулочек выходил на набережную. И вот почему-то мне всегда вспоминается алое закатное небо на той стороне Москвы-реки и время от времени долетающий от «Красного Октября» ароматный и прямо-таки волшебный запах шоколада. Изредка такой запах достигал даже нашего двора, и пацаны, задирая нос к небу, жадно нюхали этот волнующий запах и говорили:

— «Красный Октябрь» воняет!

Мыслимое ли дело устроиться на «Красный Октябрь»? Да это все равно что живым попасть в рай!

— А ты был? А ты пробовал? — наседали на меня Левка. — А сходи! Обязательно сходи!

Он был чуть меньше меня ростом, круглоголовый, лобастенький, с небольшими круглыми карими глазками и чем-то походил на жесткошерстного фокстерьера — наверное, своей отвагой и настырностью. Ах, Левка, Левка! Коротка была наша дружба и как-то пунктирна, то видимся чуть не каж-

дый день, то расстаемся на месяцы, а ведь спас ты меня, как, должно быть, спас и еще кого-то, на фронте. Только сам спастись не сумел...

Я пошел, совсем не веря в удачу, на «Красный Октябрь». Конечно, пустой номер, никто им не требовался. Но, когда я уже уходил, какая-то девчужка бросила вслед:

— Вообще-то лучше с утра приходиться...

Что значит — с утра? Оказывается, заявки из цехов поступают с утра, а тут уже люди ждут. Ага, так все-таки заявки поступают? И я стал ходить каждое утро, и однажды чуть не поступил — двоих взяли на моих глазах, я был третьим, но для меня места уже не было. Постепенно я выяснил, в чем дело.

Несмотря на все строгости законов военного времени — за три конфетки полагались те же два года, что, скажем, и за ящик, — люди не выдерживали искушения принести что-нибудь домой и потаскивали. И попадались — два-три человека в неделю. Тогда подавались заявки в отдел кадров. В первую очередь брали «своих». Что это значит? А очень просто — рекомендация старого работника давала администрации надежду, что несунув будет меньше.

И я стал ходить каждое утро, как на работу, в отдел кадров. Он открывался в девять, я старался, памятуя тот случай, когда мне не хватило места, приходиться к восьми, а то и пораньше, чтобы быть первым. Меня уже знали, девчужка и пожилая женщина улыбались как старому знакомому, во мне ожила уверенность, что рано или поздно я попаду. Вот только бы дожить...

Наверное, это был самый крутой месяц моего существования — июль сорок второго. Даже апатия прошла! Я был свято уверен, что, если только попаду на фабрику, все будет в порядке. Только дотянуть бы до счастливого дня.

Я настраивал себя на месяц ожидания, дал себе слово не выедать карточку раньше времени, но меня хватило только на первые десять дней. Голод — это разновидность безумия, невозможно не думать о еде, когда есть хочется даже во сне. Я думаю, что детство мое кончилось к этому времени, но ведь и взрослость еще не наступила, не хватало моей душе силы и воли зрелого человека, чтобы выдерживать данное слово. Я так ловко научился срезать бритвенным лезвием цифру «два» на карточке и рисовать вместо нее единицу! Таким образом можно было двенадцатого получить еще триста граммов за двадцатое второе, тринадцатого — за двадцатое третье.

К двадцатому числу, как это уже не раз

бывало, карточка кончилась! Ну оставались еще какие-то талоны на крупу, сахар, жиры (жалко, что не помню точно, но это был мизер — граммов четыреста крупы, сто пятьдесят сахара — что-то в этом роде). Их я выменял на рынке на хлеб, хватило на двадцатое и двадцатое первое. После этого два дня постился. Продать нечего.

Хотя стоп! Есть же у меня керосинка, а керосина нет и варить нечего — зачем она мне? Понимал, что обрекаю себя впредь на невозможность приготовить что-нибудь или воду вскипятить... Ага, а ведь есть еще и чайник! Зачем он мне, если керосинки не будет? А воды в водопроводе, слава богу, предостаточно. Загнал я на рынке и керосинку, и чайник — не помню за сколько, но двадцать четвертого июня я поел последний раз. Этот день я помню хорошо, как и тридцатое первое июля — самый трудный для меня день, когда я несколько раз свалился в обморок.

Дни тянулись долго и мучительно. Ну, сбегаю утром в отдел кадров, услышу: «Сегодня нет ничего, завтра приходи», а дальше что? Весь день свободен, весь день проходит в напряженных умственных усилиях, как бы извернуться и раздобыть чего-нибудь поесть.

И вот, когда я брел однажды проходными дворами к своему дому — во время войны разломали все заборы не только на дрова, но и с целью более свободных подходов на случай пожаров, так что множество дворов стали проходными, — я нос к носу столкнулся со своим мастером с завода «ВАРЗ».

— Метальников? — удивился он. — А ты что тут? Ты как? Почему не на работе?

Сосредоточенный на поступлении на «Красный Октябрь» и измученный поисками пропитания, я уже и думать забыл про «ВАРЗ», решил, что все обошлось, и вот — на тебе! — встреча.

— Я бюллетенил долго, — промямлил я.

— Ну помню, рука у тебя была ошпарена, а сейчас-то все прошло? — ястребиные жесткие глазки его обшаривали меня с ног до головы. — Выходит, ты самовольно с завода сорвался! — заключил мастер. — А знаешь, что за это полагается?

Увы, я это знал, но ответить мне было нечего, и призрак суда и тюрьмы встал передо мной со всей неотвратимостью.

— Доходил я на заводе, — пробормотал я, пытаюсь вызвать жалость. — Помните, как ночевал в раздевалке? В обморок сколько раз падал...

Взгляд его смягчился, видимо, вспомнил, да и вид у меня, конечно, был жалкий.

— Ну хорошо, все равно надо же где-то работать, карточку получать...

— Я хочу на «Красный Октябрь» устроиться.

Это была ошибка! Взгляд его снова за-твердел.

— Шоколад жрать хочешь?

— При чем тут шоколад, там разные цеха... Куда удастся...

— А если все так побегут по хлебным местам, кто на оборону работать будет?

Что мне было ответить? Я молчал. Долго. И вдруг услышал ошеломившее:

— Пятьсот рублей! И я тебя не видел. Иначе напишу рапорт.

С ума сойти! Да я бы десять тысяч отдал, если бы было...

— Пойдемте,— сказал я.

— Куда?

— Ко мне домой. Тут рядом. Денег у меня нет, но отдам все, что захотите...

Он пошел за мной. Я привел его к себе в комнату.

— Вот все, что у меня есть. Забирайте.

Ему одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что тут не поживишься.

— Смеешься? — обозлился мастер.

— А вы? Откуда у меня деньги? Хожу еле живой...

Он выматерился и выскочил из комнаты. А я стал ждать, что будет. Настучит или не настучит? Не настучал. Так кто же это был? Сукин сын? Добрый человек? Недаром сказано: законы российские суровы и жестоки, и только ее нерадивые чиновники дают какой-то продых, какую-то возможность к существованию. Проглядели заводские канцеляристы в своих сводках и рапортах мое тихое исчезновение из цеха «ВАРЗа», пощадил мой мастер, и вот я опять избежал тюрьги...

А двадцать шестого июля — о, благословенный день! — я, как всегда, занял очередь первым в отделе кадров, и, когда вошел, меня встретили такие улыбки знакомых женщин, что сердце дрогнуло — неужели?

На столе я увидел бумажку, на которой было написано: «В отдел кадров. Оформить двух подсоб. раб. в шок. цех — I. В ирис. — I».

— Ну, куда хочешь? — с улыбкой спросила пожилая кадровичка. — В шоколадный или ирисный?

— В шоколадный! — выдохнул я.

Она написала мне направление в медчасть на осмотр.

...Пожилая врачиха — довольно полная, что по тем временам уже было редкостью, — долго выслушивала и выстукивала мою грудную клетку и удовлетворенно сказала:

— Тош, но, слава богу, здоров. — И стала заполнять карточку.

Не успел я надеть рубашку, как вошла вторая врачиха, помоложе, и, заглянув в мое направление, удивилась:

— Куда же его в подсобные — не справится. Знаю я это место...

Сердце мое ухнуло, и я, кажется, физически ощутил, что означает выражение «душа ушла в пятки». Неужели не примут?! — Почему не справлюсь? Справлюсь! — заверил я.

— Там сила нужна, а у тебя одна кожа да кости.

Что правда, то правда — и ребра мои, и ключицы, и все позвонки выпирали из меня как пустые бутылки из авоськи.

— Ты до этого кем работал? — спросила первая врачиха.

— Токарем, электромонтером...

— Ну вот, — будто обрадовалась вторая. — А на этом участке до тридцати и больше тонн товара проходит за смену. Сорвешь сердце — инвалидом станешь.

Так я впервые услышал, что товаром на «Красном Октябре» называют шоколад и конфеты. Господи, неужели не подпустят меня к этому благословенному товару? Неужели врата рая закроются передо мной в самый последний момент?

Видимо, отчаяние так отчетливо проступило на моем лице, что первая врачиха сказала примирительно:

— Давай дадим месяц испытательного срока, а там вызовем и осмотрим. Я и сама вижу, что парнишка истощен. Да где же вы сейчас упитанных возьмете?

— Ну, как хотите! — дернула плечиком вторая и, захватив какую-то бумагу, ушла.

— Ничего, если анализы будут в порядке, я думаю, ты за этот месяц немножко поправишься, — успокоительно сказала пожилая врачиха и стала писать направление на анализ.

О, черт! Что это еще за анализы? Оказалось — на бактериюносительство. Такие анализы полагалось сдавать всем поступающим на пищевые предприятия.

Врачиха объяснила мне, где находится лаборатория, предупредила, что она сейчас одна на всю Москву, народу собирается много, и лучше мне пройти ее как можно скорее — место мое горячее, его могут занять в силу производственной необходимости.

Помня наставление врачихи, я не стал дожидаться открытия метро, а в пять утра сел на трамвай и приехал на Таганку. Где-то в одном из ее переулков находилась бактериологическая лаборатория.

К моему ужасу, я увидел двор, полный народа — человек полтора. Я занял очередь (и тут писали, конечно, номерок на ладошке) и оказался где-то в конце шестнадцатой десятки. Но, узнав, что в день принимают не менее двухсот человек, успокоился.

180

Было довольно теплое утро. Двор, окруженный двухэтажными желтыми флигельками, точь-в-точь как у меня во дворе, наполнился людьми. Они сидели на лавках, на траве, толклись возле дверей лаборатории. В семь утра двери распахнулись и запустили десять человек. Сначала очередь текла довольно быстро, потом стала замедляться. Прием заканчивался в двенадцать. В одиннадцать я начал беспокоиться, а вдруг не успею. Я уже знал, что анализы выдаются на следующий день после трех, а в четыре закрывается отдел кадров, можно и не успеть.

Но вот где-то в половине двенадцатого запустили и меня. Женщина в окошке взяла мое направление, написала мою фамилию на обыкновенной пол-литровой стеклянной банке. Я понял, что это для анализа.

Другая женщина дала полстакана бесцветной жидкости — раствор английской соли. Я выпил горько-соленую жидкость — это был мой первый завтрак за последние три дня — и стал ждать результатов. Честно говоря, я уже забыл, когда такой «результат» был, — дело-то происходило в конце месяца, в самое голодное время. Походив минут сорок, я понял, что надо повторить дозу. Повторил, и сестра поставила на моей банке второй крестик. В кишках попискивало, бурлило, спазмы скручивали их в узлы — но «результатов» не было.

И я испугался, а что если их и не будет! С чего бы им быть, если я уже три дня не ел? Вот тогда я струхнул не на шутку — неужели все насмарку? Неужели моя заветная мечта не осуществится? Отчаяние мое нарастало — вот-вот закроют окошечко, в котором принимают анализы, а мой организм упорно сопротивлялся действию слабительного — видимо, не торопился расставаться с чем бы то ни было, что попадало в него, стараясь все переварить на пользу.

Я попросил еще английской соли, но сестра отказала — не положено, отравиться можно.

Суровость нашей жизни всегда объяснялась не только строгостью начальства, но и непреклонностью некоторых исполнителей на самых разных уровнях — уборщиц, продавцов, швейцаров и тех, чье лицо торчит в каком-нибудь окошечке. С какой сладострастной твердостью они отвечают: не положено, нельзя, не пушу, не дам! Отойдите, гражданин!

Все это ясно читалось на физиономии сестры, ведающей раздачей слабительного, — она не примет никаких просьб, доводов и даже мольбы. Она на государственном посту и не позволит какому-то хмырью получить лишнюю ложку государственного слабительного.

Но что такое? Кажется, она уходит? И в самом деле, она поручила какой-то молоденькой санитарке собрать и унести все пустые и полные стаканы. Я бросился к санитарке, собиравшей на поднос стаканы.

— Миленькая, погоди, дай мне, пожалуйста, еще порцию! Не действует!

Санитарка с сомнением поглядела на меня.

— А сколько вы уже выпили?

— Ну какая разница? Не действует, ну пожалуйста!

Видя, что она колеблется, я взял стакан.

— Спасибо! — и тут же осушил.

— Было бы за что! — усмехнулось прелестное создание.

Ура? Победа? Я ходил и прислушивался к своему организму, но он, проклятый, молчал. Как будто я выпил три порции газировки! Господи, за что? А последние посетители с торжествующим видом шли мимо меня к заветному окошечку и сдавали такие обильные «результаты», что меня зависть брала. Вдруг мелькнула сумасшедшая мысль — попросить кого-нибудь поделиться. Ведь меня предупредили, чтобы не задерживался, место горячее, займут как пить дать! Нет, в самом деле, неужели кто-нибудь откажет мне поделиться таким добром? Да-а, а вдруг этот самый добрый человек и окажется бациллоносителем? Ведь война же, многие питаются черт знает чем, санитария и гигиена в упадке. С какой стати отвечать за чужие грехи? Почему-то я был уверен, что абсолютно стерилен — никакие микробы или глисты в моем жаждущем пищи организме не способны удержаться, он же просто-напросто переварит их!

Но вот — о радость! — я ощутил какое-то движение внутри себя и побежал в туалет. Только что же это было — столовая ложка какой-то мутной жидкости и более ничего! Я понял, что просто-напросто совершенно пуст внутри, что кишечник мой, как водопроводная труба, донес до конца остатки раствора английской соли, более в нем ничего не было. Я понимал, что мой «результат» не примут, так оно и оказалось.

— Приходи завтра, я тебя без очереди приму, — сказала сестра, посочувствовав моему горю. — И постарайся поесть что-нибудь овощное...

Ох, мед бы пить ее устами!

Всю вторую половину дня я провел в бешеных поисках денег, еды, товарищей, у которых мог бы попросить взаймы. Но никого не нашел — ни Левки, ни Толи Шумилина, ни Игоря, который уже служил в армии.

В те голодные военные годы у меня выработался своего рода комплекс — я мог попросить помощи только там, где была надежда, что мне не откажут. Отказ — унизи-

телен, отказ — поражение, отказ — это выражение твоей неполноценности перед тем, у кого просишь. И это закрепилось во мне на всю жизнь — гордость голодного человека. До сытой жизни предстояло прожить довольно много лет, и мне не раз еще приходилось просить взаимы, но я всегда обращался только к тем людям, в которых был уверен: если есть у человека возможность, он не откажет...

В тот печальный день такого человека я не нашел. К вечеру я уже еле таскал ноги, голова кружилась, и мне пришлось отказаться от последней надежды — украсть буханку хлеба.

Идея эта зародилась во мне уже давно, и я ее не раз обмозговывал. Заключалась она в том, чтобы, проходя мимо булочной в момент, когда идет разгрузка хлеба, просто схватить пару буханок и бежать. Весь фокус, как я думал, состоял в том, чтобы грузчик не увидел, что я взял две буханки. Вскоре я бросил бы одну буханку, и преследователю ничего не оставалось, как поднять буханку — иначе ее поднял бы кто-нибудь другой, — а не продолжать погоню.

Сколько раз, проходя мимо булочной в момент разгрузки свежего хлеба и жадно вдыхая его умопомрачительный запах, я явственно видел, как это происходит: как поднимает грузчик брошенную мною буханку, потом раздумывает — продолжать ли преследование или удовлетвориться возвращением украденного и... возвращается. Да, план был великолепен. Но в этот день я отчетливо понял: у меня нет сил, чтобы его выполнить. Не убежать мне от грузчика!

Что же делать? И тут я подумал: а какая, собственно, разница, что поместить в желудок? Главное — результат, ведь не качество пищи они будут исследовать, а искать бактерии дизентерии и яйца глистов. Значит, можно наглотаться хоть опилок! Но где их взять?

Стоп! А известка? В детстве, и даже совсем недалеко, мне нравился вкус мела и известки, которой был оштукатурен наш дом. Ребята в школе и во дворе, обнаружив мое пристрастие, дразнили меня.

Что ж, я пошел во двор и отковырнул в местах, где известка уже осыпалась сама по себе, несколько кусков. Так, уже есть что-то на ужин... Тут же пришло в голову и второе блюдо — листья липы. Они ведь такие вкусные, когда молоденькие! Ну, понятно, сейчас они более жесткие и не такие вкусные, но не время привередничать. Вполне сойдет за «что-нибудь овощное». Сломал я несколько веток и вернулся в дом.

С чего же начать свой ужин? Попробовал известку — увы, не то! Очень даже не то! Но — надо есть, и я съел несколько

кусочков, пока мне не попался кусок, видимо, не до конца погашенной известки. Такое бывало и в детстве — вдруг зажжет невыносимо во рту и сразу же отбивает желание продолжать. Так случилось и в этот раз.

Долго полоскал я рот водой, пытаюсь избавиться от едкого вкуса известки. Потом приступил ко второму блюду, предварительно ополоснув горсть листьев под краном.

Вот когда я пожалел, что нет у меня больше ни керосинки, ни чайника — если бы сварить листья, наверняка они были бы и помягче, и горечи поменьше. Хорошо бы, конечно, их и посолить. Но соли не было...

Давясь, я кое-как съел горсть, пошел обыл вторую порцию и вдруг почувствовал — больше не смогу, вот-вот вырвет! Но не дай бог этому случиться, все усилия насмарку. Отдохнул. Попытался продолжить — и тут же подавил рвотный позыв.

Да что же это мне так не везет? Неужели не судьба мне сдать этот проклятый анализ? Потом я сообразил, что можно съесть что-то такое, что не имеет вкуса. А что бы это могло быть? Да бумага же, как это я раньше не догадался! Сколько раз я читал, как различные герои литературы отважно ели важные документы! Вот герой «Пакета» Ленька Пантелеев целый пакет проглотил! Чем я хуже?

Намочил я старую «Вечерку», вырвав из нее пару фотографий и заголовки (понимал, что типографская свинцовая краска вредна), и принялся жевать. Уж я ее жевал-жевал... жевал-жевал... Господи, как я ее жевал! А она не жевалась.

Проглотил кое-как. И снова начал жевать. Но оказалось, что и бумага имеет вкус, и довольно препротивный, какой-то химический. И вкус этот все нарастал, нарастал и становился невыносимым. Ну ладно, как-никак, а ужин из трех блюд у меня состоялся. (Эх, вот такие ужины — самый раз отдавать врагам! — мысль, конечно, сегодняшняя, но все же...)

Спать я лег с чувством человека, который сделал все, что мог, для своего спасения.

Проснулся я, как, наверное, и все жители моего дома, и переулка, и Москвы, и всей страны, под звуки песни «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!». Радио в дни войны редко кто выключал. До настоящего боя еще время не дошло, сегодня мне надо было выиграть мой маленький бой сугубо личного значения — что-то предъявить в баночке для анализа.

И опять было ясное утро и толпа во дворе. Не без труда я пробился сквозь нее — у нас ведь не любят объяснений,

почему человек имеет право пройти без очереди! — и вот я у заветного окошка. Сестра узнала меня.

— Поел?

— Немного. Поэтому, пожалуйста, дайте мне сразу двойную порцию.

Ура! Дала полный стакан!

Опять в кишках бурлило, скрипело, крутило, но безрезультатно. Окаянный мой организм снова воспринял, должно быть, эту английскую соль, как какао на завтрак.

...Какими словами описать мне то, что по-научному называется дефекацией? Это элементарнейшее дело потребовало от меня такого терпения, напряжения, мук, стойкости и труда, что их вполне хватило бы на подвиг. Но если ты спасаешь только самого себя, то подвигом это назвать никак нельзя. Тогда я скажу так и, наверное, лучше всего меня поймут женщины — я родил, именно родил, в крови и муках, свою дальнейшую судьбу! Но то, что я родил, больше всего напоминало грецкий орех среднего размера, чуть ли не со звоном упавший на дно моей баночки.

— Мало! — сказала сестра в окошке, когда я подал ей банку. — Не приму!

Я почувствовал себя так, как будто мне объявили смертный приговор. Только тем, что я был молод и действительно здоров, можно объяснить то, что сердце мое выдержало этот удар. Сегодня я такого, наверное, не пережил бы. Самое печальное, что, пока я тужился снести свое яичко, сменилась та утренняя, доброжелательно настроенная ко мне сестра, а вместо нее оказалась та, что вчера вечером отказала мне в третьей порции слабительного. На ее физиономии была написана такая непреклонность, что, казалось, дай ей волю — она будет стоять возле каждого в туалете, дабы, не дай бог, не совершилось какой-нибудь подмены одного дерьма другим. А куда делась прежняя сестра?

Я понял, что мой последний шанс — разыскать ее и обратиться к ней — если не она, то уже никто мне не поможет. И я разыскал ее! Я объяснил ей мою ситуацию, не помню уже какими словами, но она поняла меня, взяла мой скромный «результат», и на следующий день я получил справку, что я чист, как... кастрюлька, в которой давно ничего не варили.

Я и тогда горячо благодарил ее, и теперь. Сорок с лишним лет вспоминаю ее с самым светлым чувством как свою спасительницу. Много может сделать обыкновенная человеческая доброжелательность! И как ее не хватает сегодня...

2. В раю

Участок, на который меня определили, занимал половину четвертого этажа — здесь производилась начинка для шоколадных конфет. Процесс заключался в следующем: сначала варился сахарный сироп, потом в него добавлялось какао и мука — все это перемешивалось в большом миксере емкостью килограммов в триста пятьдесят. Затем масса вываливалась в сундук на колесиках, который — и это была уже моя обязанность — подвозился к весам, а после взвешивания подавался к машинам. Там масса обваливалась в сахарной пудре и разминалась на лепешки, которые выкладывались на фанерные противни. Противни ставились на решетки, напоминавшие этажерки. Я должен был отвезти эти этажерки в сторону, там масса слегка подсыхала, а потом я подавал ее к резальным машинам, где лепешки нарезались на дольки, и после этого отвозил решетки к лифту.

Вот это оказалось самым трудным! Подать три или четыре решетки на лифт! Тут была необходима не только сила, но и ловкость и глазомер. Решетки были не одинаковых размеров. Непросто было с разбегу вогнать решетку через порожек лифта и точно поставить так, чтобы рядом поместилась еще и вторая. Двери лифта были таковы, что зазор между решеткой и стенками оказывался что-то сантиметров в десять. Естественно, что с первыми же решетками я намучился. Сначала я застрял на порожке лифта, где был подъем. Въехать можно было только с разгону. Лифтер — пожилая женщина — помогла мне толкнуть тележку в лифт. Со второй решеткой я немного разогнался, но зацепил за дверь, и с десятков лепешек полетели на землю. Лифтер бросила на меня гневный взгляд, но смолчала. Когда же это повторилось, начала ворчать, а на третий раз и вовсе разоралась и позвала женщин в свидетели — вот что получается, когда нанимают на работу всяких неумех!

Женщины отреагировали по-разному. Кто с пониманием: новичок, что с него взять? Другие с раздражением — это ведь их заработок летел в санитарный брак. (Свидетельствую: даже в трудные дни войны санитария на «Красном Октябре» была на высоком уровне. Все, что падало на пол, выложенный металлическими или керамическими плитками, — его, кстати, мыли раза четыре в день — неуклонно шло в санитарный брак, который потом переваривался в котлах.)

К концу дня я, несмотря на смертельную усталость (смена-то двенадцать часов), кое-как наловчился ставить решетки на лифт. Хуже было: другое — я обьелся! Сначала

я протягивал робкую ручонку в сундук с массой и отправлял украдкой небольшой комочек в рот, замирая от доступности и наслаждения. Вкуснота!

Но вот Мишка Носов — паренек моих лет, работавший на миксере, — увидел это и ахнул:

— Ты что делаешь?

Рыженький, курносый, с конопушками, он смотрел на меня с таким изумлением, что я смутился:

— Я думал, можно...

— Да это же жрать нельзя! — воскликнул Мишка. — Тебе что — шоколаду мало?

— А... где же он?

— На втором этаже! Иди и возьми сколько надо...

— Как это?

— Да очень просто — бери сколько хочешь и жри!

Тогда это действительно было просто, через полгода на втором этаже поставили контролеров, которые не пускали посторонних. Но я все-таки застенялся пойти сам. Тогда Мишка сбегал и притащил мне плиток шесть.

— Рубай!

И я срубал. Но я слишком долго голодал, поэтому не остановился на этом и нет-нет да и запускал руку в сундук с массой. И она тоже казалась мне необычайно вкусной даже после шоколада. Но во второй половине смены я уже не мог смотреть на нее, а когда выезжал на площадку к лифту, от густого запаха шоколада, поднимающегося с нижних этажей, меня подташнивало и кружилась голова. Это было обыкновенное отравление шоколадом. Мера нужна во всем, но голодный человек меры не знает.

Домой я вернулся, как пьяный, голова кружилась так, что меня пошатывало. Я рухнул на свое ложе и мгновенно заснул. А среди ночи меня стало рвать — невыносимо, мучительно, потому что рвать-то было нечем: шоколад и сахар всосались в кровь, и желудок был хоть и сыт, но пуст.

На следующий день едва я вошел в цех и окунулся в шоколадный запах, как меня снова замутило. В этот день я был не в состоянии съесть ничего, кроме хлеба с солью — благо я уже получил карточку. Через несколько дней все вошло в норму, и массу я не ел больше никогда! Но плитки три шоколада в день съедал регулярно, причем, как распоследний зажавшийся сукин сын, быстренько научился разбираться в сортах и от какого-нибудь «Ванильного», самого дешевого, воротил морду, а жрал только «Золотой ярлык» или «Гвардейский».

Так началась сказочная жизнь на «Крас-

ном Октябре». Голод остался позади. Моим любимым блюдом стал хлеб с солью или с селедкой, которую я охотно брал по мясным талонам. Теперь ничто не принуждало меня выесть карточку раньше времени. Я довольно быстро оклемался от голодухи. Когда через месяц меня вызвали в медчасть для осмотра, та самая пожилая врачиха, что благоволила ко мне, весело ущипнула меня за живот и довольно рассмеялась:

— Смтрите-ка! Уже и жирок завязался!

Ну, жирок не жирок, а истощенным я уже не был. Первые две недели я, конечно, уставал на работе зверски, приходил домой без ног и валился спать. Потом освоился, втянулся и уже лихо расправлялся с решетками, со всего маху вгоняя их в лифт.

Цех наш, как, впрочем, почти вся фабрика, был женский. На моем участке работали только трое мужчин: Мишка Носов, его напарник — хмуроватый пожилой мужик — да я. Женщины посматривали на нас очень благосклонно, иногда заигрывали, особенно те, что помоложе.

Игривые взгляды девчонок начинали волновать меня — ведь мне только что исполнилось семнадцать. И вот, как сказал поэт, «пора пришла», и я влюбился.

...Я вспомнил об этом не для того, чтобы рассказать о любви и страданиях. Мне кажется, что именно состояние влюбленности привело меня к большому открытию совсем в другой сфере.

Мгновение этого счастливого озарения я помню во всех подробностях. Дело было во второй смене, часов около десяти. Цех остановился из-за нехватки электроэнергии — это случалось нередко.

Женщины ушли подремать, завалился спать Мишка Носов. И вдруг мне почему-то стало жалко себя. Постепенно эта жалость и печаль стали распространяться дальше моей собственной персоны — я стал думать о женщинах, работавших вместе со мной в цехе, двое из них на днях получили похоронки и ходили с заплаканными лицами. Одной даже стало плохо во время работы. Потом я вспомнил опустевший двор, соседей, даже вредную мою соседку Нину Алексеевну, превратившуюся из толстухи чуть ли не в стройную девочку и все еще не вылезавшую из убежища. Вспомнил, что немцы прорвались уже до Волги и штурмуют Сталинград. Вдруг я ощутил свою бесконечную малость в этом бушующем мире, который оплакивает сам себя и все живое на земле.

И в этот момент я услышал музыку. Услышал так, как никогда, — я был словно внутри этой музыки, а может, был частью ее. Тогда я еще не знал, что это за музыка. Потом голос диктора сказал: «Мы передавали танцы из балета Чайковского «Щелкунчик».

Сколько лет прошло с той поры, но каждый раз, когда я слышу медленные томительные звуки «Арабского танца», я вспоминаю себя, изумленного, потрясенного и очарованного этими звуками и видом умолкнувшего цеха, освещенного только полной луной из окон. В лунном свете словно преобразилось все вокруг — странно выглядели и колонны, и машины, и решетки с товаром. Ярко блестели металлические плиты, отражая лунные блики, и тишина вокруг, только летится и летится медленная томительная музыка, куда-то зовет, что-то обещает, рассказывает о чем-то таком прекрасном, чего на свете, может быть, и нет, но обязательно надо искать это.

Вот так, влюбленный и отвергнутый, я приоткрыл для себя мир классической музыки. И почему-то уверен — не случись со мной этой скоротечной несчастной любви, я бы долго еще оставался глухим к музыкальной классике.

Другой музыкальный номер, как бы разом ворвавшийся в мою душу и взбредивший ее, я услышал вскоре на улице из открытого окна. Я даже остановился, дослушал его до конца и услышал: «Мы передавали «Полонез Огинского». Так я запомнил и полюбил его навсегда.

Через несколько дней я здорово простыл и заболел. Шел конец октября, было уже холодно, а я выскочил из цеха в комбинезоне, надетом на голое тело, и довольно долго простоял на ветру, гуляющем меж цехов. Мне нужно было произвести товарообмен с одним парнишкой из ирисного цеха. Там, кроме конфет, делали концентраты из пшена или гречки для армии, и мы регулярно менялись во время обеденного перерыва — плитка шоколада в обмен на пачку концентрата.

Кстати сказать, эти концентраты, которые мы регулярно варили себе на обед, вполне избавляли меня от необходимости пользоваться продовольственной карточкой, и я, загоняя ее на рынке, смог купить себе хоть и поношенные, но вполне еще приличные штаны, телогрейку и какие-то ботинки взамен вдрызг развалившихся. Кроме того, мы часто пекли и лепешки из муки — словом, я жил в полосе сравнительно сытой жизни. Сравнительно не только с другими, но и с тем аппетитом, который у каждого изголодавшегося человека всегда превышает потребности.

Итак, я проболел дней пять, провел их в восхитительном безделье и... в наслаждении музыкой, постоянно передающейся по радио. Даже чтение отступило на второй план перед этим неожиданно открывшимся мне миром. Но это была лишь первая ступень приобщения к классике — отдельные но-

мера, арии из опер, романсы... До настоящей симфонической музыки я дозрел значительно позже.

Когда я вышел на работу, произошло маленькое ЧП, после которого мне пришлось распрощаться с шоколадным цехом. Я пришел на фабрику до начала своей ночной смены, чтобы сдать бюллетень в контору. От нечего делать я зашел в соседнее отделение на том же четвертом этаже, где производилась обжарка какао-бобов, арахиса и, в редких случаях, миндаля, который шел в начинку «Мишки косолопаго» — это случалось так редко, что за полгода моей работы на фабрике я только два раза видел процесс приготовления «Мишек» (и конечно же, изрядно погужевался!).

Разговаривая со знакомыми ребятами, я рассеянно нагнулся и взял несколько зернышек горячего арахиса, только что высыпаемого в сундук из обжарочного барабана. Я бы взял и горсть, и карман набил бы, но уж больно он был горячий. И вдруг на меня с криком и матом налетел какой-то мужичок и стал гнать из цеха. Я пытался ему объяснить, что я тут не совсем посторонний, работаю в соседнем отделении, но он зашелся в крике и стал пихать меня в грудь. После детдома я уже никому не позволял со мной так обращаться и в ответ тоже толкнул его. Как на грех позади него оказался сундук с арахисом, и мужичок завалился в него. Горячие зерна арахиса засыпались ему за воротник, в рукава халата, который, как и у всех, был надет на голое тело. Я невольно засмеялся, а мужичок рассвирепел и бросился на меня с кулаками. Естественно, я ответил, но тут ребята нас растащили — мужичок оказался мастером, и драку между нами они не могли допустить.

На следующий день меня известили, что приказом начальника цеха за драку с мастером на чужом участке меня на три месяца переводят в грузчики. Кто-то перевернул страницу моей жизни.

Мешок какао-бобов весит шестьдесят килограммов, муки — девяносто, самый тяжелый груз — сахарный песок. Мешок тянет сто четыре — сто пять килограммов, в зависимости от влажности. Какао-бобы я освоил быстро, тяжелее давались мешки с мукой. Когда же на меня навалили мешок с сахаром, колени мои через несколько шагов подогнулись и, чтобы не быть раздавленным, я свалил его на пол. Мешок треснул, белой струей хлынул из него песок... Крик, мат...

— Пошел выставляться! — буркнул мне Петрович, наш старшой, мужик лет сорока с черной кудрявой бородой.

Борода у нестарых людей тогда была редкостью и неизменно вызывала удивление — зачем? Петрович отсмеивался: «У меня вся сила в бороде!»

Выставлять — значило вдвоем подтаскивать мешок к краю складского стенда или машины, чтобы потом взвалить на плечи грузчика. Протащить так десяток-другой мешков, и руки просто отсыхают. За три месяца сытого существования в шоколадном цеху я не только поправился, но и окреп. Врачиха сказала правду: выработка на участке доходила до тридцати и более тонн товара. И все эти тонны трижды проходили через мои руки — от миксера к резальным машинам, потом от машин на подсушку и затем в лифт. Но там я пользовался тележкой, мешки же приходилось ворочать руками.

Петрович слегка подучал меня, главный секрет был прост: надо было наловчиться устанавливать мешок на спине так, чтобы он не тянул тебя ни назад, ни в стороны, ни пригибал бы к земле. Выставляющие этого не могут определить, тут ты должен приноровиться к мешку сам. Это дается только опытом. Кажется, я не был бездарным учеником и через неделю таскал наравне со всеми. Правда, мне больше нравилось таскать, чем выставлять...

Петрович, когда бывал в добром настроении духа, устраивал спектакль — носил по три мешка муки сразу. По одному брал на каждое плечо, а третий ложился поверх как связка. С сахаром такое не получалось — мешки были покорооче и потолще, их было невозможно удерживать на плече.

После того как я научился справляться с мешками, мне даже стало нравиться в грузчиках. Хоть и наломаешься на погрузке машины, но пока едешь, а дорога занимала почти два часа, вполне можно и отдохнуть. К тому же большинство складов работало до шести, так что и наш рабочий день здесь был короче. Но больше всего мне, пожалуй, понравилось то, что на складах можно было кое-чем разжиться — то сахаром, то мукой, то пшеном... Грузчики обычно набивали этими продуктами две — три рукавицы и прятали их среди мешков. Однажды я таким образом приволок две рукавицы с песком моей сестре.

— Вот, отдай Валентине Селиверстовне. Хоть и не то, но все же...

— Где взял? — Лида уставилась на меня строгими, нестерпимыми глазами. Было у нее такое особое выражение, когда она сердилась.

— Купил! — засмеялся я.

— За сколько?

— Два огляда, третий — хап! — ответил я популярной в нашем дворе поговоркой.

— Украл? — ахнула она, и взгляд ее стал еще нестерпимее.

— А ты Пепе помнишь? Когда от многого берут немножко, то это не воровство, а просто дележка.

Не сразу моя строгая сестричка сменила гнев на милость. Больше всего ее отвлек от моего предосудительного поведения рассказ о «Красном Октябре» и шоколадном цехе.

— И можно есть сколько хочешь? — все еще сомневалась она.

— Сколько влезет! От пуза! А знаешь, как мы чай пьем? Чтобы два раза не ходить, зачерпнешь пол-кружки сахара, а потом просто доливаешь кипятком.

Это была правда, так мы и пили чай или кофе, когда я работал в цеху. Другое дело, что сейчас я там не работал и войти в цех стало не просто — у входа поставили вахтера, но ведь я надеялся вернуться.

Я предложил попить чая, решив, что половину сахара следует оставить сестре, а потом я еще принесу. Боже, как стушевдалась, как засмушалась моя бедная сестренка!

— Но у меня ничего нет... Я выбрала хлеб вперед за два дня...

Какая знакомая ситуация! И тут я еще раз обратил внимание на то, как исхудала, усохла моя сестра, ранее склонная к полноте: резко обозначились скулы, выступили ключицы, а лицо побледнело, и под глазами залегли тени. И я вмиг почувствовал себя Крёзом.

— Ставь чайник, сейчас я принесу!

Нет, только тот, кто прожил тяжкое время войны, может понять, как роскошно я жил на «Красном Октябре». Редкая семья в Москве могла похвастать тем, что не выбирает хлеб за день вперед, а теперь со мной и такое, хоть и не часто, но случалось. Великое счастье наестся, когда голоден, но есть и более высокое счастье — накормить голодного. В тот день мне довелось испытать это... И, право, это оказалось такое светлое, а главное, необходимое мне чувство, что я еще несколько раз забегал к сестре, и совсем не потому, что не знал, куда девать съестное, а чтобы еще раз испытать это счастье.

В общем, неплохо жилось мне и в грузчиках, если бы не проклятые холода и забота о дровах. Дрова выдавали по талонам, и норма эта раза в три была меньше того, что необходимо было для поддержания нормальной температуры. Да и ездить в кузове в телегрейке становилось все труднее — ветер донимал.

Но вот где-то там, где определяются наши судьбы, кто-то снова перевернул страницу, и меня вымело из Москвы в Тульскую область.

Называлось это командировкой на шахту. На шахтах не хватало рабочих рук. Уголь на-гора кое-как выдавали, но грузить в вагоны не успевали. Естественно, что в первую очередь отгружали предприятиям оборонного значения, всем же прочим предложено было прислать грузчиков и грузить уголь в вагоны из отвалов.

Это оказалась та еще работенка! Сначала долбить смерзший уголь ломом, потом грузить его на носилки, затем нести по склонам в вагоны. И все это на пронизывающем ветру!

Когда я узнал о том, что меня отправляют в командировку, я был обескуражен и возмущен: почему именно меня? Я пробовал протестовать, отказываться, шумел в отделе кадров, когда ко мне подошел высокий, красивый мужчина лет тридцати с повязкой на правом глазу.

— Это ты Метальников?

— Ну, я...

Он насмешливо оглядел меня своим единственным глазом — как-то по-птичьи это у него получилось — и мотнул головой на выход:

— А ну, выйдем!

Я не понимал, почему это я должен идти за ним, но он понравился мне, и я вышел. На улице он снова оглядел меня.

— Ты почему в таком виде?

На нем был белый офицерский полушубок, кубанка и фетровые «снабженческие» бурки. По сравнению с ним я вмиг почувствовал себя оборванцем в своей уже изрядно потрепанной да и порванной кое-где телогреечке, кепчонке и полуботинках, которые уже дышали на ладан. (Купил-то я их не новыми.)

— Тебе-то что? — обозлился я. — Что есть, то и ношу.

— Зима ведь, замерзнешь...

— А ты обогреешь, что ли?

— Экипирую, дам бушлат, брюки ватные, бурки. Кроме того, на шахте будешь получать восемьсот граммов хлеба да кое-что фабрика будет подкидывать...

Oго! Серьезное предложение. А Слава, так звали мужчину, добавил:

— Учти, поедешь со мной — не прогадаешь. А не то на трудфронт загремишь. Разнарядка скоро будет.

Трудфронт! Не было слова тогда страшнее для жителей Москвы, впрочем, и не только Москвы! Да, война, на фронте люди гибнут, в тылу мучаются, необходимость — понятно, но... почему я? Так, должно быть, думал каждый, на кого указывал суровый перст судьбы. И шли женщины валить лес, добывать торф, строить дороги и что там еще? От дома, от стариков, от детей... Трудфронт был не только печальной необходимостью, но часто и мерой наказания,

способом укрощения строптивых, формой своеволия начальства, кстати, неподатливую женщину тоже можно было припугнуть трудфронтом.

Вот почему я сразу поверил Славе и больше не спорил. И все оказалось к лучшему, иначе мне трудно было бы прожить вторую зиму. Теперь я просто благодарен судьбе, потому что повидал и деревню во время войны, и получил кое-какое представление о шахтерском труде.

3. Шахта

Обветшала, поблекла, победнела моя Москва с начала войны, но в деревне было и того хуже. Все — и женщины, и дети, и старики (мужиков почти не было) — выглядели просто как нищие. Да, картошка была, молоко у многих было. И все! Ни хлеба, ни денег, ни одежды в глубинной деревне не было... Поражали дома: стены — кирпичные, крыши — соломенные, полы — земляные. (Тульская область — безлесая, дерево дорого.) Трудодень — нулевой, ибо: все для фронта, все для победы.

Хозяйка, у которой разместились большая часть нашей бригады, была нам рада-радешенька. Во-первых, какие-то деньжата за постой, во-вторых, хлеб — в обмен на картошку и молоко. У нее было человек пять или шесть детей. Старших из них я как-то стал расспрашивать, каково им было при немцах? Деревня недели три находилась под ними, но переходила из рук в руки без боя — повезло. Ну, дети есть дети, страшное подзабылось, а веселое запомнилось.

Самое веселое оказалось: когда немцев прогнали, в деревне приблудилось несколько немецких лошадей — их можно было запрягать и кататься, сколько хочешь, пока они все не передохли от голода. Почему же их не забрали в колхоз? Тогда на это мне никто не смог ответить, но, как я теперь понимаю, команды не было, а кормить своим сеном лошадь, которую потом обязательно отберут, кто же захочет? Голодные лошади подходили к окнам, грызли все деревянное, что только им попадалось, — наличники на окнах, прясла, ограды, их с проклятиями отгоняли, били, они отходили в поле, ложились и подыхали. Жалко мне стало этих лошадей...

Потом какой-то пацаненок показал на старшего брата лет четырнадцати:

— А Колька вон с Пашкой и на немцах катались!

— На каких немцах?

— На мертвяках.

Вяснилось: неподалеку от деревни осталось несколько немецких трупов. И вот, ког-

да лошади передохли и кататься стало не на чем, ребята постарше приспособили их вместо салазок и катались на них с горки. Я понимал, что таким образом ребята демонстрировали и свою удаль, и торжество над поверженным врагом-фашистом, однако... Царапнула меня эта история. Теперь же, когда пишу эти строчки, мне больше всего жалко этих ребят. Почему-то мне кажется: дореволюционному деревенскому мальчишке такая забава в голову бы не пришла, потому что было же такое понятие, которое не требовало специальных доказательств, — грех, и все!

А вскоре мне довелось увидеть на шахте и живых немцев. Нет, не пленных — это были наши немцы из Поволжья. Но боюсь, судьба им выпала более печальная. Позже мне доводилось видеть и пленных немцев, работающих на строительстве и в Минске, и в Москве. Это были довольно сытые люди, некоторые находили их даже «мордатыми», что вызывало возмущение, потому что все знали: немцы получают паек по рабочей норме, а населению не всегда удавалось отоварить карточки полностью. «Наши» немцы, которых я видел на шахте, выглядели как типичные эзки и даже похуже — в них уже чувствовалась обреченность, все они казались доходягами. В столовой они охотились, вернее, пытались охотиться за объедками, которые в те времена были редкостью.

Но когда подряд всю неделю варили щи из так называемой серой капусты, некоторые шахтеры, у которых дома, может быть, было какое-то хозяйство, оставляли на тарелках эту капусту недоеденной.

Я видел, как один из немцев бросился к столу и прямо ладонью стал собирать эту капусту и залихивать в рот. Конвоир заорал и отогнал его.

— Вот гад! — сказал кто-то за моим столом.

Сначала я подумал, что это относилось к немцу, но мужчина добавил:

— Что ему, жалко, что ли?

Я тоже был на стороне немца — мне-то хорошо было известно, что такое голод. Но все же голод надо переживать про себя, скрытно. Таково было мое убеждение. Этот же несчастный потерял последнюю свою опору — достоинство, значит, плохо его дело. Он уже не жилец.

А работа у немцев оказалась та же самая, что и у нас, — грузить уголь вручную. «Красному Октябрю» требовалось в день пятьдесят тонн угля — такова была наша норма. Какой-то конторский умник рассчитал (Слава показал мне этот расчет), что если

грузить по тридцать килограммов на носилки, то это вполне выполнимая норма даже для женщин, потому что в час выходило по семь носилок. Только этот умник не посчитал, что сами эти носилки с примерзшим углем тоже весят килограммов семь — восемь, что люди не могут работать двенадцать часов без минуты отдыха, что к концу дня любой вес становится вдвое тяжелее, стало быть, и отдыхать приходится дольше. Не предусмотрел умник, что уголь может смерзаться, и прежде чем грузить на носилки, его надо долбить ломом. Что по мере того, как выбирается ближний уголь, за ним надо ходить все дальше и дальше. И много чего еще не посчитал этот умник, сидя в теплой фабричной конторе. А пуще всего он просчитался тогда, когда решил, что вагоны нам будут подаваться регулярно. Так что если мы сначала радовались, когда нам на день доставалось только два вагона по восемнадцать тонн, то потом быстро поняли, что через день или два придется грузить пять... Ну и так далее. Короче говоря, даже моя работа грузчика тут, на шахте, показала семечками.

Но выпадали и легкие дни. Однажды, когда мы простаивали в ожидании вагонов, я заинтересовался: почему не работает скреперная лебедка и транспортер, с помощью которых можно было бы грузить уголь механически? Увидел слесарь обгорелый рубильник, без ручки, отсоединенные провода, оборванные тросы. А ток есть? Ток был, транспортер действовал, значит, надо было исправить рубильник и починить тросы. И я починил. Вот и пригодились мои электромонтерские навыки.

Когда я восстановил всю систему и уголек пошел в вагоны с ленты транспортера, мы загрузили четыре вагона часа за три! Вот это был праздник! Меня не только перецеловали все наши женщины, но и Слава. А вечером зазвал к себе в избу, где он, я подозревал, жил, как турецкий паша в окружении трех самых молодых и симпатичных женщин, накормил жареной на сале картошкой и поднес граммов сто пятьдесят водочки. Эх! Лучшей премии я не видал во всю свою рабочую жизнь!

Но, как говорилось в моем дворе, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Дня через три появился какой-то хмурый дядька, понаблюдал, как я управляюсь с рычагами лебедки, подтаскивая уголь на транспортер, а потом стал орать, что мне тут разрешил заниматься самоуправством, про технику безопасности, про то, что нужен допуск, чтобы работать на этой лебедке и т. д. и т. п.

Скандал ему этот понадобился только для того, чтобы отлучить нас от механизации —

уже на следующий день здесь грузили так называемые плановые вагоны, а нам предложили опять носилки.

Меня это так возмутило, что я поклялся Славе разрушить все сделанное своими руками и ночью же восстановить статус-кво.

Слава испугался:

— Ты что, ненормальный? Знаешь, что тебе будет? Припишут вредительство, и загремишь по пятьдесят восьмой! Остынь!

Что ж, он был прав, схватить знаменитую пятьдесят восьмую статью было проще простого. Однако Слава все-таки заявил претензии по начальству, и это принесло нам перемены. Кто-то сообразил, что гораздо выгоднее использовать двадцать человек на подземной работе, а наши жалкие пятьдесят тонн ничего не стоит загрузить из бункеров.

И нас отправили в шахту. Первый спуск. Шахтеры, конечно, не отказали себе в удовольствии опустить новичков «с ветерком». Я-то, начитанный, поймав это словечко, понял, что нам предстоит. Но одно дело понимать умозрительно и совсем другое — ощутить, когда под тобой просто проваливается пол и ты начинаешь свободно лететь в бездну. Женщины взвизгнули, закричали, эти крики и стоны продолжались все время спуска. Одной стало плохо, ее пришлось выносить на руках, а двое, как выяснилось позже, и вовсе описались.

Кто-то стал материться в телефон, грозя карами тому, кто пустил нас «с ветерком». Затем последовал проход по штрекам в лаву. Мне было любопытно, женщинам страшно-важно, но в общем, когда огляделись и пообвыкли, все согласились, что в шахте, пожалуй, лучше, чем наверху. Во-первых, теплее, во-вторых, смена короче.

В основном нас использовали как подсобную силу — подтащить крепеж, подчистить лаву и т. д. Меня и другого парнишку, единственных представителей мужского пола, чаще всего ставили навалотбойщиками — мы должны были подбирать готовый уголь и кидать его на качающийся металлческий желоб — решетки. Тогда-то я впервые и услышал немудреную шутку: наше дело простое — бери уголька побольше да кидай дальше, пока уголек летит — отдыхай.

Самое интересное, хотя и жутковатое, наступало, когда случались перебои с воздухом или электричеством и утихали всевозможные механизмы. Тогда можно было услышать собственный «разговор» шахты: где-то что-то покрякивало, потрескивало, пошептывало. Иногда с громким треском расщеплялись деревянные стойки, то вдруг обрушивался добрый кусок породы или слышался писк подравшихся крыс — они тоже пугали женщин.

Из-за нехватки рабочих рук план шахта регулярно не выполняла, поэтому работа все время шла на надрыбе и истерике. Мата я за свою жизнь наслушался предостаточно, и удивить меня этим невозможно, но нигде я не слышал такого виртуозного, как на шахте. Однажды прибежал какой-то тип и с ходу стал орать на бригадира, что тот оставил в бывшей лаве сорок метров рештаков, требовал немедленно идти откапывать. Бригадир отвечал ему столь же запальчиво. Кончилось все тем, что меня и человек шесть женщин он привел в пустую лаву и приказал откапывать заваленные породой рештаки.

Начали мы раскапывать, а сверху все сыплется и сыплется. И стойки по бокам трещат и ломаются. Как я потом узнал, лава эта простояла уже трое суток, а полагается по норме не более двадцати четырех часов — отсюда и треск, и обвалы. Минут через пять ухнуло где-то впереди — обвал расширялся. Женщины попятнулись, стали звать меня уйти. Я, естественно, покобенился — надо же было показать свое мужество! — покрутился возле стоек, как будто что-нибудь в этом понимал. Правда, стойки как раз возле обвала казались наиболее надежными, а трещало где-то в стороне. Но не копать же одному! И я не спеша направился к женщинам. Но едва отошел, как сзади громыхнуло и обвалилось еще метров десять — как раз там, где мы начинали разбирать завал. Женщины взвизгнули и кинулись наутек. Я за ними. Потом мы узнали, что откапывать рештаки в этой лаве вместо нас послали немцев, произошел большой обвал, и несколько человек погибли. Не думаю, что кто-нибудь ответил за них. После этого случая женщины категорически отказались спускаться в шахту. Пришлось снова братья за носилки.

Но вот кончился срок командировки. Слава, который зауважал меня после того, как я наладил механизацию, стал уговаривать меня остаться еще, обещал назначить официальным бригадиром, что я практически и так осуществлял, стараясь наладить работу более целесообразно.

Тут было о чем подумать. Конечно, очень хотелось вернуться в Москву, обрыдли носилки, смерзшийся уголь, пронзительный морозный ветер. Но что в Москве? Промерзшая нетопленая комната, сырые дрова, которые надо выкупать, но их все равно не хватает? И я остался.

А пока я так прозаически боролся за свою маленькую жизнь, стараясь спастись от голодной смерти и попасть на «Красный Октябрь», разворачивались драматические события 1942 года — летний прорыв немцев

на Дону, выход их к Сталинграду и вся великая эпопея Сталинградской битвы.

Еще не зная подробностей и трагичности этой эпопеи, только ужасаясь самому факту — немцы у Волги! — мы с нетерпением ждали сводок Информбюро и газет. И вот радостные вести: наступление, окружение и, наконец, победа! По этому поводу на шахте состоялся большой митинг. Сколько я за свою жизнь перевидел митингов и разного рода торжественных собраний! Давно уже наработался у меня скептический иммунитет по поводу ритуала и словесных штампов: «благодаря мудрому руководству», «слава нашему великому», «все как один» и т. д. и т. п.

Тот далекий митинг на пронизывающем ветёрке шахтного двора шел по всем канонам утвердившегося ритуала со славословиями вождю, с речами по бумажкам «представителей рабочего класса». Но волнение в голосе, радость в глазах и даже слезы — были неподдельными, потому что это был вздох всеобщего облегчения. А может быть, этот митинг запомнился особенно потому, что сразу же по окончании его стали расклеивать приказ о мобилизации моего года.

Значит, наступил и мой черед. Я был к нему готов. Подошел самый главный рубеж в моей жизни — это знают все, кто побывал на войне. С этого рубежа жизнь делилась на «до» и «после». Когда я надел погоны, мне исполнилось семнадцать лет и четыре месяца.

4. В погонах

Что со мной происходит? Где я? Что я? Есть ли я вообще? Скорее всего, меня просто нет. Есть курсант 2-го Московского военнопехотного училища, расположенного в Филях. Он носит мою фамилию, вскакивает утром под истошное: «Вторая пулеметная рота, подъем!» Команды катятся по коридору училища — ну ни дать ни взять! — как утренняя петушиная перекличка в деревне. Курсант, носящий мою фамилию, вскакивает как ошпаренный и старается успеть одеться, а главное, навернуть бокетки за две минуты. Он воюет с погонами, которые все время норовят то встать домиком, то взвиться крылышками, хлебает крапивные щи в столовой (зовут их щами из дров, потому что иной раз стебель крапивы не пережущешь), старается не гнуться под двухпудовой тяжестью станка от «Максима» и почти каждый день идет в атаку на деревню Мазилово (ныне район Москвы), в которой даже собаки уже не поднимают уши на наше молодецкое «ура!».

Ему все время хочется есть и спать, он завидует курсанту Вавилову, который научил-

ся дрыхнуть на занятиях с открытыми глазами и только невольный храп время от времени выдает его. Он мечтает хоть раз получить увольнительную в город и попасть на планету своего детства, уже не мальчишкой, а бравым курсантом с золотой каймой на погонах. Но ему никогда это не удастся, потому что он плохой курсант — так решил самый главный человек в его нынешней жизни, помкомвзвода Челюкин.

Так уж случилось в начале моей службы, что армия глянула на меня в упор маленькими голубенькими глазками помкомвзвода Челюкина. И мы не понравились друг другу. Из училища тот лагерь, в котором я был в июле 1941 года, казался таким милым, патриархальным, чуть ли не пионерским. Куда же канула та понятная мне рабоче-крестьянская Красная Армия, плоть от плоти, как говорилось, защитница всех угнетенных на свете? Полегла ли на полях сорок первого года? Сгинула ли в немецких лагерях для военнопленных? Уж не знаменитый ли сталинский приказ номер 227 от 28 июля 1942 года, требовавший стоять насмерть и во имя этого разрешавший командирам применение оружия против подчиненных и учредивший заградотряды, так завинтил гайки даже в тылу?

Я не стратег и не военный историк, поэтому не берусь оспаривать объективную необходимость укрепления дисциплины в трагическое лето сорок второго года. Но не сомневаюсь, что субъективно в этом печально знаменитом приказе прорвалось и неудержимое бешенство нашего Верховного Главнокомандующего. Бешенство, вызванное собственным просчетом, потому что, по свидетельствам Н. Хрущева и Г. Жукова, Сталин опасался за московское направление больше, чем за южное, а потому разрешил летнее наступление на Харьков, обернувшееся провалом.

А за провалом наступления, как известно, последовало крупное окружение наших войск и прорыв через Дон к Сталинграду.

Не первый раз Сталин свою собственную вину взваливал на других. Так, в разгроме сорок первого года он обвинил группу генералов и расстрелял их, а всех попавших в плен объявил предателями. Но можно ли представить армию, в которой оказалось около пяти миллионов предателей?

Я пришел в армию, когда вводились погоны и новая форма. И помню, как многие недоумевали:

— Дожили! Раньше за золотые погоны

* А мне эта дата памятна совсем по другому поводу — в этот день я сдавал свой несчастный анализ, чтобы попасть на «Красный Октябрь»! Вот уж совпадение: я тоже отдал себе приказ — ни шагу назад...

к стенке ставили, а теперь сами надели?

Семнадцатилетнему парнишке, сыну красного партизана, проглотившему десятки книг по истории гражданской войны и свято уверовавшему в справедливость всех революционных действий, эти нововведения были не очень понятны. А мой грозный помкомвзвода Челюкин все время наводил меня на крамольную мыслишку, что вместе со старой царской формой и погонами в армию стали возвращаться и старые нравы. Впрочем, поделиться этой мыслью я ни с кем не решился — чувствовал, что опасно.

Кстати, уже в военкомате мне вновь пришлось обманывать наше недреманое око.

Вдруг пронесся слухок, что тех, у кого семилетка, пошлют в военное училище. Слух подтвердился — у имевших семь классов, в отличие от остальных, стали требовать автобиографии.

Эх, была не была — раз прошло при поступлении в техникум, почему бы и тут не сойти? «Дальше фронта не угонят, меньше пайки не дадут». (Это солдатский вариант известной офицерской поговорки: «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут»). И я опять скрыл арест родителей.

С подмоченной биографией мне бы вести себя тише воды, ниже травы, а вот поди ж ты, завелся я с этим сукиным сыном Челюкиным на долгую, изнурительную и, конечно, совершенно бесперспективную войну. Очень уж мешала мне моя детдомовско-замоскворецкая вольнолюбивость. А скорее всего, был я еще молод и глуповат.

Первое время, до появления Челюкина, нас дрессировал старшина — подниматься и одеваться за две минуты, заправлять по линейке постель и прочим премудростям. Он учил нас, тренировал, часто показывал сам, как это делается, при этом отпускал

скорее веселые, чем злобные матерки. И никто на него не обижался — на то он и старшина, чтобы требовать порядок. У Челюкина то же самое происходило со злобной, хорошо рассчитанной истерикой:

— Как стоишь, фифан? Грудь вперед, а ты жопу отключил! Куда морду воротить? Я тебя, засранца, научу свободу любить!

Умом я понимал: пожалуй, самое разумное, самое безболезненное — признать, что в лице Челюкина передо мной АРМИЯ, ВОЙНА, ВРЕМЯ. Но... ничего не мог с собой поделать! Сама его личность внушала мне отвращение. Я видел, я чувствовал, что он просто упивается своей властью над нами и своей полной безнаказанностью.

Поэтому я стал плохим курсантом. Нет, что касается знания уставов, матчасти, строевой подготовки — все эти премудрости я осваивал довольно легко, тут у меня не было проблем.

Неприятности начинались с... выражения лица. О, это особое солдатское искусство, которым я овладел как-то стихийно, почти инстинктивно. Когда красный от ярости помкомвзвода орет почти истерическим голосом: «Смирно!!!» — устав предписывает определенную позу и неподвижность. Но в тебе бушует тоже ярость и протест. Тебя сжигает желание выразить свое отношение к происходящему. Для этого есть способ: выражение глаз и интонация, благо про них ничего в уставе не написано. Одно короткое слово «есть!» можно произнести с десятком разных интонаций: можно насмешливо, можно расслабленно, злобно, вызывающе, да как угодно. Но безошибочней всего действовал придурковато-испуганный вид с сильным преувеличением страха. Тогда обычно в строю раздавались смешки, что выводило из себя Челюкина, и дело заканчивалось очередными двумя нарядами.

(Окончание следует).

НАШИ АВТОРЫ.

ВУЛЬФОВИЧ ТЕОДОР ЮРЬЕВИЧ (род. в 1923 г.). Закончил режиссерский факультет ВГИКА в 1953 г. Автор сценариев и режиссер более двадцати научно-популярных лент, художественных фильмов «Последний дойм» и «Мост перейти нельзя» (1959 г., 1960 г., сцен. и реж. совм. с Н. Курихиным), «Улица Ньютона, дом 1» (1963 г., сцен. совм. с Эд. Радзинским), «Крепкий орешек» (1968 г., сцен. Е. Севелы), «Посланники вечности» (1971 г., сцен. Г. Мдивани), «Товарищ генерал» (1974 г., сцен. совм. с Е. Габриловичем и М. Колосовым), «Шествие золотых зверей» (1979 г., сцен. совм. с Ю. Домбровским) и др. Автор сценария «Четыре капитана» (1964 г., совм. с Эд. Радзинским) и др.

КАРМАЛИТА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА. Закончила филологический факультет МГУ. Автор сценариев художественных фильмов «Вот как это было», «Садись рядом, Мишка» (1976 г., 1977 г., реж. М. Базелян), «Путешествие в Кавказские горы» (1981 г., реж. М. Ордовский), «Атака! Атака! Атака!», «Торпедоносцы» (1982 г., 1983 г., реж. С. Аранович), «Жил отважный капитан» (1984 г., реж. Р. Фрунтов), «Мой боевой расчет» (1987 г., реж. М. Никитин), «Сказание о храбром Хочбаре» (1987 г., реж. А. Абакаров и М. Ордовский). В альманахе «Киносценарии» были опубликованы сценарии «Путешествие в Кавказские горы» (1980 г., № 2) и «Атака! Атака! Атака!» (1981 г., № 2).

МЕТАЛЬНИКОВ БУДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1925 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКА в 1954 г. Автор сценариев фильмов «Крутые горки» (1956 г., реж. Н. Розанцев), «Отчий дом» (1959 г., реж. Л. Кулиджанов), «Простая история» (1960 г., реж. Ю. Егоров), «Алешкина любовь» (1961 г., реж. Г. Шукин и С. Туманов), «Женщины» (1961 г., реж. П. Любимов), «Завтрашние заботы» (1963 г., сцен. и реж. совм. с Г. Ароновым), «Дом и хозяин» (1969 г., сцен. и реж.), «Чайковский» (1970 г., совм. с Ю. Нагибиным и реж. И. Таланкиным), «Молчание доктора Ивенса» (1974 г., сцен. и реж.), «О тех, кого помню и люблю» (1974 г., реж. Н. Трощенко, А. Вехотко), «Трижды о любви» (1982 г., реж. В. Трегубович), «Расскажи мне о себе» (1972 г., реж. С. Микаэлян), «Надежда и опора» (1981 г., реж. В. Кольцов), «Берега в тумане» (1984 г., реж. Ю. Карасик), «Полевая гвардия Мозжухина» (1985 г., реж. В. Лонской). Сценарий «Трое не очень счастливых мужчин» опубликован в журнале «Киносценарии» № 5, 1989 г.

ОНОПРИЕНКО ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. в 1925 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКА в 1954 г. (мастерская Е. Габриловича и И. Вайсфельда). Автор сценариев фильмов «Гори, моя звезда» (1958 г., реж. А. Слесаренко), «Разведчики» (1960 г., реж. Л. Швачко), «Молчат только статуи» (1962 г., реж. В. Денисенко), «Катя-Катюша» (1963 г., реж. Г. Липшиц),

«В бой идут одни старики» (1973 г., реж. Л. Быков), «Если рядом мужчина» (1975 г., реж. В. Гажиу), «За твою судьбу» (1977 г., реж. Т. Золоев), «Праздник печеной картошки» (1978 г., реж. Ю. Ильенко), «Если враг не сдастся» (1980 г., реж. Т. Левчук), «Поезд чрезвычайного назначения» (1982 г., реж. В. Шевченко), «Кодовое название «Южный гром» (1984 г., реж. Н. Гибу), «Женские радости и печали» (1983 г., реж. Ю. Черный), «Завтра жить» (1987 г., реж. В. Пидпалый) и др.

ПАВЛЕНКО ПЕТР АНДРЕЕВИЧ (1899—1951 гг.). Прозаик, кинорежиссер. Автор сценариев художественных фильмов «На Дальнем Востоке» (1937 г., совм. с С. Радзинским, реж. Д. Марьян), «Александр Невский» (1938 г., совм. с реж. С. Эйзенштейном), «Яков Свердлов» (1940 г., совм. с Б. Левиным, реж. С. Юткевич), «Клятва», «Падение Берлина» (1946 г., 1949 г., совм. с реж. М. Чиаурели), «Композитор Глинка» (1952 г., совм. с Н. Трениной и реж. Г. Александровым).

РИЗИН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1932 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКА в 1963 г. (мастерская К. Виноградской). Автор сценариев фильмов «Дни летные» (1965 г., совм. сцен. и реж. с Н. Литусом), «Я солдат, мама» (1966 г., реж. М. Захарнас), «Легкая вода» (1973 г., реж. В. Винник), «Встречный марш» (1974 г., реж. Р. Ефименко), «Наследники» (1976 г., реж. В. Исаков и В. Костроминко), «Поездка через город» (1980 г., реж. А. Бенкендорф), «Воля Вселенной» (1987 г., реж. Д. Михлеев). Автор сценариев «Молодой человек» (1968 г.), «Миссионеры» (1970 г.), «Второй пилот» (1972 г.), «Семейное торжество» (1983 г.), «Стекланный гусь» (1985 г.) и др.

ЧИАУРЕЛИ МИХАИЛ ЭДИШЕРОВИЧ (1894—1974 гг.). Закончил школу живописи и скульптуры в Тбилиси. По своим сценариям поставил художественные фильмы «Хабарда» (1931 г., сцен. совм. с С. Третьяковым), «Последний маскарад» (1934 г.), «Арсен» (1937 г., сцен. совм. с А. Шаншавили), «Георгий Саакадзе» (1942-1943 гг.), «Великое зарево» (1938 г., сцен. совм. с Г. Цагарели), «Клятва», «Падение Берлина» (1946 г., 1949 г., сцен. совм. с П. Павленко) и др.

ЮНГ КАРЛ ГУСТАВ (1875—1961 гг.). Швейцарский философ и психолог. Закончил медицинский факультет Базельского университета. Создатель теории «аналитической психологии». Автор книг и статей «Метаморфозы и символы либидо», «Психологические типы», «Психология и религия», «Психология и алхимия», «Символика духа», «О психической энергетике», «Метаморфозы души и ее символы», «Современный миф» и др.

1р.20к.
70434

2

КИНОСЦЕНАРИИ

1990